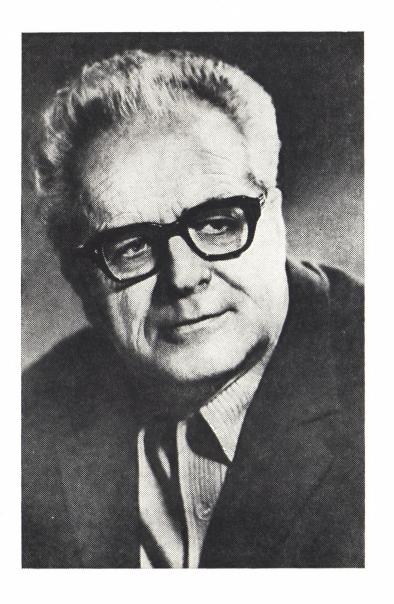
DOPUC. PADMHHHC











Книга воспоминаний

МОСКВА СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1985 Художник Владимир Фатехов

Рябинин Б.

Р 98 Ушедшее — живущее: Книга воспоминаний, — М., Советский писатель, 1985. — 432 с.

Воспоминания Бориса Рябинина не только рассказывают о малоизвестных страницах жизни выдающихся деятелей советской литературы и культуры, как, например, П. П. Бажов, Мариэтта Шагинян, Алексей Игнатьев, В. А. Сухомлинский, К. И. Чуковский, Михаил Зуев-Ордынец, но и воссоздают атмосферу культурной жизни Урала в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

$$P = \frac{4702010200 - 321}{083(02) - 85} = 119 - 85$$

ББК 84. Р7



## под вымпелом «Следопыта»

## Флаг «Следопыта» поднят...

Август 1962-го. Мы едем в Коуровку. Мы— это сотрудники редакции молодого «Уральского следопыта» (дата его второго рождения— весна 1958 года) и некоторые из его авторов, пишущий эти строки в том числе.

Коуровка, Коуровка...

...Нас было трое, не считая собаки... Вы помните? Нет, речь идет не о знаменитой поездке, описанной Джером-Джеромом, хотя и лодка у нас была, и собака была тоже из породы терьеров, но не фокс, а эрдельтерьер. Снукки. Мы называли ее «военизированной охраной экспедиции». Над головой Снукки, на носу лодки, развевался небольшой треугольный вымпел, а на вымпеле руками одного из членов экипажа были тщательно выписаны (точнее — вышиты с помощью швейной машины) слова «Уральский следопыт».

Тогда тоже был август. Никогда не забыть мне стремительный бег Чусовой, прибрежные «камни»-бойцы, воспетые еще Маминым-Сибиряком, ночевки у костра, раскаты грома в горах и яркий отблеск полуденного солнца на плесах. Лодка то бешено скачет по перекатам, то входит в строгую тишину омута у камня Высокого.

Оленьего, Дыроватого... Сколько их на Чусовой!

Вспоминается, как, сидя в телеге и побалтывая ногами, мы вброд переправились через Чусовую (под колесами зазвенели, запереливались быстрые светлые струи, пришлось поднять ноги) и выехали на лужайку перед скалами Собачьи ребра, на которых высилось здание туристской базы. Так начался наш увлекательный следопытский маршрут — поездка по реке Чусовой... но не в телеге, разумеется, а в лодке-плоскодонке, которые издавна для этой цели строились в Коуровке.

В Коуровке пришлось посидеть. Сперва конопатили лодку (она текла, как решето), потом на несколько дней зарядил дождь. Мы изнывали от скуки и нетерпения. Всем хотелось поскорей отправиться в плавание, оку-

нуться в непередаваемую атмосферу путешествия по бы-

строй красивой реке...

С тех пор слово «Коуровка» звучит для меня как боевой призыв, как сладкий мираж недель, проведенных в обществе друзей на Чусовой, как неясная тоска по новым славным свершениям на туристской тропе — в лодке ли, пешком ли, в летний зной или в зимнюю стужу, под дождем, в жару — как угодно...

Сколько воды, чусовской воды утекло с тех пор...

Вспоминаю и нашу последнюю ночевку на Чусовой — в устье Поныша, меж седых угрюмых отвесных скал-стен, у подножия которых струился Поныш, один из притоков Чусовой...

...И вот опять август, и опять Коуровка, откуда начинался наш маршрут 1935 года. А ныне отсюда начинает свое «плавание» переходящий приз возрожденного «Уральского следопыта», ежегодно присуждаемый лучшему следопытскому отряду Урала.

Именно в память поездки по Чусовой тех дней и было решено первый Всеуральский слет следопытов, организованный редакцией журнала, провести здесь, в Ко-

уровке.

Журналу «Уральский следопыт» идет пятый год. Это возраст, когда дети бойко бегают, а если учесть, что любимое всеми нами, уральскими литераторами, детище удалось шустрое и своенравное, со всеми признаками самостоятельного мышления и независимыми взглядами на жизнь и на свои задачи, то, пожалуй, уже пришла пора и спросить — а что ты, дружище «Следопыт», сделал за прожитый период времени? Имею в виду уже не чисто литературную (это должно быть темой специальной обстоятельной статьи), а сторону общественную, организующую. Ведь, надо думать, не случайно журнал утвердил свой значок и вручает его наиболее активным, заслуженным следопытам. А ныне он, журнал, поставил и более крупную веху, которую, думается, должно быть видно далеко за пределами Урала...

Приятно сознавать, что ежегодный приз «Уральского следопыта» начнет свое путешествие с Коуровки. Здесь, в незабвенной Коуровке, он нынешним августом приобретет права гражданства, а затем, год за годом, поплывет по другим бурным рекам, в другие дивные места...

Как и положено, началось с приключения. Накануне открытия смотра группа редакционных работников во главе с заведующим отделом краеведения Ю. М. Куроч-

киным переправлялась вброд на автомашине через Чусовую. Внезапно заглох мотор, и товарищи полночи просидели посреди реки, а потом, клацая зубами (ночь выдалась холодная), до утра отогревались в помещении для

туристов.

Мне это напомнило, как во время поездки 1935 года мы попали под Старой Уткой в запань для улавливания плывущего леса. Почти полдня бились, перетаскивая плоскодонку через бревна, перемокли, измучились, а потом отогревались у костра, а Владимир Алексеевич ходил и потирал руки, предвкущая, какой интересный получится из этого путевой очерк...

...Взвился флаг... Жаль, на нынешнем торжестве не может присутствовать незабвенный Попов-Штарк и его друг и наш коллега, шутник и забавник Зуев-Ордынец! Как порадовались бы их следопытские сердца! Смотру предшествовали соревнования следопытских отрядов. Главными показателями были: время (то есть 1962 год) и практическая полезность. И вот жюри, составленное из педагогов, журналистов, писателей, представителей комсомола и спортивной общественности, подвело итоги.

Не рассказать всего, что сделали следопыты Урала к смотру. Упомянем лишь наиболее значительное. Геологический кружок школы № 107 города Челябинска сделал несколько заявок первооткрывателей. Ребята нашли: поделочный камень, никелевую руду, галенит, корунд, медную зелень и синь, а также ряд пород с повышенной радиоактивностью. Они составили превосходные коллекции минералов, сделаны отличные фото, которые могут поспорить с работами известных мастеров фоторепортажа. Им, энтузиастам 107-й школы, и присудили первый приз.

Переходящий приз для молодежи, уже перешагнувшей школьный возраст (тоже с присуждением первого места), получили представители столицы советской Башкирии — Уфы. Забавно вспомнить: уфимцам надо было выходить по азимуту, а одного товарища — самого маленького — нет. Опоздал на две минуты: грибы собирал. Он и с дистанции пришел с грибами. Несмотря на это, группа завоевала первое место. Здесь, очевидно, подтверждается старая истина: когда любят дело, тогда и дело горит в руках. А грибы — несомненное подтверждение, что уфимцы по-настоящему любят и ощущают природу, тянутся к ней...

Хочется отметить, что передовой следопытский отряд

уфимцев составлен целиком из заводской молодежи, работающей на одном из многочисленных предприятий Башкирии. В активе уфимцев такие открытия, как кости медвежонка пятисотлетней давности и фреска головы древнего человека, которой заинтересовалась Академия наук Башкирской АССР. Друза горного хрусталя на полированном постаменте из уральского камня — заслуженная и дорогая награда пытливости башкирских крае-

Широтой своих интересов порадовали члены Клуба юных следопытов города Далматова. Курганской области. Тут и подробная история Далматовской пионерской организации, и любовно оформленные сборники краеведческих материалов, и специальный стенд, посвященный комнате-музею имени В. И. Ленина, открытой в Далматовском Доме пионеров к 90-летию со дня рождения великого учителя. Далматовцам тоже был вручен специальный приз.

Призом за лучшее оформление стенгазеты была отмечена многолетняя деятельность краевело-географического кружка Совхозной средней школы (Тюмень). Наград удостоились также туристский клуб «Огонек» (Свердловск), ребята челябинской школы № 10, школьники из северного уральского города Краснотурьинска, юные краеведы школы № 91 (Пермь) и многие другие.

В этот день с участниками смотра встретились доцент Уральского университета имени А. М. Горького, заместитель председателя Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы В. В. Тарчевский, писатель-москвич, специально приехавший на празднество, автор увлекательной «следопытской» книги «Тайны выцветших строк» Р. Т. Пересветов, ученый-архивист Козлов и другие гости следопытов.

А потом, когда стемнело, на большой поляне у Геор-

гиевских скал вспыхнул костер...

Отличное настроение не смог испортить даже начавший накрапывать дождь. Уральцы привычны к капризам своей погоды!

Доброе дело, доброе дело!

Радостно думать, что все, о чем здесь рассказано, произошло на моем родном Урале, на земле, которая исстари заслуженно считается колыбелью следопытства и первооткрывательства, что застрельщиком выступает литературно-художественный журнал для юношества. Радостно, что тропа, по которой всю жизнь шел старый

неистовый следопыт Владимир Алексеевич Попов (помянем его светлую память!), без которого, быть может, не было бы ныне и журнала «Уральский следопыт» (великое дело — почин!), превращается теперь в широкую дорогу для молодых...

Флаг «Следопыта» поднят. Большого плавания вам,

друзья, и ныне, и завтра, и всегда!

Когда-то Михаил Иванович Калинин, тонкий знаток молодежи, умевший разговаривать с нею необычайно просто, задушевно, сказал, что любовь к Родине начинается с углубленного познания своего края. Она, эта любовь, как чудесная пыльца, переносимая с цветка на цветок, дает все новые и новые завязи плодов в виде новых открытий, полезных свершений, которыми столь славен наш народ. Разносите же эту пыльцу! Пусть она оплодотворяет души и воображение юных!

## Тропа его жизни

Вероятно, далеко не всем нашим молодым читателям известно, что у нынешнего «Уральского следопыта», журнала, первый номер которого увидел свет в апреле 1958 года, был предшественник, родич, а точнее — старший брат, тоже «Уральский следопыт», выходивший в 1935 году. И уже совсем мало кто из нового поколения знает, что через эту веху пролегла тропа одного из интереснейших людей литературного мира, человека, чье имя мы не имеем права предавать забвению, за знакомство с которым я всегда буду благодарить судьбу. Человек этот через всю жизнь пронес одну, но пламенную страсть. оставив ощутимый след в истории приключенческого, следопытского жанра. Для меня же он дорог еще тем, что у перекрестка дорог, перед которым стоит юность, помог выбрать ту, единственную, которую ищет каждый, но не каждый находит...

В тесном темноватом помещении с низкими давящими потолками и толстенными стенами по Банковскому переулку, 3, где ютилось в тридцатых годах Свердловское издательство (прежде в этом кирпичном здании находился склад), среди каких-то клетушек, разделенных фанерными перегородками, не сразу можно было найти стол редактора «Уральского следопыта». Ни таблички, ни указателя. Но именно сюда чаще всего стремились по-

сетители, в большинстве — люди явно не литературного круга. Навстречу поднимался уже немолодой, но, как принято говорить, хорошо сохранившийся мужчина ниже среднего роста, довольно коренастый и плотный, слегка сутулящийся, с неторопливыми движениями и негромкой речью, умеющий чем-то сразу расположить к себе, заинтересовать. Один разговор с ним — и этот стол и сам он надолго превращались в магнит, постоянно влекущий к себе.

Это и был широко известный кругам любителей занимательного чтения тех лет Владимир Алексеевич Попов, редактор, или, как было принято называть тогда, «заведующий редакцией» журнала «Уральский следопыт», бывший редактор «Всемирного следопыта», незадолго до того безвременно прекратившего свое существование в Москве.

Я запомнил его аккуратным, тщательно выбритым, в безупречно сшитом темно-синем костюме из шевиота лучшего сорта. Брюки со складкой, черные штиблеты с головками «бомбе» блестят как зеркало. И всегда чутьчуть тонкий аромат дорогих духов.

Ему шел шестой десяток, но в волосах ни сединки, коротко подстриженные усы, всегда аккуратно повязанный галстук, пробор на левую сторону. Работал он в очках с металлической оправой, низко склонившись над столом, с привычной тщательностью вписывая мелкими округленными буквами редакторские поправки. Писал острым тоненьким перышком, почерк — очень четкий, когда для печати, и кудрявый, чуточку кокетливый по-женски — в письмах. Разговаривал — непременно стоя, сняв очки и полуопустив добрые усталые близорукие глаза с сеткой разбежавшихся мелких морщинок, время от времени взглядывая на собеседника. Потом, познакомившись и выслушав первые объяснения, пригласит сесть, но сам не опустится на стул, пока не сел гость. Воспитание, поведение его были безупречными, могли служить образцом.

Ни разу не видел, чтоб Владимир Алексеевич заволновался, засуетился, повысил голос, куда-то заспешил. Но за кажущейся медлительностью, невозмутимостью скрывались феноменальная работоспособность и настоящее горячее сердце журналиста.

Жанру приключений, путешествий, научной фантастики он был предан фанатически, а хватке, оперативности Попова мог позавидовать любой газетчик. Возможно, именно это так и подкупало в нем при первой же встрече, заставляя проникнуться горячим интересом

к делу, которому посвятил себя этот человек.

До сих пор удивляюсь, как Союзу писателей вскоре после того, как по воле недалеких людей приказал долго жить «Всемирный следопыт», прекратили существование «Вокруг света» 1, «Мир приключений», «Борьба миров», «Всемирный турист» и другие издания такого толка, когда началось гонение на «развлекательные» жанры, против занимательности вообще и все громче раздавались голоса ортодоксальных критиков, усматривавших ненужность и даже вредность подобной литературы (увы, было такое время), удалось исхлопотать разрешение на выпуск в Свердловске журнала для юношества приключенческокраеведческого направления. Уральцы решили возродить «Следопыт», но уже под маркой «уральского». Вести журнал пригласили Попова, испытанного следопыта.

А меж тем это было так созвучно времени — следопытство, поиск, геология, изыскания, прокладка путей в грядущее... Жаль, что это понимали не все, иначе, верно, не было бы такого перерыва в выходе журнала с 1935-го по 1958-й — двадцать три года. Может быть, пришлось бы только сделать скидку на войну. В. А. Попов с его детищем, даже не ведая того, прокладывал пути будущему, точнее — нынешнему «Уральскому сле-

допыту», насчитывающему уже четверть века.

По мысли своего редактора, это был «первый журнал занимательного краеведения». (Одновременно Попов аттестует его как «научный юношеский журнал, который я назвал «Уральский следопыт».) Обложка, формат, манера верстки — все было выдержано под прежний «Следопыт». Владимир Алексеевич хотел видеть свое любимое детище непременно таким же, каким оно было раньше. Это ласкало его душу. Кроме того, полагаю, он преследовал и чисто коммерческие цели: прежний «Следопыт» хорошо знали, он пользовался популярностью, — скорее купят и этот...

Владимир Алексеевич был на Урале впервые. И тем не менее ориентировался в местной жизни так, как будто век жил тут. В какой-то немыслимо короткий срок он успел изучить краеведческую литературу об Урале, вы-

<sup>1 «</sup>Вокруг света» тогда было даже два: один самостоятельно выходивший журнал, другой — на обложке которого стояло «Путешествия и приключения на суше, на море и в воздухе» (24 номера в год) — приложение к «Всемирному следопыту»,

искивая оттуда всякие любопытные познавательные мелочи для журнала. У него был «нюх» на эти вещи. «Уральский бумеранг», сообщения о землетрясениях на Урале, каракурт в южноуральских степях, — все это моментально попадало в поле его зрения. Видное место в журнале заняли темы уральской истории, гражданской войны и, конечно, социалистического строительства, показ громадных преобразований, происходящих в крае.

Чутко ловил он все новое и важное, представлявшее интерес для читателей и помогавшее понять суть и значе-

ние преобразований.

О том, сколь неверны были посылки противников жанра, видевших в нем лишь пустое времяпрепровождение, и только, свидетельствует редакционная статья «К читателям нашего журнала», предпосланная первому номеру журнала, написанная рукой Попова, статья, в которой Владимир Алексеевич дал развернутую программу

следопытского движения на Урале.

«Октябрьская революция превратила Урал — этот отсталый, мало освоенный при царизме край, — говорилось в статье, — в один из мощных промышленных центров Советского Союза. На Урале в изумительно короткий период построены и пущены десятки новых гигантов-заводов, созданы новые отрасли промышленности, старые заводы оснащены новой техникой... Урал скинул свои ветхие одежды, преобразился и непрестанно обстранвается.

В условиях социалистической стройки приобретает необычайно важное значение познание своего края. Недаром же совсем недавно «Комсомольская правда» кликнула боевой клич, выкинув два прекрасных лозунга: «Познай свою родину» (и свой край, — добавим мы) и «Создадим движение краевых следопытов».

— Даешь, из чего строить? — спрашивают уральские

строители.

— Разведываем! Ищем! Находим! Даем!..— откликаются молодые и старые геологоразведчики, краеведы-

следопыты Урала.

Широкое развертывание следопытско-краеведческого движения на Урале может дать большие практические результаты для строительства социализма. Для этого необходима правильная организованная деятельность молодых краеведов-следопытов. . . . Журнал будет бороться за повышение классовой бдительности и на фронте краеведения, и в исследовательской работе, и в образо-

вательно-популяризационной деятельности, а также за осуществление указаний партии о том, что воспитание в СССР должно вестись в духе социализма, в духе великих идей марксизма-ленинизма...»

Статья заканчивалась словами: «За работу, това-

рищи!»

С этими словами перекликалось приветствие «Комсомольской правды», посвященное выходу первого номера нового журнала: «Остается пожелать, — писала газета, — чтобы этот журнал стал инициативным, энергичным, центром большой и увлекательной работы по изучению природных богатств, истории и фольклора народов края, чтобы на его страницах уральская молодежь нашла действительно увлекательные рассказы и очерки, которые пробудили бы в ней жажду познания своего края и его величайших богатств».

\* \* \*

Итак, за работу...

Требовались авторы, много авторов, для оформления журнала — художники-иллюстраторы, графики. Сейчас покажется странным, что найти художника, умеющего рисовать обложку, тогда было целым событием. Владимир Алексеевич развернул деятельные поиски, обратившись к местным литературным силам, к соседям-сибирякам.

Откликнулся Иван Панов. С очерками в журнале выступили Николай Куштум, один из старейших стихотворцев Урала, и Леонид Мартынов, будущий широко известный поэт. Постоянным автором стал Анатолий Климов, вернувшийся с Крайнего Севера, создатель книг «Мы из Игарки» и «Урал — земля золотая». Приезжая в Свердловск, он обязательно бывал в редакции, молодой, энергичный, в отличном черном пальто, черной шляпе.

Уроженец завода Тирлян в Башкирии, Климов вырос в Троицке (ныне Челябинской области), там окончил школу, вступил в комсомол; работал в газете, после по призыву ЦК ВЛКСМ едет в Арктику и становится корреспондентом газеты Ямало-Ненецкого национального округа. Будущий составитель и организатор получившего широкую известность и признание сборника «Мы из Игарки» (авторы — дети), он был самый что ни на есть расследопытский автор, и его участие в «Следопыте» было истинной находкой для журнала. Приобщились к журнальному делу свердловские художники Ю. А. Иванов и А. П. Давыдов.

Однако этого было недостаточно. Попов разослал письма друзьям и знакомым, и вслед за своим вожаком потянулись на уральскую ниву ленинградец М. Е. Зуев-Ордынец, автор увлекательных повестей и рассказов на историко-революционные темы, художник-москвич В. И. Голицын, активные деятели старого, московского «Следопыта». Из номера в номер шли с продолжением исторические повести литературного рудознатца А. Г. Бармина, ленинградца по жительству, уральца по рождению. Отличный знаток Урада, он дал, кроме того. ряд познавательных очерков и заметок.

Владимир Алексеевич и сам пописывал для журнала. печатаясь под полупсевдонимом «Вл. А. Попов-Штарк». Не довольствуясь этим, просматривая свежие газеты, он вырезал все, что находил более или менее примечательного, пополняющего сведения об Урале. Это тоже обогащало журнал. Для этого был заведен специальный отдел «Путешествия по книгам и газетам». Заполнялся он очень просто, без затей, и, по-моему, доходчиво: давался интересный отрывок, способный увлечь читателя, а в заключение — короткая приписка: полностью об этом вы можете прочитать там-то.

Владимир Алексеевич не боялся перепечаток, если перепечатки стоили того. И пресловутые «ножницы и клей», ставшие почему-то пугалом в нынешних редакциях, весьма полезно служили в его руках. Очень огорчали Владимира Алексеевича ограниченные полиграфические возможности Свердловска того временибледные краски, серая, тусклая печать, плохая бумага.

Нынешним редакционным работникам будет небезынтересно узнать, что никакой редакции в современном' понимании этого слова не существовало — один человек делал весь журнал; он и секретарь, он и правщик, в общем, и швец, и жнец, и в дуду игрец. Потому и приходилось прибегать к вырезкам; но Владимир Алексеевич делал это очень умело, я бы сказал, виртуозно-ловко. Выручали его кругозор, высокий профессионализм. Журнал получался интересный, чтение его обогащало. Впервые я узнал тогда о «человеке с железным оленем» — Глебе Травине, совершившем неслыханное до того дело — пробег-путешествие на велосипеде в зимнюю пору по Крайнему Северу нашей страны.

Неутомимый литературный следопыт, Владимир

Алексеевич искал темы, фото, необычайные события и явления, героические факты, подвиги стойкости и само-пожертвования, как подвигом самопожертвования была, на мой взгляд, и вся его собственная жизнь. Он ценил и уважал людей духовно чистых, цельных, неуклонно стремящихся к избранной цели, — таких, каким был сам.

Он искал и видел необыкновенное в обыкновенном, мимо чего люди каждодневно проходят равнодушно, даже не догадываясь, сколько увлекательного таит в себе эта, кажется, такая однообразная, будничная жизнь. Обыкновенное необыкновенное — вот был его девиз.

Поразительно быстро обзавелся он авторским активом. Около него все чаше появлялись какие-то мололые и пожилые люди с фотоаппаратами и треногами, летчики и северяне в унтах и немыслимо громадных мохнатых шапках, представители самых разных профессий и занятий. Можно было думать, что все эти охотоведы, рыбоведы, врачи санитарной авиации, медиораторы и геодезисты, строки не написавшие в прошлом и теперь постоянно осаждавшие стол редактора «Уральского следопыта». только и ждали, когда появится Попов, тот самый Попов, который еще при царском режиме, у Сытина, начал создавать и насаждать в России литературу путешествий и приключений — то, что ныне мы называем приключенческим жанром. Он и на Урале продолжал свою традицию, и, может быть, даже с большей энергией, чем прежде, выискивать авторов, ковать литераторов из числа бывалых людей, которые частенько и сами не подозревают, что могут владеть пером.

Так появились в журнале интересные очерки, рассказы, информации охотоведа В. Виницкого, гидробиолога Т. Раухвергер, познавательная повесть «Яблочный пир» мичуринца-садовода Д. Казанцева. Так опубликовал свои первые литературные опыты геолог Ф. Тарханеев, впо-

следствии писатель.

Попов познакомил и сдружил меня с Климовым; через него состоялось знакомство и с первой уральской парашютисткой Тиной Самариной (о ней писал «Уральский следопыт», к сожалению, не знаю ее дальнейшую судьбу). Оценить все это я смог лишь спустя годы. Одно время в его постоянное окружение входили инженер-дирижаблист Ассберг (если не ошибаюсь, приехавший из Москвы), Е. Шлезигер — «уральский Брем», известные краеведы и многие-многие другие.

Один из зачинателей советской поэзии на Урале, Н. А. Куштум (Санников) вспоминал, как работал с ним В. А. Попов. Ознакомившись с очерком «Подставка луны» (о восхождении на Таганай, один из первых очерков, написанных Куштумом), он сказал:

— Ты мне дай сюжетец, понимаешь? Чтоб читать

было интереснее.

Очерк был описательный, фотографичный. Пришлось кое-что домыслить, зато и результат сразу оказался другой. «Интересность» произведения составляла постоянную заботу редактора «Следопыта», интересность, однако, не в ущерб качеству, содержанию.

Примечательно, что, привлекая начинающих авторов, Владимир Алексеевич очень бережно относился к их стилю, манере изложения и никогда не ломал их, не навязывал своего, придерживаясь правила: больше авторов —

хороших и разных.

Геологи, охотники, журналисты-репортеры, исследователи необжитых пространств — путешественники, парашютисты и летчики, строители дорог и подземных городов-шахт, взрывники и высотники-монтажники, люди самых беспокойных, а подчас и опасных профессий, следопыты по роду деятельности и по своей натуре — вот кто владел сердцем Попова, и среди них больше всего — молодежь.

Лишь много позднее и стороной я узнал, что старший сын Владимира Алексеевича, талантливый юноша-геолог, трагически погиб в экспедиции на Алтае, сам Владимир Алексеевич никогда не вспоминал об этом вслух, но именно это, думается, и накладывало какой-то особый отпечаток душевности на все его отношения с молодежью. Думается, он искал утешения в среде молодых. Молодежи настежь были раскрыты двери и редакции, и его квартиры — приходи хоть днем, хоть ночью.

Я тогда только-только ступил на журналистскую стезю, ступил как самоучка, как любитель-дилетант, напечатав в газете «Уральский рабочий» и кой-каких сборниках несколько пейзажных фотографий Урала. Я увлекался фотографией, снимки удавались. Они-то и привлекли внимание В. А. Попова. Он пригласил меня сотрудничать в журнале. Знакомство с «Уральским следопытом» в известном смысле оказалось решающим.

Не помню уже, кто первый привел меня туда, кажет-

ся, это был Александр Соломонович Асс, тогдашний заведующий производством редакции Уральской Советской Энциклопедии, а позднее заведующий производством Свердловского издательства и, наконец, уже в послевоенные годы, редакции возрожденного «Уральского следопыта».

С чего начинать? Признаться, я ума не мог приложить. Профиль журнала, требования, предъявляемые им, все это было ново, необычно для меня, совсем еще

зеленого юнца в подобных делах.

Натолкнул, разумеется, Владимир Алексеевич. Он побывал у меня дома, познакомился с моим, еще не очень богатым тогда, фотоархивом. Именно таким путем появились на страницах «Следопыта» мои снимки «Каменькурица», «Сосна-лира» и прочие.

Мой новый друг раскрыл мне глаза на «мир под ногами». Его привел в восторг снимок грибов обабков, сделанный крупным планом. Владимир Алексеевич сам придумал к нему название — «Праздник грибного урожая».

С такой надписью снимок увидел свет.

С его легкой руки меня нарекли «фотоглазом «Уральского следопыта». Ему я обязан интереснейшей — первой в моей жизни большой корреспондентской — поездкой по Южному Уралу: в города Златоуст, Миасс, Челябинск, Оренбург, Орск, где только начинал создаваться громадный Орско-Халиловский промышленный район. Я побывал в Ильменском заповеднике.

Примечай все интересное, самобытное, — напут-

ствовал меня Владимир Алексеевич.

Узнав, что я умею немного рисовать, он посоветовал делать зарисовки, и я действительно привез из этого путешествия несколько карандашных рисунков. Некоторые из них, как, например, «Каменная баба» (надгробный памятник на древних степных захоронениях), были помещены в журнале в качестве иллюстраций, наравне с фо-

тографиями.

У Попова я учился журналистской хватке. Буквально ни одно событие не могло укрыться от его острого следопытского глаза. В ту пору большое значение придавалось дирижаблестроению, первые советские дирижабли уже побывали в небе Свердловска, шли разговоры о создании великого трансконтинентального дирижабельного пути через всю страну от Москвы до Владивостока, в Нижне-Исетске началось сооружение металлической

причальной мачты, и вскоре я уже ехал туда с фотоаппаратом. Владимир Алексеевич познакомил меня и со

строителем мачты инженером Ассбергом.

Характерно, что на обложке первого номера «Уральского следопыта» был изображен дирижабль на фоне карты Урала. Создавалось впечатление, что, не успев приехать в Свердловск, Владимир Алексеевич уже знал все самое интересное о нем и обложку с дирижаблем запроектировал, еще будучи в Москве.

Главными литературными жанрами в журнале были

очерк и короткий динамичный рассказ.

— Как тебя, Борис, научить писать очерк? — сокру-

шался Владимир Алексеевич.

Дело это у меня никак не шло. С грехом пополам получались лишь расширенные подписи к фотографиям, «фотоочерки». Я имел специальность топографа-изыскателя, часто ездил по Уралу и видел много интересного, в пятках постоянно ощущался зуд путешествий, а где набираться впечатлений, как не в поездках и походах, и конечно же было бы полезно поделиться виденным с читателем. Но как это сделать?

О том же говорила со мной Клавдия Васильевна Рождественская, редактор детской литературы Свердловского издательства, позднее уральская писательница. Они сидели в одной комнате, на втором этаже, столы стояли напротив. В то время не было внутрииздательских редакций — были отделы; стояло несколько столов, один человек за столом — вот и весь отдел, управляйся, как знаешь. Подобно Попову, Рождественская (еще один одержимый) тоже неутомимо «ловила людей» — выискивала новых авторов из числа еще не искушенных в литературном труде. Два эти человека, во многом очень разные, даже, я бы сказал, принадлежавшие разным эпохам, в то же время общей увлеченностью, преданностью литературному делу были как бы сродни и отлично дополняли друг друга.

Если Клавдия Васильевна нашла для меня такую золотую жилу, как «собачья тема», которой я остался верен и поныне (именно она, Рождественская, запланировала однажды в издательстве книгу «Мои друзья», ставшую для меня книгой номер один), то Владимир Алексеевич упорно наталкивал на краеведение, поиски интересного и необычайного, помогая увидеть увлекательное

в простом.

В. А. Попов говорил Рождественской: «Как важно размотать человека...» Размотать, как клубок, узнать, что у него есть за душой, чем он живет, что может сделать для журнала и литературы. Отсюда — новые темы, неожиданные сюжеты и материалы, свежесть, новизна — все! Так он стремился «размотать» меня.

Клавдия Васильевна в ту пору собирала хрестоматию для школьного чтения— сборник «По Уралу». И для этого сборника по ее настоянию я кой-как слепил очерк

«Вниз по Каме».

Однажды Владимир Алексеевич стал жаловаться на острую нехватку толковых современных очерков, сожалея, что я не могу быть полезен ему. Слушавшая разговор Клавдия Васильевна показала на мой опус и сказала:

— Напечатайте в «Следопыте». Вполне подойдет!

Владимир Алексеевич посмотрел через очки на меня, потом на нее, потом еще раз на меня... и напечатал. А вслед за тем вскоре появился второй очерк — «Крылатые вестники», о почтовых голубях. Не ахти какой, и тем не менее... Вот они-то, две эти пробы пера, и определили все мое будущее — литературную судьбу. С них я начал. А в следующем, 1936 году уже вышла первая книжечка — «Каменные загадки» (об Урале). Не слишком велика, тоненькая — полтора авторских листа, да разве это важно?

Взаимное проникновение интересов редактора «Уральского следопыта» и редактора детской литературы явно шло мне на пользу, я становился профессиональным

автором.

Забавно вспомнить, как я написал свой второй очерк — о почтовых голубях — «Крылатые вестники». Владимир Алексеевич тоже благословил его в «Следопыт», хотя, как я понимаю теперь, очерк, пожалуй, не очень заслуживал того. То ли победила личная симпатия, то ли слишком велик был голод на современные очерки.

Тогда я еще не очень ясно представлял себе, что автор должен быть предельно точен и строг в отборе материала, что одной неверной деталью можно иногда испортить все... Я рискую попасть на зубок острякам и недоброжелателям, признавшись в своем давнем прегрешении. Но — была не была! Дело прошлое, и чему-то я научился с тех пор...

Прежде всего о выборе темы. К тому времени я уже увлекся собаководством и числился в активистах Осоавиахима: под крылышком клуба служебного собаководства приютилось и почтовое голубеводство, тогда еще официально состоявшее на вооружении армии. Написать о голубях предложил мне Владимир Алексеевич (вероятно, это и обязало его отнестись к очерку со всем возможным вниманием). Я взялся за дело со всею решительностью человека молодого, самонадеянного и не привыкщего отступать перед трудностями. Побывал на выставке почтовых голубей, побеседовал с голубятниками. Атьдва — очерк готов. Владимир Алексеевич, видимо, тоже был не силен в голубеводстве, и лишь после опубликования обнаружилось, что автор допустил грубейшую ошибку: заставил нести «почтаря» донесение в клюве. Большую нелепость трудно выдумать. С чего мне это взбрело? Не может носить голубь письма в клюве, как коршун добычу, не может! Для этой цели служит крохотный портдепешник, этакая алюминиевая капсулка, надеваемая на ножку: туда и вкладывается донесение. Вероятно. в памяти у меня застряли открытки дореволюционных выпусков — голубка, несущая в клюве конверт. перевязанный розовой ленточкой, с надписью «С Новым годом!» или «С днем ангела!». Очерк не был бы безнадежно плохим, если бы не этот несчастный конверт в клюве. попутавший меня.

Скажу о другом. Забавно, быть может, но именно с этого несчастного очерка началась моя любовь к голубям, почтовым и всяким. И с тех пор я внимательно слежу за успехами «почтарей» и прочих, объединяемых одним общим понятием — птица мира. На чем этот интерес держится? И не один я такой. Вот в газетах опять сообщают: «В столичном парке «Сокольники» прошла выставка «Голуби-81». На ней экспонировалось свыше 1200 птиц 78 пород из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Риги, Одессы, Свердловска...» Глянуть бы, хоть олним глазком. а?

. Как бы там ни было, очерк был напечатан, и именно с этих двух знаков-реперов, говоря языком геодезистов, Камы и голубей, я и веду отсчет своей литературной жизни. И если бы жив был сейчас незабвенный Владимир Алексеевич, я мог бы рапортовать ему, что все-таки он заставил писать меня...

Нашим читателям, вероятно, будет небезынтересно узнать, что писали в ту пору о «Следопыте» и следопытах. Познакомим с рецензией, которую опубликовала газета «Уральский рабочий» в разделе «Библиография» 18 мая 1935 года.

«ИНТЕРЕСНАЯ КНИЖКА. «Уральский следопыт» № 2— 1935 г.

Вторая книжка «Уральского следопыта» это прежде всего интересная книжка. Она уточняет лицо журнала и исправляет промахи первого номера. Занимательная история, география и краеведение представлены здесь достаточно широко. Умело совмещены познавательные и приключенческие элементы. Книжка не только уводит читателя в путешествие по краю, но и делает это путешествие увлекательным, полным неожиданных встреч и открытий.

Подземный город — угольная шахта. Рыбацкие промыслы далекого уральского севера. Изумрудные копи. Лесные дебри. Колхозные поля... В книжке отражается все многообразие уральской природы с ее неисчислимыми богатствами и техническими превращениями. Если первый номер журнала страдал несколько чрезмерным преобладанием тематики прошлого, то теперь уже этот недостаток избегнут. «Уральский следопыт» гораздо полнее дает сегодняшний день края.

«Ядко из рода Сэгоев» — рассказ о том, как меняется жизнь в ненецком чуме, как разбуженные большевиками ненцы борются с шаманами, кулаками и пережитками вековой темноты, как становится комсомольцем молодой колхозник Ядко.

«В дебрях Урала». Содержательный очерк о походе молодых следопытов — георазведчиков-добровольцев. Вместе с ними читатель пробирается сквозь тайгу и горы, беседует с охотниками, ищет горный хрусталь, попадает в подземелье кержацкого скита, знакомится с жизнью золотоискателей, видит лесной пожар.

«Изумрудные истории», «Уральская книга природы», «Путешествие по книгам и газетам» и т. д. — все это увлекательные страницы, которые прочтет с интересом не только юный, но и взрослый читатель. Прочтет — и ощутит желание еще глубже изучить край, увидеть его вплотную в качестве непосредственного следопыта-разведчика. Журнал оправдывает свое назначение. Но у него еще

есть много недостатков. Снова приходится указать на качество языка. Но речь уже не о засоренности, а о сухости и академичности изложения в отдельных местах. «Так как нахождение гелия в минералах объясняется образованием его в результате распада радиоактивных элементов, то возникло предположение, что в минерале берилла или сам бериллий, или какой-либо спутник, или его изотоп являются неустойчивыми и постепенно распадаются» («Новое об изумруде»). Вряд ли такой язык достаточно доходчив для читателя-подростка 1.

\*Надо пожелать, чтобы в журнале нашла место героика конкретных событий сегодняшнего дня. «Овсяной конвейер» — слабая и скучная попытка нашупать эту тематику. Где авиация и парашютизм, где сплав и транспорт? Где заводы, колхозные дворы, пожарные и горноспасательные команды? Таких тем тысячи — и, умело используя их, «Уральский следопыт» прибавит замечательные, волнующие страницы. Кстати, читатель хочет видеть страницы журнала своевременно. Жаль, что вторая книжка вышла в мае вместо февраля. А. Смагин».

\* \* \*

Большим событием в редакционной жизни явилась наша поездка по реке Чусовой — логическое продолжение традиционной политики, осуществлявшейся Владимиром Алексеевичем на протяжении многих лет: либо участвовать от лица журнала в уже готовых туристских маршрутах и научных экспедициях, подсылая к ним своего корреспондента, либо разрабатывать, организовывать свои.

Чусовая уже тогда попала в поле зрения редактора «Уральского следопыта» (думаю, что он горячо поддержал бы нынешнюю «Операцию Ч» — поход за чистоту и культурное отношение к реке, начатый журналом и поддержанный общественностью областей, по территории которых протекает Чусовая) <sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Что бы сказал тов. Смагин, почитав статьи некоторых нынешних ученых авторов! Вот уж тарабарщина, истинный частокол, сквозь который не проберется ни один любопытствующий. Против засорения русского языка разной иноземщиной, всякими техницизмами решительно восставал Ленин.

Теперь уж не помню, кто выступил инициатором этой поездки, знаю только, что родилась она в недрах «Следопыта» при самой горячей поддержке редактора. Составилась компания: Михаил Ефимович Зуев-Ордынец (он приехал по вызову редактора «Следопыта» и жаждал обогатить свои познания об Урале, полюбоваться на его красоты); в качестве фотокорреспондента — я; третьим был мой знакомый, известный краевед, Р. И. Рабинович.

Стали просить Владимира Алексеевича «уважить» друзей и присоединиться к нам хотя бы на часть пути. После некоторых колебаний он согласился, оговорившись, что дня на три, не больше: отпуска официального нет, а он все-таки на службе, что скажет начальство — директор издательства; а кроме того, на кого оставить журнал? Наконец все согласовали, директор не возражал. Меня — самого молодого — избрали «капитаном».

Поистине трогательной была забота Владимира Алексеевича о чести, престиже журнала. Путешествие должно совершиться обязательно под флагом «Уральского следопыта» в прямом и переносном смысле, не иначе! Заняться флагом было поручено мне. А может быть, никто не поручал, просто я сам захотел, вдохновляемый Владимиром Алексеевичем. Словом, как бы ни было, купил пионерский вымпел — кумачовый треугольный флажок с эмблемой пионерской организации (серп-молот, костер и книга), попросил у матери толстые светло-желтые нитки для вышивания и собственноручно, с помощью швейной машины, смастерил — вышил на вымпеле слова «Уральский следопыт». Вышло неплохо. Так наша «экспедиция» и наше судно получили «флаг». Две недели он развевался на носу нашего плоскодонного судна, над головой «военизированной охраны экспедиции» — моего эрдельтерьера Снукки. Я храню его до сих пор как дорогую реликвию славной, чудесной и, увы, невозвратимой поры — юности.

В самый последний момент, когда все сборы и приготовления уже были закончены, стряслась беда: к Зуеву нежданно-негаданно нагрянула из Ленинграда жена. Они были молодоженами: она и на Урал-то отпустила его весьма неохотно, где уж тут думать о Чусовой! Все предприятие готово было рухнуть, потому что именно Михаил Ефимович по замыслу нашего редактора должен был дать в журнал путевой очерк-отчет о поездке.

Два дня мы уламывали его, взывая к чувству товаи гражданской сознательности. Владимир Алексеевич сулил неограниченное место в журнале. При мысли, что путешествие может не состояться, он расстраивался больше всех.

Зуев, человек неврастенического склада, типичный горожанин, воспринимающий все и реагирующий островозбулимо, к тому же подогреваемый женой, не соглашался ни в какую.

Мы повесили носы. Тогда Владимир Алексеевич заявил.

Миша, ты подводищь меня.

Это подействовало. Зуев согласился, заявив, однако. что мы везем на Чусовую не его, а «его труп».

Ну, труп так труп, лишь бы ехать!

— А мы там тебя оживим, — с лукавой улыбкой заметил Владимир Алексеевич. И, к слову сказать, не ошибся. Когда мы заканчивали наше плавание. Зуев благодарил: «Спасибо, что вытащили меня, Теперь я смогу хорошо работать зиму...»

И вот мы в дребезжащем вагоне дачного поезда (электричек тогда не было), в окружении рюкзаков, запасов провизии, нагруженные и навьюченные до отказа... (Кто-то очень удачно сказал про туриста: помесь орла

с ишаком!)

Три дня нам пришлось сидеть в Коуровке в туристской базе ОПТЭ 1, на скалах Собачьи Ребра, в ожида-

нии хорошей погоды.

Скучно сидеть у моря и ждать погоды... Зуев предложил пропустить по стаканчику — оказалось, он захватил с собой бутылку водки. Я, со свойственной всем трезвенникам категоричностью и эгоизмом молодости, категорически воспротивился. Как же: моральное разложение, чуть ли не гибель всей экспедиции!...

3 veв вспылил, рассматривая мой запрет как проявление тирании и деспотизма. Назревала ссора. Неожиданно мою сторону принял Владимир Алексеевич (дисципли-

на прежде всего).

— Не будем, — со вздохом покорно согласился он. — Раз капитан говорит: нельзя, значит, нельзя.

И Зуев вынужден был спрятать бутылку в рюкзак.

<sup>1</sup> ОПТЭ — Общество пролетарского туризма и экскурсий.

Кстати, это была единственная бутылка за все наше двухнедельное путеществие.

Заново переосмысливая, вспоминая все это, я всякий раз вижу Владимира Алексеевича Попова, его пример

выдержки.

Вообще в дисциплине, подчеркну — в самодисциплине, он видел наинеобходимейшее каждому культурному человеку качество и мощное средство для достижения задуманных целей — в работе, в жизни, во всем. Сам — скромный, тихий, даже вроде бы незаметный (хотя люди всегда замечали и выделяли его) — он являл собой удивительный пример точности, исполнительности и умения владеть собой в любых обстоятельствах.

Наконец на третий день погода смилостивилась, небо очистилось от туч, солнце выглянуло, и мы тронулись в путь — вниз по матушке по Чусовой ... не по матушке по Волге, по широкому раздолью, как поется в песне, в этом нам пришлось убедиться сразу же: уже на первых километрах под днищем лодки захрустела галька, несколько раз нас едва не развернуло на камне кормой вперед, -

приключения начались. Внимание, глядеть в оба!

Владимир Алексеевич находился на Чусовой трое суток - ровно столько, сколько потребовалось, чтоб проплыть от Коуровки до Старой Утки. У меня создалось впечатление, что знаменитый редактор «Следопыта» и различных туристских изданий, много сил отдавший прославлению путешествий, сам впервые участвовал в подобном предприятии. Надо было видеть, как он наслаждался! Как сейчас, вижу его небольшую плотную фигуру на берегу у воды. Утром после сна, в одних трусиках, с полотенцем через плечо, он первым спускался к реке и долго полоскался там, фыркая и покрякивая от удовольствия («как собака», по выражению злоязычного Зуева). Плавать в быстрой Чусовой он не отваживался.

Владимир Алексеевич удивительно хорошо выглядел для своих лет. Никакой дряблости, тело крепкое, упругое, руки достаточно твердые, чтобы держать и перо журналиста, и весло. Я как-то заговорил с ним об этом. Выяснилось: каждое утро он проделывает гимнастику и обтирается до пояса холодной водой.

Правда, мы не очень утруждали его греблей, и он обычно сидел посередине лодки, откинувшись на спину и полузакрыв глаза, часами блаженствуя, как давно соскучившийся по отдыху человек. Солнце грело, ветерок обвевал, с берегов доносился аромат полей и лесов — хорошо! Это выражала вся безмятежность его позы.

Михаил Ефимович — неистощимый острослов — потешал «экипаж» бесконечными анекдотами и забавными историями из времен своей юности, когда он пробовал сеоя актером. Не отставал и «дядя Раф», Рабинович, тоже живой собеседник. Владимир Алексеевич посмеется вместе со всеми и опять с полуулыбкой на лице молчит, впитывая благодать чусовской природы. Замечательна была его черта — с полной готовностью следовать за спутниками во всех шумливых затеях и проказах. Я предложил снять товарищей как-нибудь посмешней, и Владимир Алексеевич немедленно полез под край палатки, где я их втроем и сфотографировал.

Перед Старой Уткой наша плоскодонка попала в лесной затор. Впереди была запань — гавань для улавливания плывущего «мо́лем» срубленного леса. Река оказалась перегорожена бревнами, сцепленными тросом, в

«мешок» набилась масса древесины.

Чуть ли не целый день ушел у нас на то, что мы, расталкивая бревна руками, пробивались на утлом суденышке через это бесконечное плавающее поле леса. Начало смеркаться, когда мы наконец приблизились к запани. Здесь бревна были стиснуты так плотно, что лодка стала и — ни туда, ни сюда.

Надо перетаскивать поверху. Мы втроем вылезли на бревна, а Владимир Алексеевич, сидя в лодке, уцепившись за борта руками, перетаскивался вместе с лодкой, с грузом. Из уважения к его возрасту мы щадили его.

— Тяните, тяните, — подбадривал он нас.

— Вам хорошо, — отругивался нетерпеливый Зуев. — А вы попробуйте сами... Сидит, как китайский божок!

Как сейчас. вижу эту картину: мы трое, мокрые до нитки, надрываемся из последних сил— и Владимир Алексеевич, посерьезневший, но по обыкновению невозмутимый, раскачивается в такт рывкам на скамейке то вперед, то назад... Взяли! Еще раз взяли! Мокрые бревна вертятся под ногами, — вот-вот сорвешься и либо сломаешь ногу, либо провалишься в эту ловушку с головой. А место глубокое, быстрина, вода под бревнами несет так, что подумать страшно... (Замечу, что плавать я не умел.)

Но вот наконец и запань... По бревнам, связанным намертво тросом, мы снесли на берег всю поклажу. На-

стал черед «Владим Ляксева» (это балагур Зуев изощрялся). Не тащить же и здесь его вместе с лодкой. И без него нелегко. Набухшая плоскодонка такая тяжеленная,

подними ее, — пожалуй, наживешь грыжу.

И тут наш шеф, или Кук (что ассоциировалось с именем знаменитого мореплавателя капитана Кука), как частенько в шутку называл его все тот же неистощимый весельчак и выдумщик Зуев, вдруг заартачился.

— Не пойду, — заявил он.

По привычке истого горожанина он захватил с собой на Чусовую калоши и зонтик. И вот сейчас встал посередь лодки, облаченный в калоши (в полной штормовой амуниции, как выразился Зуев), с зонтиком в одной руке и портфелем в другой (в портфеле у него было белье и предметы для умывания), и — ни с места.

— Да идите же! — крикнул нетерпеливый Зуев, про-

тягивая руку, но Владимир Алексеевич не трогался.

Сдрейфил старина! Пришлось взять его под руки и чуть не силой свести на запань, а оттуда, поддерживая с двух сторон, подвигаясь боком (ибо запань узка, всего два бревна), тихохонько-тихохонько «отбуксировать на сушу». Почувствовав под собой твердую почву, он сразу оживился.

Было уже совсем темно, когда окончились наши мытарства и мы разбили лагерь у подножия камня Бога-

тырь.

Запылал костер. Наша лодка с ободранным о бревна днищем, с вылезшей паклей, фонтанировала, сами мы перезябли и устали до изнеможения. Зато великолепное настроение было у Владимира Алексеевича. С довольным видом он расхаживал по лужайке перед костром, потирал руки, бормоча себе под нос:

- Замечательно! Замечательно!

— Чтоб вас черт побрал с вашим «замечательно»!— возмутился Зуев. — Он еще смеется... Видали? Мы тут маялись, маялись, можно сказать, с опасностью для жизни, а он — рад?!

— Хороший очерк будет, — кратко возразил «шеф». Приключение! Всегда он ставил на первый план приключение! Однако приключение в его глазах не было самоцелью. Оно обязательно должно служить познанию. В этом нетрудно убедиться, ознакомившись с напечатанным в «Уральском следопыте» за 1935 год. И наше приключение с лесной запанью у Старой Утки по мнению

закоренелого искателя острых сюжетов служило в первую очередь удачным поводом рассказать об особенностях чусовского быта и чусовской природы, о сплаве, об

экономике реки.

В Старой Утке, где близко подходила железная дорога, мы посадили нашего ловца приключений на подводу, и он без особых затруднений вернулся в Свердловск. Пробыть с нами дольше ему не позволили дела. Ведь он в одном лице представлял всю редакцию,

\* \* \*

Да, он один «делал» весь журнал, в месяц по номеру. И рукописи у него не залеживались, читались быстро, и свежий материал притекал неиссякаемой струей.

Характерно, что Владимир Алексеевич никогда не жаловался на перегруженность, занятость. Ни разу никто не слышал от него, что он устал, хочется отдохнуть. Все делалось как-то само собой, и всегда находилось время, чтобы встретиться с людьми, поговорить; пригласят посидеть вечерок за беседой, поразвлечься, — пожалуйста, он готов. Во время таких встреч вербовались

новые друзья и союзники журнала.

Журнал только начинал вставать на ноги, стал накапливаться «портфель», когда пришло распоряжение прекратить его выпуск. Это был большой удар для Владимира Алексеевича, увы, уже не первый. Теперь трудно разобраться, как это получилось, кто подсек хорошее, полезное дело. Помнится, прошла волна закрытия журналов, вызываемая требованием жесточайшей экономии бумаги. Кто-то посчитал «Следопыт» за ведомственный, и... Гонение на приключенческую литературу продолжалось. Именно в ту пору кто-то из критиков во всеуслышание заявил: «Слава богу, наша литература развивается не в сторону занимательности...»

Глупец, он лишал литературу самого драгоценного свойства: быть привлекательной, интересовать читателя, исподволь, незаметно для самого читающего насыщая знаниями и укрепляя его мировоззрение, служить делу

воспитания нового человека.

Еще Анатоль Франс в свое время сказал: «Чтоб знания хорошо усвоились, надо вкусно их приготовить». И само слово «следопыт» содержит в корне «пытливость», Так нет же!

Однако не так легко было сломить Попова. Неугоден журнал? Хорошо, зайдем с другого краю. Неугомонный, несдающийся, он с присущей ему энергией и настойчивостью берется за создание «Уральской библиотеки занимательного краеведения» (ныне давно стала библиографической редкостью).

Изучение края — ключ к углубленному познанию Родины. Через это человек приходит к неистребимой любви к матери-отчизне. Эта истина была давно ясна В. А. Попову, романтику до мозга костей, в преклонные годы сохранившему свежесть чувств и восприятие

юности.

В свое время точно так же при его ближайшем участии выходили серии— «Лики звериные», «Труженики моря» и другие подобные издания, горячо принятые читателями. Опыта не занимать!

В короткий срок одна за другой ложатся на стол приятно оформленные, в твердом переплете, строго одного формата, аккуратные книжицы: «Рассказы о золоте», «В тайге и степи», «С ружьем и капканом», «Урал медный», «Урал железный», «Народы Северного Урала», «Горючий камень», «Голубые артерии», «Самоцветы Урала», «Светлое озеро»... Уже сами названия говорят о том, сколь широк был охват тем, Урал вставал перед читательскими глазами во всем своем разнообразии. Отличное получилось издание! За отдельными выпусками этой библиотеки библиофилы-книголюбы охотятся до сих пор

Хочется обратить внимание на оперативность, быстроту и, если хотите, работоспособность и заинтересованность организаторов и издателей новой книжной серии. Газета «Правда» публикует большую передовую — «Знать прекрасную нашу страну»; статья эта целиком приводится в проспекте, предварившем выпуск «Уральской библиотеки занимательного краеведения». Статья в «Правде» датирована 24 июля 1935 года, а уже в 1936 и 1937 годах должны выйти 10 сборников общим объемом в 200 печатных листов. И они вышли! Владимир Алексеевич не сидел сложа руки; энергично действовало и издательство, очевидно зараженное его идеями и энтузиазмом. Всего за короткий период успело выйти около дюжины сборников. В эту же пору в Челябинске, местном издательстве, выходит сборник «Голубая жемчужина» — об уральских озерах, тоже составленный Поповым.

Но и «Библиотека занимательного краеведения» скоро приказала долго жить. (Последний выпуск помечен 1938 годом.) Пришлось расстаться с Уралом, столь гостеприимно встретившим старого следопыта, распахнувшим перед ним и сердца уральцев, и кладовые своей истории с неистощимыми запасами сюжетов. После отъезда Владимира Алексеевича составительство краеведческой библиотеки пытался продолжать редактор издательства А. А. Облонский, но это был уже не Попов. . .

Серые, скучные люди мешали ему. По их вине закрывались журналы, благодаря их настояниям, шмелиному зуденью неправомерно, обидно изгонялся, замирал жанр романтики приключений и путешествий, объявлявшийся

«неполноценным», «ненужным», «чуждым».

Вспомнили бы: разве «Следопыт» только развлекал? Именно «Всемирный следопыт» дал (в качестве приложения) первое большое собрание сочинений Джека Лондона, книжки Чарлза Робертса, многокрасочные таблицы «Народы мира». А сколько других специализированных выпусков, подобранных тематически, подобно «Труженикам моря», знакомящих с разными профессиями и далекими странами и народами, их жизнью и борьбой... Да что говорить! Познавательная, просветительная ценность многого, что было скреплено подписью Попова, родилось при его участии за десятилетия ревностного служения книжному делу, просто не поддается измерению.

Как можно понять из некоторых обмолвок, а также из писем Владимира Алексеевича, он сам и не собирался долго засиживаться на Урале. Поставит дело здесь — и дальше! Но поставить-то крепко, прочно, надолго как раз и не удалось. Думается также, что, может быть даже безотчетно, в нем жила мысль, он догадывался, что времени уже остается не так много, прожито больше, надо успевать.

Мне кажется, что именно после этого что-то надломилось в душе у неистового следопыта. Слишком много разочарований, несбывшихся надежд, рушилось дело целой жизни.

Здесь еще раз хочется остановиться на личности По-

Несомненно, это был человек незаурядный, но со сложной, а в последний период и трудной судьбой. Ду-

маю, что все, что ему пришлось претерпеть, отразилось на запасах его жизненной силы и преждевременно све-

ло в могилу. А их могло хватить надолго...

Человек прежнего воспитания, вышколенный жизнью, он сохранял и тот особый, свойственный старой интеллигенции облик. Необычайно скромный, вежливый, услужливый. Всегда встанет перед тобою, уступит стулдаме, в трамвай войдет последним. В обществе держал себя скромно, никогда никого не перебивает, сперва даст высказаться собеседнику, но стоило ему произнести несколько слов, и общее внимание обращалось на него. Было в нем что-то такое, что сразу же привлекало, рождало интерес к нему и почтение. От него исходила какая-то ясно ощутимая, идущая откуда-то изнутри интеллигентность, порядочность, вызывая глубокое уважение окружающих. Любил театр, наслаждался хорошими книгами. Возмущался, если кто-то при нем коверкал русский язык.

— Почему ты не следишь за речью? — упрекал меня. Его постоянные напоминания сделали свое — я занялся

своим выговором.

Сам Владимир Алексеевич в совершенстве владел не только родным русским, но и английским языком. Дважды побывав в Лондоне, хорошо изучил тамошнее произношение и говорил почти без акцента, как прирожденный лондонец.

От поездки в Лондон сохранялась памятка — портрет Генрика Сенкевича, с которым он там встретился, самолично подаренный ему писателем, с автографом и теплой надписью, стоявший в московской квартире на видном месте.

Из рассказов Владимира Алексеевича об Англии у меня сохранились в памяти почему-то описания двух-этажных омнибусов, неуклюжих и громоздких, всегда переполненных народом, спешащим на работу, и «бобби» — здоровенных английских полицейских с короткими резиновыми дубинками, подвешенными к руке на ремешке.

Как рассказчик Владимир Алексеевич умел находить точные, выпуклые детали, ярко рисовавшие предмет. Точности, четкости можно было позаимствовать у него и в обыденной жизни. На работу в редакцию явится минута в минуту («по-английски»); уходил вместе со всеми, ни раньше, ни позже. Не помню, чтоб он запо-

здал, обнаружились какие-либо отклонения в костюме,

внешности. Всегда все безупречно.

Правда, случались смешные странности. Как-то раз видим — его пальто висит не на вешалке, как у всех, а зацепленное за петлю, прометанную в борте. На вопрос, почему так, Владимир Алексеевич, нимало не смутясь, ответствовал: «Петля прочнее».

Думаю, что это шло от его бобыльего положения: оборвется вешалка — надо пришивать самому; петля вы-

дюжит дольше...

— Слушай, у меня же нет прислуги, чтоб чистить одежду. Будь любезен, не пачкай... — говорил он в другой раз моему догу Джери, легонько отводя от себя и гладя его. (Владимир. Алексеевич любил животных, верно, не случайно было появление «Ликов звериных», анималистические темы постоянно присутствовали и в старом, «Всемирном», и в «Уральском следопыте».)

Я не сказал — думаю, читатель уже догадался сам, — что знакомство наше скоро перешло в искреннюю дружбу. Владимир Алексеевич очень нуждался в друзьях, его не отпугнули некоторые черты моего характера (Чусовая!!!), несмотря на существенную разницу в возрасте, у нас нашлось много точек соприкосновения, общих интересов. Не стыжусь признаться, многого тогдая еще не понимал; дружба с Поповым шла мне на

пользу.

Доходили слухи (их привез Зуев), что семейная жизнь нашего «шефа» не задалась; да и сам он, в сущности, не скрывал этого. Может быть, потому в какой-то мере и принял предложение перебраться на Урал и жил холостяцки, хотя в Москве оставались жена и двое ребятишек. Все мы, его друзья, знали, что он очень тосковал по детям. Раз он даже привез их на Урал, они жили на даче в Нижне-Исетске, но ничего путного из этого не получилось: один мальчик заболел, схватив дизентерию, вероятно из-за недосмотра, а сам Владимир Алексеевич как был, так и оставался одиноким. В одиночестве его я убедился, побывав в Москве. Он и там жил как холостяк, сам кипятил себе чайник и готовил обед, чинил одежду. Если кто-то придет к нему, никто не выйдет на звонок, не откроет дверь. Атмосфера полной отчужденности, даже враждебности. Все это было очень грустно, а мне, не слишком осведомленному в тонкостях человеческой психологии и житейских сложностях, просто непонятно и удивительно. И, может быть, потому Владимир Алексеевич дорожил каждым часом веселья, любил шутку, меткое слово, от души наслаждался, попадая в приятную культурную компанию. Ему просто было необходимо это.

Странно, но сейчас не могу припомнить, где он жил в Свердловске, если память не изменяет мне, я ни разу не бывал у него дома, может, его квартирные условия были не ахти как блестящи и он стеснялся приглашать к себе, возможно, мешало что-то другое, но факт таков: в Москве — был, здесь — нет. Он ко мне на улицу Куйбышева, 103, когда мы сблизились, приходил многократно и всегда желанным гостем. Я был тогда еще холост, жил с родителями; и вообще только начинал познавать жизнь, — отсюда и непонимание некоторых вещей (многое приходит с годами).

Ох, как ухохатывался он, узнав о забавной выходке своего любимца Анатолия Климова. Климов ездил в Москву, там прожился в пух и прах, не осталось даже на билет, чтоб добраться до дому. Тогда, познакомившись с какими-то почтовиками, он — парень бывалый и не привыкший теряться — уехал бесплатно в почтовом ва-

гоне скорого поезда Москва — Владивосток.

— В почтовом вагоне! запломбированном! под печатью! А, каково? Ну, уморил! — Владимир Алексеевич утирал слезы, катившиеся из глаз. Смеяться он умел и любил.

Грустил, что годы бегут и можно не дожить до того благословенного дня, когда все изменится, минуют беды и невзгоды его любимого жанра. Все это временно, он твердо верил в это. Помню, как вздохнул, позавидовав Ассбергу, что тот еще силен и молод, берет от жизни все, а он, «Владим Ляксев»...

Сокрушался: никак не наладится контакт с директором издательства (потом тот стал директором рынка). Вздыхал: «Не понимает...» У самого у него все шло в каких-то добрых традициях демократов XIX века, видевших патриотизм в краеведении, поднимавших людей

на изучение родного края.

И опять — взгрустнет, молча, как бы даже чуть виновато. В такие минуты, мне казалось, он всегда вспоминал о сыне от первого брака (люди, знавшие обоих, утверждали, что духовно они были близки); и, думается, в каждом молодом человеке искал черты того, ушедшего безвременно, столь жестоко покинувшего его. Сво-

им стоицизмом он напоминал благородного Чингачгука, не пролившего ни единой слезы, не проронившего ни одной жалобы, когда его горячо обожаемый единственный сын Ункас навсегда ушел от него...

Наверное, потому и молодежь тянулась к нему. С душой нежной, как у женщины, он мог обогреть каждого; для каждого найдет доброе слово, был наставником и покровителем многих. Скольких начинающих он отцовски поддержал, ободрил на первых неуверенных шагах по незнакомой, скользкой и коварной стезе!..

Писатель Николай Ловцов вспоминает, что через редакцию «Всемирного следопыта» прошли многие, позднее весьма именитые авторы: бывал здесь исследователь Уссурийской тайги Владимир Клавдиевич Арсеньев, известный полярник Ушаков, Михаил Михайлович Пришвин. Именно там, в «Следопыте», была впервые опубликована повесть «Голова профессора Доуэля», подписанная тогда еще никому не известным именем: Александр Беляев...

Сам Владимир Алексеевич почти не говорил об этом — считал в порядке вещей. Противник сантиментов и оплакивания того, что уже не вернется, он редко ворошил прошлое. Только однажды он разошелся — проговорил целый вечер, коснувшись событий многолетней давности. Всем ценителям русской поэзии и культуры, думаю, будет небезынтересно узнать некоторые подробности, давно минувшие в Лету и связанные с восходом и закатом личности, всем нам дорогой, бесконечно почитаемой...

Раз — еще до первой мировой войны, когда Попов редактировал у Сытина детский журнал «Мирок», — к нему пришла их редакционная девушка-уборщица и, смущаясь, попросила:

— Владимир Алексеевич, тут парнишка один стишки сочиняет, знакомый мой... из одной деревни мы... а показать стесняется... Можно, я его приведу?

Владимир Алексеевич внимательно посмотрел на

— Твой?.. — Она потупилась. — Ну что ж, приводи. Назавтра порог его кабинета нерешительно переступил, подталкиваемый шепотом своей покровительницы, светлокудрый, голубоглазый и розовощекий, как керувим, паренек, очень застенчивый и очень-очень русский,

по замечанию Попова. Робко постоял у дверей, затем

протянул стихи.

Стихи были о природе, что-то вроде — «травка зеленеет, солнышко блестит». Однако в них присутствовал несомненный поэтический дар. Владимир Алексеевич напечатал их. Позднее юный слагатель рифм еще несколько раз приносил плоды своего творчества, все так же конфузясь и краснея. Это был Сергей Есенин...

Тесная дружба связывала их всю недолгую жизнь

поэта.

И — последняя встреча: когда Есенин, всемирно признанный, знаменитый поэт, но смятенный более, чем когда-либо, почти невменяемый, приходил к нему в ночь перед своей смертью, в ту последнюю, роковую ночь...

К старому следопыту можно было прийти со своим горем в ночь-полночь. Обидно, что сам он к концу остался почти один...

## \* \* \*

Хочется хотя бы в нескольких словах рассказать

о «сытинском» периоде жизни В. А. Попова.

О самом И. Д. Сытине, издателе-демократе, сразу после революции передавшем типографию и все свое издательское дело в полную собственность новой власти, написано достаточно много. Он рассказал о себе и своей деятельности в обширном издании 1916 года — «Полвека для книги». В советское время выпущен солидный том «Жизнь для книги» (1962), куда вошли «Страницы пережитого» — воспоминания И. Д. Сытина.

В. А. Попов с 1908 года редактировал журнал «Вокруг света». По отзывам знавших его, всегда бодр, очень живой, и работа кипела. Имел полную самостоятельность в журнале. Был англоманом, превосходно владел английским языком уже тогда. В 1914-м занимался бойскаутами, любил молодежь, запоем читал Конан-Дойла и рекомендовал читать другим. Редакция помещалась на улице Горького, где сейчас газета «Труд» (по-старому,

Тверская, 48). Там жил И. Д. Сытин.

Сам Сытин утром вставал, принимал душ и уходил на Пятницкую, где была типография, носящая ныне название Первой Образцовой. Ему представляли списки на книги. Если стояла цена 1 рубль 10 копеек, он переправлял— «60 коп.» и давал указание изменить бумагу,

шрифт, чтоб было дешевле, доступнее. «У него был глаз», все видел, не вмешиваясь. Так не вмешивался он и в дела Попова, давая простор для инициативы и творчества. Видимо, так, как шло у того, вполне устраивало его.

А шло и впрямь неплохо. Вышли приложения «Мир животных в фотографиях с натуры», «Чудеса мира в фотографиях с натуры», сборники «На суше и на море». Позднее за ними последовало приложение — собрание сочинений Генрика Сенкевича; для этого в 1914 году Попов едет в Варшаву, к Сенкевичу (предложил съездить И. Д. Сытин). Затем приходит черед других именитых писателей-приключенцев: Майн Рид, Джек Лондон, Райдер Гаггард, Чарлз Робертс, Стивенсон, Брет-Гарт. Выходили и русские авторы, так в 1913 году вышло приложение — 36 книг, собрание сочинений Льва Николаевича Толстого.

Еще раз говорю: всего не перечтешь, выходило много, и ко многому прикасалась рука В. А. Попова. Несомненно, работа у Сытина дала ту закваску, которая потом питала все литературные замыслы и деяния Попова. Отсюда многочисленные издания уже советского периода, «Уральская библиотека занимательного краеведения» и т. д. и т. п.

Сам он пишет об этом периоде в справке РЕДАК-ТОРСКАЯ И ПИСАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. А. ПОПОВА-ШТАРК с 1906 по 1941 г. (мне прислала ее С. Д. Лялицкая вдолге после смерти В. А. Попова):

«С 1906 года по 1918-й состоял редактором самого дешевого тогда журнала «Мирок», подписная плата которого была 1 рубль в год (12 №№ с маленькими при-

ложениями).

С 1908 по 1918 г. состоял официальным и фактическим редактором журнала «Вокруг света», издававшегося тем же Сытиным, причем первые три года вел и всю редакционную работу, управляясь с ней один (вот откуда привычка и уменье делать все одному!), и только на четвертый обзавелся секретарем, помогавшим мне выпускать еженедельный журнал, полные собрания сочинений иностранных писателей приключенческого жанра вроде Жюля Верна, Майн Рида, Луи Жаколио, Буссенара и др., а также и таких писателей, как Виктор Гюго, Сенкевич, Сельма Лагерлеф, Фламмарион, Сетон-Томпсон, Эдгар По и др., не считая доплатных приложений.

За все это, включая и собрания сочинений, получал от

хозяина 300 руб. в месяц...»

Удивительно, что ни в сытинских воспоминаниях, ни в одной книге о Сытине мы не найдем упоминания о В. А. Попове. Как будто его не существовало. Почему? Остается загадкой. Впрочем, единственный ли это пробел в истории русской литературы, русской отечественной культуры?

\* \*

Сейчас, обращаясь мыслью в прошлое, остается лишь пожалеть, что я был нелюбопытен, мало выспрашивал Владимира Алексеевича и совсем ничего не записывал (привычка записывать пришла позднее). Кто-то очень верно заметил, что в молодости мы мало обращаем внимание на исчезновение даже самых близких людей: вероятно, нам кажется, что они всегда будут с нами, а потом с грустью убеждаешься, сколь скудны наши познания о них. Лишь спустя годы я предпринял некоторые разыскания, увы, почти безрезультатные. Мне не удалось выяснить даже точной даты и места рождения Владимира Алексеевича. Вообще какие-либо материалы и сведения биографического порядка о В. А. Попове оказались очень скудны. В ответ на мой запрос Центральный государственный архив литературы и искусства СССР сообщил, что в хранении имеется лишь переписка В. А. Попова с И. А. Белоусовым (1901—1917 гг.), а также письма В. А. Попова известному детскому писателю С. Т. Григорьеву (1924—1934 гг.), фонд № 2194, и — все. В одном из писем Григорьеву содержатся такие строки: «судьба и московская безработица (молодые волки забивают старых) загнали меня на Урал, куда я приехал по приглашению Ур. Обл. Союза Сов. писателей...» и т. д. Горькие строки. После, как мы увидим. настроение Владимира Алексеевича изменилось, однако по-настоящему хорошим оно уже не было никогда.

Краевед и разыскатель Ю. М. Курочкин навел меня на след В. С. Зотова, жителя Калуги. Зотов быстро ответил: «К большому сожалению, почти ничего не могу сообщить Вам о Владимире Алексеевиче Попове. В 1921—22 годах я часто видел его, но значительная разница в возрасте весьма ограничивала сферу нашего общения. В то время я совершенно не интересовался биографией В. А., довольствуясь яркими впечатлениями

от общения с ним. (Вот-вот, точно, как и я!) Это был человек замечательный!»

...После разрыва отношений с издательством ЗИФ. в письме от 9.VII.1931. В. А. писал: «Ныне я состою. между прочим, представителем в Москве ленинградских журналов «Вокруг света» и «Борьба миров» — и указывал свой алрес — «Москва, Никольская, 8, Госнаучтехиздат... ученому секретарю В. А. Попову». Кроме того, в этот период В. А. имел какое-то отношение к журналу «За торфяную пятилетку», 7.Х.34, уже из Свердловска. В. А. Попов сообщал Зотову, что приступил к организации «Уральского следопыта», а буквально через две недели (22.X.34) откровенно признавался: «...воссоздать Следопыт — где? На Урале. Никогда мне это в голову не приходило. В Москве я бился над разрешением журнала долго и бесплодно, а здесь, в краевом разрезе. Следопыт встречает горячее сочувствие и всемерную полдержку со стороны партийных верхов области...» Бесспорно, это подбодрило следопыта Попова.

Зотов переслал мне полный и точный текст письма Владимира Алексеевича — К. Э. Циолковскому. Письмо, уточнял Зотов, напечатано на пишущей машинке, на листе, подклеенном к фирменному бланку редакции журнала «Всемирный следопыт», «Всемирный турист» и «Вокруг света». Подпись и дата написаны красными чернилами. Подлинник письма хранится в архиве Академии наук СССР (фонд 555, оп. 3, № 167). Письмо несомненно интересное, поскольку характеризует широту кругозора В. А. Попова как редактора и гражданина.

## «Уважаемый Константин Эдуардович!

Редакция журнала «Всемирный следопыт» предполагает поместить в одном из ближайших номеров очерк, посвященный Вашей личности и творчеству, и статью с обзором Ваших научных идей и проектов. Помещение очерка и статьи имеет между прочим подвинуть вопрос об издании за счет государства всех Ваших произведений.

Не откажите выслать следующие Ваши брошюры как материал для статьи:

Защита аэронавта. Нирвана. Образование Земли. Горе и гений. Воздушный транспорт. Монизм вселенной. Причина космоса. Образование солнечных систем. Дополнение к нему. Космическая ракета 27 г. Ум и старость.

Прошедшее Земли. Будущее Земли. Истинный эгоизм. Общественная организация человечества. Растение будущего. Стальной дирижабль. Богатство космоса.

Кроме этих брошюр нам хотелось бы иметь и другие Ваши книги и брошюры, чтобы возможно полнее представить Ваше творчество. Особый интерес для нас имеет материал, который близок по характеру к направлению нашего журнала. Между прочим, в одной из своих брошюр, если не ошибаемся, Вы выдвигали проект о своеобразном освоении малодоступных тропических местностей путем разделения их на участки, заключенные в сетки, уничтожения вредных насекомых и гадов и пр. Этот проект интересует нас, и мы просим прислать материал. Книги и брошюры, которые Вы не можете продать, просим прислать на время, и мы вернем их в целости с благодарностью.

За перечисленные книги посылаем одновременно с этим письмом почтовые переводы, их стоимость 7 (семь) р. За дополнительно высланные книги будет уплачено нами немедленно по их получении.

Примите уверения в совершенном уважении

Зав редакцией Вл. Попов. 8/1V.30».

И — ответ Циолковского (был опубликован во «Всемирном следопыте», в № 10—11 за 1930 год):

«Всемирному следопыту.

Желаю журналу всемерно возбуждать в широчайших массах стремление к познанию мира. Особенно хочется мне, чтобы журнал «Всемирный следопыт» толкал мысль нашей молодежи к перестройке Земли на новых социалистических началах. Всегда вперед, не останавливаясь вперед. Вселенная принадлежит человеку.

5 окт. 1930 г. Конст. Циолковский».

От Зотова мне стало известно, что сбором материалов о Попове занимается преподаватель Московского института культуры Валерий Алексеевич Николаев. Вскоре я имел ответ Николаева, из города Химки: «Материалы о В. А. Попове у меня действительно кой-какие есть. Это главным образом воспоминания сотрудничавших с ним писателей и журналистов, художников... Но самое печальное, — писал далее Николаев, — я не знаю ни даты рождения В. А., ни кончины. В. В. Белоусов писал: «Когда в конце 1942 года я приехал в Москву, я разыскал на Александровской улице его жену, которая

рассказала мне, что В. А. Попов был сшиблен грузовиком на затемненной улице Москвы в то время, когда он брел к Шпиру в надежде подкормиться. Через несколь-

ко часов он умер в больнице».

В апреле 1972 года мне наконец удалось разыскать влову В. А. Попова — С. Л. Лядицкую. Из старой квартиры в одном из центральных районов Москвы она лавно переселилась в новый дом по улице Летчика Бабушкина — в построенный после войны новый район. Дома не застал, сказали, скоро должна быть. Подождал, стоя на крыльце, увидел издали — идет... Неужто она?! Боже мой, как она изменилась (собственные перемены в себе не замечаем; а тут, когда не видишь долго...). «Еще раскачивается, вот так...» — вспомнились слова соседа. у которого справлялся о ней. Ну, чисто ванька-встанька, туда-сюда, такую походку встретишь не часто; раньше она так не ходила, по крайней мере, не помню. Вот что делает время. Замотана в платки, глаз не видно. — да она ли? Меня она узнала сразу: «Боря?!» Сомнений никаких, «Боря Рябинин! Ну, как же, помню, помню... проходите, пожалуйста... Вы не возражаете, что я называю вас Борей?» Очутившись дома и размотав платки. она явила собой прежнюю Софью Дмитриевну — энергичную, любознательно-воинствующую, с активным наступательным характером.

Журналистка и автор ряда научно-популярных книг, Софья Дмитриевна, как и прежде, продолжала заниматься литературным трудом, выглядела бодрой, несмотря на свои 76 лет и тяжелую походку вперевалку. Жила она совершенно одна, в отдельной однокомнатной квар-

тире с телефоном. Держала кота:

Мы не виделись по крайней мере тридцать пять лет, однако понадобилось лишь несколько секунд, чтоб

узнать меня: «Боря!»

Кот терся о ноги, мешал разговору, — хозяйка заперла его на балконе. Я отметил деталь: балкон обтянут густой проволочной сеткой, — очевидно, коту часто приходилось пребывать там в одиночестве, сетка остановит,

если он позарится на птичек...

Через несколько минут я уже знал все основное: что последнее время она занимается исследованием жизни и творчества Аксакова, что сын, Юрий Владимирович, живет в другом городе, и, хотя она здесь одна, скучать некогда... и т. д. и т. д.

К сожалению, кула менее полробно и обстоятельно смогла она ответить на вопросы, касавшиеся Владимира Алексеевича. Вероятно, все-таки начала подводить память. «Да и давно было». Все же в этот вечер я узнал кое-что, ранее неизвестное мне

По словам Софьи Дмитриевны, Владимир Алексеевич происходил из рода известных московских купцов Поповых. Однако уже отец порвал с купечеством: отец был корректор, писал стихи. От него, надо думать, набравшись ума-разума, ступил на эту стезю и сын. . .

Была у него примесь немецкой крови. Софья Дмитриевна хорошо помнила сестер-теток — немок Луизу и Иду: третья из сестер, Минна, вышла замуж за Попова и стала матерью будущего неистового следопыта. Минна пользовалась всеобщей любовью. Сестры называли ее «крошкой», говорили, что она из троих была самая хорошая. Жили они на Арбате. От матери Владимир Алексеевич заимствовал пунктуальность, а также литературный псевдоним: «Штарк», фамилия, которой он подписывал некоторые свои произведения, не вымышлена им, а, так сказать, в какой-то мере по закону его.

Для меня было неожиданным узнать, что кроме английского Владимир Алексеевич владел и французским языком: в ранней молодости жил в Лозанне, в Швейцарии, учился там на французском. Трудовую деятельность начал по тогдашним воззрениям довольно рано — у Тихомирова (на Арбатской площади) мастерил какие-то учебные пособия: после перешел к Сытину. «Мирок» был в то время самый дешевый, общедоступный журнал — 1 рубль за год, — но давал знания. С него начинал В. А. Попов.

Как произошло его сближение с Сытиным, она не знала. Помнила — Владимир Алексеевич говорил, — что Сытин любил новых людей, заприметив кого-либо, охотно брал к себе на работу. Журнал «Вокруг света» начал выходить еще в конце прошлого века; вот там-то, в начале XX столетия, юный Попов и ухватил кончик той нити, которая, подобно волшебной нити Ариадны, повела его по нехоженым тропам следопытства. Уже там определилась его наклонность, переросшая со временем в подлинную, одну, но пламенную страсть, которую он пронес через всю сознательную жизнь, страсть,

которая привела его и на Урал и познакомила с ним нас, уральцев, подарив взаимное доброе чувство —

дружбу.

Софья Дмитриевна заявила, что Лева, первенец Влалимира Алексеевича, погиб не на Алтае, а умер в Ташкенте, хотя мне хорошо помнилось, что прежде речь шла об Алтае и геологической экспедиции. (Помнится даже. говорили, что он утонул во время переправы через горную реку.) Софья Дмитриевна утверждала также, что жизнь самого Владимира Алексеевича оборвалась не в сорок первом, а в сорок втором году. Она говорила, что v нее есть официальный документ — справка милиции, удостоверяющая это, и обещала найти и прислать ее мне, но справки я так и не получил. А вообще, говорила она, сохранилось очень, очень мало. В войну в старой квартире, по улице Октябрьской, 38 (что недалеко от Центрального Дома, Театра и музея Советской Армии), располагалось домоуправление: когда она с детьми вернулась из эвакуации, выяснилось, что ничего не сохранилось, даже обстановки. Из памятных реликвий уцелел портрет Сенкевича с дарственной надписью, который когда-то я видел на столе у Владимира Алексеевича; Софья Дмитриевна хотела отыскать его... и тоже, увы!

К слову, по старому адресу я уже был и удостоверился, что в бывшей квартире Поповых живут другие люди, а о Владимире Алексеевиче Попове не знали и даже слыхом не слыхали, хотя некоторые рекомендовались старожилами этого дома. Помню, мне стало грустно. Во всем громадном доме не нашлось ни одного, который бы знал его. Никто не вспомнил, что жил такой человек. Никто. Но я-то знал — жил! Я слушал Софью Дмитриевну, смотрел на старые книги, которые густо заселяли ее современную квартиру, а мыслями был далеко — в предвоенных годах, когда еще был жив Владимир Алексе-

евич...

\* \* \*

Встречаясь в последующие годы с Владимиром Алексеевичем в Москве, я с грустью каждый раз отмечал, что он начинает сдавать, появилась расслабленная шаркающая походка, не стало прежнего оптимизма. Неудачи, разочарования подтачивали его. Старость подбиралась долго и незаметно и — вдруг стала ясно видимой, ощутимой.

Еще в бытность в Свердловске, как-то съездив «на побывку» в Москву, он возвратился совершенно неузнаваемый, враз постаревший лет на десять. Выяснилось: дома его обокрали, влезли через форточку и унесли тот темно-синий костюм, в котором привыкли видеть его, вообще все ценное, что можно было унести. Он вернулся на Урал в каком-то белом, в полоску, мятом фланелевом или коломянковом, не то дачном, не то спальном, костюме, несчастный, даже жалкий — будто совсем не он. Бедный, бедный Владимир Алексеевич, кажется, все было против него, даже воры-домушники! И впрямь впору упасть духом, сдаться...

От этого удара Владимир Алексеевич уже не оправился. Вообще с житейскими, бытовыми испытаниями он совершенно не умел бороться и терялся при первом же столкновении с ними. Он вдруг сразу как-то увял, начал шамкать, перестал следить за собой. Помню, сидя у него в московской (полупустой) квартире, я вдруг обнаружил: чайник стоит на книге. Прежде никогда этого не

бывало!

Однако он не переставал строить новые планы.

Он был удручен, подавлен грузом забот, но не сломлен.

Какое-то время Владимир Алексеевич подвизался в ежемесячнике «На суше и на море» и в некоторых других журналах географического направления, главным образом ведомственных (там еще признавали его работу нужной!). Встретившись в редакции «СиМ» (сокращение Попова), мы шли в подвальчик в Охотном ряду. Там, где сейчас белостенный, блистающий зеркалом витрин универмаг «Детский мир», на углу, помещался третьеразрядный ресторанчик «Иртыш», что-то вроде прежних «обжорок», в нем обычно обедал Владимир Алексеевич (редакция находилась тут же неподалеку, в Малом Черкасском), и там, под стук ножей и звон посуды, он посвящал меня в свои ближайшие намерения и свое житье-бытье.

Он собирался написать цикл занимательных биографий замечательных русских путешественников. Со временем они должны были составить книгу. Пока же, по мере готовности, он публиковал их в «На суше и на море», журнале советских туристов. У него была договоренность — давать по биографии в номер. Для этой цели, изучая литературные источники и архивные материалы,

Владимир Алексеевич много просиживал в библиотеке имени В. И. Ленина.

Но кормило это плохо. Владимир Алексеевич старался не поддаваться унынию, все же оно прорывалось. Стесненное материальное положение часто проявлялось в том, что он вынужден был прибегать к дружеским займам, позднее забывая о них. Обижался на молодого ре-

дактора «СиМ»: не уважает старость и опыт.

Постепенно наши встречи стали повторяться все реже и реже — Москва тогда была дальше от Урала, чем теперь, в эпоху быстрокрылых комфортабельных лайнеров. Изредка я встречал знакомую фамилию — «Вл. А. Попов-Штарк» — в печати. Общение поддерживалось теперь лишь через почту. Потом, я слышал, он поехал куда-то в Среднюю Азию, кажется, в Ташкент, с прежней целью — не удастся ли под тем или иным названием возродить любезный его сердцу «Следопыт», попытать счастья там, где, кажется, сам ветер поет рубайи Омара Хайяма и доносится стук конских копыт — века и тысячелетия проносятся на горячих скакунах... Трудная полоса еще не прошла, однако неутомимый организатор, литератор-приключенец оставался верен себе. Он не мог ждать!

Милый, дорогой мой, старый следопыт! Постепенно тропа его уходила все дальше, теряясь в романтической туманной дымке. Он уподоблялся в моих глазах фейхтвангеровскому сенатору Варрону, который, сняв свои патрицианские регалии, в рубище простолюдина, с посохом, уходит все дальше на Восток, в таинственную и манящую Парфию — далекую Азию, чтоб так же, как тот гордый римлянин, познавший прелесть и бессмертие мирского, затеряться среди живших там миллионов живых существ...

Но — не затерялся. Передавали, что он сумел осуществить один или два выпуска «Среднеазиатского следопыта», уже альманаха, а не журнала. А потом... потом снова был вынужден вернуться на пепелище в

Москву.

Не один я принимал близко к сердцу судьбу Владимира Алексеевича Попова, — у многих он оставил память сердца — самую верную память. Много времени спустя, а точнее, в 1974 году, когда Владимира Алексеевича давно уже не было в живых, из Ленинграда мне прислал письмо С. В. Попов, почетный полярник, инженер-гидрограф, один из авторов книги «Топонимика морей Советской Арктики», книги, в которой, как отмечал С. В. Попов, «мы многократно вспоминаем исследования

В. А. Попова, моего однофамильца».

«Дело в том. — писал С. В. Попов. — что Попов-Штарк вел в журнале «Советская Арктика» солидную рубрику «Говорящая карта Арктики» (до 1940 г.). Его многочисленные публикации о происхождении географических названий в Арктике и книга «Тайны Арктики» для нас, занимающихся историей исследования и топонимикой этого района, были как бы букварем. Всегда поражало знание автором материала, его эрудиция. Представлялся эдакий глубоко ушедший в эту тему ученый. Даже трудно было предположить, что у него может оставаться время на что-то еще. Оказывается. арктические публикации Попова-Штарка, наоборот, были для него чем-то попутным, не основным... Да. несомненно — большой работоспособности И человек!

Вам ничего не известно— не остались после Владимира Алексеевича картотеки географических названий или неопубликованные труды по происхождению географических названий и истории Арктики? Не могут ли в этом вопросе что-нибудь уточнить упоминаемые Вами В. С. Зотов и С. Д. Лялицкая?» (Спрашивавший прочел мой очерк о В. А. Попове в «Уральском следопыте», и это побудило его обратиться ко мне.)

Позднее в Ленинграде состоялся продолжительный разговор по телефону с С. В. Поповым (он болел и не мог встретиться). Он сообщил много любопытного, относящегося к этому — последнему — периоду жизни Вла-

димира Алексеевича.

С его слов я узнал, что Вл. А. Попов был связан с В. Ю. Визе; тот не жаловал литераторов, обычно отзывался о них крайне уничижительно, но тут личности автора не касался, — как говорится, тот был вне критики. Мастер! Тему великих путешествий знал, как, пожалуй, никто. Рубрика «Говорящая карта Арктики», которую завел журнал «Советская Арктика», по общему признанию, была очень нужная и пользовалась большой популярностью; 80% публиковавшегося в ней принадлежало перу Попова-Штарка. Рубрику он вел лет пять, почти с начала и до войны. О чем писалось в ней? Например, «остров Врангеля» — сто лет то называли так, то не на-

зывали; рассказали, откуда название, и — тут же биография Врангеля — мореплавателя-исследователя. В том

же духе были другие публикации.

Эти публикации трогали Визе, закоренелого полярника и всеми признанного авторитета в ученом мире, даже вызвали его выступления об этом. «Затронули нас, — говорил С. В. Попов, — что подтолкнуло взяться за книгу о топонимике Севера». В 1940 году вышла книга В. А. Попова «Тайны Арктики», настоящий подарок и открытие для многих любителей Заполярья. Но сама личность В. А. Попова, живой Попов оставался для многих непознанным (еще одна из загадок Арктики?).

Кое-что о Попове знал Н. Я. Болотников, старейший сотрудник «Литературной газеты», последние годы жизни много занимавшийся Севером. Тема Попов и Арктика была его любимое детище. В. А. Попов в Арктике не бывал, но сделал много и занимался Арктикой с воодушевлением (как и всем, на что падал его взор и чему он отдавал свои недюжинные способности и силы). Думали, след остался в Арктическом институте, но там

ничего не обнаружили...

Книга профессора М. И. Белова «По следам арктических экспедиций» (по следам разных находок, материальных остатков исчезнувших экспедиций. Вышла в 1978 году) по сути навеяна трудами В. А. Попова. Так говорил С. В. Попов.

Об этом периоде немногословно говорит Владимир Алексеевич (он всегда говорил о себе немногословно.

См. Справку):

«...С той поры (то есть как вернулся в Москву. — Б. Р.) я живу только лит. трудом, печатаясь в разных журналах: «Краснофлотец», «Вокруг света», «Вожатый», «Детская литература» и т. д. Самые последние годы мне удалось занять позиции в журнале «Советская Арктика», где прошел целый ряд моих статей по истории, в результате чего при содействии тов. Кренкеля, лично меня знающего, сейчас вышли три книжки: «Полярные находки», «Федор Матюшкин» и «Миражи Арктики», о чем... (пропуск в тексте), в 13 авт. листов, выходит... (большой пропуск), они посвящены «Истории происхождения географических названий». («Говорящая юрта»)... (снова пропуск). В издательстве же Академии наук принята моя книга в 20 л. «25 биографий замечательных русских

путешественников», удостоившаяся в рукописи одобрения академика Обручева.

Теперь я хлопочу о пенсии, на которую имею право

по своему возрасту (66 лет).

В. Попов-Штарк».

\* \* \*

О мыслях, настроениях этого периода и направлении поисков старого следопыта дают представление письма. В них, мне кажется, Владимир Алексеевич предстает со всеми своими думами и надеждами, таков, каков есть, каким был.

«Москва, 30 мая 37 г.

Дорогой мой Боренька! ...Заочно обнимаю тебя, целую и шлю тебе свою горячую благодарность за твое милое отношение ко мне во все время моего тяжелого жития в Свердловске. Чем дольше я там жил, тем тяжелее мне становилось, Будет ли мне лучше здесь? Не думаю. Но все же московский пульс жизни настолько мне привычен и настолько унылой для меня была атмосфера Свердловска, вернее, Свердлгиза, что я больше не был в силах оставаться там. Все равно конец мой близок — там ли, здесь ли, но все же тянет кончить свои дни там, где провел и проработал всю свою трудовую жизнь. Я настолько изверился в возможности нового подъема в своей деятельности, что и сейчас не верю в то, в чем меня заверяют в Детиздате, где я беседовал с директором тов. Цыпиным, а именно: он заявил мне, что Детиздат решил взять в свои руки ленинградский «Вокруг света», расширить его и «приставить» меня к этому делу. Повторяю, что я совершенно не верю, чтобы это могло случиться, хотя тов. Цыпин — человек, не привыкший «бросаться словами»; он, как говорят, самый деятельный, широкий и решительный издатель в Москве. Но и охотников пристроиться к этому делу найдется здесь немало, хотя и без заслуг, но со связями...

Наша Уральская краев (едческая) библ (отека), несмотря на всю свою огромность, интересует здесь всех, кому ни покажешь, — настолько ново это явление, за которое еще никто не решался взяться даже и здесь, в Мо-

скве...

Твой Вл. Попов».

Приветствую тебя, милый мой друг Боря, с Новым годом..... Что касается меня, то я, по семейной своей линии, пою по-прежнему «Страданья», ну, а что касается моей новой профессии писателя от историко-географической науки (если таковая существует), то могу сформулировать мою деятельность теперешнюю так: занимаюсь гробокопательством. т. е. разрываю старые могилы, собираю разрозненные человеческие кости и воскрешаю покойников. Уверяю тебя (хотя этому трудно поверить), что это не аппетитное на первый взгляд занятие может быть весьма увлекательным. В журнале «СиМ» в 1938 г. я таким образом воскресил 12 покойников. Столько же собираюсь воскресить там же в новом году. В ж. «Сов. Арктика» (журнал почти мифический, но он все же выходит ежемесячно) воскрешаю десятки полярных исследователей в каждом номере («Говорящая карта Арктики»). В ленинградском новом журнале «Краснофлотец» (сами обратились ко мне как профессиональному гробовщику) началась... (несколько слов неразборчиво) на тему о «Замечательных русских моряках» (все сплошные покойники)...» Дальше он перечислял еще ряд из-даний, с которыми намеревался поддерживать добрые деловые отношения, сообщал, что задумал книгу о замечательном русском мореплавателе и флотоводце Головнине. И в заключение: «Последствия моей летней кражи до сих пор дают себя крепко чувствовать: хожу по-прежнему без галош, в драповом пальто и в толстовке, которую износил еще в Свердловске, но к счастью не выбросил. Но для своих лет я не считаю это трагедией: «мне некого больше любить» и меня никто больше не любит, поэтому я могу ходить михрюткой. Дружески жму руку...»

«Москва, 1 июня 1939 г.

Здравствуй, Боря милый!

Ценя нашу с тобой непрекращающуюся дружбу, сообщаю тебе именно в дружеском порядке мою новость: я приглашен Детиздатом в качестве редактора раздела географии всеобщей и отечественной Детской энциклопедии (10 томов, по 1 тому ежегодно) в результате моего личного обращения в ЦК ВЛКСМ с месяц тому назад. Редакторство ни в какой мере не исключает личного авторства в этом фундаментальном издании, для чего остается достаточно времени, ибо собственно служба ограничивается 3-мя днями в пятидневку. На первых

порах «положили» оклад в размере 700 руб. Само собой разумеется, что не оборву я и своего постоянного сотрудничества ни в одном из 4-х журналов, где являюсь постоянным автором... Таким образом, дела мои теперь улучшатся и кончатся перебои с деньгами, вытекающие из крайне неровного получения гонорара, неаккуратного выхода журналов и тесноты в них бумажной площади (объема).

Т. к. хозяин (парт.) энциклопедии, тов. Панков, который меня знает, вполне доверяет мне и ценит, как опытн. работника, и товарищ он приятный, то орудовать мне в редакции будет сподобно, ибо там все дамы неопределенного возраста и сомнительной ред. квалифика-

ции.

Дома с каждым днем все хуже и хуже...

Твой Вл. Попов».

(Однако время шло, а дело с Детской энциклопедией не двигалось. Не оправдались надежды и на 700-рублевый оклад. Перестал выходить альманах «На суше и на море». При всей мизерности гонорара, который получал там Владимир Алексеевич, это была едва ли не самая крупная потеря. «Полный непробой»!)

«18/X.40

Дорогой мой, милый Боренька!

Очень рад был получить твое письмо. Благодарю тебя за память. Ведь ты единственный, сохранивший еще память обо мне и добрые воспоминания о совместной работе по уральской краеведческой литературе, которая была дорога обоим нам и в то время и сейчас. Других же нет, а те далече... Появившиеся в последнее время заметки в советской печати о приключенческом жанре ты преждевременно связываешь с моим восходом в этом жанре. Пока что это не так — в этой области по-прежнему все мертво и не наблюдается никакого движения воды. Быть может, к январю дело оживится и я встану вновь на рельсы, но надежды на это мало. Я и сам в день появления заметки... (неразборчиво) обратился в отдел печати... (неразборчиво) с предложением своих услуг в этой области. Теперь жду ответа. По приезде в Москву не откажи повидаться со мной.

Душевно любящий тебя Вл. Попов».

Вскоре мы встретились. Увы, не надо было ни о чем расспрашивать: вид Владимира Алексеевича яснее слов

товорил — дела отнюдь не лучше... Плохо, просто плохо! Все одни посулы и ничего определенного. А, как го-

ворится, обещаниями сыт не будешь.

Снова — «Иртыш». Никак не думал, что эта встреча будет последней. Да, отрицать бессмысленно — было видно по всему: он шел вниз. Бедный Владимир Алексеевич, бедный наш «шеф»! Мне показалось, он ждал, чтоб его пригласили в «харчевку», ел с жадностью. Возможно, он недоедал. Перед тем как попрощаться, попросил одолжить 30 рублей. По сию пору мучительно стыдно, не могу простить себе, что я отказал ему, не выручил: не было свободных денег. Только потом, когда уже ничего нельзя было изменить, дошло до меня: наверное, он очень нуждался... Правда, поверьте, честное слово, у меня действительно тогда не было этих несчастных тридцати рублей, все так, но Владимиру Алексеевичу надобыло дать, в конце концов, занять самому, не знаю как, но раздобыть, и ему — дать.

Война. Все вдруг завертелось в каком-то другом, сумасшедшем ритме, окрасилось в другие тона. Старые заботы отпали — нахлынули новые. Оборвалась связь с Владимиром Алексеевичем. Где он? Что с ним? Эвакуировался ли куда-нибудь, в ту же, отныне уже не чу-

жую ему, Среднюю Азию?...

Вдолге спустя пришла скорбная весть: Владимир Алексеевич умер, раздавлен машиной. Несчастный случай. Наверное, ослаб, зазевался и — все. Конец.

Нет, не конец!

1957 год. Близко сорокалетие Октября. Мы сидим в помещении Союза писателей, на Пушкинской, 10, в Свердловске, и решаем задачу: как назвать новый детский и юношеский журнал, открывающийся на Урале? «Мы» — это комиссия по подготовке материалов, которые необходимо послать в Москву, в соответствующие инстанции, чтобы получить разрешение, комиссия всего из двоих: писатель Олег Коряков и я, исполняющий обязанности ответственного секретаря Свердловского отделения СП СССР 1.

— Назовем «Уральский следопыт», — говорю я Олегу.

Он подумал.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В комиссии была еще редактор издательства И. А. Круглик, но она не пришла, и мы решили без нее. Думаю, она не возражала бы!

— А что? — И решительно написал: «Уральский следопыт».

В объяснительной записке мы написали: «следопыт» не только в лесу, на охоте, в геологическом поиске, «следопыт» — в технике, в науке, в новых человеческих отношениях — везде!

Журнал открыт, мы рады, что в нем есть, пусть скромная, доля нашей заслуги. Добрые дела не пропалают!

Милый, милый, старый, неугомонный, одержимый, с пылающим сердцем беспокойного бродяги-следопыта— «Владим Ляксев», он же Кук, он же «шеф», Вл. А. Попов-Штарк— бесконечно хороший друг наш, Владимир Алексеевич! Нет, не пропали ваши труды, ваше горение, ваша одержимость, не потух неугасимый огонь беспокойства, вечно юных стремлений и желаний! Семена дали всходы.

Не всегда они прорастают в тот момент, когда их кинут в почву. Но добрые семена всегда дают всходы!

Времена меняются — прав был старый следопыт. Выросла, окрепла страна, выросла культурно, материально, нравственно. Прошло лихолетье приключенческой, следопытской литературы.

Иным стал тон критических и литературоведческих статей.

«...Что же, спросит скептик, — читаем мы в «Литературной газете» («Краеведы — добровольцы семилетки», 14.11.59), — неужели любители способны заменить специалистов? Нет, не о том речь. Взаимосвязь между самодеятельными искателями и кадровыми учеными определена у нас давно самой жизнью. Конечно, последнее слово скажет научный или проектный институт. От краеведа он принимает сигнал, находку, материал для обобщения. По тропе, проложенной местным разведчиком, двинется экспедиция, оснащенная современной тех-

Как часто возникали таким образом на «белых ме-

стах» заводы, электростанции, рудники!»

никой.

Когда это написано? Как перекликается с тем, что писал в первой передовой «Уральского следопыта» В. А. Попов!

Изменилось время — изменилось отношение. Снова выходят «Вокруг света», с приложением «Искатель», «Турист»... Печать, полиграфия, бумага — не сравнить с прежним, Огромную популярность завоевала библио-

тека «Жизнь замечательных людей», продолжение горьковской традиции, где также собирался приложить руку Владимир Алексеевич Попов (в одном из его последних писем есть упоминание об этом), да не успел — помеща-

ли война и смерть.

А какие тиражи! Если тираж первого «Уральского следопыта» был 5000 экземпляров, то его младший брат к 1971 году расходился уже в количестве 155 000 экземпляров, к 1981-му — 249 000, а могло быть и вдвое больше, и дальнейший рост тиража лимитировался не спросом, нет и нет, а бумагой (ныне потребление ее выросло в несколько раз, тоже не сравнить с прежним). И вновь мелькают на страницах старые кадры — М. Е. Зуев-Ордынец, Николай Ловцов. В «старых кадрах» оказался теперь уже и я, автор этих строк...

Эх, жаль, не дожил до этого незабвенный Владимир

Алексеевич!

Признание читателей, быстрая «доходчивость» журнала— свидетельство жизнеспособности идеи, которой

был предан В. А. Попов.

Вспоминается встреча с учеными Москвы в Доме ученых Академии наук СССР, на Кропоткинской. Ездили туда заведующий отделом краеведения редакции «Следопыта» Ю. М. Курочкин и я (как представитель авторского актива). Прием, оказанный журналу, оказался сверх всякого ожидания, мы не рассчитывали на такой и полагали, что не заслужили его. Мы даже не предполагали, что в ученом мире, среди людей солидных, именитых, убеленных сединами, журнал пользуется такой любовью и вниманием.

Все хотят знать об Урале! Это выражение патриотического интереса. Уже сам уральский воздух наполнен героической романтикой, и люди пожилые подчас чувствуют это острее молодых. Когда журнал выступил с предложением — организовать заповедник в Висиме, на родине Мамина-Сибиряка, столичные научные круги отрядили на Урал целую делегацию ученых. Такой же одобрительный резонанс получила в столице «Операция Ч», поход за чистоту реки Чусовой, предпринятый «Уральским следопытом». Проблема охраны природы — а с нею и воспитание любви к природе — ныне одна из первейших и важнейших проблем!

...Бережно хранят старые сотрудники редакции первый номер воскресшего «Уральского следопыта», политый шампанским. А я, быть может, еще более бережно

храню комплект «Следопыта» за 1935 год, девять номеров, на каждом из которых стоит: «Зав. Редакцией Вл. А. Попов». Каждое слово с большой буквы; и смешная опечатка в первом номере: «Вл. Я. Попов»... Я Попов!

«Я Попов! Я Попов!» Мне кажется, из дальней дали он шлет нам свой привет... Он говорит нам: «Где вы, друзья-следопыты, откликнитесь! Множьте свои ряды, идите в пустыни и в степи, в горы и в тайгу, открывайте новые богатства во славу и для могущества нашего социалистического отечества! Любите Родину!»

Сам он называл себя последним следопытом.

С полным основанием его можно назвать последним из могикан.

В начале века он вступил на следопытскую тропу.

Он пришел к нам из старого мира. Начав у частного издателя Сытина в дореволюционные годы, он закончил свой путь в советское время. Через все испытания он пронес свою любовь к жанру приключений и путешествий, к литературе, несущей жажду подвига, необычайных похождений и свершений, высоких душевных порывов. Это была настоящая страсть, и, как всякая истинная страсть, она оплодотворяла все, что он делал, к чему стремился.

Он был одержим мыслью — поднять следопытское движение в областях, краях, республиках — повсеместно! — чтоб потом победителем вернуться в Москву, которую всегда любил, к которой рвался всей душой. Он хотел возродить «Всемирный следопыт» или что-либо равнозначное ему. Мне кажется, он достиг большего. И хотя на последних годах жизни его преследовали неудачи, объективно не зависевшие ни от него, ни от нас, его друзей, порой прорывались нотки пессимизма, безнадежности... Что из того!

Да, пожалуй, он был последним из прежних. Но не последним вообще. Правильнее будет сказать, что он был первым — в новой нашей эпохе. И если со смертью благородного Чингачгука и его сына — Быстроногого Оленя — Ункаса угас весь род делаваров-могикан, краснокожих следопытов североамериканских прерий, то не перевелись следопыты на нашей земле. И не переведутся! Племя их стало больше. И оно будет расти и впредь, ибо, пока существует человек, не умрет следопытство — будут следопыты!

«Я Попов... Я Попов... Помните обо мне!»

Помним, помним! Выходит телевизионный журнал «Всемирный следопыт» — по Центральному нию — путеществий и открытий, тоже живая история, выступают ученые, географы... Живет название, живет идея, одержимость следопытством!...

Недавно я узнал (уж простите великодушно, что так поздно: неуч, незнайка! Но уж лучше поздно, чем никогда!): Владимир Алексеевич Попов — автор текста и музыки (да. да!) пионерской песни о картошке, популярнейшей песни нашего, советского детства. (Конец песни добавлен Жаровым.)

Ах, картошка, объеденье, Пионеров идеал! Тот не знает наслажденья. Кто картошку не едал...

Душа Владимира Алексеевича — звонкая, романтическая и юная — слышится и в песне.

Я счастлив, что мне довелось встретиться, дружить с ним. Может быть, эта встреча предопределила мой собственный путь в литературе. Сам он так нуждался в ласке и внимании! В большой литературе нашего Отечества он нашел свою тропу и не сошел с нее до конца дней своих. В этом проявилась сила духа его, страстность убежденности, горячее неистовство вечной молодости. Он мог служить примером цельности натуры и служения олной илее.

Я счастлив, что знал такого человека! Верность мечте — вот урок молодым.

«Путешественником надо родиться», — говорил Пржевальский. Вероятно, таким путешественником в душе В. А. Попов был всегда.

О том говорит и запись — признание и одновременно напутствие мне, - оставленная им в моем альбоме, бесценно дорогая мне запись, сделанная знакомым бисерномелким, волосяным, но четким почерком с завитушками. Публикую эту запись, чтобы читающие еще раз ощутили его неиссякаемую душевную щедрость, желание лобра, нежное чувство к молодежи.

Читаю и, кажется, слышу негромкий, глубокой ду-шевной теплоты, с отечески-добрыми интонациями, голос:

«Я собрался в свое последнее путешествие. Совершаю свой последний рейс. Первая остановка — станция «Урал». Скучно путешествовать, если заранее знаешь свой маршрут. Я путешествую без строгого маршрута, не придерживаюсь и расписания поездов. Но знаю, что моя последняя станция называется «Последний вздох». Но где она — я не знаю. Когда я подъеду к ней — тоже не знаю. Одно лишь чувствую: скоро! Твердо знаю еще одно: мое это последнее путешествие не длинное, но прекрасное и глубоко волнующее. Горы. Реки. Леса. Озера. Люди. Много новых, много интересных людей — старых, молодых. Среди последних — ты, Боря Рябинин. Ты меня радуешь. В тебе я наблюдаю большую равновесность частей. Мне любы твои прекрасные и чистые увлечения, которые оставляют следы культуры не только в тебе самом, но и в окружающей тебя среде. Крепко верю, что ты не замкнешься в ней, как алхимик в своей башне, и еще шире привнесешь ее в жизнь. И это заранее меня радует.

Светлый тебе и широкий путь, мой милый Боря Рябинин! Открывая эту страницу, не поминай лихом старого

и последнего следопыта.

Вл. Попов

Свердловск, 16 февраля 1935 г.»

И вдруг будто весть с того света:

«...Это письмо для Вас, вероятно, будет неожидан-

К Вам обращается сын Владимира Алексеевича Попова, Юрий Владимирович Попов-Лялицкий. В первую очередь я глубоко Вам благодарен за память о моем отце.

О себе. В 1953 году окончил Московский нефтяной институт, работал геофизиком в Абакане, Игарке, Норильске до 1974 года. Сейчас дорабатываю на Северо-Западе, в августе 82 года уйду на пенсию. Живу в Ленинграде. Жена тоже геофизик. Две дочери: Евгения и Ксения...

Мой брат Евгений в июне 1942 года утонул в реке Чаган (приток Урала в Уральске).

Отец погиб на 1-й Мещанской 13 января 1942 го-

да...»

Вот когда все выяснилось окончательно: первая военная зима, Москва, январь сорок второго и — станция «Последний вздох».

Но как все-таки сурово обходилась с ним судьба: погиб один сын (в экспедиции), утонул другой, пережив отца всего на несколько месяцев. И все та же

следопытская тропа — экспедиции, поездки, геофизика, исследования, изучения...

«Ваш адрес узнал в междугородном справочном

бюро.

Я довольно ясно помню Вас по Нижне-Исетску (барак для строителей мачты для дирижабля у кладбища за Нижне-Исетском, нач-к Ассберг, инженер Потапов)...»

Это — та «дача», где отдыхали летом тридцать пятого близкие Владимира Алексеевича: барак... Но тогда и барак был роскошью! Времена-то какие, помните, стройки кругом... Представляет ли его нынешнее поколение следопытов? Как давно все это было и было ли...

Но не оборвется следопытская тропа, нет, нет!..

## «Клянусь черепахами Тэсмана!..»

Всякий, кто увлекался чтением приключенческой литературы, конечно, знает, откуда это выражение. «Черепахи Тэсмана» — один из лучших рассказов Джека Лондона. У меня упоминание о нем вызывает в памяти встречи с другим мастером остросюжетной прозы, интересным человеком, хорошим товарищем, с которым судьба свела меня в дни юности.

...Без малого сорок лет минуло с тех пор, как однажды погожим летним днем 1935 года в редакции журнала «Уральский следопыт» появился желанный гость, писатель из Ленинграда, Михаил Ефимович Зуев-Ордынец, — моложавый, общительный, с постоянным острым юморком, прорывающимся в каждой фразе.

Мне он помнится энергичным, подвижным, нервического склада. Лицо худощавое, бледное, глаза быстрые, в которых нет-нет да промелькиет ироническая усмешка, в манере одеваться что-то спортивное, весь как будто

изготовленный к прыжку.

Зуев-Ордынец был одним из немногих «именитых» авторов, сохранивших верность «Следопыту» после того, как тот перебрался из Москвы в Свердловск, сменив прилагательное «Всемирный» на «Уральский». Он одним из первых откликнулся на призыв редактора Владимира Алексеевича Попова помочь молодому журналу.

Уралу посвящалась книга М. Зуева-Ордынца «Каменный пояс», вышедшая в 1928 году в Ленинграде в приложении к журналу «Вокруг света». Кстати, кое-кто из критиков-ортодоксов тогда тоже склонен был упре-

кать автора в излишнем стремлении к занимательности. Думаю, как раз именно это делало книгу интересной. Читатель «глотал» ее за один присест.

Писатель-следопыт Зуев — типичный представитель того трудного и увлекательного жанра, который неизменно пользуется симпатиями читателей: жанра приключений, путешествий, революционной романтики. Его «Панургово стадо», «Падение града Ново-Китежа», десятки других повестей и рассказов (а работал он много, плодовито, печатался часто) имели широкую известность, молодежь зачитывалась ими.

Открывать во всем интересное, видеть необычное в обыкновенном — призвание писателя-приключенца. Очевидно также, что и сам он должен быть заражен

страстью к бродяжничеству.

Урал, Сибирь, дальние окраины страны были постоянно под прицелом писателя Зуева, постоянно стимулировали его творческую фантазию. Там развертывалось действие многих его произведений, там жили, боролись, сражались, погибали и побеждали его герои — неустрашимые, смелые люди. Незадолго до знакомства с Уралом он ездил в Среднюю Азию, — в результате вышла книга «Крушение экзотики». И, очевидно, именно в силу этих качеств он в короткий срок становится одним из основных сотрудников «Уральского следопыта», крайне нуждавшегося тогда в квалифицированных авторских кадрах.

Одним из основателей отечественной приключенческой литературы назовет его со временем «Литературная

энциклопедия».

Зуева привлекало все: история, география, научные открытия, техника. Любой сообщенный кем-либо факт мог лечь в основу рассказа, очерка, повести. Сюжеты

рождались с молниеносной быстротой.

Писал он быстро. Помню, однажды я присутствовал при его разговоре с Владимиром Алексеевичем по поводу рассказа «Зеленый остров» (на историко-революционную тему). Рассказ еще был «в чернильнице». А через несколько дней он уже набирался в типографии. И, замечу, делалось это не в ущерб качеству. Отнюдь!

Зуев первый — в очерке «К причалу!» — рассказал о проекте организации сверхдальнего сообщения при помощи дирижаблей по линии Москва — Дальний Восток, с остановкой в Свердловске. Для этой цели тогда под городом сооружалась высокая металлическая башня-

«причал». Башня эта, видная издалека, долгое время красовалась на низменной открытой равнине за Нижне-Исетском.

Везде он ищет незаурядное, то, что волнует воображение. Необычен его град Китеж. Необычны, удивительны подвиги смельчаков краснофлотцев с канонерки «Ваня» из рассказа «Зеленый остров», героев партизан из уральской были «Последний сплав». Необычайного много на свете. Но это необычайное должно быть самым обычным. Парадокс? Нет! Такова природа приключенческой литературы.

Где-то. среди обыденных дел, обыденных, примелькавшихся событий, фактов, невидимо для равнодушного, холодного глаза, вьется чудесная тропа приключений наших современников. Надо лишь увидеть ее, встать на нее, пойти по ней, — и все вокруг враз засияет новым светом, расцветится яркими красками.

Вы плывете в лодке по Чусовой, мелькает обычный пейзаж берегов, обычные картинки причусовского быта. И вдруг — запань, река перегорожена бревнами, через которые как-то надо перебираться с лодкой! Начинается приключение...

Поездка по Чусовой была организована редакцией «Следопыта» по инициативе и при участии В. А. Попова. Зуев был ее «историографом» — вел дневник путешествия. Я тогда занимался фотографией, и на мою долю

выпало иллюстрировать зуевский очерк.

Река каждый день поставляла интересные наблюдения. Зуев примечал каждую мелочь, каждый характерный штрих. Вечером — как бы ни устал — запишет все

заслуживающее внимания.

Копируя его, я стремился делать так же. Сочиняя. он писал на небольших листочках, аккуратно разграфленных от руки карандашом. Подражая ему, я тоже стал линовать бумагу. Но главное, чему следовало учиться v него, это умению видеть.

Помнится, проплыли небольшую колхозную МТФ. Я почти не удостоил ее своим вниманием: два деревянных коровника, изгородь («прясло»), хибарка — ничего особенного. А в очерке у Зуева это «заиграло» вдруг со-

вершенно неожиданно:

«...Ниже камня Переволочного, на правом берегу, желтеют крепкие новенькие строения. Кричим с лодки:

— Чьи постройки?

Кто-то, в щегольской городской кепке, сложив руки рупором, отвечает, вспугнув эхо у Переволочного:

- Фирма-а!

— Чья?.. Қакая?.. — орем мы.

Матафе-е! — надрывается кепка.

Мы удивленно переглядываемся. Матафе? Негритянское что-то. Наконец Раф как агроном догадывается:

— Эмтээф — молочнотоварная ферма...»

В излучине у знаменитого утеса «Разбойник» наша

лодка напоролась на подводный камень — таш.

Разбойник да стоящий наискосок от него Молоков — самые опасные камни на Чусовой, издавна стяжавшие дурную славу. Сколько там разбилось в прошлом барок во время весеннего сплава и утонуло бурлаков — не счесть. Природа будто нарочно расставила своих «бойцов» так, чтобы побольше насолить людям. Уцелеешь под одним — несдобровать под другим. Так бывало прежде.

А мы? Таш оказался плоским, как китовая спина; лодка с разгона въехала на него, быстрое течение развернуло ее кормой вперед, и мы закачались на месте

посередине реки.

Кругом вода, справа и слева грозные великаны-«бойцы»... Сидя в лодке, наслаждаясь этой необычностью, мы с восхищением глазели по сторонам, а Зуев, хитро подмигнув, взялся за нож: «Займемся подготовкой к обеду!» — и принялся чистить картошку... Право, так пренебрежительно посмеяться над зловредным, коварным Разбойником мог только он!

Совсем дискредитировал Разбойника! — говорили

потом мы.

Неутомимый рассказчик и острослов, Зуев всю дорогу потешал нас разными забавными историями. Анекдотов знал — пропасть. И вдруг замолчал. Случилось это, кажется, уже перед Чусовским заводом, после двух недель плавания. Промолчал с полчаса, а затем заявил:

- Все, братцы. Пора кончать путешествие.

- Что такое?!

Больше рассказывать нечего.

Есть, видимо, такая категория людей, душевное равновесие которых несовместимо с молчанием; но Зуев не относился и к тем экземплярам человеческой породы, от трескотни которых болят уши. Известно, что мрачные молчуны в жизни часто бывают искусными сочинителями юмористических рассказов; Зуев и тут представлял ис-

ключение — мог сам смеяться и смешить других, и все писания его были отмечены живостью изложения, остроумием. Счастливый дар веселить других, не уставая! Ученые утверждают — смех продлевает жизнь.

Мне уже доводилось рассказывать, что путешествие наше начиналось при не совсем благоприятных обстоятельствах и едва не сорвалось из-за неожиданного приезда жены Зуева на Урал, как мы чуть не силком всетаки вытащили его в эту поездку. Свое расстройство по этому поводу он, по-моему, забыл уже в первый день пребывания на Чусовой, хоть, по заявлению нашего беспокойного друга, мы везли не его, живого, а его труп. Но столь велико благотворное воздействие природы, такая завораживающая красота была разлита вокруг, что невозможно было не поддаться ее очарованию и оздоравливающему влиянию; и когда, под конец пути, Зуев благодарил: «Спасибо, что вытащили меня на Чусовую! Теперь я могу хорошо работать зиму...» — то же самое, вероятно, мог сказать каждый из нас. Поездка у всех оставила незабываемое впечатление. Зуев — тот был просто наверху блаженства, поздоровел, исчезла «городская» бледность лица, сменившись загаром. И очерк о поездке по Чусовой получился отменным (с моими фотоиллюстрациями!).

Чусовая сдружила нас.

Зуев еще раз приезжал на Урал. Его интересовала Кунгурская трудовая коммуна — в те времена такое же известное перевоспитательное учреждение, как знаменитая Болшевская коммуна или Горьковская, руководимая энтузиастом Макаренко; и наша дружба продолжалась в Кунгуре, на моей родине. Насколько мне помнится, Зуева пригласили туда руководители трудкоммуны. Он должен был писать ее историю или что-то вроде того. Я тоже вскоре приехал туда, чтобы произвести необходимую фотосъемку.

Он обитал под куполом бывшего монастырского собора, превращенного в общежитие. Внизу коммунарская братия — бывшие воры, карманники, поездушники, специалисты по отмыканию чужих квартир; кверху вела крутая винтовая лестница, и на третьем ярусе, где когда-то висели колокола, квартировали мы с Зуевым.

Пока заберешься на эту верхотуру, и язык высунешь... Зуев шутил, что за время жизни под соборным куполом сдал нормы на значок альпиниста. С легкой руки моего друга наше гнездышко стало зваться «Высоко-

горным лагерем».

Круглые сутки там свистел ветер и скреблись мыши; снаружи доносились надоедливые крики галок. Стояла зима. Днем мы нажаривали электрическую печку, а под утро было страшно высунуть нос из-под одеяла: лютая стужа. В нашем распоряжении были две железные скрипучие койки, колченогий стол, две табуретки, тумбочка. Здесь Зуев «творил»; до полдня он обычно отсыпался, потом приводил в порядок свои записи и — пропадал до позднего вечера среди воспитанников коммуны, а иногда где-то в городе. Со мною был дог Джери; он исправлял обязанности «охраны». Там мы и жили втроем — Зуев, я и Джери.

Не берусь объяснить, почему я брал его везде с собой; мне это нравилось, конечно; и просто я не мог без него, он был моим спутником. (Все началось с Джери, книга «Мои друзья» и остальное!) И, конечно, меньше всего я склонен был рассматривать его как «личную охрану». У коммунаров он неизменно вызывал самое благожелательное отношение. Лишний раз подтверждалось, что человек в массе любит животных. Мне даже кажется, дог оказывал на них облагораживающее влияние: всегда степенный, воспитанный, зря не залает, нос свой куда не надо не сует и в то же время в любую минуту готов поиграть, приветственно помахать хвостом. С Зуевым у дога установились самые дружеские отношения. Михаил Ефимович мог подолгу играть с Джери.

Способность к общению с четвероногими у Зуева проявилась еще на Чусовой, куда я брал эрдельку Снукки. Увидит кошку — обязательно возьмет на руки, погладит. Теперь я с каждым днем убеждался, что это были от-

нюдь не случайные проявления.

В Кунгуре открылась еще одна черта характера Зуева — добросердечие, участливое отношение к людям. Он искренне желал добра всем этим воришкам, взломщикам, испорченным девчонкам, потерявшим себя и теперь под руководством своих опытных наставников-чекистов стремившихся вернуться на честную дорогу; и своими творениями, рассказами, очерками, мне кажется, сознательно преодолевал ту же цель — помочь сбившимся с пути.

Наслушавшись, наобщавшись со всей этой разношерстной и одновременно в чем-то очень схожей публикой, Зуев после с восторгом пересказывал услышанное.

Если сосед спит — не пожалеет, разбудит среди ночи: надо выговориться. «Уж очень интересно!» Помнится. меня увлекала главным образом фабула похожлений наших поставшиков сюжетов; а у некоторых похождения были поистине головоломные. Когда я однажды сказал об этом Зуеву, он возразил:

— Это, конечно, интересно. Но еще интереснее то, что лежит за этим. Ведь творит все это человек. Почему? как? что его толкает на это? Психология? Раскроете ее — будет ясен и путь к возврату, к трудовой жизни...

Не воровскую же романтику нам прославлять!

Первое время, признаться, меня несколько смущала близость такой компании, уж слишком все было непривычно, с ума не шли всякие воровские истории, кражи, нарушения установленного порядка. Зуев только усмехался, когда я заговаривал об этом. Он уже привык, освоился; вскоре также привык и я.

Должен заметить, порядки в коммуне были строгие. и я не помню, чтобы у кого-нибудь потерялось что-либо. И хотя наше обиталище замыкалось скрипучей массивной железной дверью, дверь не имела замка, а Джери обычно уходил со мной.

С тех дней и в течение долгого времени, проезжая Кунгур, издали увидишь на взгорье красное — уже без «маковок» и крестов — внушительное здание собора, глядишь на него и каждый раз вспоминаешь нашу тамошнюю жизнь с Зуевым...

Я еще не рассказал об одной забавной детали. Освешение в нашем «высотном особняке» было скудным — одна лампочка, горевшая желтым светом (электроэнергии тогда было не лишку, накал плохой), и та, случалось. в самое неподходящее время перегорала, где-то происходило замыкание («электрифицировали» колокольню не монтеры-специалисты, а все те же бывшие любители лазать по чужим карманам), и, таким образом, ночью «автоматически» отключалась. Зуев сидит, пишет — вдруг мигнуло и темнота, хоть глаз выколи; а у него самое рабочее настроение, разгулялась фантазия, как говорится. лови момент. Свет, скорей свет, подай да выложь! Приходилось полуодетым спускаться вниз, искать кого-нибудь из дежурных или будить спящих и просить помочь найти повреждение. Джери, конечно, тут же со мной, тычется носом, тоже «будит». Потом мы научились исправлять сами.

Снова загорелась 25-свечовая лампочка (тогда измерялось свечами, а не ваттами), а потом еще долго сидишь и слушаешь излияния Зуева по поводу написанного или задуманного; и уже забыл про сон. Зябко на колокольне, железная печурка нагрелась, да тут же и остыла; но, право, все это лишь усиливало атмосферу дружественности и творческого взаимопонимания. И еще сильнее говорило то чувство романтизма, которое так влечет юность...

Сколько занятных историй вывез оттуда Михаил Ефимович! Спустя годы продолжали появляться в журналах его рассказы на темы, почерпнутые в период пребывания в Кунгуре. Все они были тоже явно следопытскими, но теперь это уже было проникновение в область человеческой души, в область перестройки чувств, стремлений тех

людей, перековкой которых занималась коммуна.

Читатели журнала «Вокруг света», выходившего в ту пору, вероятно, помнят головокружительные похождения «дяди Кости», знаменитого «медвежатника», взломщика сейфов, ставшего под конец жизни замечательным воспитателем молодежи. Талантливый актер-самоучка (кстати, Зуев в юности тоже был актером), «дядя Костя» выступал в художественной самодеятельности, руководил кружками, воздействуя на юных правонарушителей не только личным авторитетом, но и средствами эстетики. Благодаря ему многие стали честными людьми. Эти персонажи были списаны Зуевым-Ордынцем с натуры.

В альбоме, в который я раньше собирал автографы и высказывания своих друзей и близких знакомых, Михаил Ефимович — в пору нашего проживания в «Высокогорном лагере» — оставил запись, которая, как мне кажется, лучше всего выражает взгляды и характер Зуева — приверженца приключенческого жанра — и Зуева-чело-

века.

«Хромой академик, следопыт, шпион и авантюрист Арминий Вамбери сказал и написал однажды так: «Кто хоть раз испытал бурное море дальних странствий, приключений и запой работой по увлечению, того никогда не удовлетворит зеркальная тишь озера спокойной стоячей жизни»...

Мне кажется, Боря, что хромой авантюрист сказал это и про нас. И нас с Вами тошнит от спокойной домашней жизни, мы испытываем морскую тошнотворную болезнь на «зеркальной тиши озера», но зато мы в своей

тарелке среди бурного моря дальних странствий и приключений. И нас с Вами вечно томит своеобразная вывернутая наизнанку ностальгия— тоска по чужим землям и чужим водам, по новым людям и событиям. И мы с Вами готовы, с горстью пороха, пуль или бус, проложить путь к вражескому акрополю, где и водрузить наше знамя, знак свершения наших безумных замыслов

Разве не прекрасно иметь право сказать про себя так:

Я пробрался в глубь неизвестных стран, Восемьдесят дней шел мой караван... Цепи грозных гор, лес, а иногда Странные вдали чьи-то города. И порой из них, в тишине ночной, В лагерь долетал к нам непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, Вечерами к нам подходили львы. Но трусливых душ не было меж нас, — Мы стреляли в них, целясь между глаз... Древний я открыл храм из-под песка, Именем моим названа река, А в стране озер семь больших племен Слушались меня, чтили мой закон...

Разве не прекрасна жизнь? А когда она оборвется, друзья напишут на наших могилах замечательные слова:

«Клянусь черепахами Тэсмана, это был человек!..»

Потом Зуев надолго исчез с нашего горизонта. Зре-

лый период жизни сложился для него неудачно.

Он писал Ф. В. Бачурину — заместителю начальника по учебно-воспитательной работе, что хотел бы еще приехать в трудкоммуну, она, тема перевоспитания человека, влечет его, но судьбе угодно было иное.

Прошли годы. Сложные, непростые годы. Конечно, они не могли не отложить свой след. Многое измени-

лось.

И вдруг — заказная бандероль. Из Караганды. Взглянул на обратный адрес, и теплая волна заполнила душу, нахлынули воспоминания. Знакомым прямым почерком на обертке выведено: «Мих. Зуев-Ордынец». Он прислал свою новую книгу: «Вторая весна». Повесть об освоении просторов Казахстана...

«Вторая весна»!.. Символическое название!

Мы не виделись с Зуевым со дня отъезда из «высокогорного лагеря». Каков он стал, наш беспокойный непоседа-любознай и острослов? Все такой же нетерпеливый, горячий, одержимый разными проектами-замыслами, с неодолимой тягой в дальние неведомые края, или приостыл немного?..

А еще спустя немного времени пришло приглашение: М. Е. Зуеву-Ордынцу исполнилось 65 лет. Одновременно это было и 40-летие его работы в литературе, в едва ли не самом трудном жанре — приключенческом, завоевавшем прочные позиции, почитаемом читателями самых

разных возрастов.

До сих пор жалею, что не сумел поехать на его двойной юбилей. Ездили товарищи из «Уральского следопыта» — секретарь редакции С. А. Захаров и заведующий отделом очерка и краеведения литератор-краевед Ю. М. Курочкин. Что бы такое сделать для юбиляра, чтоб он вновь ощутил нашу дружбу? Решил послать альбом со снимками нашего путешествия по Чусовой. Думаю, ему было приятно вновь увидеть ее, хотя бы на фотографиях. Товарищи говорили, что он был рад подарку и просил их поблагодарить за него. Конечно же из глубин памяти вновь поднялось и с удвоенной силой заговорило то, что довелось нам испытать вместе. И может быть, ему пришли на память его же собственные слова, которыми он заканчивает книгу «Каменный пояс»:

«И тут мне особенно ярко вспомнился Урал, его строгие хребты, хрустальные озера, мрачные недра его шахт, величавый покой безграничной тайги и простые, милые моему сердцу, уральские люди...

И понял я, что не отпустит меня Урал, что вернусь

я к нему, вернусь еще не раз...»

Все верно. Крепко держит в своих объятиях седой Урал...

И действительно, Зуев еще не раз вернулся к полю-

бившемуся ему Уралу в своих произведениях.

Последний период жизни он провел в Караганде. Напечатал несколько вещей в различных изданиях. «Одил из последних могикан» называли его в редакции «Уральского следопыта».

Прибывали заботы, разные болячки, неизбежные в старости, но Урал, уральские друзья оставались в сердце, жило в памяти изведанное в молодости, хотелось видеть это снова и снова перед собой, — полагаю, о том

свидетельствовало письмо из Караганды, помеченное 23 ноября 1963 года:

«Дорогой-дорогой Борис Степанович!

...вот о чем я буду особо просить: отдайте переснять все, что найдете интересным, и прикажите сделать в самом лучшем виде, а все расходы на мой счет. Только так, только так, дорогой Борис Степанович! И умоляю, не спорьте. Отбросьте все эти цирлих-манирлих и фигели-мигели!

Не забудьте порадовать меня эффектными пейзажами Урала, особенно Чусовой. Поглядев на них, я снова помолодею. У меня до сих пор стоит перед глазами Ваш умопомрачительный снимок чусовского, кажется Оленьего. камня.

Да, а собаки, собаки! Судя по Вашей чудесной книжке, Вы все сердце отдали овчарке Джекки. (Имеется в виду книга «Вы и ваш друг Рэкс». — Б. Р.) Мир праху его! Но у меня связано много воспоминаний с догом Джери. И, конечно, эрдельтерьер Снукки. Помните, как она (он?), заснув на баке лодки, свалилась в Чусовую, и кто-то из нас заорал — Человек за бортом! — Смеху сколько было! А сколько солнца, и река, и горы, и тайга! Эx-х!..

И еще просьба. После собак как-то неловко писать об этом... Хотелось бы получить фото и Ваше, и Вашей супруги, и Вашего «шкета». Взамен посылаю свое фото. Вот что осталось от меня!

...Крепко-крепко жму Вашу руку. Почтительнейше

целую ручки Вашей супруги.

Гудбай, покедова!

Искренне Ваш Мих. Зуев-Ордынец». На обороте присланной фотографии была сделана налпись:

«Дорогому другу, брату-следопыту...

Кто услышит раковины пенье, Бросит берег и уйдет в туман...»

Да. Все так. Верно. Как верно было и то, что туман, туман вечности, уже был не далек, он приближался. В 1967 году наша связь прервалась — и теперь уже навсегда.

## Яблочный следопыт

В середине тридцатых годов появилась на книжных прилавках Урала познавательная повесть для детей и юношества с заманчивым названием «Яблочный пир». Повесть рассказывала о садоводе, сумевшем вырастить прекрасный плодовый сад на суровой уральской земле. Гассказывалось здесь и вообще о развитии плодоводства, о том, как человек научился дружить с зеленой природой, превратив плодоносящее дерево в источник благополучия, здоровья и красоты. Первоначально опубликованная журналом «Уральский следопыт», она затем в короткий срок выдержала несколько изданий. Автором ее был известный мичуринец, пионер плодового садоводства в Свердловске, Дмитрий Иванович Казанцев.

В биобиблиографических писательских справочниках такой фамилии не найдешь: и тем не менее это была фигура очень показательная для своего времени, когда научно-художественная литература — да и вся литература для детей — на Урале только зарождалась, делала первые робкие шаги. Мне он запомнился степенным, седовласым, с острой бородкой, слегка согнувшимся под бременем лет, с характерным резким профилем и умным строгим взглядом спокойных внимательных глаз, прикрытых очками в железной оправе. При Свердловском отделении Союза советских писателей, в двухэтажном каменном особняке на Пушкинской, 12, что напротив здания бывшего облисполкома, тогда существовала секция детских писателей, и Дмитрий Иванович регулярно посещал ее, участвовал во всех, без исключения, обсуждениях произведений своих товарищей. Как председатель секции (правление нашло возможным доверить мне этот пост), я скоро уяснил казанцевский характер: его не приходилось уговаривать («агитировать») посещать секцию, раз сказал — и достаточно. Надо, значит, надо. Приходил, постукивая тростью, садился в сторонке, чаще у стены, и, положив большие натруженные руки ручку трости, внимательно слушал, ограничиваясь одним-двумя замечаниями или вопросами за весь вечер. Говорить не любил, но являлся пунктуально, минута в ми-HVTV.

Как и его вдохновительница К. В. Рождественская, побудившая его уже в преклонных годах взяться за перо и написать книгу о своем садоводческом опыте, Дмитрий

Иванович большое значение придавал передаче накопленных знаний юному поколению, будущим хозяевам земли. Именно это заставило его написать позже еще одну книгу, «Плодовый сад», уже научно-популярную, подобно «Яблочному пиру» много способствовавшую распространению и утверждению мичуринских идей на Урале.

Хочется напомнить, какое это было время. Бурные преобразования, индустриализация, стремительный прогресс во всех сферах общественной жизни, разумеется, не могли не отразиться и на литературе. Детской литературы на Урале, если не считать отдельных рассказов и сказок Мамина-Сибиряка, раньше по сути не было.

Теперь она рождалась на глазах.

Именно в эту пору в библиотеках и на полках книжных магазинов появляется «Страна стальных великанов» (автора, к сожалению, не помню, кажется — Белобородов). В Москве выходит «Рассказ о великом плане» Ильина, у нас — «Страна стальных великанов», книга, уже самим названием очень точно отражающая преобразования, происходящие на просторах обширного

края.

Рождается Урало-Кузбасс, гигантский промышленный комплекс, соединенный в едином производственном организме Урала и Сибири (металл — Урала, уголь — Сибири). Пробудившийся интерес к истории Урала находит свое выражение в появлении книг А. Г. Бармина — «уральского ленинградца», или «ленинградского уральца», часто наведывавшегося в Свердловск. Бармин был знаком с Рождественской еще по Ленинграду, где она училась и начинала свой редакторский путь. Одна за другой выходят в Свердловске и Детгизе его книги «Сокровища каменного пояса», «Рудознатцы» и «Старый соболь», составлявшие единую эпопею «Руда». Появляются книги для юношества, связанные с различными отраслями знаний, как и «Яблочный пир», создающие важный раздел литературы — научно-художественный и научно-популярный жанры. Таковы были по своей направленности книги Ф. Тарханеева, И. Раухвергер, Ю. Цехановича и других.

Появился даже — хотя опубликован был уже после войны — научно-фантастический роман доктора Подсосова — «Новый Гольфстрим». (Бажов, правда, относился к нему сдержанно; но ведь роман вышел, факт, и читался книголюбами самых разных возрастов.) В январе

1935 года начал выходить журнал «Уральский следопыт», также нацеленный в первую очередь на удовлетворение запросов и воспитание юного читателя, к сожалению просуществовавший недолго и возродившийся уже после Великой Отечественной войны.

«Искательница молний» — первооткрывательница литературных талантов — Клавдия Васильевна Рождественская и редактор «Следопыта» Владимир Алексеевич Попов сидели в одной комнате друг против друга. Сперва Рождественская восприняла появление Попова несколько настороженно, как-никак он был из столицы, до этого редактировал журнал «Всемирный следопыт», но вскоре между этими двумя, без преувеличения, фанатически преданными делу людьми воцарился дух полного взаимопонимания и благожелательства: и в целом ряде случаев «Следопыт», предоставляя свои страницы новому автору, оказался как бы преддверием, трамплином для следующего прыжка — в литературу, уже с собственной книгой (так вышло и с «Яблочным пиром»).

Добрая дружба связывала Рождественскую с Клавдией Владимировной Филипповой — женой критика и будущего писателя-историка К. В. Боголюбова, и, думается мне, не будь этой дружбы, неизвестно, родилась ли бы повесть Филипповой «В гимназии», тепло принятая

уральскими читателями.

Секция детской литературы при отделении Союза писателей была в ту пору едва ли не самой многочисленной и деятельной; не припомню, был ди в ней тогда хоть один член Союза писателей, но что у всех на счету имелись напечатанные книги, получившие признание чита-

телей, так это уж точно.

Характерно было и другое: почти все, пробовавшие свои силы в области детской литературы, являлись специалистами в какой-либо отрасли. Тарханеев — геолог; Раухвергер — ихтиолог (специалист по рыборазведению); Цеханович — биолог... К слову, книга Юрия Цехановича «О маленьких рыбаках и больших рыбах», неоднократно переизданная, — теплая, умная, живая, которую читали и дети и взрослые, — несомненно обогатила скудноватую детскую литературу того периода и явилась серьезным вкладом в распространение биологических знаний, воспитание любви к родной земле.

Доброе слово хочется сказать обо всех этих людях, по праву заслуживающих быть названными первопро-

ходцами юношеской научно-художественной литературы на Урале. Федор Константинович Тарханеев — всегда энергичный и всегда только что из очередной геологической экспедиции: пропадет на какое-то время появится опять пропадет, здоровяк и крепыш, характером из тех. про кого принято говорить, что с ним не соскучишься, не пропадешь. Бывалый — историй в запасе масса. Истории эти и легли в основу его рассказов. Сын Тарханеева тоже стал геологом. «Геологическая династия», и, конечно, знаний, опыта и разных занимательных вещей, почерпнутых из практики жизни, не занимать. Федор Константинович умел преподать их умно, интересно: умел и сам слушать, учиться у других. Юрий Владиславович Цеханович — внешне полная противоположность: худой, в очках, стеснительный, деликатный, в компании молчанушка, только поводит по сторонам, как бы боясь пропустить что-либо, своими поблескивающими окулярами: начнешь с ним разговаривать — слушает с напряженным вниманием, приблизив ухо к говорящему (сказывалась потеря слуха, ставшая заметной особенно в последние годы жизни). При всей внешней разнице, имелось нечто общее, сближавшее их, это — интеллигентность, предупредительность, уважение к людям. Каждый из них был в некотором роде полпредом своей отрасли в детской литературе, и, право, вспоминая их, всегда думаешь: самое трудное — начать, быть пионером, протоптать первую тропку, пусть вначале не очень заметную и все же указывающую путь другим.

Складывается научно-художественная литература для детей и юношества — жанр, завоевавший ныне прочные позиции, значение которого трудно переоценить в наш век развития точных наук, кибернетики, биологии, экологии, и, конечно, немыслимый без привлечения специа-

листов, глубоких профессиональных знаний.

Ученые пророки вещают: наука и литература, ученый и писатель должны слиться воедино, и время это не за

горами.

Д. И. Қазанцев представлял уже весьма многочисленный к тому времени отряд садоводов-мичуринцев, практиков-энтузиастов, споривших с природой, приручавших и приучавших суровый и капризный уральский климат к потребностям мичуринского садоводства.

Далеко не всегда можно сказать, откуда к нам приходит та или иная страсть, сжигающая порой человека без остатка. Вспоминая Дмитрия Иванович Казанцева, я думаю, что, может быть, тут сказалась власть земли, ее извечный зов...

Он был выходен из крестьян, уроженен села Северо-Конёвское, что под Невьянском. Родился в 1875 году. Семья была громадная: от двух браков у отца насчитывалось 24 ребенка: от первой жены — восемь да от второй шестнадцать: в избе постоянно качались две зыбки. В тринадцать дет Митя Казанцев уже пошел работать — как первенец он был обязан помогать отиу прокормить семью. А прирабатывать, мальчиком на побегушках, в полсобниках, в своем селе, он начал еще раньше, с девяти лет, сразу после окончания Конёво-Аятского начального училища. (Записи в копии его трудового списка начинаются с 1 июля 1888 года.) В детстве много читал, читал все без разбора. Говорил: «Потом разберусь». Для него характерно было влечение к новому, сильное желание познать иную жизнь и людей, о которых удавалось прочесть. Дед не разрешал жечь свечи, свечи были дороги, а достатка не лишку, но Митя находил выход — запоем читал при луне. А ранним утром на рассвете это уже не удавалось. Семья поднималась чуть свет. Уезжали в поле, похлебав горячего. Хлеба не хватало, а мяса было вдосталь. Мать (а может, мачеха) говорила детям: «Ешьте больше мяса-то, сила булет».

Был не ленив, сообразителен. Крепкие руки да старание кормили. Женился. В 1912 году перебрался в Екатеринбург, а годом позднее, приобретя усадьбу на одной из тихих улиц (ныне улица Октябрьской революции, 40), заразившись идеями от замечательного нижнетагильского садовода К. О. Рудого, принялся строить дом (точнее — перестраивать по своему вкусу и потребностям) и заложил сад. В официальных источниках указывается — сад заложен в 1914 году, но это неверно: «ковыряться», готовить землю к посадкам начал с осени тринадцатого. Так пришла страсть, ставшая целью его жизни, сделавшая его известным, уважаемым человеком, оплодотворившая душу.

Поработано было... Да правду молвлено: глаза боятся, руки делают. Начал с того, что ломал бесчисленное множество надворных построек. На усадьбе был еще флигель. Пока в доме шел ремонт (побелка, покраска, оклейка обоями), жили во флигеле, но постепенно были снесены и флигель, и баня (баня достояла до 1934 года), Дом оказался очень древний. Старожилы-соседи, жившие наискосок от Казанцевых, рассказывали, что и дом и флигель срублены из леса, росшего на усадьбе, но древесина построек была добротной, крепкой и сухой. Безусловно, строения насчитывали более ста лет. Сруб колодца ушел в землю, а вот сруб погреба в войну 1941—1945 годов пытались пилить на дрова. Он оказался из крепчайшей лиственницы, тяжелой, крепкой, упорно не поддававшейся пилке и рубке. В верхней части сада почва была каменистая. Когда обрабатывали ее под посадку, приходилось доставать огромные камни. Вынув очередной камень, жена однажды упала, потеряв сознание. Впоследствии весь этот извлеченный бутовый камень купил какой-то мужчина для фундамента строящегося дома.

Прошел длинный путь побед, поражений, надежд, разочарований путь, исчислявшийся десятилетиями упорного труда. Казанцев ездил к Ивану Владимировичу Мичурину, учился у других, свел знакомство, наладил обмен опытом со многими мичуринцами Урала, Сибири, такими же фанатиками, как сам. Его цель была — доказать, что и здесь могут расти плодовые. И — доказал. Сад получился что надо, стал плодоносить. С 1927 года Казанцев начал селекцию. Сад разрастался, приобретал новые формы. Названия «бельфлёр-китайка», «пурпурная» звучали как заклинания. Появился сорт «Дима»... многие из прежних соратников и поныне вспоминают встречи с ним, с этим неудержимым, сосредоточенным упорным человеком, новатором по духу и по действию. Сюда, уже много позднее, приходили Рагозин, Чистяков, Зигулев, впоследствии знатные мичуринцы Свердловска. Отсюда брали черенки на плодово-ягодную станцию. Казанцевский сад стал питомником-рассадником плодового садоводства, от него пошли многие другие сады, новые фруктовые сорта. В знак благодарности своему первому учителю Рудому Казанцев нарек свой первый гибридный сеянец нежно-собирательно - «Кордик» (от инициалов — Кузьма Осипович Рудый и Дмитрий Иванович Казанцев).

Нет, он не следовал примеру русских садоводов XVI века, которые, вызнав про движение соков в стволе, просверливали дырку в основании ветвей и запускали туда имбирь, сурик, мускат, отчего яблоки приобретали яркий цвет и сильный аромат. Ему требовался натуральный плод, вкусный и красивый.

От прежней профессии осталась закоренелая привычка к точности— вел подробные записи: учет урожайности, поражаемости вредителями, регулярно заносил фенологические наблюдения.

Был строг к себе — и растения воспитывал в строгости: держал яблоки на ветках до первого снегопада. Дочь вспоминает: снимали урожай антоновки — с деревьев стряхивали снег. У меня даже сохранились снимки — антоновка под снегом. (Снимал незадолго до войны, для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, понынешнему — ВДНХ.) А яблочки-то были каковы! Про успехи на выставках уже не будем говорить. Дружок Казанцева — известный хирург Одинцов, уехав отдыхать, отписывал из Кисловодска: «Боюсь пропустить свердловские яблоки, здешние мне не нравятся...»

Теперь перенять доброе у него приезжали издалека. Сад стал местом паломничества многих, и никто не уходил отсюда неудовлетворенный... Друзья помогали делать прививки, как это проделывал не раз любимец Дмитрия Ивановича Ю. Ф. Коряков, когда по состоянию здоровья и возрасту хозяину стало трудно выполнять самому. Здесь писали этюды художники Слюсарев, Узких, Завальнюк, Финкельштейн.

Был Дмитрий Иванович дружен с будущим знаменитым писателем Бажовым, краеведом А. А. Анфиногеновым, фенологом Батмановым. Статьи по садоводству писал и до этого. Пописывал в журнал «Техника — смене», адресованный читателю-подростку. Когда и как судьба свела его с редактором детской литературы Клавдией Васильевной Рождественской, мне неведомо; не могут ответить на этот вопрос и близкие родственники. Ясно: это был еще один этап в его жизни. Рождественская тоже одержимая — всюду отыскивала авторов книг, необходимых юному советскому читателю. Как говорится, человек приведет человека... В итоге на свет появилась книга для детей «Яблочный пир». Насколько помнится. название книги было подсказано Рождественской; суть, однако, не в том. Книга оказалась, что называется, в жилу. Книгу читал Мичурин, и, как пишет личный секретарь Ивана Владимировича — Бахарев, она лежала у него, Мичурина, на рабочей полке с пометками.

Сохранилось письмо Бахарева, адресованное Казан-

цеву.

«Глубокоуважаемый Дмитрий Иванович!

Сердечное спасибо за сборник УОЛЕ № 2! Журнал «За мичуринское плодоводство» я, в связи с необходимостью издания полного собрания сочинений И. А. Мичурина, оставил. Но там у нас имеется прекрасный заместитель А. Д. Борисоглебский, который глубоко ценит

Ваши работы и всегда пойдет Вам навстречу.

О Вашей книге. (Очевидно, здесь речь идет о книге «Плодовый сад». — Б. Р.) Несмотря на болезнь, Иван Владимирович всю ее прочитал и держал всегда на своей книжной полке — среди своей рабочей литературы. Это говорит о том, что Ив. Вл. встретил Вашу книгу тепло. Но особенно заинтересовала его глава «Будущее уральского плодоводства», которую он подчеркнул в 14 местах, а слова: «следует по возможности при каждой школе устраивать школьные питомники...» и до конца абзаца подчеркнул и сопроводил своим характерным знаком «В» (то есть внимание). Но высказываний и замечаний не сделал. Ив. Вл. глубоко верил в Ваши взятые не из книг, а из жизни работы. И только беспощадная смерть помешала ему завязать с Вами связь и оказать Вам свою помощь. С глубоким уважением А. Бахарев. 23/VI—37 г.».

Из жизни была взята и книга «Яблочный пир».

Болезненно пережил Дмитрий Иванович кончину своего вдохновителя и наставника — И. В. Мичурина. В статье «Великий садовод» (газета «Уральский рабочий» от 9 июня 1935 г.) он писал:

«Умер великий садовод и замечательный гражданин нашей родины! Горько и тяжело слышать весть о смерти Ивана Владимировича Мичурина. Для каждого из нас он был неизменным другом и советчиком, каждому из нас он помог увидеть плоды наших мечтаний и дерзаний.

Ведь еще недавно, всего 6—7 месяцев назад, я видел

Ивана Владимировича, слушал его яркую речь.

Мичурин был революционером, переделывавшим природу.

С его смертью дело не остановится. Нет! Все мы, его соратники, будем до конца своих дней осуществлять его наказ — покорять природу, чтобы наша страна — от берегов Черного моря до далеких северных окраин — покрылась благоуханными и плодоносящими садами. Красивая жизнь — красивые сады!

Садовод-опытник Д. И. Казанцев».

Красивой жизни — красивые сады! И он делал это. лелал трудом садовода и своими книгами. Особенный успех «Яблочный пир» имел у читателя-школьника. Книгу изучали на уроках, в учительской среде. Ведь это было время, когда мичуринская биология начинала совершать победное шествие по Советской стране, и книга, как говорится, попала в струю. Увлекательно написанная, она рассказывала о вешах важных и нужных. У автора происходили интересные встречи с детьми. «Видали. — сообщал он дома, вернувшись с одного из таких обсуждений. — они за изложение всех бед и неудач... это их не пугает!» Редактор во время работы над книгой, опасаясь неблагоприятной реакции читателей, несколько ограничил автора в показе трудностей. Дабы не расхолаживать! Жизнь показала, что опасения были напрасны, и автор с восторгом повторял: «Молодцы, ребята!» Интересно, что хвалебно-восторженные отзывы на книгу шли даже из таких мест (из Харькова, например), где, казалось бы, садоводство не в диковину. Сколько людей она сделала союзниками мичуринского дела, сколько народу пошло по стопам ее автора или хотя бы заставило неистово-терпеливый, бесконечно упорный труд садовода. — не подсчитано и невозможно подсчитать.

Иван Владимирович Мичурин большое значение придавал содержанию витаминов в плодах. Его мечтой было — создать такое яблоко, чтоб оно могло заменить самые активные препараты, безотказно действующее лекарство, которое способно было бы избавлять от самых тяжелых недугов, сохраняя, однако, все вкусовые качества. Чтоб всегда было приятно похрустывать вкусным яблочком! Эта идея владела и Казанцевым 1.

В печати его называли яблочным следопытом. Книга «Яблочный пир» открыла перед ее создателем еще одну увлекательнейшую и полезную сферу деятельности. В бумагах его находим весьма симптоматическую запись: «Борьба за воспитание в детях любви и бережного отношения к растениям». Да это же программа нынешнего курса охраны природы в школах и отправной пункт, что-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В послевоенные годы ревностного сторонника эта идея нашла в лице свердловского ученого-опытника, садовода и педагога, профессора Л. И. Вигорова. Он успешно практически развивал ее. Вигоровский сад на территории Уральского лесотехнического института существует и поныне.

бы научить ребенка понимать язык природы! К сожалению, оставалось мало сил... Тем не менее по праву садовод Д. И. Казанцев может считаться и одним из зачинателей детской литературы на Урале, литературы познавательной и увлекательной, открывающей окно в большой светлый мир природы и приобщающей к радостному труду человека-мастера.

Право, когда я думаю о нем, о его книге с символическим названием «Яблочный пир», в воображении возникает великий, еще невиданный доселе, пир природы, щедрой и прекрасной, направляемой доброй и умной ру-

кой человека нового, социалистического века.

Умер Д. И. Казанцев в июле военного 1942 года. Здоровье у него начало портиться еще задолго до этого. Сказалось пережитое. Старший сын в годы революции был красногвардейцем, погиб в двадцатых годах от рук хулиганов-грабителей. Надо сказать, что легкой жизни не было, сад никогда не служил источником дохода. Скорее наоборот. Тяготы военного времени, трудности, переживавшиеся тогда всей страной, ускорили наступление конца.

Остался сад...

Остался сад и — книги, увы, ставшие отныне уже библиографической редкостью. А жаль. Ведь садоводству отводится в наших планах заметное место; да и безмерно выросшие и обострившиеся проблемы охраны природы требуют пристального внимания к земле, воспитания любви к ней сызмальства. Без этого нынче не мыслится человеческая нравственность.

## «КРАСНЫЙ ФОТОГРАФ ТОВАРИЩ СУРИН»

## (Мгновение — стой!)

Проглядывая страницы очередного номера иллюстрированного журнала, мы обычно даже не замечаем — да и не интересуемся! — кто запечатлел для нас моменты текущей окружающей действительности. Фотоиллюстрация вошла в наше бытие так же, как спички, электрический свет. А ведь за всем этим скрыт огромный напряженный труд, часто целая жизнь, отданная любимому делу.

Щелчок затвора — миг. Но в руках вдумчивого наблюдательного человека это миг истории, запечатленное мгновение, которое иной раз может сказать больше, чем

объемистая книга.

Поскольку я сам долгое время был репортером-документалистом, фотографом-краеведом, стремившимся где только можно зафиксировать на пленку черты своего времени, мне близок и понятен этот труд, и я хочу рассказать об одном из подвижников этого труда, чье имя мы, бесспорно, должны вспоминать с уважением.

Тому, кто жил в Свердловске в предвоенные годы, наверняка приходилось встречать человека с внешностью, невольно привлекавшей к себе внимание: коренастого, плотного, в черном пиджаке, косоворотке, с яркой рыжей бородой. Из кармана пиджака, как у запойного пьяницы, торчит горлышко бутылки, под мышкой большая фотографическая камера с треногой. Он неизменно появлялся на всех съездах рабочих и колхозных активистов, слетах ударников производства, в театрах во время торжественных заседаний, в других общественных местах, когда там отмечались какие-либо значительные события. Энергичный, уверенный, с озабоченно-сосредоточенным выражением сурового крупного лица, изрытого перенесенной в детстве оспой, он, не обращая внимания на окружающих, любопытно таращивших на него глаза, устанавливал свою треногу, наводил глазок аппарата на

цель и, сделав положенное число снимков, исчезал до нового случая. Вездесущий, он, казалось, успевал побывать одновременно в нескольких местах. Он знал многих в лицо, и его знали многие, и еще издали, завидев, кивали, как старому доброму знакомому: «Привет! Здорово!»

Хорошо помню также его в более ранние периоды жизни, в темной блузе-толстовке неопределенного цвета, в галифе и сапогах. Блуза и галифе — это была явная дань эпохе, своего рода «прозодежда» деятелей культуры того времени. Он носил ее, пожалуй, дольше, чем

другие.

Как только не называли его: «рыжий Сурин», «Человек без желудка», «рыжебородый», «непоседа», «неугомонный», «вездесущий», просто «рыжий» или «борода». Но самым первым и, вероятно, самым примечательным, пришедшим от лет гражданской войны и революции, бы-

ло — «красный фотограф товарищ Сурин».

Покойный Леонид Петрович Неверов 1, редкий знаток уральской истории и милейший человек, рассказывал мне, что в годы гражданской войны на Урале в одной из красноармейских частей служил поп-расстрига, отринувший старое и безоговорочно принявший новую, большевистскую «веру» — служение народу. Он виртуозно владел фотоаппаратом (а техника того времени была куда более громоздкой и тяжеловесной, нежели нынешняя!) и, забывая об опасности, рискуя собой, частенько снимал на передовых позициях, выскакивая из окопа, на виду у противника, стараясь запечатлеть неповторимые моменты истории. Красноармейцы любовно-шутейно прозвали его «фотопоп».

Вот таким же неистовым, одержимым, презирающим все и вся, что могло мешать, старомодным по виду и безраздельно принадлежащим новому был Сурин. Он не щадил себя, не знал, что такое усталость, физическое недомогание. Для него не существовало невыполнимых заданий, не было периодов творческой депрессии. Надо — значит, надо!

Всю жизнь он снимал громоздкой и по нынешним понятиям совершенно непригодной для серьезной репортерской работы старинной камерой с мехами и деревянной треногой-штативом, прикрывая ее «одеялом» — черной,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Л. П. Неверов — журналист, краевед, долгое время работал в редакции газеты «Уральский рабочий». В последние годы жизни заместитель редактора журнала «Уральский следопыт».

не пропускавшей света материей, копаясь под ней, как цирковой фокусник-иллюзионист: гляди—и вот-вот вылетит «птичка»! Не помню, чтоб он пытался сменить свое

вооружение на более совершенное. Нет, нет!

Его допотопная техника вызывала насмешки. Но стоило узнать Сурина поближе, познакомиться с его работами, и всякая ирония бесследно исчезала, уступая место уважению и восхищению. Нельзя было не поражаться тому исполинскому трудолюбию и подлинной страсти, которые он вкладывал во все, что делал, без которых не был бы Суриным.

Впервые я увидел его на каком-то собрании, не то в «Уральском рабочем», не то еще где-то. Сурин выступал: кончив говорить, сел и вдруг совершенно неожиданно для меня каким-то жонглерским движением выхватил из кармана бутылку, в которой оказалось молоко, вынув пробку, быстро сделал несколько затяжных глотков, затем так же почти автоматически снова заткнул, вернул посудину на прежнее место и продолжал слушать как ни в чем не бывало. Я недоумевал. Позднее, когда мы познакомились, он объяснил, что молоко — это его жизнь. Оказалось, у него нет желудка — удалили хирурги, и он вынужден питаться одним молоком: через каждые сорок минут — стакан, в сутки — восемь литров. Молоку полагалось быть теплым, поэтому зимой он таскал его в термосах. Уже одно это возбуждало любопытство. А когда люди узнавали, что человек этот при таком режиме питания ухитрялся забираться в самые отдаленные уголки, неутомимо колесил обширные пространства края, привозя из каждой поездки обильный урожай фотоснимков, не пропуская ни одного важного факта, ни одного примечательного явления жизни, они только разводили руками от удивления.

Встретившись как-то лет десять спустя, наверное, он с торжеством сообщил мне, что стал «употреблять» пельмени. «Штук десять — прекрасно! Оказывается пельмени — диетический продукт... врут, что тяжелая пища... мясо-то измельченное, переваривается хорошо... Но, конечно, — поспешил добавить он, — без уксуса. Уксус нельзя ни под каким видом».

Вспоминается другая встреча. Стояло лето сорок первого года. На уме у всех одно: война, война. Сурин пришел ко мне за каким-то делом (кажется, ему была нужна фотобумага, а у меня водились запасы), но вместо этого развернул довольно объемистую тетрадь, сшитую

суровыми нитками, и с жаром принялся доказывать, что больше года Гитлер не выдюжит, кишка тонка. Сводки с фронта были самые неутешительные; но Сурин с азартом (а с азартом он делал все) убеждал меня, что дела у фашистов швах, они проиграли на корню, с того дня, как напали на Советский Союз, и долго не протянут— не хватит горючего для самолетов и танков. Оказывается, у него даже были сделаны соответствующие расчеты— сколько нефти у фашистской Германии и ее сателлитов и сколько у нас...

Честности, аккуратности его могли поучиться многие. Как-то я выручил его фотобумагой; бумага была старая, лежалая, и я не считал даже, что сделал какое-то одолжение. Сурин же ухватился за нее потому, что в магазинах был перебой. «Ничего, — возразил он на мое замечание, что бумага старая и как бы не подвела его. — Положу бромистого калия побольше!» Прошло с полгода или с год, я забыл и думать об этом, и вдруг мне доставили толстую пачку отличной фотобумаги свежего вы-

пуска: Сурин возвращал долг.

Бесспорно, он принадлежал к той же плеяде, что и широко известный в свое время П. А. Оцуп, запечатлевший для истории черты живого Владимира Ильича Ленина. С полным правом Сурин может быть назван патриархом и родоначальником советской фотожурналистики на Урале. Он одним из первых после Октября семнадцатого года поставил свой фотоаппарат на постоянную службу партийной печати и длительное время высоко нес звание советского неистового, принципиального, вездесущего и во все въедающегося газетчика, журналиста. В двадцатых и тридцатых годах его имя было хорошо известно читателям газет и журналов (и не только советских, но и зарубежных), а также различных периодических изданий.

Безусловно, сам Сурин гордился своим фотокорреспондентским званием, высоко ставил честь профессии, что, в частности, подтверждает его высказывание: «Между фотографом и фотокорреспондентом такая же раз-

ница, как между маляром и художником».

Для нас, молодых, Сурин был примером хорошей репортерской непоседливости, жадности к насыщению материалом. Ненасытность — признак настоящего журналиста. Ради одного редкого снимка Сурин мог бросить все текущие дела, выгодные предложения и ринуться в рискованное предприятие, куда звала его натура фото-

графа-следопыта, бытописателя фактов и событий, я бы

сказал — историка.

Когда я только начинал репортерскую деятельность, Сурин ее заканчивал. Но это отнюдь не мешало ему общаться с молодежью, поддерживать, любить ее, охотно делиться опытом.

Его отличала известная консервативность взглядов. Так, он с большим предубеждением относился к современным фотографическим новшествам, ко всяким там «лейкам» и «контаксам», которые только начинали входить в моду, делавшим процесс съемки легким и приятным занятием, развращая, по мнению Сурина, и вообще превращая серьезное дело, требовавшее больших творческих усилий, терпения, в бездумное, ремесленное. Конечно, далеко не все соглашались с ним, но кой в чем он был, безусловно, прав.

Пожалуй, некоторую скидку он делал мне, вероятно, потому, что я тщательно следил, чтоб негативы и печать были выполнены безупречно в техническом отношении (многие «леечники» тогда этим пренебрегали), а Сурин ревниво относился к качеству снимка, к технике исполнения. Многие отличные фотожурналисты проигрывали оттого, что небрежничали, допускали грязь, царапины, «зерно». Знаменитый Тёмин, например, по этой причине долгое время не мог представить ни одного снимка на выставку.

Хороший фотограф немыслим без отличного владения техникой — аппаратурой, химикалиями, бумагой, пленкой; одинаково совершенно он должен снять, проявить, напечатать; новое же репортерское поколение явно манкировало этой стороной своей профессии, ставя на первый план содержание, актуальность снятого. Это сердило Сурина. Да какой же ты мастер фотографии, рассуждал он, если многие детали на твоем снимке не проработаны, расплывчаты, изображение не резко и туманно, на негативе потеки, точечные пятна, пыль?!

В фотографии — как в медицине: стерильная чистота, безупречная опрятность, точная рецептура, безошибочное понимание сложных химических реакций. Без этого ты можешь подвести себя в любой момент. Без этого не будет и быстроты в работе.

Главное же, что считал Сурин, это оперативность, умение поспеть за событиями. Фоторепортер не имеет права лениться, работать вразвалку, не спеца, ему нельзя

жалеть ног. Он должен везде успеть, все суметь, все уви-

деть и снять в любых условиях.

Бегут, торопятся, обгоняя одно другое, события... Бессчетное множество событий ежеминутно происходит в мире — больших, малых, но всегда интересных. Как задержать, уловить, запечатлеть хотя бы малую часть их для будущей истории?

Жизнь не остановить; ни на одно мгновение не затормозить ее поступательного стремительного движения. И то, что было вчера, уже не повторится завтра, не повторится никогда. Как сделать, чтоб мгновение застыло в неподвижности и стало достоянием потомков, подобно тому как гениальное творение ваятеля в мраморе доходит до нас через тысячи лет?

Эта мысль постоянно мучила Леонида Сурина.

Фотография! Она призвана сделать невозможное возможным, уловить неуловимое — минуту, секунду, миг.

Мгновение — стой!

С фотографией он сдружился еще в ранней юности. Он родился в Екатеринбурге (нынешнем Свердловске) в конце прошлого века — в 1894 году. Отец служил на железной дороге стрелочником, потом сцепщиком. После того как его прижало между вагонами и он год пролежал в больнице, стал весовщиком: эта работа считалась полегче. Здоровье хуже да хуже, — пришлось перевестись на маленькую станцию, в Кыштым.

Леонид — старший из детей — пошел в телеграфисты. По просьбе отца его приняли учеником на станцию Верхний Уфалей. Отец умер за год до первой мировой войны: убило грозой в комнате. Семьища осталась большущая: восьмеро ребят. Леонид получал 25 рублей 80 копеек в месяц, отдавал семье, себе оставлял 50—80 ко-

пеек.

Еще при жизни отца начал прирабатывать фотографией. В воскресенье съездит в село, за двадцать пять верст, поснимает — глядишь, кормишься. Сам дрова рубил в лесу, сухарник, за двадцать — тридцать верст от завода. Мать сшила брезентовые штаны: выпускал их поверх пимов, чтобы не засыпался снег за голенища.

В 1924 году журнал «Товарищ Терентий» поместил объявление: «нужны фотокорреспонденты». Сурин поехал в Екатеринбург, пришел в редакцию. Ему показали чей-то снимок: «Так сумеешь сделать?» — «Конечно!» Через неделю привез снимки, сделанные специально для журнала. «Ладно?» — «Ладно».

Так началась работа для журнала.

Время было интересное. Через общество «Межрабпом-Русь» поступило четыре десятка тракторов Кейса. Близ станции Верещагино организовали совхоз. Однако земля там оказалась плохая, и вскоре заморские машины перевели в село Куяш, в сорока верстах от Кыштыма. Все так же, по воскресеньям (должность телеграфиста не оставлял), Сурин ездил и снимал тракторные колонны, посылал в редакцию. После появились «Фордзоны» (запомнились тем, что плохо заводились: иногда, чтоб пустить их, маялись час-два); начались колхозы. Снимки печатали «Товарищ Терентий» и областная газета «Уральский рабочий».

Сам не заметил, как втянулся. Когда приходили свежие газеты и журналы, нетерпеливо уже искал свои снимки на пахнущих типографской краской листах. Най-

дя, испытывал гордость и волнение.

Фотография — большое нужное искусство — властно позвала к себе, захватила целиком. Он овладел техникой ее (для прессы требовалось новое, улучшенное качество), а она овладела его мыслями, чувствами, желаниями. Незаметно он становился профессионалом репортером, скрупулезно, шаг за шагом, отмечая общественные перемены в жизни.

А тут как раз представилась заманчивая возможность совершить большой вояж за репортажем далеко на Север, на полуостров Ямал. Один литературный деятель, приезжий, предложил составить компанию. Сурин специально для поездки накопил изрядный запас фотоматериалов. В последний момент компаньон подвел, отказался. Не привыкший отступать, Сурин махнул рукой и поехал один.

«Уральский рабочий» дал пятьдесят рублей на командировку: с газетой уже тоже установились добрые отношения.

Ехал поездом, пароходом (самолеты еще не летали), жадно запоминая все, что открывалось глазам, отснимывая дюжину за дюжиной. В Тобольске видел доживавших век буржуев, высланных из центра. Богомольные, они, как и в прежние времена, ходили в церковь. Не привыкшие к местному климату, носили летом толстые варежки, защищавшие изнеженные руки от комаров.

В Тобольске пришлось два дня ждать разрешения на съемку от местной Чека (или ГПУ, теперь уже запамятовал). Хоть страна была уже на мирном положении —

шел двадцать шестой год, однако еще были свежи отзвуки пронесшихся классовых бурь. В городе и вокруг него жили так называемые административные, активные враги революции, которым победившая Советская власть великодушно даровала жизнь. Сурин не удивился, когда, вручая ему разрешение, уполномоченный в форме миролюбиво предупредил:

— Действуйте, желаем успеха! Только смотрите, если

возьметесь помогать кому-нибудь — поссоримся...

Забрался он далеко. За Обдорск, нынешний Салехард, до Белого Мыса, до поселка Ныдо; это еще семьсот верст за Обдорском, на берегу Обской губы. Ездил на северных оленях по тундре, летом на полозьях, видел пляски и заклинания шаманов. На себе изведал, как верно назвали ненцы свою родину — Ямал.

«Ямал» в переводе с ненецкого значит «земле конец», по-старому — отсталая российская окраина, населенная «самоедами». Старое жило еще во всем, хотя новое уже

начало пробиваться наружу.

Запомнилась пляска медведей. По прежним ненецким понятиям, медведь — царь зверей. Убьют — начинается пляска-хоровод. Притопывая и переваливаясь, как делает сам топтыгин, взявшись за руки, ходят вокруг него, приговаривая:

— Медведушко, прости. Не я тебя убил, русский по-

рох делал, он тебя убил...

Потом новый заход:

— Медведушко, прости. Не я тебя убил, русский пули отливал, он тебя и убил...

И т. д. Все русский виноват!

Снимать было не просто. Аппарата чурались, сказывались вековые предрассудки, поддерживаемые и насаждаемые шаманами.

Сурин действовал через детей. Подзовет, покажет изображение на матовом стекле, — ничего страшного! «Ёмас? (Хорошо?)» — «Ёмас!» После снимает. Но однажды вы-

шло непредвиденное осложнение.

Подозвал девчонку. А изображение в фотоаппарате перевернутое. Она посмотрела и, чтоб показать другим, что увидела, отбежала и легла, задрав ноги кверху. Чтоб поняли: там, на волшебном стекле, все люди вверх ногами. А вышло не так. Старухи заплевались, поднялась брань. Пришлось скорей собирать пожитки и убираться восвояси. Еле убежал!

Насмотрелся всячины. В Кондинске в полночь снимал моментально. Над негативами трясся, как скупец над накопленным богатством. А они, как показало ближайшее будущее, и впрямь оказались бесценным кладом, настоящим подвигом репортера.

Кассеты перезаряжал в мешке: жена сшила для поездки (после купил фабричный). Проявлял, обрабатывал — в барже или под толстым светонепроницаемым пологом. Особенно опасался всегда переездов на катере: долго ли до беды — опрокинулись, сам-то, может, и не потонешь, а все труды пропали!..

Пятьдесят рублей были немалые деньги. Однако расходы оказались больше. Как ни берег средства, на обратном пути к Тобольску они кончились. Еще на паро-

ходе его стали спрашивать:

— Ты что, товарищ, ничего не покупаешь на пристанях?

Да приболел что-то желудком, — уклончиво отвечал он.

Не тогда ли, питаясь сухой коркой, как придется, он

и нажил себе язву...

В Тобольске пропившихся забулдыг, разных искателей приключений, которых забросила в эти края изменчивая фортуна, брали на караваны в качестве простых матросов. Караваны сплавлялись вниз по Оби. Что ж, и ему опять плыть вниз, следуя примеру других, хотя забулдыгой-пропойцей он не бывал отродясь?

Нет! Пошел и продал кожаный костюм за двенадцать рублей. Костюм этот, вроде тех, какие носили комиссары времен гражданской войны, он нарочно захватил из дому на крайний случай. Наелся до отвала, испытав то блаженное состояние сытости, какое, вероятно, испытывали представители народов Крайнего Севера после длитель-

ной голодовки и удачной охоты.

Но и этих денег хватило только до Камышлова. От Камышлова ехал зайцем: важно было попасть в вагон, а там уж... Счастье, что кондуктора были знакомые, не

трогали.

С поезда прямо в редакцию. Его окружили: явился, наконец-то! Первый вопрос: что привез? Он вытащил, стал показывать. Печать тогда была контактная (увеличивать стал года с тридцатого, тридцать первого). Но и отпечатанные контактно, форматом десять на пятнадцать, снимки вызвали бурный восторг. Дал подробные подписи. Уже назавтра первые из фотографий появились

в печати. «Чохом» ему выписали полтораста целковых гонорара. Уйма! Он сразу в баню, опять наелся...

И жизнь хороша, и жить хорошо!

После опять накупил бумаги побольше: без запаса фотографу никак нельзя! Напечатал все снимки в четырех экземплярах. С железной дороги его, конечно, уволили (сильно просрочил отпуск), но он не очень горевал. По закону ему, как бывшему железнодорожнику, еще полагался бесплатный билет в один конец, — двинул в Москву. Гулять так гулять!

Поездка в столицу вышла триумфальной. «Северная экзотика». Нарасхват! Взяли буквально все, что привез. «Правда», «Известия», журнал «Экран» при «Рабочей газете» — все ухватились за его снимки. В места, где он побывал, еще не отважился заглянуть ни один пройдоха репортер. В Госиздате узнали — тоже «придите к нам». Словом, сразу вдруг стал знаменит, в почете. «Прессклише» — будущая «Фотохроника» — забрало все его негативы. Там же посоветовали впредь делать дубли. Денег — горы... ну, может, и не горы, но во всяком случае столько еще не бывало!

Обзавелся новым аппаратом, тринадцать на восемнадцать. А до этого чем работал — смех и горе! Объектив девять на двенадцать, а снимал десять на пятнадцать; камера же была тринадцать на восемнадцать, штатив приколочен намертво. Светосила восемь, без солнышка надо снимать с выдержкой. Кассет было три двойных.

Теперь стал пользоваться светосилой 6,8. Работал экономно, делая на одну пластинку по два снимка, но, как любил повторять, «ниже девять на двенадцать не спустился». Вот тогда, очевидно, и начала укореняться привычка, которую позднее стали расценивать как проявление некоего профессионального консерватизма, снимать всегда на плоскую пленку или стекло, делать все основательно, добротно, чтоб снимок так снимок, негатив так негатив.

В разъезды брал по пятьдесят дюжин (стекла!). Перезаряжал в мешке. Немцы практиковали адаптеры на двенадцать пленочных снимков. Сурин завел пятьдесят кассет.

Там же, в Москве, его попросили снять кое-что по заказу разных редакций. Он выполнил все успешно и тем еще более закрепил свое положение первоклассного репортера. Вернулся в Свердловск, хотел ехать домой, в Кыштым, «Уральский рабочий» попросил поснимать выборы в Советы. Кончились выборы — началось что-то другое. Поснимай да поснимай, так и прожил весь конец 1926 года, а потом остался насовсем. Года четыре жил врозь от семьи. В 1931-м дали квартиру.

В 1929-м на выставке советской фотографии, организованной Академией художественных наук, он удостоился похвального отзыва «за фотографии, экспонированные

по отделу фоторепортажа».

Суринские снимки помещались в самых разных изданиях. Москва постоянно напоминала, чтоб слал новую продукцию. Он — снимки, а ему в ответ пришлют иностранные издания, кружком синим или красным карандашом обведут «его фото».

Как-то раз задержал, долго не давал ничего; приехал в Москву — на него напустились: «Товарищ Сурин, что вы не присылаете? Вас весь мир печатает...» А надо сказать, что интерес у иностранной прессы к Советскому Союзу был большой, изобразительная информация бралась охотно и в неограниченном количестве.

Колоритная внешность способствовала тому, что его хорошо запоминали в лицо. «Борода — мандат мой!» — шутил Сурин в обществе друзей. Бороду он отпустил

с 1923 года.

«А что? В бороде-то заметней. Когда приедешь кудалибо — лезешь в карман, чтобы предъявить удостоверение, а начальник: «Не надо, не надо! Помним! Надолго к нам? — «На недельку». — «Что мало? Живи дольше, обеспечим!»

Нажмет кнопку, вызовет секретаршу или управляющую делами: «Марья Ивановна, устройте его в гостиницу, с питанием. В ГПУ позвоните, чтоб выдали пропуск. Скажите, что я его знаю...»

Задержка в работе для репортера — всегда самая большая неприятность. Этих задержек почти не бывало у Сурина.

А снимал он много, интенсивно. Кого только не запе-

чатлел за те годы объектив его фотоаппарата!

В Москве, на митинге в ЦПКиО, после 6-го конгресса коминтерна, он снял выдающихся деятелей международного рабочего движения — Марселя Кашена (Франция), Сен-Катаяму (Япония), Эрколи-Тольятти (Италия), на Урале — Коларова, видного болгарского революционера, соратника Димитрова. Именно благодаря Сурину ураль-

ский партархив заполучил фотографии Макса Гельца, снятого вскоре после освобождения из немецкой тюрьмы, на митинге на заводе «Металлист» в Свердловске; Вильгельма Пика — в редакции «Уральский рабочий»; делегации Союза красных фронтовиков Германии — в клубе «Профинтерн» (ныне клуб имени Свердлова).

От внимания Сурина не ускользнул приезд на Урал Анны Луизы Стронг, видной американской журналистки, жены Джона Рида, оставившего после себя замечательную книгу, переведенную на все языки, — «Сто дней, которые потрясли мир». От зоркого глаза Сурина не могло

ускользнуть ничего.

В 1928 году в Свердловске побывал Маяковский. Сурин заснял его в клубе рабкоров, в старом помещении

редакции «Уральский рабочий», на Вайнера, 12.

Этот снимок публиковался очень широко и вошел в фонд избранных фотоматериалов о великом пролетарском поэте. Момент был пойман очень удачный: Маяковский стоит около стола, одна рука касается графина; вероятно, приготовился к жесту, к тем «маяковским» взмахам, которыми сопровождалось чтение стихов и вообще все выступления на публике. Глаза — глядящие в душу, с оттенком какой-то невысказанной скорби, выражение лица — вот-вот фраза слетит с уст...

Кстати, Сурин первый из коллег-уральцев применил в репортерской практике вспышку магния (блицламп тогда не существовало), и это значительно расширило

возможности съемки.

Дважды — в 1931 и 1933 годах — он снимал Ворошилова, Орджоникидзе, приезжавших на новостройки Урала и Сибири. В Свердловске они выступили с речами перед трудящимися на Уралмаше, на ВИЗе, во Втузгородке. И всюду, как тень, их сопровождал Сурин со своим испытанным другом — фотоаппаратом. Он умел делать свое дело, не мешая другим, незаметно, быстро.

Как не пропустить события?

Опыт рождает сноровку. Газеты сообщают: Климент Ефремович Ворошилов выступает во Владивостоке. В Хабаровске. В Новосибирске. Значит — скоро должен быть здесь...

Сурин идет в дом по улице Ленина.

«Иди, старик, сегодня ничего не будет». (Из-за бороды его часто называли стариком, путая возраст.)

Пришел на следующее утро — знакомый чекист ворч-

ливо набросился на него: «Где тебя черти носят! Лети на запасной путь, там правительственный вагончик... Тебя ждут не дождутся!»

Последние слова, конечно, были шуткой, но Сурин

уже не слушал их: скорей — туда.

Час еще ранний — самое лучшее время застать того. кого надо. Наснимал, а часа в три дня снимки уже в редакции. Предупредил, однако, что дал их без согласования: сам — одна нога здесь, другая там! — к наркому, точнее, к его секретарю. Выложил снимки, попросил: «По-

смотрите, пожалуйста, можно — нет пускать?»

Пока говорили, вошел нарком, Энергичный, бодрый, глаз веселый, быстрый. «Дайте-ка взглянуть». Переглядел все — понравилось. «Напечатайте-ка нам экземпляра четыре, а то дальше поедем — опять просить будут...» Сурин лезет в карман (а в карманах у него помещалось что угодно): «Пожалуйста». Человек предусмотрительный, наученный опытом, не поленился напечатать, так сказать, авансом и захватил с собой... «Сколько вам за это?» - «Ничего не надо. Я у богатого хозяина работаю! ..»

Сколько подобных эпизодов было у него за долголетнюю практику! Каждый обогащал фототеку новыми цен-

ными приобретениями.

Он умел отобрать наиболее выразительное, яркое. Своеобразный рекорд: в 1927 году, в период перевыборной кампании, в одном номере «Уральского рабочего» было помещено шестьдесят пять снимков Сурина. Обычным было: утром наснимает — вечером вывешена подборка из его фотографий где-нибудь на видном месте.

Как своеобразную награду, признание вспоминает такой случай. Проходил какой-то областной съезд, какой — теперь уж не помнит, да и не в том суть. Для съемки делегатов и отдельных моментов работы съезда пригласили частного фотографа. А Сурин (как всегда, он был тут же) снимет да уйдет, чтоб не мешать, опять снимет — опять уйдет... А тот, другой, все торчал на виду, намозолил всем глаза.

В один из моментов Сурину пришлось со своей треногой вылезти на сцену. И вдруг председательствующий, пользуясь наступившей паузой, зааплодировал ему, а за ним принялись хлопать и остальные - весь зал. Съезд аплодировал фотографу, аплодировал за сноровку, уменье

работать.

Ведь он шагал в ногу с историей, с эпохой, бурной, грохочущей, неудержимо рвущейся вперед, вперед!...

История! Леонид Михайлович Сурин хорошо, добросовестно потрудился для нее. Магнитка. ЧТЗ. Соликамский калийный. Чусовская нефть. Пермский суперфосфатный. Губаха. Кизел. Егоршино. Лысьва. Чермозский завод. Добрянка. Златоуст... Где в те годы не побывал он! В некоторых местах — десятки раз.

Большая, нет, огромная заслуга его в том, что сохранилась фотолетопись пятилетом Урала, именно благодаря его неутомимости и настойчивости оказалось «уловленным», запечатленным то, что теперь ушло безвозвратно. Он снял первые врубовки в шахтах Кизеловского угольного бассейна, спускаясь для этого в забой, к рабочему месту. Снял закладку и пуск первых цехов Уралмаша, увековечил дореволюционную «Нахаловку», наследие старого Екатеринбурга, на месте которой потом вырос район науки и студенчества — Втузгородок.

Сурину довелось видеть, как на старых уральских заводах с рубах вальцовщиков сыпалась соль, выступившая из пор тела; чтоб утолить жажду, пили из бачков, в которых — как велось еще при хозяине — были опущены глыбы льда, пили долго, ожесточенно, казалось, никогда не насыщаясь до конца. И он же заснял новый цеховой быт — светлые помещения, сифоны с подсоленной газированной водой. Выпил стакан — и достаточно, больше не требуется, не надо перегружать сердце. Вместе с этими мелочами наступала новая эра, эра социализма.

Когда он впервые приехал на строительство крупнейшего в Европе металлургического гиганта, там, кроме трех рудных гор, носивших обобщенное название Магнитной, еще не было почти ничего. Позднее он снял и первые магнитогорские домны, и первые чушки чугуна с барельефом Ленина. Приезжал один и с выездными редакциями; но та, первая поездка... Такие бывают раз в жизни.

Годы спустя Юрий Чап — многолетний литературный сотрудник «Уральского рабочего», позднее правдист, — вспоминал о ней:

«Мы... ехали по еще недостроенной ветке Карталы — Магнитная. Ветка тогда доходила только до совхоза «Магнитный». Шпалы были положены на земляную насыпь, но еще не закреплены. Вагон нашего поезда качало, как утлый челн в бурю. На степь навалилась ис-

синя-черная ночь. Из трубы дряхлого паровозика полыхали снопы искр. Старика не баловали и держали на дровяном топливе. Совхоз «Магнитный» готовился к посевной. В этом совхозе мы сделали привал на пути в станицу Магнитную. Сурин рвался в бой. Он вынул свою громоздкую аппаратуру.

...Сурина знал весь Урал... У него была в самом деле выдающаяся борода. Огненно-рыжая, раздвоенная на концах, она особенно потрясала очевидцев, когда вспыхивал магний. Сквозь густые клубы дыма выглядывали пла-

менеющие концы адской бороды Вельзевула.

В совхозе «Магнитный» Сурин решил сделать панораму под названием «Старое и новое». Колонна тракторов идет по широкой степной дороге мимо хилой сельской церковки. Сурина, однако, ожидал тяжелый удар. Директор совхоза сказал, что рад бы душой помочь созданию такого исторического снимка, но, увы, не все тракторы отремонтированы.

— Впрочем, — добавил любезно директор, — мы можем и сейчас провести тракторы мимо церкви. До этого

места они дойдут все.

— Это — жульничество! — воскликнул фоторепортер

с таким возмущением, будто ему предлагали взятку.

Сурин остался в совхозе на несколько дней. Каждый день он беспощадно критиковал директора за «рабские темпы». Директор дрогнул. Тракторы были отремонтированы в срок. В станицу Магнитную Сурин, не найдя подводы, пришел пешком, но зато со снимком».

Вот так и шагал неистовый Сурин со своим спутником-фотоаппаратом по родной земле, переживавшей невиданное обновление. Непримиримый к недостаткам, враг всяких компромиссов, он фиксировал все, что находил достойным внимания, пропагандировал победы.

«Размаха шаги саженьи» пятилеток, темп жизни на-

полнял гордостью, ощущением собственной силы.

Снимал с экскаватора, с ковша, поднятого на вытянутой стреле, пристроив аппарат между его зубьями; с металлических конструкций; со строительных лесов; с мачт высоковольтных линий. В его архиве сохранился снимок: он висит на трамвайном столбе перед трибуной на площади 1905 года, в Свердловске. В поисках наивыгодной «точки», кажется, готов был залезть на облака.

Остановись, мгновение! Короткий, чуть слышный щелчок — и ты пойман, миг текущий, ты уже не уйдешь никуда. Ты стал кадром, снимком, теперь можно разгляды-

вать, ощупывать даже за тысячи километров от того места, где объектив фоторепортера уследил за тобой,

можно восторгаться и радоваться, негодовать...

В десятилетие — с 1924-го по 1934-й (когда болезнь вынудила выйти на пенсию) — Сурин накопил огромный уникальный иллюстративный материал — тысячи и тысячи снимков.

Многие из них заслуженно могут быть названы историческими, ибо поступь нашего неповторимого времени отразилась в них.

Сурин снял первых ударников и стахановцев, многих

знатных людей страны.

Он не просил делать стандартных улыбок, органически не терпел фальши, а запечатлевал в суровой простой красоте, в трудовых буднях, в естественной непосред-

ственности живой реальности.

Противник лакировки, он, естественно, явился противником ретуши, красивой (а иногда и наоборот) подделки под искусство (исключая, разумеется, ретушь чисто техническую, вызываемую необходимостью, когда надо заделать дефекты негатива или позитива).

Ему доказывали:

Чтоб сделать хорошую вещь, надо ретушировать.
А как же в кино? — возражал он. — Там разве ре-

тушируют?

Учился у кино. Иногда один фильм смотрел по не-

скольку раз.

Много усердно читал. В личной библиотеке его накопились сотни книг, в том числе немало редких, особенно краеведческих, энциклопедии Брокгауз — Ефрон, Большая Советская (1-е издание), медицинская, техническая...

— А всё надо, — объяснял он. — Видишь, без энциклопедии нельзя в газете работать. Приедешь на рудник, если не знаешь, так, пожалуй, засмеют тебя. Вместо «на-

гора́» скажешь «на́ гору»...

Александр Николаевич Пятницкий, ответственный секретарь редакции «Уральский рабочий» (впоследствии преподаватель и зав кафедрой факультета журналистики Уральского госуниверситета имени Горького), душевный и многосторонне образованный человек, воспитавший не одно поколение журналистов, с которым Сурина связывала долголетняя личная дружба, постоянно требовал, чтобы репортер перед выездом заглянул в книжку. «Про-

экзаменует тебя, - вспоминал Сурин. - Больщое дело!

И правильно...»

Я перечислил прозвища, которые носил Сурин, которые прилипали к нему так же быстро, насколько легко запоминалась всеми его незаурядная внешность. Но было еще одно, пожалуй, наиболее полно выражавшее его лостоинства: «уральский самородок». Он действительно был самородком, а самородки всегда редкость, даже на уральской земле.

Беда подстерегала его там, где он не ожидал. Как-то без предупреждения, внезапно, как ночной вор, подкралась болезнь. Вдруг — приступ, «скорая помощь». Привезли в больницу — язва... не было печали! А он любил горчицу, селедку, острые приправы, горячие кушанья. Сила была — по восемнадцать пудов таскал, по-нынешнему — триста килограммов... Никогда не думал о здоровье.

Рентгенов тогда не было. Может, потому и получилось все так. Предложили лечь на койку — он загорячился, затряс боролой.

- Скоро областной съезд Советов, областная партконференция. Что товарищи скажут? Скажут, испугался большой работы...

Отказался лечь наотрез. Профессор Шамарин осуждающе качал головой, но все-таки согласился отпустить.

А через два месяца к нему же привезли, к Шамарину:

прободение желудка, перитонит...

Всего пришлось перенести девять операций. Девять! Желудок удалили начисто, проделав так называемый броуновский анастомоз. Специалисты знают, что это значит. Строжайшая диета. Что ни поест — рвет. . . Вот когда у него в кармане появилась бутылка с молоком. Десять лет «сидел» на молоке.

«Инвалидность»... Это слово как-то плохо вязалось

с ним, с его неуемной, кипучей энергией.

Пришлось, удерживая свой пыл, ограничить себя во всем.

И тем не менее и после этого в печати время от времени продолжали появляться снимки за подписью «Л. Сурин».

Какую нужно иметь крепость духа, чтобы не согнуть-

ся после такого удара! А он не согнулся.

Неутомимый труженик, он не унывал, не складывал оружия: пробавлялся на театральной съемке, на «аккордных» работах для разных ведомственных выставок и

оформлений.

С годами борода поредела, из огненно-рыжей стала двухцветной, рыже-белой, но Леонид Михайлович не терял юношеской порывистости, подвижности, увлеченности делом, бодрости, как тогда, когда еще только вступил на беспокойную стезю журналиста, фоторепортера.

Грянула война — и снова он окунулся в гущу событий: ведь многие фоторепортеры, моложе его возрастом, ушли на фронт... Вот тогда вскоре он и сделал свои расчеты, как быстрей победить Гитлера... Наивно, как у ре-

бенка, но, право, трогательно!

Новые идеи рождались в голове. Журналистка Н. Розина рассказывала: однажды встретила Сурина на улице — он деловито прилаживал аппарат, выбрав благоприятное освещение. Он задался целью создать своеобразную фотолетопись города. Собственно, она была начата им еще добрую четверть века назад. Он умел смотреть вперед и частенько фиксировал аппаратом то, что в данный момент не интересовало газету: грязный перекресток, изрытую ямами дорогу, подгнившие хибарки, выбирая такие точки, которые, по его заключению, в будущем могли дать наиболее разительную картину изменений, — и никогда не ошибался. Теперь это все приголилось.

— Так много зелени стало, — шутливо пожаловался он, — что ни одного приличного здания сфотографировать нельзя. Закрывает фасады домов... Я хочу, — признавался старый фотограф, наклоняясь к аппарату, — чтобы люди увидели, как много сделано за годы Советской власти, как изменился город, и еще больше полюбили его...

В этой фразе, пожалуй, весь он, думающий, размышляющий о судьбах своей страны и родного края, советский репортер Сурин. Человек горячего, истинно большевистского сердца, он всегда жил интересами общества,

работал для общества.

Одно из его добрых и значительных дел — организация вскоре после войны (в 1956 году) фотокабинета на факультете журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Поработать там как следует самому уже не удалось: кончались силы, подводило зрение 1. От многих близко знавших его в ту пору

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Умер Л. М. Сурин в 1964 году, прожив ровно семьдесят лет (родился в 1894-м).

мне довелось слышать, что, печатая фотографии, он теперь и действовал как-то не так, как прежде, как принято обычно, не рассматривал на свету, под красным фонарем, все время пускал в ход пальцы. Создавалось впечатление, что он на ощупь определяет готовность проявленного снимка, «видел» контрастность печати. Может, он и впрямь обладал особым внутренним зрением или столь велик был опыт, что и в этих условиях, полуслепой, сильно недуживший, мог действовать почти безошибочно; выручала профессиональная интуиция.

В редакции «Уральского рабочего» он оставил после себя огромный негативный фонд — 45 000 штук, все подобранные один к одному, в конвертиках, с подписями, где, когда снято. Сохранили ли это не имеющее цены собра-

ние фотодокументов его преемники?

Осталось и другое наследие — его выученики. Известный уральский мастер фоторепортажа Иван Тюфяков начинал у него, у Сурина, с наклейшика: текстовки наклеивал в картотеке. К слову сказать. Тюфяков был последним человеком, взятым с биржи труда. Современным советским молодым людям, пожалуй, и не понять, что сие значит. Учетчик в фотолаборатории, он, неожиданно увлекшись фотографией, вскоре уже числился официально учеником: а заведовал лабораторией Л. М. Сурин. От него и перенял многие приемы, впоследствии ставшие профессиональным навыком. И так же, как Сурин, поспевал везде... В войну командовал огнеметным взводом, потом — ротой минометчиков, проделав ратный путь от Сталинграда до Правобережной Украины. После, в январе сорок четвертого, тяжелое ранение, ему ампутируют ногу. Кажется, какой теперь из него фоторепортер... Да не на того напали: хоть на протезе, а коммунист Иван Тюфяков вернулся к любимой профессии. Ему, в частности, мы обязаны бесценным фондом бажовских снимков: Бажов дома, Бажов на работе, Бажов с близкими и друзьями — с маршалом Жуковым, с писателями Новиковым-Прибоем, Серафимовичем, Константином Симоновым. Михалковым. .. Из этих снимков составился альбом, выпущенный в связи со 100-летием со дня рождения П. П. Бажова, в одночасье ставший редкостью.

Под суринским руководством начинали Николай Самойлов, Иван Шубин, Михаил Ананьев (в военные годы был в Белоруссии в партизанском отряде, снимал Брестскую крепость; помните его берущий за душу снимок «Это не должно повториться» — ветераны у святых раз-

валин, которые они отстаивали, не щадя жизни), Анатолий Фаддеев (позднее долгое время работал в железнодорожной газете «Путевка»), Михаил Просвирнин... Всего до тридцати человек. Строгого, требовательного «дедку Сурина» с благодарностью вспоминают многие.

А он и впрямь дед: появились внуки и внучки...

В одну из встреч, в январе шестьдесят первого года, Леонид Михайлович сообщил, что 14 000 негативов безвозмездно передал в архив. С девушкой целое лето сидели, текстовки писали, наводили порядок, чтоб мог разобраться всякий. Да тысяч двадцать пять выбросили: не мог вспомнить, что снято.

По стариковской привычке только бы сидеть да глядеть в телевизор, слушать радио. А он, как и прежде, продолжал болеть за судьбы фотографии, судил и наставлял молодых. В самый неожиданный момент мог раздаться в телефонной трубке его голос: «Ваня! А этот снимок-то у тебя того... поспешил малость...» Или наоборот: «Молодец! Когда это ты снял? Прицел взял правильно...»

Его голос по-прежнему доносится — и, очевидно, бу-

дет еще доноситься долго — и со страниц печати.

Как-то газеты поместили подборку фотографий о Свердловске: что есть — многоэтажные красивые здания — и что было — ветхие приземистые домишки, будто притиснутые к земле, некогда стоявшие на месте этих монументальных зданий: с чего начинался новый, социалистический Свердловск. Контраст потрясающий! Как бы мы могли оценить содеянное, если б не видели воочию этого контраста? Это были снимки Л. М. Сурина.

Уловив бегущие мгновения своего времени, запечатлев, заставив их жить вечной жизнью, он подарил их нам, поколениям, которые пришли за ним и еще придут.

Спасибо тебе за них, спасибо за все, дорогой Леонид

## «ГОВОРИТ УРАЛ»

## (Музы не молчали)

. С конца лета 1941 года потянулись на Урал эшелоны с эвакуированными. День ото дня все многолюдней ста-

новилось и в нашем отделении Союза писателей.

Одной из первых, кажется еще в августе, приехала из Киева известная украинская детская писательница Оксана Иваненко. Муж ее пропал без вести на фронте, в захваченном немцами Киеве осталась квартира, библиотека, все имущество; но эта маленькая, всегда приветливая, с мягкой располагающей улыбкой и лучезарными голубыми глазами женщина была мужественна, не теряла бодрости, уверенности в завтрашнем дне, работоспособности. Первой из эвакуированных литераторов она сдала в местное издательство написанную уже в Свердловске книжку рассказов для детей «Виктуар» и другую, название которой я уже не помню.

«Муж ее, конечно, погиб», — говорили между собой писатели, знавшие ситуацию на фронте, но в глаза всячески старались поддержать надежду в том, что он вернется. Это были дни тяжких потерь, а муж Оксаны Дмитриевны был политруком и попал, что говорится, в самое пекло. Писатели, члены ВКП(б), избрали коммунистку Иваненко секретарем партийной организации Свердловского отделения СП (позднее ее на этом посту сменил

П. П. Бажов).

Из Ленинграда приехали один из зачинателей советской поэзии, Илья Садофьев, Ольга Форш, профессор, доктор, исследователь истории отечественной техники, принятый в Свердловске в члены Союза писателей, В. В. Данилевский, ряд других товарищей. Появились эвакуанты из Одессы, Харькова. Оправившись немного от пережитых потрясений, одесситы вскоре перекочевали в другой город, поближе к теплу. В Свердловске задержался лишь Н. Бокк.

Но наиболее многолюдный поток приезжих хлынул в

октябре из Москвы. Ленинградцы избрали центром эвакуации Пермь. Там сосредоточилось наибольшее количество писателей с берегов Невы. В Перми же обосновался Театр имени Кирова, колыбель русского классического балета. Свердловск стал основным пристанищем для москвичей.

Приехали Анна Караваева, Мариэтта Шагинян, Федор Гладков. Лев Кассиль. Б. С. Ромашов с женой. Агния Барто со своим семейством. Виктор Финк, тоже со своими «Финками», известный по роману «Иностранный легион», пушкинист, автор «Записок д'Аршиака», профессор Л. П. Гроссман с женой — «Леонид д'Аршиакович». как называл его остроумец Финк, объединяя имя автора с фамилией героя, один из последних «символистов» и старейших поэтов страны. Юрий Никандрович Верховский, профессор Н. К. Гудзий, поэтессы Ольга Высотская. Вера Звягинцева, критик и литературовед Л. И. Скорино, автор русского текста «Интернационала» поэт Аркадий Коц. Несколько позднее появился один из старейших писателей, Н. Н. Ляшко. Какое-то время жила в Свердловске М. Д. Марич, автор романа о декабристах «Северное сияние».

Помнятся также семья драматурга Н. Мерцальского, минский писатель и скромнейший душевный человек, член СП СССР с 1934 года, Феодосий Шинклер. Из поколения старейших колоритной фигурой был Н. Чаговец, современник и друг В. Г. Короленко, державшийся очень авторитетно, когда дело касалось литературы, да, пожалуй, не только литературы. В Свердловске находилась и дочь Короленко — хранительница музея Короленко в

Полтаве.

Из литераторов не столь известных, но также входивших в список находившихся на обеспечении Союза писателей, должны быть названы Сусанна Люм — автор книги «Записки директора», написанной на материалах тогдашнего директора Верх-Исетского завода Радкевича (работать они начали, если не изменяет память, еще до войны), а также начинающий прозаик Сара Марголис и молодые поэтессы Агния Кузнецова и Людмила Младко, сотрудник Центрального Литфонда Е. Я. Берлинраут и еще многие другие. Сара Марголис (некоторое время она была секретарем Союза) и замуж вышла здесь, на Урале. Ее суженым стал художник Феликс Лемберский, живший — тоже в эвакуации — в Нижнем Тагиле.

Показался и тут же исчез Лев Славин. Спустя годы выяснится, что он был единственным специальным корреспондентом «Красной звезды», которому в тот неимоверно трудный период был предоставлен редакцией отпуск сроком на десять дней, с 9 ноября по 19 ноября. отпуск вынужденный, для поправки здоровья: как свидетельствует генерал-майор Д. И. Ортенберг 1, уж больно был худ, изможден донельзя, «со впалыми шеками, с синевой под глазами», спецкор газеты на Ленинградском фронте! По выражению Славина, в Свердловске было «тоже не жирно»: но свидание с семьей — великая радость; помимо того, за неделю передышки, проведенной в Свердловске, Славин успел набросать повесть «Два бойца» (дописывал уже в поезде, по дороге к Ленинграду), легшую потом в основу одноименного кинофильма с Марком Бернесом и Борисом Андреевым в главных ролях. Еще мелькиул на уральском горизонте и тут же исчез журналист Л. Хват, весьма популярный и часто печатавшийся в предвоенные годы в «Известиях», с огромным журналистским опытом и уверенной хваткой (не отсюда ли и фамилия — Хват).

Конечно, столичные писатели бывали на Урале и раньше. Незадолго до войны в Свердловск приезжали С. Михалков, К. Симонов и критик Роскин. Помню остроумную живую беседу за «круглым столом» в библиотеке Домалитературы и искусства. Война уже бушевала в Европе. О войне напоминало полувоенное одеяние Михалкова и Симонова. В марте сорок первого в Свердловске побывал творец «Железного потока» — А. С. Серафимович. Он навестил Бажова в его уютном доме на улице Чапаева, 11 (Бажов встречал гостя на вокзале). Но мог ли кто-нибудь тогда предполагать, что в годину всенародных бедствий Свердловск и Урал станут средоточием

крупных литературных сил!

В короткий срок свердловское отделение выросло до семидесяти членов Союза — цифра неслыханная за всю историю литературной организации на Урале (если не считать 700 «добровольцев», зачисленных одно время — в тридцатых годах — по рапповскому «призыву в литературу» в писатели. Всякое бывало...).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Генерал-майор Д. И. Ортенберг в годы Великой Отечественной войны был главным редактором газеты «Красная звезда». О Славине он вспоминает в своей книге «Время не властно».

Мы, коренные уральцы, на первых порах совсем было затерялись в говорливой, высокоэрудированной и предприимчивой массе известных всей стране литераторов, их жен и родственников. Но так было сравнительно недолго. Между местными и приезжими писателями установился дружеский контакт, и весь период эвакуации, вплоть до отъезда товарищей домой, мы работали в тесной творческой близости, постоянно чувствуя взаимную под-

По разговорам и виду некоторых приезжих можно было сделать заключение, что они собрались не ближе, чем на Северный полюс! Свердловск многим, видимо, представлялся ужасно каким далеким и холодным, глухим городом, чуть ли не с белыми медведями на улицах. (По этому поводу мы потом шутили: москвичам — если дальше Мытищ, то уже глухая Сибирь!) Но когда поостыли страсти эвакуации, все немного обжились и попривыкли, насколько это было вообще возможно в тех условиях, — настроение изменилось. Народ языкастый, язвительный, знающий цену хорошей шутке, писатели порой не прочь позубоскалить, направить стрелы иронии и в

собственный адрес...

держку.

Не знаю, у кого возникла мысль создать «Литературный центр на Урале», сиречь в Свердловске. Об этом ходили разные толки. Говорили, что он якобы создан по прямому указанию А. А. Фадеева; однако последовавшие вскоре его высказывания на сей счет, во время приезда на Урал, опровергают эту версию. Есть и такое суждение, что идея создания этого «центра» исходила от Евгения Пермяка (вообще это похоже на него, надо признать, он был неистощим на выдумки). Всю жизнь считавший себя уральцем (но, сколько я его помню, всегда живший в Москве), он постоянно подчеркивал свою близость к Уралу; он и стал ответственным секретарем «Литературного центра на Урале».

Гитлер трубил о разгроме и полной деморализации, разложении Советской державы, о том, что всякая нормальная деятельность в советском тылу замерла, советская культура разваливается, что в Советском Союзе хаос и паника и ни о какой интеллектуальной жизни не может быть и речи. «Литературный центр на Урале» явился как бы ответом на эти наглые заявления зарвавшегося врага. Были даже отпечатаны специальные «фирменные» бланки, выглядевшие по тем временам весьма

пышно.

В конце октября или в ноябре, точно теперь уж не помню, проездом в Свердловске побывал А. А. Фалеев. Выглядел он по-походному: в шинели с двумя ромбами в петлицах, с заветренным красным лицом. Задержался в городе не долго, однако успел поговорить с товаришами, ознакомиться с деятельностью писательской организации. И он сказал: зачем выдумывать какие-то новые названия? Есть Союз советских писателей, есть Свердловское отделение, и они должны работать, как работали прежде. Разве Московскую организацию кто-нибудь распускал? А Свердловскую упразднял? Его решительный тон и строгое армейское облачение, сочетание твердости с приветливой улыбкой импонировали, и вообще весь он такой, какой есть, всеми воспринимался как «посланец неба», призванный глаголить важную истину, ободрить, утешить. Его слова воспринимались как мнение высшего руководства.

Была организована встреча с общественностью, хотя Фадеев очень спешил — говорил: через день-два должен

вернуться назад в Москву, а оттуда — на фронт...

Народу набралось — не протолкнуться. Когда вошла Форш, как всегда величественная, с только ей свойственной манерой держаться — строго и одновременно приветливо, с всегда готовой вспыхнуть улыбкой на красивом лице, все расступились, а Александр Александрович вскочил и с неожиданной для нас, провинциалов, галантностью, склонившись, поцеловал ей руку. Говорю об этом потому, что на всех это произвело большое впечатление: никогда воспитанность не ценится так высоко, как в пору испытаний. Фадеев, как мы узнали потом, ночевал в семье у Форш, в единственной небольшой переполненной комнате, вместе со всеми, на полу. Они дружили, и Форш он отдал большую часть своего «уральского» времени.

Фадеев пробыл у нас на Урале всего два дня. Осталось тайной, какое задание он выполнял — партийного или военного характера (форма свидетельствовала, что наиболее вероятно — второе, впрочем, военную форму тогда носили многие, и как было отличить, где кончалось гражданское и начиналось чисто военное?). Вскоре до нас донеслось, что бригадный комиссар А. А. Фадеев уже находится на одном из самых опасных — в период битвы за Москву — Ржевском направлении фронта.

Позднее, 1 января 1942 года, в газете «Литература и искусство» (объединенные ввиду трудностей военного

времени «Литературная газета» и «Советское искус-

ство»), он напишет:

«Сохраняя кадры искусства, правительство эвакуировало в глубокие районы страны лучшие наши театры, киностудии, столичные организации писателей, художников, композиторов. . . Война не вечна. Враг будет разбит. Придет время, когда мы будем строить нашу жизнь даль-ше... Работники искусств должны все свои знания и таланты, весь жар сердца своего отдать делу победы над врагом».

Но создать хотя бы самые минимальные условия для

творчества было не так-то просто.

Союз тогда ютился (постоянное помещение — Дом работников искусств по Пушкинской улице — было занято под госпиталь) в одном коридоре с Свердлгизом. Здесь всегда толкались люди, было шумно, накурено. Здесь проходили собрания, причем те, кому не хватало места в комнате, стояли в коридоре и на лестнице. Здесь же некоторое время работал буфет, организованный Н. Базилевским и некоторыми другими товарищами. Торговлю в нем вели писательские жены Александра Александровна Ромашова и Эсфирь Яковлевна Финк. Потом для буфета было отвоевано место где-то на чердаке, куда приходилось попадать по узкой боковой лестничке.

Наш Литфонд — К. В. Филиппова — не справлялся

с возросшими обязанностями. Клавдия Владимировна, женщина не слишком крепкого здоровья, извелась вся. Перед самой войной у нее вышла повесть «В гимназии», в голове следующая книга, к тому же дома сын-школь-

ник, а тут началось такое...

Потребовалось создать бытовую комиссию, которая и взвалила на себя все бремя забот по бытовому устройству писателей и их семей. Филиппова тревожилась о сохранности имущества бывшей писательской дачи на Шарташе. После того как дачу передали для выздоравливающих и долечивающихся раненых фронтовиков (весь Урал, весь тыл превратился в огромный госпиталь), часть имущества, вплоть до портьер и зеркал, хранилась дома у Филипповой, и нашу Клавдию Владимировну, человека честнейшего и обязательного, естественно, страшно волновал вопрос: не потерялось бы чего.

Однако вскоре эти и подобные им заботы отошли на второй план перед лицом более крупных неприятностей. Острая нужда в жилье (эвакуированные все прибы-

вали) вынудила местные власти решиться на крайние

меры.

Однажды в мою небольшую квартирку по Пролетарской улице явилась комиссия из двух человек. Выспросив о составе семьи, о занимаемой площади, они, как бы невзначай, осведомились:

— Где работаете?

Недопоняв моего ответа, или, быть может, думая, что недослышал (почему-то писательский труд и по сей день вызывает у некоторых непонимание и даже удивление: как так — человек сидит дома и никуда не ходит, бирку не вешает, в книге прихода и ухода отмечаться не надо?!), один из посетителей постарался уточнить:

— А с производством вы каким-нибудь связаны? На

работу ходите?

— Да вот же мое место работы, — показал я на письменный стол с лежащими на нем рукописями и кипами бумаг.

- Выходит, никуда ходить не надо?

— Выходит — нет.

Переглянувшись, они что-то записали и ушли.

А через несколько дней я получил извещение: в двадцать четыре часа освободить занимаемую площадь и переехать на жительство в район (кажется, в Сысерть или Камышлов, запамятовал). Точно такие же предписания получили мои соседи по дому.

Решив, что это какое-то недоразумение, я обратился за разъяснением в милицию. Однако там выяснилось, что никакого недоразумения нет, многим жителям города — коренным свердловчанам, не связанным с оборонным

производством, вручены такие повестки.

Я метнулся в Союз, из Союза— на квартиру к Анне Александровне Караваевой, введенной в состав правления Свердловского отделения и активно вникавшей во все писательские дела.

— Сейчас я позвоню Николаеву, — успокоительно ска-

зала Анна Александровна, узнав о случившемся.

Николаев — начальник областного управления милиции, и Анна Александровна уже однажды обращалась

к нему насчет прописки приехавших товарищей.

Николаев оказался у телефона. Поздоровавшись как со старым знакомым, Анна Александровна начала разговор в свойственном ей любезном тоне, в полной уверенности, что собеседник поймет ее с полуслова и «ошибка» будет исправлена немедленно.

Внезапно она замодчала.

— Как всех? — переспросила она недоуменно. Лицо ее вытянулось. Разговор закончился. — Он говорит, — смущенно пояснила она, не глядя на меня, — что это не ошибка, они будут выселять всех писателей. Всю писательскую организацию. Не все ли равно, где писателю сидеть и писать — в Свердловске или Верх-Нейвинске? Были бы бумага и чернила!..

Положение осложнялось. Поспешили к Бажову. Бажова как председателя правления и старейшину нашего коллектива старались беспокоить как можно меньше, но получалось, что он все равно оказывался в курсе всех дел и принужден был заниматься каждой мелочью. Исто-

рия затянулась на несколько дней.

Вот и мы, жители тыла, сугубо штатские люди, с неожиданной стороны почувствовали вдруг, что такое война, ее неумолимость. Потянуло ледяным ветром. Привычный уклад жизни ломался, как былинка под порывом урагана. Над душой стоял участковый милиционер, жена была в панике. Ложась спать, не знал: не последняя ли это ночь в собственной квартире? И только после похода в обком Бажова, Караваевой и Гладкова вопрос наконец был улажен. Союз писателей остался в Свердловске.

Чтобы до конца понять этот инцидент, нужно вспомнить: в городе не оставалось места для мыши. Жили в уборных, дровяниках. На сцене Театра юного зрителя работали станки, та же участь постигла клуб «Профинтерн» (Дворец культуры имени Свердлова), в здании Уральского индустриального (ныне политехнического) института размещалось три завода; завод въехал в помещение университета на улице 8-го Марта. В первую очередь требовалось разместить оборонные предприятия (а на оборону тогда работали все, даже самые «мирные»), их выгружали, и тут же, с ходу, они разворачивали производство — в старых бараках, в недостроенных помещениях, зачастую под открытым небом, несмотря на приближение зимы. А эшелоны с людьми, оборудованием целых заводов, материалами, нередко с простреленными и разбитыми вагонами все шли и шли...

Поэтому, повторяю, властям и пришлось пойти на такую тяжелую меру, как переселение части коренных жителей-свердловчан в районы и сельскую местность.

Трудности были не только с питанием и жильем. Жесткий лимит был введен на пользование электроэнергией. Значит, не посидишь, ночью (да и вечером) не поработаешь (а известно, что писатели в большинстве — ночные деятели, «совы»). Поэтому многие работали вне дома в библиотеке, в зале Дома партпроса. (Потом писателям

лимит на электроэнергию был прибавлен.)

Надо сказать, что многим из литературной братии в эту пору пришлось туго. Все издательские планы полетели к черту, производство и расход бумаги резко сократились, многие издания прикрылись, возможности печатания упали почти до нуля. Как говорится, предложение

намного превысило спрос.

Рухнули и мои личные планы. Почти целый год перед тем я сидел над фантастико-приключенческой повестью «Подарок Будды». С нового, 1941 года ее начал печатать журнал «Техника смене» (выходивший в Свердловске). Повесть принял также московский журнал «Вокруг света» и собиралось выпустить отдельной книгой Свердловское издательство. С июня оба журнала перестали выходить. Естественно, отказалось от своего первоначального

намерения и издательство.

Легла в нижний ящик стола и другая рукопись — об уральском революционере-большевике Антоне Валеке. Правда, издательство сделало попытку вернуться к ней. Директор издательства Копытов позвонил мне по телефону и предложил принести написанное — ведь там присутствовала тема защиты социалистического отечества. Однако по ряду соображений из попытки ничего не вышло, с мыслью опубликовать книгу о Валеке до поры до времени пришлось расстаться. На неопределенный срок отложились заготовки и третьей вещи — «Укротитель леопардов», в которую я также вложил уже немало труда.

Заслуженный артист республики А. Н. Александров-Федотов — укротитель леопардов — накануне войны гастролировал со своими грозными питомцами в Свердловске. Здесь его и застала война. Леопард — редкая фигура на арене цирка, работа Александрова вызывала большой интерес, литераторов, желавших описать его опыт, он заворачивал с порога, но со мной почему-то вышло подругому. Почти неделю мы сидели с ним со стенографистками, Александр Николаевич рассказывал, отвечая на мои вопросы, — и тут же все записывалось. Кончили 21 июня. А 22-го, в воскресенье, в саду имени Вайнера (там выступал кто-то из заезжих знаменитостей, и мы семьями ходили туда), мы распростились, пожали друг другу руки, и — навсегда. Стало не до леопардов.

Урон был жестокий. Ведь писатель может многие ме-

сяцы, а то и годы писать, не получая ничего, согревая себя надеждой: «Вот сдам в печать, тогда...» 22 июня все задуманное разлетелось прахом. Но что это было в сравнении с той бедой, которая надвинулась на страну.

Издательство вознамерилось было создать коллективный очерковый сборник «Героика будней», посвященный труду уральцев в тылу. Подготовили ряд материалов. Однако скоро стало ясно: события летят так быстро, что угнаться за ними нет никакой возможности. Сборник засох на корню.

Я попытался устроиться на работу на завод. (В армию не взяли: близорук.) Пригодилось знание геодезии: меня зачислили в оптическую лабораторию. Взять взяли. но почему-то дела почти не давали. Прятаться под вывеской оборонного предприятия было противно и стыдно, и.

пробездельничав пять дней, я уволился.

Многих из пишущих в те бедственные месяцы кормило радио. Радио — «газета без расстояний» — работало с полной нагрузкой, оно нуждалось в непрерывном потоке свежих литературных материалов, написанных на животрепешущие темы дня.

Особенно удачно, на наш взгляд, делались передачи для детей. Живая, приветливая, Евгения Александровна Лаговская — опытный московский редактор — умела привлечь авторский актив и сплотить его вокруг редакции. По ее заказу я ежемесячно писал по коротенькому рассказу, из которых со временем составился небольшой сборничек. Мизерный гонорар от этих рассказов был в течение первых военных месяцев единственным заработком...

Постепенно начала налаживаться издательская деятельность. В Свердловск перебрались центральные издательства — Госполитиздат, Профиздат. Профиздат — издательство ВЦСПС, призванное создавать литературу о рабочих и для рабочих (там активно сотрудничала Шагинян), — предприняло выпуск серии небольших книжечек под общим названием «Бойцы трудового фронта». В этой же серии, уже в начале сорок второго года, вышла моя первая книжка о передовиках производства военного времени — «Плавильщик Степайкин», написанная на материале Пышминского медеэлектролитного завода; вслед за тем другая— «Приказ выполнен»— о людях и делах Первоуральского Новотрубного.

Думаю, что связь с Профиздатом подтолкнула меня

к теме рабочего труда в тылу; за «Степайкиным» последовали другие книжки, небольшие по объему, но от этого они не были менее дороги, скорее — наоборот, а также статьи в газетах.

Писательницы старшего поколения Анна Александровна Караваева и Мариэтта Сергеевна Шагинян — обе коммунистки — показывали образец писательской самоотверженности, пример того, как надо вторгаться в жизнь, жить единой жизнью с народом, переживавшим неслыханные трудности и лишения. Обе уже в годах, Анна Александровна, кроме того, женщина «сырая», постоянно жаловалась на сердце, Мариэтта Сергеевна — с неполноценным слухом (что, однако, ничуть не затрудняло ее общение с людьми), они проявляли поразительную подвижность, мобильность и ненасытную жадность к познанию окружающего. Обе были собственными корреспондентами центральных газет, одна — «Известий», другая — «Правды», и, кажется, не осталось ни одного круп-

ного завода, где бы они не побывали.

Мариэтта Шагинян поспевала всюду. Писала о заводских буднях. Завязала дружбу с танкистами в одной из воинских частей, формировавшихся на территории Уральского военного округа, ездила в танке и на танке и лаже «под танком», как злословили остряки. В колхозе «Заря» Ачитского района Свердловской области ее увлекла идея сельской электрификации, и она написала взволнованный очерк о далеко идущих планах и раздумьях новаторапредседателя Александра Порфирьевича Тернова. Говорили, что Уралмаш сумел, выделил ей где-то комнатушку из своего скромного жилого фонда, чтобы она могла писать, как говорится, не отходя от объекта писания. Когда в Свердловске проходила Юбилейная сессия Академии наук СССР, Мариэтта Сергеевна неотлучно находилась там, в окружном Доме офицеров, и после этого из-под ее пера вышел цикл очерков-портретов передовых людей советской науки. Она, в отличие от иных приезжих, восхищалась и Свердловском, в частности центральной магистралью города — улицей Ленина, по которой, как она говорила, можно шагать без конца. Это с ее легкой руки Свердловск стали называть — «город легкого дыхания».

Вряд ли можно осуждать тех из эвакуированных, кому не нравился Свердловск: уж очень непроста была жизнь; но кто понял сердцем, не только умом, все его трудности,

думается, надолго сохранил о Свердловске и его корен-

ных жителях — уральцах — теплые воспоминания.

Мариэтта Сергеевна привезла в Свердловск свои дневники, которые вела на протяжении всей жизни, — величайшее свое сокровище, и систематически заполняла очередные страницы.

Когда Пермяка, жившего по соседству с Шагинян в номере гостиницы «Большой Урал», спрашивали, что делает Мариэтта Сергеевна, он, со своим неподражас-

мым юмором, серьезно отвечал:

Как что? Сидит в одной рубахе, босая и пишет.
 И действительно, в работе Мариэтта Сергеевна забы-

вала про еду, сон, про обычные житейские нужды.

Форш (в Свердловске) писала про Шагинян: «Ей глухота, верно, впервые оказала услугу. Она, сестра, дочь в одной комнате. Мирэль родила носатую девочку тут же, но Мариэтта крика девочки не слышит и пишет на курь-

ерских».

Лишь однажды недостаток слуха подвел Шагинян: побывав в волочильном цехе Первоуральского Новотрубного, она писала: металл кричит, скрежещет, протестует, когда его обрабатывают. Но труба почти беззвучно идет через кольцо, если металл «закричит» — она сразу порвется, производство (волочение) прекратится. Художественное воображение — то, чего не могло быть в действительности. Впрочем, наверное, ни у кого не хватило духу сказать об этом Мариэтте Сергеевне: как правило, все ее наблюдения были точны и поразительно верны.

Если не ошибаюсь, Шагинян едва ли не самая первая написала блестящую, взволнованную статью о знаменитой Ленинградской симфонии Шостаковича, созданной в самое трудное время блокады. Мариэтта Сергеевна просто не могла не откликнуться на нее. Как она слышит? — задавали мы себе вопрос. Помогали воображение, «внутренний слух» богато одаренной художествен-

ной натуры и, конечно, слуховой аппарат.

Шагинян провела в Свердловске почти три года, и ее номер 155-й в гостинице «Большой Урал», где она жила от первого дня до последнего, по праву можно было приравнять к какому-либо производственному участку, цеху. До глубкой ночи светилось окно ее номера — Шагинян работала. В итоге уральского периода у Шагинян родился оригинальный по конструкции и острый по наблюдениям публицистический труд «Урал в обороне». Наблю-

дения и замыслы Караваевой вылились в сборник документальных повестей «Богатыри уральской стали».

Для меня, молодого тогда литератора, было большой честью, что в газете «Литература и искусство», в статье Л. Скорино «Рассказы о современниках», рядом с очерками Караваевой упоминалась и моя только что вышедшая книга «Месть Дмитрия Босого» — о знаменитом фрезеровщике-тысячнике, лауреате Государственной премии, зачинателе движения передовиков производства, дававших до тысячи и более процентов нормы (отсюда и «тысячники»; не те тысячники, что в старину чванились, потрясая толстой мошной, а люди труда, сознательные советские люди, творившие в трудное для страны время за своими станками истинные чудеса производительности). Книгу я написал по предложению Свердловского издательства.

Дорогая деталь. Федор Васильевич Гладков был неулыбчив, держался подчеркнуто строго и не очень общительно, но, узнав о готовящейся книге о Босом, сам пожелал ознакомиться с нею, быстро прочитал и, возвращая, сопроводил рукопись коротенькой запиской: «Б. Рябинин. Месть Дмитрия Босого. Очень хорошая и очень нужная книга. Нужно издать молнией. Ф. Гладков».

Вообще в подавляющем большинстве активность писателей была весьма высокой и заслуживала похвалы. Систематически публиковали новые стихи, посвященные всенародной борьбе с врагом, Константин Мурзиди, Аг-

ния Барто.

Вместе с Константином Мурзиди мы совершили памятную поездку на завод, который один делал танков больше, чем вся Англия. Итогом этой поездки у Мурзиди явились не только стихи, но и повесть, первый опыт поэта в непривычном ему жанре прозы. Повесть «У Орлиной горы» вышла уже после войны. Ее очень горячо обсуждали в Союзе писателей.

Вернемся, однако, к Барто. Авторству Барто принадлежали популярные строки «уральцы бьются здорово, им сил своих не жаль», в короткий срок ставшие крылатыми, ее стихи звучали в рапортах уральцев Центральному Комитету партии и Советскому правительству. Барто часто бывала в детских домах, в эвакопунктах, куда свозили эвакуированных детей-сирот, в ремесленных училищах; все это оставляло неизгладимое впечатление. Вероятно, уже тогда в сердце поэтессы поселилась острая тревога

за судьбу малолетних наших граждан, за подрастающее в суровую пору поколение, что предопределило ее будущую активную благородную общественную деятельность — помощь детям в розыске родителей, утерянных в военные годы.

Со временем Агния Львовна напишет:

«Подросток... С этим словом часто ставят рядом слова — «трудный возраст». А мне довелось наблюдать этот трудный возраст в трудное время, и проявляли себя подростки удивительно самоотверженно. Это было на Урале в первые годы войны. Из окрестных деревень с самодельными сундучками в руках приходили подростки в ремесленные училища, на заводы, вставали к станкам вместо отцов и работали с полной отдачей сил. Что вело их сюда, что звало? Не побоюсь громких слов: их приводило высоконравственное чувство гражданственности, патриотизма, пусть неосознанного. Конечно, эти чувства постоянно, неизменно должны владеть умом и душой подростка. И тут за многое в ответе литература для них».

Другой любимец детворы, Лев Кассиль приезжал и снова уезжал в Подмосковье, в прифронтовую полосу (семья его оставалась в Свердловске). Кажется, он одним из первых выступил сперва перед братьями-писателями, а потом на большой аудитории с чтением произведений, написанных по свежим следам войны. Неутомимо собирал материалы по истории уральской техники В. В. Данилевский, человек необычайного трудолюбия и поразительного «нюха», передвигавшийся на своей одной

ноге быстрее иного здорового.

Но были и такие (правда, их было ничтожное меньшинство), которые предпочитали брюзжать, ныть, недовольные всем и вся, озабоченные больше всего тем, как бы отсидеться, переждать грозу. Для тех плохи были и Урал, и Свердловск, да, вероятно, и все мы, уроженцы края. Не стоит называть их. Они сами наказали себя: спрятавшись от жизни, обворовывали себя, свое творчество. А отрыв от действительности всегда жестоко мстит литератору.

Не забыть строгого осуждения, которое прозвучало в словах Караваевой, осуждения, высказанного по адресу одного из наших, коренных свердловчан (не буду называть его фамилии, дело прошлое), который, в явном противоречии с действительностью, пытался связать какие-то свои путаные теоретические воззрения, пустившись пуб-

лично в надуманные рассуждения.

 Ученый школяр, — едко сказала Анна Александровна.

С нею, — согласился Бажов.

Больщим литературным вечером в помещении Театра оперы и балета имени Луначарского открылся цикл регулярных писательских выступлений перед аудиторией, организованный Союзом. На афише значилось 25 фамилий — приезжих и свердловчан. Перед слушателями предстали все ведущие писатели, проживавшие в то время в Свердловске, а также специалисты «легкого жанра» Ардов и Арго. На долю последних, знатоков эстрады, пожалуй, выпал наибольший успех. Как всегда, отлично выступил Ромашов. Участвовала и литературная молодежь. Зал был переполнен. Вечер был платным. Весь сбор поступил в фонд обороны.

Позднее подобные вечера состоялись в помещении Театра музыкальной комедии, в клубе имени Дзержинского, в Большом зале филармонии. Сборы отчислялись на постройку танковых колонн «Работник печати», «Свердловец». Некоторые вечера проводились вместе с лучшими артистическими силами города. На афише в этом случае стояло: «Писатели и мастера искусств —

фронту».

При Союзе создали специальное бюро по выступлениям (прообраз нынешнего Бюро пропаганды художественной литературы). Руководил им Е. Я. Берлинраут, дока в таких делах. Писатели все чаще стали выезжать в другие города и рабочие поселки Урала.

Как дорогие реликвии я храню простенькие, на пло-

хонькой бумаге, пригласительные билеты:

«Уважаемый товарищ! Райпрофсож Камышловского отделения ж. д. . . . приглашает Вас на литературный ве-

чер. . .»

Выступали в учебных заведениях, в кино. Как-то в моем присутствии Берлинраут договаривался о выступлении в кино с Виктором Григорьевичем Финком. Ефим Яковлевич соблазнял крупной ставкой гонорара (по ценам того времени на этот «крупный» гонорар можно

было купить лишь полкило растительного масла). Выслушав, Виктор Григорьевич — большой острослов — без тени улыбки осведомился:

— А за позор?

Выступать перед сеансами в кино с чтением своих произведений было действительно мукой. Народу много, но утверждать, что слушали плохо, было бы неверно.

Выступления явились серьезной материальной поддержкой, следует, однако, заметить, что платными выступлениями занимались далеко не все. Некоторые, как Гладков, Бажов, вообще не брали денег за встречи с читателями.

И кончено же бесплатными, шефскими были встречи в госпиталях, в воинских частях, ждавших отправки на

фронт.

Выступать перед ранеными, бойцами считал своим священным долгом каждый писатель. Я помню лишь единственный случай отказа, когда один из литераторов заявил — в ответ на предложение поехать в госпиталь, — что он не может, потому что ему делается дурно при виде забинтованных культей и запаха лекарств... Возможно, это было действительно так, товарищ обладал слабыми нервами, тем не менее его заявление было единодушно

осуждено всей писательской общественностью.

Навсегда врезалось мие в память выступление в госпитале для тяжелораненых вместе с Алексеем Силычем Новиковым-Прибоем, приехавшим ненадолго в Свердловск. Преклонный возраст не позволял «Силычу» отправиться на фронт, куда он рвался всей душой, и поездка на Урал явилась как бы некоторой компенсацией; на Урале, кстати, а именно — в селе Зайково Ирбитского района, жил близкий товарищ автора «Цусимы» — бывший моряк С. А. Мурзин. Прежде чем выехать в район, несколько дней Новиков-Прибой провел в Свердловске. Встретиться с ранеными его уговаривать не пришлось. Нам подали лошадку, всю дорогу Алексей Силыч развлекал веселыми моряцкими прибаутками. Несмотря на большие годы, он выглядел бодрым и крепким, коренастый, плотный, всегда готовый на шутку. Появление его на сцене в крохотном зальце госпиталя было встречено бурей аплодисментов. Слушатели сидели, лежали на носилках, некоторые устроились прямо на сцене, почти у ног «Силыча». Негде было яблоку упасть. Алексей Силыч рассказал о том, как создавался роман «Цусима», потом перекинулся на боевые дела советских гвардейских

экипажей на морских фронтах Отечественной войны. Память у него была превосходная, знание моря изумим тельное, слова — крепкие, точные, пересыпанные ядреными морскими остротами, на которые слушатели реагировали раскатами хохота. Рассказывая про дела давно минувшие, он вспомнил какую-то стряпуху на корабле, злую бабу, которой морячки пожелали «ежа против шерсти родить». Зал грохнул так, что задрожали стекла в окнах.

Любимого писателя долго не отпускали со сцены, прося рассказать еще, еще. У раненых были просветленные, счастливые лица. Искалеченные, недавно перенесшие мучительную операцию — ампутацию конечностей, когда их уносили из зала, продолжали весело обсуждать услы-

шанное, повторяя: «Вот дает! Вот дает!»

Хочется отметить, что тесная творческая близость уральцев и эвакуированных (частые совместные выступления и обсуждения, поездки на предприятия), несомненно, были благотворны как для тех, так и для других. Они — «товарищи из центра» — приблизились к нашей жизни; мы, аборигены, заимствовали от них передовую столичную культуру.

Однажды какой-то остроумец на вопрос — в чем разница между писателем московским, столичным, и писателем, живущим на «периферии», ответил: у первых больше мастерства и меньше материала, у вторых — больше материала, но меньше мастерства... Военный период зна-

чительно уравнял обе группы.

Не скрою: скромные провинциалы, не избалованные вниманием, мы — особенно первое время, — случалось, тушевались, опасаясь, что не выдержать «конкуренции» с более опытными и именитыми коллегами. Страхи оказались напрасными. Маститые наши гости, знаменитые коллеги и друзья, в подавляющем своем большинстве держались просто, сердечно, со всеми на равной ноге, и если сперва более энергичные столичные товарищи действительно кой в чем подавляли «хозяев», то потом все выровнялось.

К слову говоря, именно по инициативе московских товарищей были наконец утверждены в правах членов СП некоторые местные литераторы (К. Боголюбов, Кл. Рождественская, Кл. Филиппова), принятые общим собранием еще до всех этих событий, но окончательно не оформленные, утверждение которых в Москве сильно затянулось. В тот момент это имело и сугубо практическое

значение: без членства в Союзе писателей литератор не мог рассчитывать получить рабочую карточку на снабжение, дающую право на минимально сносный паек.

Долгие, бесконечно долгие месяцы и годы положение продолжало оставаться очень тяжелым. Победа добывалась в неслыханных лишениях, в самоотречении; страна отдавала все для разгрома врага, для отпора захватчикам. Недоедали, недопивали. «Кирпич» черного хлеба, выпеченного пополам с картошкой и отрубями, стоил на рынке 300—400 рублей. На центральных улицах Свердловска в газонах росли картофель, овощи. Огородничество вообще в те годы вошло тесно в быт, им занималось все население. Жилищное уплотнение достигло невиданных размахов. Если бы кто-то до войны сказал, что можно жить так, его, наверное, сочли бы за сумасшедшего.

Литераторы, как и все, сидели на пайке. Часть наиболее заслуженных писателей старшего поколения снабжалась по высшей категории (так называемый «литер А»), остальные — по группе «СПБ». Но поголовно все испытывали нехватку в соли, в спичках, в жирах, сахаре, обуви, — словом, в самых необходимейших вещах.

Как были довольны все, когда удалось раздобыть где-то центнер серой, неочищенной каменной соли! Употреблять в пищу в таком виде ее было нельзя, пришлось распускать в воде, вся примесь оседала, а рассол использовался для стряпни. Но и эту соль распределили как величайшую ценность, строго по числу едоков, ни грамма больше.

Многие исхудали так, что — как, например, говорили мы про Бажова — стали «светиться». Павел Петрович сделался действительно почти прозрачным. Многие ходили в каких-то старых шубейках, в подшитых валенках невообразимого размера (какие достались на толкучке: ведь почти все приехавшие были типичные горожане и даже не имели для нашего сурового края теплых вещей). Мариэтта Сергеевна Шагинян щеголяла в кожаном шлеме со спущенными наушниками. Ее дочь Мирэль даже в театре появлялась в лыжных брюках и куртке.

Москвичи, не знавшие близко Урала, поначалу опасались уральских морозов. Оказалось, однако, что уральский мороз совсем не так страшен. Сухой, здоровый, он даже стал нравиться. Не отсюда ли и «город легкого дыхания»? Шагинян откровенно восхищалась уральской зимой. «Мы ее боялись, — говорила она. — Оказалось, очень хорошая, прекрасная!» Вскоре обычной стала в ее

устах фраза: «У нас на Урале...»

Второй военной осенью, в период уборочной кампании, в ряд районов Свердловской области выезжали бригады художественного обслуживания — артисты, музыканты. С ними ездили и писатели, по одному на бригаду. На мою долю выпало объехать с артистами Музыкальной комедии колхозы и полевые станы Сухоложского района. На открытой полуторке мы за две недели исколесили весь район. Артисты пели, танцевали, разыгрывали хлесткие, злободневные сатирические скетчи; я выступал с устными рассказами.

Сначала пробовал читать написанный рассказ. На открытой площадке, на ветру, это оказалось сложно. Зрители слушали, хлопали, но — так, для вежливости. Надо было что-то другое. И это «что-то» нашлось. Перед тем вернулся из партизанского края один наш товарищ, он привез поразительные факты героизма советских людей в тылу противника. Я стал пересказывать их. Это оказалось удачной находкой. Колхозники слушали замечательно, буквально затая дыхание. Артисты поздравляли меня с успехом.

Вскоре бытовая комиссия Союза решила организовать заготовку картофеля. Картофель — «второй хлеб» — служил главным подспорьем к рациону. С Сухоложским

районом у нас установились дружеские связи. Туда, по договоренности с райкомом партии, мы и надумали на-

править своего заготовителя.

Поехал Викторин Попов, москвич, мужчина высоченного роста и незаурядной физической силы. Упоминаю об этом потому, что другой, с худшими физическими данными, вероятно, не справился бы с заданием. Он уехал и как в воду канул. Прошла неделя, другая. Ни слуху ни духу. Надвигалась зима, а он уехал в драповом пальтишке. Мы уже начали тревожиться: все ли ладно? Беспокоилась семья. Наконец на исходе третьей недели разнеслась весть: приехал Викторин, «пригнал» целый вагон картошки. Его встретили как героя. И в самом деле, он стоил того.

Оказалось, он сам по крохам собирал картошку в колхозах, собственными руками, на собственных плечах погрузил в вагон, заполучить который ему помог райком, и затем, опасаясь за сохранность груза, сопровождал вагон до станции назначения.

Как назло, грянул первый морозец. А наш вагон с драгоценным продуктом стоял неразгруженный на железнодорожных путях на товарном дворе. Немедленно бросили клич: все на разгрузку картошки!

На этот призыв откликнулись даже самые пожилые и хворые. Но нашелся один, не постеснявшийся противопоставить себя коллективу, — молодой сильный мужчина, поэт. Лело прошлое, не буду называть его фамилии.

— Я не пойду, — заявил он высокомерно. — Я пи-

сатель, я должен писать, а не картошку разгружать.

— А кто будет работать?

- Вы, цинично ответил он, показав в усмешке желтые зубы.
  - Значит, вы отказываетесь от картошки?

— Почему же? Я ее и так получу.

Это было уже слишком.

Как председатель бытовой комиссии я довел об этом инциденте до сведения членов комиссии. Единодушное решение было: картошку поэту О-ну не давать, лишить. Мера была жестокой, ибо у поэта были жена и ребенок, но уж очень вызывающе-бестактным, нетоварищеским было его поведение. До сих пор задаю себе вопрос—правильно ли мы поступили: ведь пострадала семья, жена, ребенок, — но уж очень безобразным было его поведение. Добавлю, что с того времени отношения с ним у меня испортились раз и навсегда.

Все-таки часть картофеля у нас подмерзла.

Роздали мы его наспех. После раздачи я прихожу в Союз и застаю в вестибюле Дома печати такую картину. Посередине стоит Шагинян, озираясь, на ком бы выместить свое негодование; у ног раскрытый мешок с влажной картошкой.

— Что случилось, Мариэтта Сергеевна?

Ох и набросилась она на меня со всем своим армянским темпераментом! И в том-то мы виноваты, и в другом. Почему выдали замороженный картофель? Почему ее не предупредили, что он замороженный: она бы его не взяла?! И так далее и тому подобное.

Точно так же однажды напустилась она на Павла Петровича, когда он, будучи секретарем парторганизации, принимая членские взносы, нечаянно поставил у нее кляксу на билете: подвели зрение и нетвердость руки. Мариэтта Сергеевна вскипела так, что бедный Павел Петрович не знал, куда деваться.

— Это вы нарочно! нарочно! — горячилась Мариэтта

Сергеевна, сверкая стеклышками очков.

— Да что вы, Мариэтта Сергеевна, помилуйте, — беспомощно оправдывался он. — Почему нарочно? Извините, оплошал по-стариковски.

А после дружно работали бок о бок в одном из кар-

тофелехранилищ на окраине Свердловска.

Вулканический темперамент Шагинян не раз служил предметом необидных дружеских шуток со стороны Ольги Дмитриевны Форш. Обе южных «горячих кровей», но какая разница! Если Форш выглядела по-царственному величавой, невозмутимой, никто ни разу не видал, чтоб она на кого-то разобиделась, сердилась, то Шагинян всегда кипела...

Мариэтта Сергеевна — человек добрейшей души — была готова в любой момент прийти на помощь нуждавшемуся, отдать последнее, поддержать всем, что только было в ее силах. Помню, когда городские власти, решив побаловать мастеров искусств, организовали летом в парке культуры и отдыха закрытый ресторанчик по типу южных курзалов, то Мариэтта Сергеевна, получившая туда пропуск, сама почти не пользовалась им. Он кочевал по рукам: неделю им владел один писатель, неделю — другой.

Иной раз эта доброта приводила даже к нежелательным последствиям. Мариэтте Сергеевне ничего не стоило подписать бумагу с прошением какому-нибудь товарищу, не связанному с Союзом, а потом в правлении приходилось разбираться с этим. Товарищ требовал: бумажку же

подписала «сама Мариэтта Сергеевна»!

Субботники на сортировке картофеля, закладываемого для хранения на зиму, повторялись несколько раз. Союз получил за это не одну благодарность, ибо рабочих рук на сортировке картофеля и овощей не хватало. Заканчивались субботники пиршеством: писателям выставляли суфле — подслащенное молоко, напоминающее распустившееся мороженое. Пили его все с удовольствием.

Веселый «репортаж» о первом выходе писателей на картошку, написанный по свежим следам Евгением Пермяком для специального выпуска стенной печати (подобными выпусками сопровождалось всякое мало-мальски значительное событие в Союзе), представляется нам

не лишенным интереса и сейчас.

## «ПЕРВЫЙ ВОСКРЕСНИК ПИСАТЕЛЕЙ

(11 октября 1942 г.)

Опыт введения в картофелеведение

Одним из первых на место сбора явился наш старый опытный картофелевод, он же малахитчик, Павел Петрович Бажов, с своею собственной супругой Валентиной Александровной, которая служила укором всем явившимся на субботник в «неженатом» виде. Жены писателей должны помнить, что женой писателя надо быть со всеми вытекающими отсюда субботниками.

Прибывшая на овощехранилище писательская группа разбилась на бригады по «жанровому» признаку, из коих особо отметим бригаду славных бородачей — Бажов и его супруга, Чаговец, Верховский, Коц и Мариэтта Шагинян. В основном бригады делились на дружные и недружные. К недружным следует отнести те, которых в этот день не было. Не скажем, что все с одинаковой настойчивостью и творческим подъемом распределяли картофель по четырем сортам. Но также не скажешь, что среди пришедших тридцати шести товарищей оказались бесталанные или пессимистически настроенные литераторы.

Бригада Маминых-Сибиряков, которую возглавляла Нина Попова, закончила свой «урок», заданный на пол-

тора дня, еще до обеда.

Остальные бригады еще не определены в части успеваемости, но надеемся, что отсутствовавший бухгалтер выяснит число сделанных картофелеединиц. Надо полагать, что бригада, где были Рождественская, Рябинин и другие уральские фамилии, например Оксана Иваненко, дала самые высокие показатели.

Было бы оплошностью не сказать, как работала бригада, куда входили: Хазанский, Пермякович, Звягинцова и
Ружак 1. В основном эта бригада исполнила все главное
в вокальном и разговорном репертуаре. Некоторые даже
благодарили ее за руку. Ходят слухи, что Пермякович заранее согласовал с профкомом свои «хохмы» и должен
получить за них солидное вознаграждение по статье расходов «Культурное обслуживание писателей».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> То есть Хазанович, Пермяк, поэтесса Вера Звягинцева и Е. Ружанский,

Отдельные товарищи начали ФИНКционировать с опозданием. Но потом, увлекшись, работали так, чтобы совесть не была угрызенной.

Некоторые остряки пытались воспользоваться тем, что рот свободен, и сочиняли всякие импровизации. На-

пример:

Барто воскресники так любит О!.. пописывать в стихах...

Или

На Свердпарнасе два Бориса, Но на субботнике один...

Очень слабо была поставлена на воскреснике работа по пропаганде художественной литературы, хотя М. А. Анчаров присутствовал на субботнике; но его преемник Е. Я. Берлин-Раут был на каком-то другом рауте. Говорят, что ему помешала высокая температура. Конечно, мы не хотим отыграться на отделе пропаганды, но вправе спросить: «Уважаем ли мы наши постановления или не уважаем?» И мы уверены, что лица, отсутствовавшие 11 октября, отработают пропущенный день и принесут о том справки.

Теперь самое интересное: суфле. Его давали по большому стакану (некоторым два). Суп был прекрасен. Второе вообще!! Но что самое интересное — это впервые вся писательская организация обедала в одной столовой, не делясь на литерАторов и литерБэторов, хотя и были попытки отдельные табуретки сделать академическими. Но официантка решительно сказала: «Будя! Тут вам не

Союз писателей!»

Субботник прошел хорошо. Оргсекретарь обеспечил чудесную погоду. Ни одна шуба, ни одно пальто не были испорчены, руки не поранены и не запачканы настолько, чтобы ими потом нельзя было взять самое чистое перо.

В скобках скажем, что мужчинам следует давать «рукоделие», более соответственное их мускулатуре, «Пол-

бать, так уж долбать».

Почин сделан.

P. S. H. К. Мерцальский тоже был с женой, но она по линии аппарата, как и Шурочка 1, а у бухгалтера действительно болели кончики пальцев. Что верно, то верно.

<sup>1</sup> Жена Н. К. Мерцальского работала в Союзе машинисткой. Шурочка — тоже работник аппарата Союза (рассыльная техничка).

А вот почему не был профессор Леонид Дъаршиакович, пока не известно. А почему фотограф не работал, а только снимал — это не наше дело. На то Шаумян 1 есть».

Как уже говорилось, находились, к сожалению, отдельные литераторы, которые норовили под тем или иным предлогом увильнуть от общественных обязанностей. Подобным индивидам посвящались «КАВЕРЗНЫЕ ДИАЛОГИ» (автор остался неизвестен, подозреваю, что тоже не обошлось без Пермяка), обнародованные в стенной газете писательской организации.

— Почему вы не принимаете никакого участия в обшественной жизни нашей писательской организации?

— Некогда. Я дни и ночи работаю над созданием высокохудожественных и политически актуальных произведений оборонного значения на уральском материале.

— Интересно. Дайте почитать.

— Пока не могу. Произведения уже задуманы, но еще не написаны.

— Почему?

— Некогда. Общественная жизнь нашей писательской организации отнимает у меня дни и ночи.

— Чем это вы так заняты?

— Как?! Распределитель, столовая, картофель, зелень, дрова, табак, ходики, бумага, босоножки.

— Значит, вы занимаетесь выдачей пропусков, кар-

точек, продуктов и товаров для членов Союза?

- Не выдачей, а получением. И не только для членов Союза, но и для иждивенцев у меня ведь семья из трех человек! . . А вы говорите художественное произведение. . . Целые дни и ночи приходится торчать в Союзе.
- Тогда уж заодно помогите нам организовать доставку и распределение овощей...

— Не могу.— Почеми?

- Некогда. Я дни и ночи работаю и т. д.
- Скажите, какой магической силой обладает этот высокий молодой человек? Я заметил, что стоит ему появиться в ССП, как все принципиальные противники де-

<sup>1</sup> Л. С. Шаумян — сын революционера Степана Шаумяна — в военные годы был редактором газеты «Уральский рабочий», дружил с писателями, музыкантами, артистами. Его кабинет, где стоял рояль, на котором композиторы часто исполняли свои новые песни, всегда был открыт для любого из нас.

монетративно начинают закуривать или просить на за $_{\rm H}$  курочку.

— О, этот молодой человек возглавляет нашу быто-

вую комиссию.

Необходимо сказать об одном из самых ревностных сторонников и блюстителей высокой престижности Союза писателей, выражавшем это подчас в самой неожиданной форме. — о Пермяке. Остроумие Пермяка скрашивало нам жизнь. Сам Евгений Андреевич, друживший с Бажовым, называл себя не иначе как «бывший драматург Пермяк». Почему — не знаю, для красного словца, не иначе; ведь дела его на театре шли совсем неплохо, он свел дружбу со Свердловским ТЮЗом, там (станки к тому времени уже были вывезены в другое место) шли его пьесы. У себя в «Большом Урале» 1 он (помимо того, что и писать успевал) шил и тачал сапоги, другую обувь, вид которой неизменно приводил всех в изумление. Выдумшик, каких не видел свет, он каждую неделю появдялся в новых «произведениях» своего «искусства», изобретая на потребу себе самые немыслимые, невероятные фасоны. Для этой цели у него шли старые портфели, бумажники, всякое барахло. Пермяку и Мерцальскому, да еще Типоту, принадлежали и все веселые репризы по адресу писательского жития-бытия.

Я тогда сидел на секретарском стуле (Пермяк пробыл секретарем недолго) и мог наблюдать это каждолневно.

А как нужно было все это тогда — затейничество, веселая добрая шутка, способная на лице даже самого строгого человека вызвать улыбку, на время развеять печаль...

Говорят, в каждой шутке есть отражение правды, истины зерно. Конечно, шутки подсказывала жизнь — хотя была она сурова и в большом, и в малом.

Постановление, о котором упоминалось в «репортаже», было единогласно принято на общем собрании писателей. Написанное рукой Шагинян, оно провозглашало:

«В минуту грозной опасности для нашей Родины, мы, советские писатели, должны быть в первых рядах ее сынов. Мы ей служим своим пером, но сейчас каждый человек, кроме прямой своей профессии, должен помочь Родине и физической силой, рабочими руками. Нужно сроч-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Гостиница «Больщой Урал».

но провести разгрузку и сортировку овощей, ремонтировать дороги и пути. Доставить из лесу в город топливо. Во всех этих работах мы, писатели, находящиеся в Свердловске, все без исключения, по силам и возможностям своего здоровья и возраста, обязуемся принять немедленное участие. Не должно и не будет среди нас уклоняющихся. Тот, кто не выйдет на призыв Отечества о помощи, кто спрячется за спины своих соседей, — сам вычеркнет себя из наших рядов».

Вероятно, представит интерес повестка-извещение, одна из тех, какие получали в те дни писатели, члены и

нечлены Союза.

«Дорогой товарищ...

Сейчас, в грозные дни войны, каждый из нас отдает все силы, все способности делу разгрома врага, на всемерную помощь фронту. В любую минуту мы, писатели, готовы отложить перо и идти на тот участок работы, который, в данных условиях, является важнейшим.

В развитие постановления горисполкома от 22 декабря 1941 г. и Сталинского райсовета от 23.XII.41 назначается на воскресенье 11 января 1942 г. писательский

воскресник по разгрузке вагонов.

Вам надлежит явиться в одежде, пригодной для работы на открытом воздухе, к 8 часам утра 11 января в помещение Свердловской писательской организации (Дом печати, комн. № 42) с дневным запасом продовольствия.

В случае невозможности явки по уважительной причине (болезнь) Вам предоставляется право заменить

себя членом семьи.

Предупреждаем Вас, что уклонение от работы будет рассматриваться как отказ от выполнения соответствующего законоположения о всеобщей трудовой повинности.

Мы выражаем твердую уверенность, что Вы будете

аккуратным и явитесь без опозданий.

Бригадир Вашей бригады тов. Финк, пом. тов. Анчаров.

Член президиума ССП — Анна КАРАВАЕВА (подписал П. Бажов) Пред. горпрофкома писателей — В. ФИНК».

Заметим, однако, что писателей в общем-то не слишком перегружали нарядами на разные тяжелые физические работы. Трудмобилизация не коснулась и писательских жен: считалось, что многие из них — машинистки,

стенографистки, секретари — помогают мужьям в их нелегком и очень обособленном литературном ремесле <sup>1</sup>.

В преддверии нового зимнего сезона стенгазета «Перо — штык» поместила шуточные стихи Ефима Ружанского:

#### ТАК МЫ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

В последних числах сентября (Презренной прозой говоря) В Союзе нашем оживленье (У всех большое вдохновенье): Все пишут, пишут... заявленья. О полученье пропусков; Трактат к вопросу отопленья; Статьи о шетках для зубов: Романы из пяти частей О явной пользе овощей: Стихи и пелые поэмы На злободневнейшие темы. Как, скажем, масло или мед, Табак, одеколон, иод: Прошения в Электросбыт. Чтоб не снимали нам лимит. Чтоб впредь нам не сидеть во тьме... ...Так мы готовимся к зиме.

Стихи отражали, так сказать, лишь одну сторону жизни и писательского «творчества», а именно — бытовую. Но это было только фоном. Никакие нехватки, лишения и неурядицы не могли отвлечь литераторов от главного. С приближением зимы оживлялась, как всегда, работа секций, и на дверях Союза все чаще вывешивались объявления:

Поэты, писатели!
В четверг, сегодня, —
знатен, славен, —
Свои стихи,
читает С Л А В И Н!
Начало (для всех) ровно в восемь.
ПРОСИМ!
Бюро секции поэтов.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> По этому вопросу имелось специальное разъяснение правительства. Убедительное свидетельство, какое значение в высоких инстанциях придавалось писательскому труду.

Поэзия — бог! Поклонимся в ноги ей — Займемся в четверг своей антологией.

# ОБСУЖДАЕМ СТИХИ

- Когда? 7 октября.
- Гле? В комнате Союза.
- В котором часу? В восемь.

Короче говоря, Ла здравствует муза!

Просим!

### Или — шуточное:

Смерть прозаикам! Слава поэтам!

ТОВАРИШ!

Хочешь быть осчастливлен? Приходи в четверг—

читает РЫВЛИН!

25 октября. 8 часов. Здесь — до петухов! Автор читает рукопись первой книги стихов.

Как видно из этих извещений, поэты проявляли себя наиболее активно, а по отношению к представителям других литературных жанров («смерть прозаикам»!) и наиболее агрессивно. Секция поэтов работала с полной нагрузкой. Поэтические «четверги», как правило, собирали много не только пишущих, но и интересующихся.

Правда, как-то на одной из этих афишек появилась и такая приписка (сделанная, как резолюция, наискось, вероятно, одним из участников очередного «четверга»,

оставшимся неудовлетворенным):

Наш поэтический четверг Меня в отчаянье поверг. Уж лучше б было, в самом деле, У нас семь пятниц на неделе!

Для работы творческих секций имелось теперь специальное помещение — комната писателя в тогдашнем городском Доме партийного просвещения, на площади 1905 года. (Долгое время там помещались редакции журнала «Уральский следопыт» и молодежной газеты «На смену», ныне Дом актера.) Там проходили теперь все сборы писателей. Многие, не имея необходимых условий дома, приходили сюда работать постоянно, как на службу.

Перед писателями выступали академики А. Е. Ферсман, рассказавший о стратегических резервах геологии и их значении для войны. В. Н. Образцов. В. А. Обручев.

Часто бывали фронтовики.

Вспоминается встреча с Аркадием Тимофеевичем Лидским, превосходным хирургом, профессором, талантливым руководителем свердловской клиники, где делались сложнейшие операции. Лидский изучал историю отечественной хирургии, и всеобщий интерес вызвало его заявление, что раненного на дуэли Пушкина — случись это теперь — можно было бы спасти от смерти. Особенное волнение это вызвало у Гроссмана: «Неужели Пушкина можно было вылечить?» — повторял он еще на другой день.

Жизнь выдвигала проблемы. Редколлегия стенгазеты «Перо — штык!» обратилась к писателям с просьбой поделиться с товарищами своими мыслями по поводу пьесы А. Корнейчука «Фронт». С откликами выступили Шаги-

нян, Караваева, Ляшко.

«Мы, писатели, — писала Мариэтта Шагинян, — читаем книги не только по-читательски, но и по-писательски. Одна настоящая книга вытягивает за собой десятки других, сразу облегчает работу писателя, приносит с собой глубокое дыхание, воздух. Когда долго нет настоящих книг, в литературе наступает макаронный период. Коекто из нас, всерьез, принимает свое макаронное дело за литературу.

Но литература — это голос общества, это выражение того, что чувствуют люди, это такое слово, что, — когда оно сказано вслух, — общество узнает в нем свою мысль, свою потребность, свой опыт и кричит сказанному слову: да. Вот такое нужное, смелое, настоящее слово, такую настоящую литературную вещь сделал Корнейчук своей

пьесой «Фронт».

Горлов — головотяп, губящий наше дело на фронте, — это старый, знакомый тип, это обобщенный тип, с которым мы боролись на каждом этапе советского двадцатипятилетнего строительства. Горловы сидели и в нашей среде под разными обличьями (рапповскими в том числе), и мы с ними боролись и истребляли их. Горловы могут погубить всякое дело. Это — паразитарные типы, не желающие в новой обстановке учиться, думающие, что

можно побеждать в 42-м году, как побеждали в 20-х. Это — механицисты, прирожденные антидиалектики. Попадаются они и на тыловой работе, в наркоматах, в обкомах, в исполкомах, в завкомах. С горловыми надо нам говорить большим литературным разговором, а не макаронами».

«Надо, — заканчивала Шагинян, — тыловым писателям учиться так писать «тыл», как Корнейчук написал

«Фронт».

Обсуждение вылилось в горячую дискуссию. Соглашаясь с общей оценкой «Фронта», писатели расширяли и углубляли соображения, высказанные Шагинян.

Жаркие споры велись вокруг «уральской темы». «Уральская тема» сделалась поистине пресловутой, став предметом многих горячих обсуждений и толкований.

Слово «Урал» стало в те годы символом трудолюбия нашего народа, силы и мощи советской державы, синонимом любви и беззаветной преданности Родине. Было почетно называться уральцем. Уральцами стали охотно называть себя даже те, кто еще совсем недавно никак не чаял очутиться на Урале, пока, подхваченный, как песчинка, военным шквалом, не перенесся, точно по волшебству, на Уральский хребет, за каменные столбы, помечающие собой границу между двумя континентами — Европой и Азией.

В неслыханном военно-промышленном соревновании Урал и Сибирь побеждали Силезию и Рур. Это было чудо, чудо войны, свершенное трудовым людом под ру-

ководством коммунистов.

Уральцы и работали и дрались хорошо. Уральские воинские соединения становились гвардейскими, награждались орденами. В первые же месяцы войны широкую известность среди трудящихся Урала получила Третья гвардейская дивизия; затем — Двадцать вторая... Уходит на фронт Добровольческий танковый корпус, снаряженный, укомплектованный целиком тружениками трех уральских областей — Свердловской, Челябинской, Пермской, и после первой боевой операции на знаменитой Курско-Орловской дуге также получает высокое звание гвардейского. В бою под Ленинградом нижнетагильский слесарь Илья Шалунов, повторяя бессмертный подвиг одного из героев Бородина 1812 года, с оторванной рукой штурмует дзот врага... Герой зачислен навечно в списки своей части. И так же, как комсомолец Шалунов,

идет в дни Орловской битвы на укрепления врага, под шквальным огнем неприятеля, уральская пехота...

Сколько городов прислали на Урал письма с изъявлениями благодарности за свое освобождение из гитлеровской неволи!

С течением времени имена героев и номера отличившихся частей приобретают такую же известность, как имена знаменитых сталеваров, фрезеровщиков, названия передовых заводов. Учреждаются переходящие знамена отличившихся частей. За обладание ими шла упорная борьба между предприятиями. Знамя получал тот, кто работал лучше.

Как исконно русский человек, уралец тяжел на подъем, любит подумать, пораскинуть умом, но уж коли поднялся... Кажущаяся медлительность уральца — это мед-

лительность тарана.

В чем же особенности уральца, если говорить об его отображении в литературе? Отличается ли уральский рабочий от своих московских, ленинградских, волжских собратьев? Или все это досужая выдумка, миф?.. В чем вообще «специфика» Урала как резервуара неиссякаемой человеческой энергии, рабочей смекалки, как края замечательных умельцев, дела которых на глазах становились творимой легендой? Как передать колорит Урала?

Писатели искали ответа на эти вопросы. Жизнь требовала, чтобы Урал — арсенал победы — во весь рост предстал со своими делами и людьми в произведениях

литературы, искусства.

Кое-кто пытался пойти по линии наименьшего сопротивления: ставя почаще прилагательное «уральский», надеясь, что тем самым «обураливает» свое произведение. Ничего дельного из этого, конечно, не получалось, и на обсуждениях такие «уральские» повести и рассказы подвергались сокрушительному разносу. Последнее слово обычно оставалось за Бажовым. Он долго молчал, теребил бороду или попыхивал папиросой (трубку он стал курить позднее), потом говорил сдержанно, но убежденно-твердо:

— A Урала-то нет. — И его мнение воспринималось как приговор, окончательный, не подлежащий обжалова-

нию.

Бажов слыл непререкаемым авторитетом и по части Урала, да и в общих литературных критериях. Энциклопедически образованный, настоящий эрудит в любой отрасли знаний, он стал центром, вокруг которого фокуси-

ровалась вся работа Свердловского отделения.

Павел Петрович вообще был очень строг в оценках и требовал абсолютной исторической, этнографической и прочей достоверности, точности во всем («не знаешь—не берись»).

Помнится, уже после войны, говорили о фильме «Каменный цветок». Павел Петрович осторожно высказал свое мнение. Фильм нравился ему, нравилась игра исполнителей роли Данилы и Хозяйки. Однако имелось и

несколько замечаний:

— Не хватает уральского-то... Поют «Калинку-ма-

линку», а разве нет хороших уральских песен...

Точно так же его возмущало, что иные художникииллюстраторы обувают героев сказов в лапти, тогда как лаптей на Урале, в частности, на его родине в Сысерти и Полевском, почти не носили; в «Серебряном копытце» лесная косуля, грациозное дикое животное, изображается почему-то домашним козлом.

До глубины души огорчали и расстраивали его поиски фальшивой «уральской экзотики». Урал должен

быть в самой ткани произведения. Только так.

Очень обидно, что на свердловском радио погубили (залило водой в подвале) магнитофонные записи Бажова с его высказываниями. А записей этих делалось много,

и они стоили иных толстых литературных трудов.

Не менее интересны были и высказывания Павла Петровича о делах театральных. Я в те годы был членом художественного совета ТЮЗа, участвовал в приеме всех спектаклей и вообще был своим человеком в театре, и мне часто доводилось видеть на спектаклях сидящим среди зрителей-ребят нашего седобородого патриарха. Павел Петрович, кажется, любил ходить сюда. Именно на подмостках Театра юного зрителя увидела впервые свое сценическое воплощение его «Малахитовая шкатулка». Инсценировку делал С. Корольков, но Павел Петрович был ею недоволен; она неоднократно переделывалась, однако полного удовлетворения от нее он так и не получил. Куда удачнее казались «Ермаковы лебеди», работа «бывшего драматурга» Пермяка. Вообще, повторю еще раз, такой требовательно-строгий литературный судья, как Бажов, при всей своей безграничной человеческой доброте и мягкости, когда дело касалось искусства, мог служить образцом. Он не признавал компромиссов.

Но уж зато как радовали его детская непосредствен-

ность и искренность. С восторгом делился: был в ТЮЗе, какой-то парнишка подбежал (во время действия!) и спросил: «А борода у вас настоящая?» «Борода, вишь, показалась не настоящая!»

Когда разразилась война, Бажов сам, без вызова, пришел в обком партии и заявил, что отдает себя в полное распоряжение партийных органов, готов пойти на любую работу. Его послали главным редактором в Свердлгиз. Проработал он там недолго: надо было читать много рукописей, а у Павла Петровича начинались серьезные нелады со зрением. «В глазах черные точки, ни черта не вижу!» — огорченно признавался он в минуты откровенности. И как ни добросовестно относился Павел Петрович к своим обязанностям, должность главреда явилась для него непосильной нагрузкой. Из Свердлгиза пришлось уйти. Бразды главного редактора взяла в свои руки К. Рождественская. А его вскоре избрали председателем правления выросшего Свердловского отделения СП. На этом посту он оставался вплоть до своей смерти.

Бажов показал себя в эти годы настоящим гражданином-патриотом своего Отечества. Никто никогда не слышал от него ни одной жалобы на трудности, на нехватку того, другого, хотя Бажовым жилось не слаще, чем другим. «Ну, у меня же кулацкое хозяйство», — отшучивался Павел Петрович, когда его спрашивали о житье-бытье, имея в виду сад и огород, который он ежегодно сажал и убирал самолично с помощью дочерей

и жены Валентины Александровны.

Единственной просьбой, с которой он обращался в Союз, были дрова: бажовский дом на улице Чапаева был холодным и пожирал массу топлива, а зима уральская долгая.

Только в 65-летний юбилей писателя дом — по постановлению обкома и горсовета — оштукатурили, провели

паровое отопление.

К слову, «65» — не юбилейная дата; но для Бажова сделали исключение. И, смею думать, это было проявление любви и уважения не только к человеку — знатному

жителю края, но и к Уралу.

Присуждение Государственной премии тогда, в годы войны (Бажов получил ее в марте 1943 года), равно как и награждение Бажова орденом Ленина, было воспринято всеми без исключения как событие огромной общественной значимости (впервые такой премией отмечался писатель-уралец!), и событие это переживали не только

близкие друзья, литераторы, — без преувеличения, ему радовались все истинные друзья литературы, как уральцы, так и не уральцы, по вине капризной фортуны ока-

завшиеся на Урале.

Об юбилее стоит сказать несколько слов, поскольку отмечался он в условиях, когда трудности военного бытия ощущались во всей остроте и на первом плане продолжали стоять заботы самого меркантильного свойства. Это учли устроители юбилея (сам Бажов в подготовке, разумеется, не принимал никакого участия и лишь просил «делать поменьше») и не поскупились на подарки. Подношения по тем временам были самые щедрые: свинья, породистая дойная корова-тагилка и воз сена для ее кормежки, запас дров на целый отопительный сезон и прочее тому подобное. Одна корова стоила десятки тысяч рублей. Про остальное не приходилось говорить. Чувствовалось, что любимому писателю не жалели ничего: юбилей так юбилей! Ты нам свой талант, — мы тебе нашу любовь. Словом, бери, Бажов, получай от всей полноты чувств, от широкого уральского сердца.

Свинью прислал Уральский политехнический институт имени Кирова (УПИ). Но ее вернули обратно: оказалась матка, резать преступление, а держать не собирались. Корову по кличке Зона привезли из Нижнего Тагила. Потом, когда миновали трудности с питанием, Бажовы отдали Зону в молочное хозяйство совхоза «Исток». Даром получили, даром и отдали. Она хорошо послужила не только семейству Павла Петровича, его внукам, но и всему Союзу писателей. Молоко этой коровы пили все свердловские литераторы. Кто бы и зачем бы ни пришел к Бажовым, в течение всех трудных военных лет — каждого непременно потчевали молоком: на круглом столе в «приемном» уголке кабинета появлялись кринка и кружки. «Испейте, молочко хорошее», — приглашала Валентина Александровна, а на прощание она обязательно вручит «на дорожку» литр молока. «Только потом бутылку, пожалуйста, верните. С бутылками трудно...» Литр молока в то время — особенно для тех, у кого росли дети, — был настоящим сокровищем. Несомненно, этот литр был также выражением доброй приветливой атмосферы, которая всегда царила в бажовском доме.

Именно в военные годы началось большое признание Бажова, к нему пришла известность. В военные годы с

панбольшей силой развернулся и талант Павла Петро-

«Сказы о Ленине», «Сказы о немцах» — вот был его вклад в борьбу советского народа с зарвавшимися захватчиками. Не очень крепкий здоровьем, вечно перегруженный сверх всякой меры различными общественными обязанностями и поручениями, он создавал в тот период один сказ за другим. До утра горел свет в его комнате с окнами, выходящими в сад, уставленной вдоль стенстеллажами с книгами, до утра склонялась над столом седовласая голова с высоким чистым — «сократовским» — лбом, и маленькая, по-женски округлая рука неторопливо выводила на бумаге слово за словом, строку за строкой, — не слова, а чистое золото, самоцветы, которые Бажов добывал, промывая тонны пустой породы, проявляя в поисках нужного выражения мысли титанические настойчивость и терпение.

Со временем он стал пользоваться машинкой, подаренной ему Литфондом СССР. Это несколько облегчило процесс писания, поскольку продолжало ухудшаться зре-

ние и писать от руки становилось все труднее.

 Самая дорогая книга, — говорил он про «Сказы о вемцах».

Почему? Двести тысяч тираж. Массовая. Всем! Самто рос в бедной семье; книжка — копейка, а все — деньги; и, как никто другой, он понимал, что значат такие

тиражи.

Именно в ту пору были подарены читателям сказы «Хрустальный лак» и «Тараканье мыло», относимые автором к числу «озорных», едко высмеивающие заграничных плутов и невежд, стремившихся поживиться за счет русского народа; «Солнечный камень» и «Богатырева рукавица», посвященные вождю трудящегося человечества — Владимиру Ильичу Ленину; «Иванко Крылатко», раскрывший неповторимое искусство Ивана Бушуева, мастера-гравера из Златоуста, исторически существовавшей личности; «Веселухин ложок», «Чугунная бабушка». Характерно, что «Чугунная бабушка» впервые была опубликована 8 февраля 1943 года в газете «В бой за Родину!», органе политотдела Карельского фронта.

Многие сказы того периода впервые увидели свет на страницах периодической печати, в частности в газете «Уральский рабочий», хотя газета тогда выходила на двух полосах. Газеты «На смену!» (комсомольско-молодежная), «Всходы коммуны» (типа «Пионерской прав-

ды») перестали издаваться, «Уральский рабочий» выходил на двух полосах и пять раз в неделю, но для сказов Бажова там всегда было уготовано место. Более того: газета ускорила появление не одного из них, нередко они рождались как «социальный заказ» после беседы писателя в редакции.

Вообще Л. С. Шаумян, тогдашний редактор «Уральского рабочего», благоволил к писателям, и они не могли пожаловаться на отсутствие внимания к ним со сто-

роны газеты.

В «Уральском рабочем» впервые увидела свет документальная работа Юрия Хазановича «34 недели на Майданеке», потрясающий рассказ о человеке, вырвавшемся из фашистского ада. «Уральский рабочий» первым опубликовал и знаменитую, месяц спустя перепечатанную центральными газетами «Правда» и «Труд», бажовскую «Живинку в деле», ставшую символом рабочей сметки, сразу вошедшую в обиход как одно из крылатых народных выражений.

Можно сказать, в самое тревожное время, когда враг подступал к сердцу страны, Бажов был в бою, на переднем крае. Он тоже отбивал яростные атаки гитле-

ровцев, разил неприятеля.

Книгами-солдатами называет писатель-краевед и разыскатель Юрий Курочкин книги, помогавшие нам одерживать победы в годы Великой Отечественной войны, а еще раньше— на фронте индустриализации, когда рождались Магнитка на Южном Урале, «Вагонка» в Нижнем Тагиле, Уралмаш и гиганты химии в Березниках, Соликамске... К числу таких книг, несомненно, должна быть причислена и бажовская «Малахитовая шкатулка».

Вот одно из свидетельств — корреспонденция из действующей армии, написанная лейтенантом Н. Пятковым:

### «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» В ОКОПАХ

После боя наступило затишье. Наши саперы под землей соорудили клуб. В нем имелись кинобудка и читальный зал. Посередине стоял длинный стол. Здесь лежали свежие газеты и неизвестно как попавшие экземпляры книги уральских сказов П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка».

«Малахитовая шкатулка»! В боевой обстановке книга с далекого, родного Урала для нас, уральцев, яви-

лась настоящим сокровищем. Мы подолгу перелистыва-

ли страницы сказов.

Книгу «Малахитовая шкатулка» я встречал и в окопах. У разведчика Петрова, политрука Кожевникова и и многих дригих.

— Товарищ командир, дайте бумаги! — попросил меня однажды пулеметчик Мальцев. — Завернуть махорку

не во что. Хоть клочок! Курить хочется.

— Да ведь вот книга какая-то у вас лежит — отор-

вите кусочек!

— Что вы, это же «Малахитовая шкатулка»! Ее нельзя, — сказал Мальцев. — Наши ее по очереди читают.

Красноармейцы много расспрашивали меня об уральском писателе Павле Петровиче Бажове. Я рассказал им, что «Малахитовая шкатулка» была представлена на Нью-Йоркской и Всесоюзной сельскохозяйственной выставках, что по ней написана пьеса. Сказы Павла Петровича пользуются большим успехом.

— Товарищ лейтенант, если увидитесь с автором, — говорили мне бойцы, — передайте ему от нас, фронтовиков: хорошую он книгу написал! Красноармейское спа-

сибо ему за это!»

Так читались и расценивались бажовские сказы на фронте. Не меньшую популярность имели они и в тылу.

Как всякое истинное произведение искусства, «Малахитовая шкатулка», выражаясь словами Мариэтты Шагинян, несла «глубокое дыхание, воздух». Наполненная ароматом эпохи, края, она воспринималась как некое откровение, радостное открытие. Читатели черпали в ней уверенность в силе, мужестве, талантливости русских людей, в непобедимости своего государства.

В сказах Бажова вставал во весь рост человек-исполин-творец, он же — защитник Родины в трудный час.

Своеобразие сказов покоряло каждого. В них проявились ярко особенности бажовского дарования, его широкий взгляд на жизнь, незаурядные знания. Бажов знал душу рабочего человека, все его творчество прони-

зывала глубокая народная философия.

В обыденной жизни Павел Петрович был предельно скромен, никогда не стремился выделиться, выставить себя напоказ. Терпеть не мог чинопочитания, напоминания заслуг. Запротестовал, когда однажды в какой-то официальной бумаге перед его подписью, «для пущей важности», поставили — «лауреат премии»:

— Да на что? Неловко... Нет, нехорошо, право...

Бумажку пришлось перепечатать.

— Поздновато слава-то пришла, Павел Петрович? — как-то заметил Кассиль, с любопытством ожидая, что скажет на это уральский кудесник, который уже тогда слыл мудрецом.

— А может, оно лучше, Лев Абрамыч, — отозвался Павел Петрович со своей обычной лукавинкой, загадав одну из тех загадок, которые были столь характерны для всей его манеры изъясняться, для всего строя

мышления.

«Не испорчусь», — улавливалось в подтексте. Скромность, даже суровость к себе была отличительной чертой Бажова, ее не могла испортить даже большая литера-

турная слава.

Вспоминается, как в 1943 году, в Перми, куда Павел Петрович ездил в сопровождении группы свердловских литераторов на научно-литературную конференцию, его ждали на концерт, устроенный силами артистов театра оперы и балета, посвящавшийся участникам конференции, а вернее, пожалуй, Бажову. Концерт не начинали, пока не приехал Бажов. А он, как на беду, запаздывал (что с ним обычно случалось крайне редко: точность, пунктуальность тоже была его чертой). Когда Павел Петрович появился в зале, публика и актеры устроили ему овацию. Незадолго до того ему присудили Государственную премию, в газетах часто называлось его имя.

Павел Петрович растерялся и долго не мог найти подходящих слов, чтобы выразить свое отношение к слу-

чившемуся.

— Да чего же это они?! — искренне недоумевал он, и в глазах его мелькало что-то необычайно простодушное. Такие глаза бывают у детей. — Нет, верно. А я еще думал: идти, не идти. Нездоровилось немного. А если бы не пришел совсем? Дикое положение получается...

Бажов был народным не только по самому характеру своего творчества: поистине народным был он и по своей доступности, простоте, отзывчивости. К нему мог прийти кто угодно и когда угодно. И шли. Шли все. Кто со своей бедой, кто — с заботами и нуждами, кто — просто посоветоваться, выслушать умное теплое слово. Он мог ободрить, помочь, если не делом, так отеческим наставлением. В военные годы, когда горе да беда в каждом доме, этому не было цены.

Николай Николаевич Ляшко, с которым Павел Петрович познакомился в период эвакуации в Свердловске, Подьячев, Шмелев с его знаменитым «Человеком из ресторана», — во всех в них Павел Петрович усматривал что-то родственное себе. Это «что-то» были любовь и глубокое уважение к рядовому человеку-труженику, незаметно, но добросовестно делающему свое дело. Эти писатели, как Федор Гладков, как сам Бажов, были знатоками русского народного языка, русской народной жизни.

Говорят, человек найдет человека; а писатель-профессионал? Интересно, как «нашли» друг друга Ляшко и Бажов. Мне кажется, имелось у них нечто общее, родственное, запрятанное глубоко и что тем не менее они сразу «учуяли» оба. Такие разные внешне, в чем-то они были похожи. Николай Николаевич - худощавый, сдержанный, как говорится, никогда не лез вперед других. не набивался в собеседники и друзья; но с Павлом Петровичем их часто можно было встретить вместе. У обоих за плечами была большая прожитая жизнь, рабочий склад ума; сближали их и общие взгляды на литературу, значение ее для культурного роста народа. Павел Петрович назубок знал все произведения Ляшко (чего он не знал?). Теперь наверное уж начали забывать про Ляшко — что был такой писатель. А жаль! Его «Доменная печь», «С отарою», «В разлом» — вехи послеоктябрьского времени.

Литературная требовательность Бажова проявлялась на каждом шагу, и прежде всего по отношению к самому себе. Помню разговор с Клавдией Васильевной Рождественской (тогда — редактором Свердловского издательства) по поводу очерка «Янкинские огни», написанного Павлом Петровичем по заданию «Правды». Очерк не нравился Рождественской. По-видимому, не в восторге от него был и сам автор, хотя очерк напеча-

тали и хвалили.

— Не пишите больше, Павел Петрович, — сказала Рождественская.

— Не буду, — ответил он послущно-серьезно.

«Не пишите» — не вообще, разумеется, а вот таких очерков, наспех, по-газетному. Быстрая работа была не его стихия.

Требовательность, взыскательность Бажова проявлялись и в том, как он относился к критике. Артист Л. Д. Охлупин рассказывал: однажды возвращались о

Важовым в автомашине с концерта, на котором Охлупин читал сказ «Солнечный камень», только что написанный Павлом Петровичем. Павел Петрович был чем-то недоволен. Не исполнением, нет. Охлупин — уроженец Полевского района, как и Бажов, — владел уральским говором виртуозно. Чего-то не хватало в сказе.

— Восприятия не хватает, — осторожно высказал Леонид Давыдович. — Как старики реагировали.

— A ведь, пожалуй, верно, — согласился Павел Петрович. И после этого в сказе появились слова, которых

там недоставало.

эниВ воспоминаниях старшего сына Л. Н. Толстого — Сергея Львовича — об отце («Очерки былого») приводится высказывание, сделанное Львом Николаевичем незадолго до смерти: «Ценность бриллиантов возрастает не просто пропорционально увеличению каратов, а пропорционально квадрату числа каратов. Так же и старческая мудрость возрастает не просто пропорционально времени, а — пропорционально квадрату времени. И надо спешить ее раздавать».

Удивительно подходило это к Бажову. Чем старше он становился, тем больше переполнялась голова; и тем шедрее старался он раздавать накопленные богатства мысли, чтоб они продолжали служить людям и потом, когда его не станет. Этот вывод напрашивается, в част-

ности, из его переписки с друзьями.

Как-то в кругу московских коллег и читателей, стараясь удовлетворить любопытство собравшихся, старейшина уральских литераторов поделился тем, как он собирает материал и вообще работает над сказами.

— Надо найти место, где искать. Нечего стесняться, чем собирать: где дробью, где целым куском. Сила в рабочих сказах. Мое счастье, что я их не испортил...

Это и есть мастерство. — заметил один из присут-

ствующих.

— Ну, пусть, пусть, — миролюбиво согласился Бажов

В другой раз он упомянул о «ниточках», по которым удается размотать весь клубок. Мне довелось быть свидетелем, как в 1939 году, во время поездки в Полевской район, он, скупо отбирая каждое услышанное слово, каждую деталь, искал эти «ниточки» — то в виде железной цапли на старой плотине в Полевском, то в виде родового знака — деревянного украшения — лебедей на воротах дома в Косом Броду. Это украшение помогло ему в создании сказа «Ермаковы лебеди», а железная цапля — фирменный знак дома Турчаниновых — нашла свое отражение в современном сказе «Не та цапля».

Вот таких «ниточек» часто не хватало всем нам, молодым, да нередко и нашим более старшим товарищам из числа приезжих, пытавших свои силы на «уральской теме».

Павел Петрович старался всячески умалить собствен-

ную роль в создании сказов.

— Мне посчастливило, — говорил он после доклада Скорино в Перми, в 1943 году. — За мной стоит много народа. Это ошибка, будто я первый начал. Ну, ошибка в мою пользу...

Мастерство Бажова, как справедливо отметил один критик, заключается в том, что он старался с наивозможным уважением отнестись к тому, что говорилось рабочим человеком. Эту мысль постоянно подчеркивал и сам Павел Петрович.

— Ну, там и клад и всякая такая штука... Хорошо! — загораясь, иногда добавлял он, стараясь «оправдать». откуда идет романтичность, увлекательность на-

писанного им.

Иной раз вроде бы малозначащий штрих приоткрывал для меня в Бажове что-то новое.

Помнится один любопытный разговор «о куреве» между Бажовым и профессором Виктором Васильевичем Данилевским, тоже яростным курильщиком, в вагоне поезда по дороге из Свердловска в Пермь. (Павел Петрович много курил, и можно утверждать, что неумеренное курение сократило ему жизнь.)

Бажов (свертывая самокрутку, папирос тогда не хватало): Я бы, наверное, ученым был, если б не кую

рил...

Данилевский (тоже мастеря цигарку). Церемониал!

Бажов. Церемониал.

Данилевский (*лукаво*). А может, не будь табачку, не было бы и шкатулочки?..

Бажов. Все возможно. Мало ли что в табачном

дыму пригрезится...

Кажется, разговор — пустяк, а если вдуматься...

Вообще все суждения Бажова были неожиданны и всегда наводили на размышления. Иногда они могли вызвать улыбку.

Столь же неожиданны и метки были характеристики, которые он давал людям. Так, про одного ученого мужа из нашей среды, очень гордившегося своим званием, сказал:

— Он вообще зряшный профессор и скучный человек, но засыпает прелестно... — И добавил, как бы стараясь смягчить жесткость своих слов: — Я почему-то всегда отличался способностью засыпать тогда, когда уже нельзя спать...

Обладая в полной мере чувством юмора, Павел Петрович любил шутку. Чрезвычайно острым был его глаз— глаз прирожденного литератора. Это могло проявиться даже в самые, казалось бы, неподходящие моменты.

Никогда нельзя было предугадать, что он скажет по тому или иному поводу. Да он и сам признавался, что выступает обычно экспромтом. Вспоминается, как на той же конференции в Перми он, сидя за обедом в столовой, советовался с нами, делегатами от Свердловска, чему посвятить свое выступление. «О чем я буду говорить?» — вопрошал он с детским простодушием, вперя в собеседника взгляд больших, недоумевающих и удивительно прозрачных глаз. Ему стали предлагать: «Расскажите о полозе, о происхождении богатств». Он внимательно выслушал, вроде бы согласился, а сказал вечером совсем другое, и очень интересно сказал - о зарождении уральского сказа-побывальщины, проиллюстрировав свою мысль самыми простыми и потому особенно убедительными примерами. «Вот, к примеру, насчет угля, — говорил он. — Кажется, несложное дело уголь выжигать; а так ли? Углежог дает звон... это значит, уголь высшей марки... Полузвон. А то — мертвый уголь, квелый, с пятнами, а то — одна угольная пыль... Хорошо. И вот один дает только звон. Искусство! И вот он умер. Конечно, про него сейчас же легенда: что-де ему кто-то помогал. Вот вам и поэтика ремесла любого...» Выступление оказалось неожиданным и чрезвычайно интересным.

Бажов любил уральскую историю.

Вероятно, на этой почве возникла его дружба с Данилевским, с которым у него было много общего: поразительное знание деталей, глубокое проникновение в материал прошлого, преклонение перед мастерством и одаренностью крепостных умельцев—горновых, плотинных,

строителей «вододействующих колес», искателей и огран-

шиков самоцветных камней.

Павел Петрович, сев на своего конька, не раз сговаривал меня заняться Демидовыми. «Первые-то Демидовы шибко дельные были мужики. Правда, могут сказать, я тебя тяну в историю, но...» К первым Демидовым он относился с уважением, не отбрасывал их заслуг, хотя и помнил, что они крепостники.

В войну состоялось решение Свердловского обкома партии о создании истории Урала. В подготовительную группу были включены Бажов, Данилевский и автор этих строк, «чрезвычайная тройка», так окрестили нас товарищи; но замысел, увы, так и остался нереализованным. Наверное, недостаточно активен был я; секретарю положено «толкать» других, и я был самый молодой, а Павлу Петровичу начинать, «раскачиваться» трудно было уже по возрасту. Данилевский же скоро уехал с Урала — вернулся в свой родной Ленинград.

Тем не менее, можно сказать с полной ответственностью, Бажов оставался верен уральской истории. Живой истории Урала, историей в образах и лицах могут

быть названы его сказы.

Интересно то, что, работая над материалом далекого прошлого, Бажов оставался насквозь современным, советским, партийным писателем. И не только писателем, но и активным общественным деятелем. Сказывались его политическая зрелость, понимание задач, стоящих перед советской литературой.

Замечательно его высказывание о том, почему столь успешно развивается литература, содержащее мысль о постоянной заботе партии о литературе, литераторах: «Ведь скворец летит в скворечню тогда, когда дырка по-

вернута на юг, к теплу».

Бажов первый, казалось бы, в самое неподходящее время, когда еще были свежи воспоминания о пережитом и во всем ощущались перенесенные тяготы войны, заговорил об очистке городского пруда в Свердловске, загрязненного промышленными отходами, об охране уральской природы, о том, что Свердловску и вообще Уралу необходим свой «толстый» литературно-художественный журнал, в котором уральские литераторы могли бы печатать свои новые произведения и ставить волнующие проблемы. Все это начало осуществляться позднее, после смерти Бажова.

Мы часто говорим о том, какова ответственность писателя в нашей стране, каким должен быть советский писатель. Мы находим ответ на это, обращаясь к жизни уральского самоцвета Бажова.

«Я ведь не борец, я миросозерцатель», — говаривал он иногда про себя. Но он был борцом. Борцами зарекомендовали себя его книги, и в первую очередь чудесная «Малахитовая шкатулка», которую он терпеливо, усидчиво пополнял все военные годы.

Литературно-научная конференция в Перми, о которой я уже упоминал, или, как она именовалась официально, Уральская межобластная научная конференция «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе», была организована Пермским педагогическим институтом. Поддержанная партийными и советскими организациями области, явилась значительным событием в культурной жизни Урала тех дней. Ехали туда все с огромным желанием. Наша свердловская делегация насчитывала 12 человек. Л. И. Скорино, работавшая над монографией о Бажове, подготовила добротный рассказ о рабочем фольклоре и творчестве автора уральских сказов (перед тем она много беседовала с ним).

На мою долю выпали все заботы по переброске делегации в Пермь, что в тогдашних условиях было не простым делом. Поезда ходили переполненными, вокзал гудел от пассажиров. Надо было устроить товарищей хотя бы с минимальными удобствами, тем более что в группе имелись люди преклонного возраста, женщины. Обратился к дежурному по вокзалу — безуспешно. Никакого сочувствия. С подобными просьбами к нему, вероятно, обращались сто раз за дежурство. Помогла маленькая хитрость. Данилевский — одноногий, на костылях, к тому же носивший костюм полувоенного образца, — мог вполне сойти за инвалида войны. Договорившись с привратницей у выхода на перрон, пропустили его и Бажова вперед; за ними — еще до общей посадки — прошли остальные. Благодаря этому нам удалось без суеты и давки занять сравнительно сносные места.

В вагоне на всех оказалось два комплекта постельных принадлежностей и три подушки. Поделили по-братски. Разместились на верхних полках: так было спокой-

нее. Я забрался «на третий этаж», на багажную полку.

Павла Петровича и Верховского устроили внизу.

Ехали дружно, весело. Бажов подолгу, не отрываясь, смотрел в окно, думая какую-то свою, бажовскую думу. На одной из остановок внезапно воскликнул:

— Девки-то, девки!

Крепкие, краснощекие колхозные девчата в ватниках и теплых полушалках сгружали дрова-долготье с автомашины. Работа явно мужицкая, требующая силы, выносливости.

Данилевский:

— Смотрите, Павел Петрович, насчет девок... Бажов:

— Да, это Урал!

Он все так же задумчиво продолжал смотреть на работающих, пока не тронулся поезд. А мне так и вспомнился Лев Толстой с его «кариатидами» — крестьянскими девками, сильная здоровая кровь которых, по мнению величайшего писателя земли русской, долгое время поддерживала жизнеспособность дворянской России.

Ехать — всю ночь. Наш пассажирский обгоняли воинские эшелоны с людьми, с боевой техникой — пушками, танками. Урал слал фронту богатырскую подмогу.

Пермь для Бажова была отнюдь не чужим городом. Здесь он жил с 1893 по 1899 год, еще будучи семинаристом, набирался мудрости ученой и ума-разума, здесь у него было немало друзей-знакомых. Правда, он не был в Перми давненько — как началась война. Какие воспоминания рождались в его голове в эту поездку? Про то знал лишь он.

Конференция проходила 12—17 июня 1943 года. Погода стояла чудесная. И настроение у всех было приподнятое. Все на время отрешились от будничных забот.

Заседали в большом зале облисполкома, в здании, что и поныне стоит на углу улиц Ленина и Карла Маркса. В президиуме, рядом с писателями и литературоведами, первый секретарь обкома партии, председатель облисполкома...

Без преувеличения, конференция была очень содержательной. С интересными сообщениями выступили профессор К. Н. Державин, один из организаторов конференции, профессор Е. А. Боголюбов и другие товарищи.

О русском фольклоре на Урале подробно рассказал хорошо известный всем участникам В. П. Бирюков (тогда жил в Шадринске; позднее Владимир Павлович пе-

реехал в Свердловск). Выступление И. Карнауховой бы-

ло посвящено народной сказке.

В целой серии докладов были освещены проблемы современной уральской литературы. Анализ творчества А. Бондина дал профессор И. Эйгес; творчеству Василия Каменского был посвящен доклад профессора Н. Степанова. Современная уральская поэзия была подробно разобрана профессором Ю. Верховским.

Все ждали речи Бажова. Выступления патриарха уральских литераторов всегда содержали что-то новое и давали пищу для размышлений, с огромным вниманием их слушали свои и приезжие. Павел Петрович поднялся... он сидел в середине президиума и стал говорить с места... вот беда: не слышно, ничего не понимаем. Скажет немного, замолчит, пощупает рот, снова скажет.

Говорить было трудно: недавно ему вставили искусственную верхнюю челюсть, да протезисты обмишурились, пригнали не точно. Павел Петрович останавливался, делал длинную паузу и, запустив пальцы в рот, поправлял челюсть. Слушатели терпеливо ждали, никто не

проронил ни звука.

В перерыве мы окружили его; он в сердцах махнул рукой. И все же, несмотря на эту помеху, он донес до слушателей много важных истин, как всегда, извлекая из глубин своей памяти и обогатив присутствующих интереснейшими сведениями из прошлого Урала, как-то незаметно связав все с днем текущим, с потребностями нынешнего времени. Я уже отмечал, что он не готовился к докладам, хотя и пытался делать предварительные заметки «для памяти», но говорил не по бумажке (их он недолюбливал, не уважал ораторов, бубнящих по написанному тексту), а «как бог на душу положит». Бог клал всегда то, что нужно.

Все дни работы конференции очень подробно освещались в местной прессе. Газета «Звезда» отвела для этого почетное место на первой полосе. Кроме того, был отпечатан специальный выпуск газеты «Литературный Урал». В городе прошли выставки «Урал в изобразительной литературе» и «Прошлое и настоящее Урала в

художественной литературе».

У всех участников конференции Пермь оставила самое благоприятное впечатление. Организаторы постарались и обеспечили участникам все возможные в ту пору удобства. Встретили и проводили на легковых «ЗИСах» и «эмках», предоставили прекрасное питание. За восемь или десять дней пребывания в Перми все как-то отошли от обычных забот, отъелись, посвежели. Последнему, вероятно, немало способствовали и прогулки по Перми, на берег Камы. В последнюю ночь перед закрытием 
конференции мы вообще почти не ложились, прогуляв до рассвета и встретив восход солнца в сквере имени Решетникова (по-старому Козий загон) над Камой. С нами были Людмила Татьяничева — челябинская 
поэтесса, будущий секретарь правления СП РСФСР, 
Л. И. Скорино, Виктор Важдаев, руководитель Пермского отделения СП поэт Борис Михайлов, секретарь 
обкома партии Виноградов и другие товарищи. Говорили о литературе, о Прикамье, о том, чтобы не порывалась дружба писателей Урала.

Город добрых устоявшихся традиций, Пермь показала себя настоящим центром культуры, науки, блеснула хлебосольством и радушием, и, мне думается, Павел Петрович, как человек, с отрочества связанный с Пермью, испытывал наслаждение, гуляя по ее улицам, предаваясь воспоминаниям о минувшем — своем и го-

рода.

Да, конференция оставила добрый след в литературной жизни Урала. А ведь проходила она в канун Курской битвы, когда враг еще топтал Украину, Белоруссию, когда до желанной Победы оставалось еще два тяжелейших военных года...

Оценивая работу конференции, сошлюсь на передовую в стенной газете, выпущенной ко дню закрытия приезжим составом литераторов — свердловчанами и челябинцами, при некотором участии «хозяев» (пермяков). Вот она:

«Литературная научная конференция «Прошлое и настоящее Урала в литературе и искусстве», столь своевременно и прекрасно организованная Пермским пединститутом и столь внимательно и чутко поддержанная руководящими организациями области, заканчивает свою почти недельную работу. Можно подвести итоги, Какие же итоги и выводы можно сделать?

Сейчас трудно предвосхитить те плоды и результаты, которые она даст в ближайшие годы, но несомненно, что результаты эти будут глубоко плодотворны и для науки и для литературы, которые развиваются на территории богатого Урала. Отечественная война с гитде-

ризмом, сделав наш Урал основной тыловой базой резервов и производства средств обороны, оказала тем самым благотворное воздействие на производственную и научно-культурную жизнь Урала. Произошло более быстрое, чем при темпах мирного времени, сближение, трудовое содружество местных кадров Урала с более сильными, представляющими цвет советской культуры, кадрами Москвы, Ленинграда и других старейших центров СССР.

Это — факт огромного значения, факт, обогащающий и ту и другую стороны — и деятелей Урала, и работников Москвы и Ленинграда. Многое сделано за время войны литературно-научными силами Урала, Москвы, Ленинграда на Урале, но главная работа — впереди. После конференции горизонты и перспективы работы расширились, цели и задачи усложнились. Надо только работать, работать так, как этого требует оборона Родины, защита ее чести, культуры, свободы и процвета-

ния».

Нет, жестоко ошибались враги, кричавшие о затухании советской культуры. Совсем-совсем наоборот! В ту тяжкую пору испытаний советские деятели культуры были на передовых позициях, с партией и народом, своим оружием они тоже помогали разить врага, поднимали дух народа, вдохновляли на новые подвиги.

Есть старая поговорка: когда говорят пушки — музы молчат. Наши, советские музы не молчали. Они тоже сражались на поле брани и у доменных печей, в танке и на колхозных полях, в школе и дома, на сцене и в кабинетах редакций, книжных издательств. Они так же, как и все, стойко выдерживали тяготы лишений, доби-

вались победы и несли свои неизбежные потери.

В живые, реальные дела превращались тогда музыка и песни, — так, пребывание в городе на Каме Ленинградского академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова имело своим следствием то, что в Перми возникло хореографическое училище, которое за истекцие десятилетия дало советской сцене много незаурядных мастеров балета — танцовщиц и танцовщиков.

В ту же пору в Свердловске родился Уральский народный хор, уже в ближайшие годы ставший приметным явлением культурной жизни, в последующие десятилетия побывавший — неизменно успешно — с гастро-

лями чуть ли не во всех странах мира.

А вот перечень книг (далеко не охватывающий все вышедшее), выпущенных в военные годы Свердловским издательством: Низами «Сокровищница тайн» (перевод М. Шагинян), А. Барто «Стихи для маленьких», Г. Бояджиева «Маленькая мама», В. Финка «Верхом на тигре» (антифашистские очерки), В Старикова «В партизанском краю» (записки военного корреспондента), А. Кузнецовой «Саперы», Евг. Пермяка «Ермаковы лебеди» (пьеса по сказу Бажова), О. Высотской «Баллады», Н. Ляшко «Русские ночи», С. Марголис «Подруги», Е. Ружанского «Над Невой», В. Полякова «Белые мамонты» (перепечатка из газет), М. Ройзмана «Волшебник с горы Благодать» и т. д., не считая книг Бажова, Караваевой, переизданий Мамина-Сибиряка и др.

Тут хочется сказать доброе слово о нашем, Свердловском издательстве — Свердлгизе (в прошлом, до разделения Урала на несколько областей и автономных рес-

публик, Уралгизе).

Издательство наше, сколько я его помню (а помню я его с середины 30-х годов), всегда старалось формировать писательские интересы, нацеливая на создание таких книг, которые в данный момент наиболее нужны. Книги нужны всегда, но, конечно, время, происходящие события предъявляют свои требования. Можно сказать, что в войну Свердловское издательство превратилось в литературный, а точнее, в книготворящий, книгу создающий центр, влияние которого ощущалось далеко за пределами области - по всему Уралу. (Говоря это, я вовсе не хочу преуменьшить роль других уральских издательств, чей вклад в общее дело борьбы с врагом также был достаточно весом.) Тесному сотрудничеству авторов и редакторов, несомненно, способствовало и то, что издательство и писательский Союз находились под одной крышей, рядышком, это рождало какую-то единость, которая, думается, необходима во все времена; творческие дискуссии, начавшись в Союзе писателей, нередко продолжались в стенах издательства, и наоборот; и очень часто, если это был не теоретический разговор, приходили к какому-то деловому завершению, конкретным решениям.

Безусловно, большую роль играл личный авторитет и коммуникабельность, как теперь принято говорить, К. В. Рождественской — главного редактора издательства. Хватка у нее была поразительная. Помню, когда на уральской земле появилась Оксана Иваненко, никто да-

же подумать не успел, как на столе у Рождественской уже лежала готовая рукопись, а завтра — книга Оксаны... Клавдия Васильевна была первым редактором «Малахитовой шкатулки», вышедшей в Свердловске незадолго до войны (в 1939 году). Теперь она стала редактором многих именитых «центральных» писателей, известных всей стране. Ей даже не потребовалось как-то входить в новую атмосферу Союза — она будто давно потовилась к этому. Одним из результатов этого можно считать, что ряд начинающих — а впоследствии известных — писателей в эти и последующие годы нашли в издательстве и дом, и постоянную работу, пусть с небольшим, но гарантированным заработком.

Выходили книги, рождались пьесы, появлялись но-

вые имена.

Борис Ромашов написал пьесу «Звезды не могут погаснуть». Новое создание выдающегося советского драматурга немедленно обрело жизнь на сцене Свердловского драматического театра. Театр юного зрителя осуществил одну за другой постановки пьес Е. Пермяка «Василий Иванович» (о рабочей молодежи в дни войны, спектакль, в известной мере по теме предвосхитивший «Малышка» Ликстанова) и «Ермаковы лебеди».

Здесь еще хочется сказать о писателях старшего поколения, советских писателях-классиках, не побоюсь этого слова, их высокой принципиальности, постоянной активной заинтересованности, чтобы земля родная не оскудела талантами, чтобы рождались произведения высокой значимости, нужные народу, времени. Они, «старики», создавали в первую очередь атмосферу непринужденного и содержательного общения, которая так нужна в писательской среде и которой так часто не хватает.

Вот что писала в «Уральском рабочем» Ольга Форш по поводу выхода из печати «Сокровищницы тайн», перевода пяти тысяч строк поэмы Низами, которым долго занималась Шагинян: «Работа М. Шагинян — ценный вклад в историю мировой литературы. «Сокровищница тайн» еще никем переведена не была. Английский востоковед Хейнли попробовал только дать подстрочник, но напечатан он не был и хранится в рукописи в Британском музее». И в заключение самое главное, повторяя слова автора исследования: «... так, восстав от восьмисотлетнего забвения, — великий поэт древности вкладывает и свою душевную долю в священное дело нашей борьбы».

Замечательно высказывание самой Шагинян, опубликованное четвертью века позднее: «Когда я сказала, товарищи, что надо для себя, в первую очередь для себя, книгу писать, то это надо понять глубоко. Человек не один, человек — это звено человечества, и то, что он сам переживает, он переживает вместе с народом, если он делает что-то, отрываясь от общего, не участвуя в нем, изолируя себя, — получается холодное, не настоящее творчество, не настоящее оскусство».

В партийном архиве Свердловского обкома КПСС хранится тоненькая папка — дело М. С. Шагинян. О содержимом его недавно напомнил нам краевед-журна-

лист В. Елисеев 1.

«Протокол №... партийного собрания от 5/VII— 42 г.» Председательствовал на собрании Павел Петрович Бажов.

...Заявление Шагинян о принятии ее в члены партии:

«В парторганизацию Союза советских писателей г. Свердловска. Прошу товарищей перевести меня из кан-

дидатов в члены ВКП (б).

В первые дни войны я подала в партию и сейчас, когда истекает годовой срок моего кандидатского стажа, хочу служить моей Советской родине, служить нашей великой партии всеми оставшимися у меня силами и днями жизни как полноправный член ВКП (б).

Мариэтта ШАГИНЯН

22 июня 1942 г. Свердловск».

Рекомендации М. С. Шагинян в члены ВКП (б) дали Павел Петрович Бажов, Федор Васильевич Гладков и Марк Моисеевич Розенталь, бывший в ту пору заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловско-

го обкома ВКП (б).

«Тов. Шагинян Мариэтту Сергеевну как творческого и общественного работника знаю в течение двадцати лет. Характеризовать ее в этом отношении считаю излишним, поскольку она уже дважды отмечена орденами. Непосредственное соприкосновение в работе за последний год дает мне право рекомендовать тов. Шагинян Мариэтту Сергеевну в члены ВКП (б).

П. БАЖОВ, член ВКП(б) с 1/IX — 1918 г. Партбилет № 2169002».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Личное дело Мариэтты Шагинян. — «Вечерний Свердловск», 1975, 31 мая.

«В трудные и ответственные дни Великой Отечественной войны тов. Шагинян Мариэтта Сергеевна, как подобает партийке и патриотке, честно, горячо, вдохновенно отдавала свои силы на служение Родине и фронту и пользовалась своим оружием литератора отлично. Редко кто из писателей работал так хорошо, как тов. Шагинян. Ее активность может служить примером для многих.

С радостью рекомедую в члены ВКП (б). Убежден,

что она вполне оправдает это высокое звание.

Фед. ГЛАДКОВ, член ВКП(б) с 1920 г.».

«Знаю Мариэтту Сергеевну Шагинян несколько лет по Союзу писателей и рекомендую ее в члены ВКП (б).

Мариэтта Сергеевна Шагинян помимо своей писательской деятельности, имеющей большую ценность, ведет активную общественно-политическую работу. Ее публицистические статьи и выступления всегда проникнуты подлинной революционной страстью, пониманием хода событий. Она пользуется хорошей репутацией среди читателей и слушателей.

Тов. Шагинян особенно хорошо поработала в дни войны на Урале, и нет никаких сомнений, что звание члена Коммунистической партии она полностью оправ-

дает.

М. РОЗЕНТАЛЬ, член ВКП (б) с 1925 г.».

Первой выступала Рождественская (инициалы выступающих в протоколе не проставлены): «...Шагинян к каждому делу относится как к большому государственному делу. Она не боится новизны, ставит вопросы смело, горячо, страстно. Она должна быть в партии».

Кантор: «...Шагинян прежде всего энтузиаст, человек с громадным кругозором. Она живет давно интере-

сами партии, она тесно связана с партией».

Иваненко: «...Необходимо отметить роль Шагинян как антифашистского деятеля. Пишет она так, что, читая ее, хочется работать и творить».

Марголис: «...Шагинян действительно трудовой человек, она вечно в работе, в труде, будучи членом пар-

тии, она принесет большую пользу».

Собрание единогласно постановило «принять Шагинян Мариэтту Сергеевну, кандидата ВКП (б) с июня 1941 года (кандидатская карточка № 3376418), в члены ВКП (б)».

«Прогресс нравственный человечества происходит только оттого, что есть старики. Старики добреют, ум-

неют и передают то, что они нажили, следующим поколениям. Не будь этого, человечество не двигалось бы. А какое простое средство!» — записал однажды Лев Толстой в дневнике, в день своего 70-летия. К Шагинян это относится в полной мере.

Позволю себе немного и личного (мне кажется, вос-

поминающий имеет на это право).

В понятие нравственной силы бесспорно входит и умение (желание!) помочь другому, поддержать его в решающую минуту его жизни. Всегда буду признателен Мариэтте Сергеевне за то, что она сразу же решительно откликнулась и без промедлений написала письмо в поддержку моего ходатайства — отправить на фронт добровольцем; и уж конечно не ее вина, что желание мое не сбылось — помешала все та же проклятая близорукость, из-за которой я ношу очки со школьных годов.

Трогательно-искренне и как-то по-детски непосредственно простодушно говорила она о себе и своей работе, однажды сидя за столом в моей квартире (в той самой, откуда нас хотели выселить, на Пролетарской, 22), вскоре после выхода коллективного литературно-художест-

венного сборника «Говорит Урал»:

— Борис Степанович, я вам завидую: вы написали и напечатали повесть...

Но, Мариэтта Сергеевна...

А я пишу все не то...

Дело было, разумеется, не в «зависти». Какая могла быть зависть у большого, признанного народом и критикой писателя к молодому, еще только начинающему оперяться (тем более что и повесть моя была конечно же далека от совершенства). Нет, дело было в другом — в огромной творческой жадности, в желании объять весь мир, обо всем написать — и в жанре повести, романа, и в жанре исследования, очерка, статьи, наконец «Пишу все не то...» — в этих немногих словах вся Шагинян с ее удивительной скромностью, вечной неуспокоенностью, стремлением делать сегодня вдвое больше, чем сделано вчера.

Конечно же писательница была несправедлива к себе. Именно она, как никто другой, умела видеть главное в суровых военных буднях Урала — и рассказать об этом. Все, что она писала, было продиктовано требованиями времени, событиями. И вообще все, что было сде-

лано ею за ее долгую жизнь, все это — ТО.

...Как сейчас, вижу за тем же столом под низеньким потолком с потрескавшейся штукатуркой, в комнате с круглой голландкой и забитыми окнами (для тепла!), выходящими на задний двор, чету Финков и чету Ромашовых. Они всегда были вместе; и в гости ходили вместе.

Не могу не сказать о высокой культуре и обаянии этих приятных людей. Виктора Финка, блестящего собеседника и требовательного литератора, близкие друзья называли «дорогой француз». Францию он действительно знал превосходно и мог рассказывать о ней долгими часами (не забыть его аппетитный рассказ о французской кухне с красочным смакованием деталей, все так

вкусно, зримо, — пальчики оближешь!). Незабываемо впечатление, которое оставляло публичное чтение Бориса Сергеевича Ромашова; он мог смело соперничать с лучшими мастерами слова — чтецами. Особенно запомнилась «Олеся» Куприна, читанная им на концерте в филармонии. Это была истинная поэзия и музыка речи. Сам бывший актер, Борис Сергеевич весь уходил в чтение, каждое слово, казалось, тре-

петало и наполнялось глубоким смыслом.

Ромашов самозабвенно любил театр, актеров, сцену, огни рампы, гудящий зрителями и готовый замереть в напряженной тишине зал. Его «Бойцы» ставились все-

ми театрами страны.

Борис Сергеевич растолковал мне, в чем особенности уральского говора. Он очень точно ухватил суть. Дискуссия об уральской теме нередко продолжалась и за стенами Союза писателей. «Как говорят уральцы? — спросил он. — Вы думаете, все дело в «о»? Нет, на Волге, в Вологодчине окают больше. Во-ло-гда. А в Москве: Ма-сква. На Урале говорят так, как пишется: о — о, а — а. Дело совсем не в том. Вот представьте, я вас спрашиваю: «Сколько времени?» Вы отвечаете: «Половина третьего». Вслушайтесь: «Да половина третьего, что ты, сам не знаешь...» Интонация. Особая интонация. В ней все дело...» И действительно, сколько я потом ни проверял себя и других, все точно.

Писателям старшего поколения принадлежала инициатива в обсуждении такой проблемы, как «писатель и читатель», то есть близость писателя к жизни, их

взаимовлияние.

Еще в 1922 году О. Форш писала: «Такие важные для умственной жизни понятия, как писатель и чи-

татель... требуют пересмотра. Недавно эти два слова казались разделенными такой глубокой пропастью, через которую не перекинуть было моста. Писатель, гордый избранник, созданный «для звуков сладких», стоял с золотой лирой на недоступной высоте...» Теперь Ольга Дмитриевна, при энергичном участии М. С. Шагинян, которая всегда ратовала за сближение литературы с жизнью, могла подробно развить этот тезис. Не писатель-избранник, а читатель-труженик стоял на блистательной высоте.

До сего времени я говорил о писателях, живших в Свердловске. Были писатели, жившие в районе. Ивана Алексеевича Новикова — автора романов «Пушкин на юге», «Пушкин в Михайловском» и других хорошо известных тогдашнему читателю произведений приютил город Каменск-Уральский (сто километров от Свердловска). Человек уже не молодой, Иван Алексеевич не слишком часто, но заглядывал в Свердловск, показывался на обсуждениях и литературных встречах.

Сохранились любопытные воспоминания дочери писателя М. И. Новиковой-Принц о жизни отца на Урале 1.

Приведу выдержки из них.

«В начале августа 1941 года Иван Алексеевич с женою эвакуировались из Москвы на Кавказ, а через год перебрались на Урал, где в ту пору жили мы с братом. Добирались они к нам больше месяца: поезд шел окружным путем через Красноводск, Ташкент, Новосибирск... Телеграмма об их приезде запоздала. Не зная об этом, они сидели на переполненном пассажирами свердловском вокзале и ждали нас.

В руках крепко держали портфель и машинку... Однако усталость после длительной дороги была настолько велика, что Новиковы задремали и не заметили, как подошел сержант милиции, взял портфель и машинку, унес в комнату милиции. Сам же вернулся и издали наблюдал, чтобы не пропали остальные вещи. Через некоторое время сержант подошел к спящим и громко спросил:

— Граждане, а у вас все цело?

Очнувшись от этого голоса, Новиковы не сразу догадались, где они и что случилось. Поняв, пришли в неописуемый ужас: где же портфель, где машинка? Главное — портфель с рукописью романа «Пушкин на юге». Неужели пропал долгий и упорный труд многих лет? Од-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Публиковались в газете «Вечерний Свердловск».

нако сержант поспешил их успокоить— принес исчезнувшие вещи. В нашей семье всегда с благодарностью вспоминают этого неизвестного человека, так вовремя

позаботившегося о рикописи.

Мы двинулись в путь на грузовике в Каменск-Уральский. Иван Алексеевич вспоминает это путешествие в письме к своему другу, поэту Ю. Н. Верховскому: «Выехали мы... из Свердловска в холод и пургу. Вещи и мы содрогались в пути и подпрыгивали на грязевых ухабах. Но бренный состав наш выдержал и этот последний этап путешествия. Тут отогреваемся и отсыпаемся. Уже прописались, получили карточки, прикрепились к продмагу, получили столовую».

На Урале Иван Алексеевич внимательно приглядывался ко всему новому, что его окружает. Он широко общается с уральцами, интересуется их трудовыми буднями, бытом, отмечает своеобразие местного говора. Нравятся ему могучая суровая красота природы, осо-

бенности климата.

Когда брат с женой и я уходили в экспедицию и писателю никто не мешал, он трудился особенно интенсивно.

Оторвавшись от бумаги, Иван Алексеевич любил заняться физическим трудом, дать отдых голове, как он говорил. Одним из его любимых дел была топка печи. Это занятие даже послужило темой стихотворения:

Что бы ни делал ты,

делай внимательно.

Вот я писатель, и я— истопник. Печку топить—

как рассказ занимательный...
Старшему другу — писателю Викентию Викентьевичу
Вересаеву — Иван Алексеевич сообщает о своей уральской жизни: «Я люблю с лопатой расчищать и убирать
снег на дворе и на улице перед домом, толку с веселым
позвякиванием кофе в медной ступке, рублю капусту
для пирогов и т. п., вкладывая таким образом и свою
маленькую долю в общехозяйственные заботы...»

В конце сорок второго года Иван Алексеевич задумал написать народную повесть в стихах «Великий исход и Иван Гореванов», посвященную одной из самых значительных и ярких страниц истории Урала начала XVIII века — движению «приписных» крестьян. Повесть эта рассказывала о казенных уральских заводах, о невыносимо жестоких условиях труда на них и о том, как крестьяне, работавшие на заводах, спасались бегством. ища защиты и народного вожака-героя, обосновавшего-

ся в степи на реке Сакмаре.

Однако литератирное творчество не могло полностью удовлетворить писателя. Ему хотелось непосредственно ичаствовать во всенародной борьбе, своим личным тридом приблизить победи.

В коние января 1943 года, стоя и печки в сгищаюшихся сумерках и прогревая спину, писатель крепко о чем-то задимался. Потом вдриг быстро сел на стил и

стал натягивать валенки

— Ты куда это? — спросила жена. — Подожди, все объясню... я ненадолго, идея одна... Лойди только до горкома партии.

— До горкома?

— Ни да. А ты, если не трудно, достань, пожалуй-

ста, рикопись романа «Пишкин на юге».

С этими словами, произнесенными иже и самой двери. Иван Алексеевич вышел, а Ольга Максимилиановна принялась искать тот самый, чуть не потерянный в Свердловске портфель с рукописью.

Отец вернился сияющий и довольный, каким мы его не видели с момента приезда. Его предложение — провести платные вечера, посвященные 106-й годовшине со дня гибели Пушкина, и отдать весь сбор в фонд обороны на постройку самолета «Александр Пушкин» — было принято в горкоме с большим воодишевлением.

Писатель принялся обдумывать, с чем и как он будет выступать на этих вечерах. Сколько их надо провести. чтобы собрать нижнию симми? Уже и сердие побаливает, и годы... Но всего этого словно нет, есть только не-

обыкновенный подъем.

Начались дни, полные волнений и радости. Каждый вечер, часам к семи, приезжала машина. Тепло закитавшись, со своим старым портфельчиком в руках, бодрый, улыбающийся, немного взволнованный, ехал писатель на очередное выступление. Вечера давали полные сборы. Вступительное слово о патриотизме пишкинского творчества, о силе его неумирающего гения, воплощающего в себе душу России, вдохновляющего русский народ на подвиги, — имело большой успех. С огромным интересом слушались главы из романов: «Пушкин-на юге», «Пушкин в Михайловском».

В перерывах к писателю подходили люди, знакомились, задавали вопросы, беседовали. Один из них особенно запомнился Ивану Алексеевичу. «...Ко мне подошел старик рабочий. Он мне рассказал, как, уже будучи подростком, он сам выучился читать по Пушкину. Он много стихов его знал наизусть и, глядя на них уже в книгу, постиг искусство чтения. Отходя, он мне сказал:

— И жена хотела к вам подойти, да не может слез унять. Я и сам плакал.

— О чем?

— О чет: — О Пушкине. — И, помолчав, добавил: — О красоте нашей жизни»

Пушкинская декада дала сбор более ста тысяч рублей. Писатель направил телеграмму председателю Государственного комитета обороны И. В. Сталину. В конце ее он писал: «Пусть боевой самолет, носящий гордое имя «Александр Пушкин», примет участие в освобождении от неистового врага нашей родной земли. Прошу включить в список действующей авиации самолет «Александр Пушкин». Писатель Иван Алексеевич Новиков. г. Каменск-Уральский».

5 марта пришла ответная телеграмма. «Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Иван Алексе-евич, за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии.

Ваше желание будет исполнено. И. Сталин».

Летом 1943 года мы узнали, что самолет передан летчику капитану Горохову. В жизнь писателя, да и всей нашей семьи, вошел с той поры летчик капитан Горохов. Вести о нем не заставили себя долго ждать.

6 сентября 1943 года в газете «Правда» появилось сообщение: «...Два месяца тому назад готовый самолет был передан на заводском аэродроме капитану Горохову, который имеет на своем счету до 300 боевых выметов. В боях на Западном фронте капитан Горохов сбил, летая на самолете «Александр Пушкин», 9 вражеских бомбардировщиков. Четыре из них были уничтожены за один день во время боев за Спас-Деменск».

Старый писатель узнал, что вскоре капитан Горохов был награжден орденом Александра Невского. По этому поводу он послал летчику поздравление, а также старшему лейтенанту Барановскому и всей экскадрилье. Но он не узнал о том, что 1 января 1944 года двадцатидвухлетний Юрий Горохов погиб и был удостоен звания Героя Советского Союза. Это нашей семье стало известно лишь спустя 15 лет после окончания войны...»

Тяжелые утраты понесла Свердловская писательская организация. Вдали от родного Урала пал смертью храбрых молодой многообещающий поэт, геолог по образованию. Владислав Занадворов. Погиб Иван Панов, автор романа «Урман». С начала Великой Отечественной войны он жил в Верх-Нейвинске, работал на заводе, на фронт ушел осенью 1942 года. Остался незаконченным его второй роман «В песцовой пустыне». Умер уехавший на фронт с агитационным поездом Александр Савчук. Не стало писателя-минчанина Феодосия Шинклера. Скромный, милый товариш, с какой-то легкой грустью. затаившейся в глубине черных глаз. - таким он остался в памяти. За недолгий срок жизни на Урале Ф. Шинклер успел написать книгу «На пульсе жизни» - о работе телеграфистов в дни войны. В прошлом сам телеграфист. Шинклер знал эту жизнь, поступил работать на свердловский Центральный телеграф. Книжка была выпущена Профиздатом в серии «Бойцы трудового фронта» в 1942 году. Однажды Шинклер пришел в Союз в пилотке, в летней форме советского солдата: призван... А вскоре пришла весть: пал под Сталинградом. Сын, узнав о гибели отца, ушел добровольцем на фронт и тоже не вернулся.

В эвакуации в Свердловске окончил свой жизненный путь поэт, не имевший, быть может, громкого имени, но перед памятью которого должен склонить голову

каждый: Аркадий Яковлевич Коц.

В конце прошлого столетия парижский рабочий Эжен Потье написал бессмертные слова «Интернационала». Впервые гими прозвучал в 1888 году на рабочем празднике в Аилле. Музыку сочинил композитор П. Де-

гейтор.

В 1902 году, в Женеве, в журнале «Жизнь», появился русский текст гимна. Перевел его Аркадий Коц, донбасский шахтер, вынужденный за революционные убеждения нелегально эмигрировать из России в Париж. Там окончил горный институт. Долгое время жил в Бельгии.

Необычайной была жизнь этого человека. Сын одесского грузчика, он рано познал нужду и угнетение. Зачитывался статьями Ленина в «Искре», за границей посещал собрания русских эмигрантских и французских революционных организаций, заслушивался речами лучших ораторов того времени — Жореса, Геда, Лафарга, участвовал в демонстрациях...

Первая книжка вернувшегося из эмиграции поэтасамоучки, вышедшая в 1906 году, по требованию прокурора судебной палаты была уничтожена; осталось три экземпляра — ныне один в Музее Ленина, другой в Ленинской библиотеке.

Испробованы десятки профессий. В послереволюционные годы он работает в горнорудной промышлен-

Со временем Аркадий Коц стал профессиональным поэтом. Им переведены стихи поэтов Парижской коммуны, написано много своих стихов, но главным достижением и гордостью его жизни остался «Интернационал»— гимн, поистине не имеющий границ, слова которого наизусть знает каждый трудящийся.

«Коц сумел перевести сердце слов, их внутреннюю силу, их революционную динамику», — отмечала Мариэтта Шагинян в статье, опубликованной в «Уральском

рабочем» 10 февраля 1943 года.

Ныне «Интернационал» — гимн Коммунистической партии Советского Союза и коммунистов всех стран.

Не всякому поэту суждено такое...

На стихи Коца «Майская песнь» и «Девятое января» композитор Дмитрий Шостакович написал музыку для хора.

А. Я. Коц не складывал своего оружия и в Свердловске. Активно сотрудничал в заводских многотиражках, печатался в альманахе «Уральский современник»

и других уральских изданиях.

Жил он в большом старом доме по улице Малышева, 21. По соседству, в доме № 46, находился эвакуированный завод, при нем — многотиражка. Коц свел с ней дружбу, приносил стихи, написанные на конкретном материале, о живых, действующих людях; так была написана «Поэма о тысячниках». Два сына Коца находились на фронте, один отдал жизнь за Родину. Аркадий Яковлевич крайне редко говорил об этом, не искал, слов сочувствия, но очень тяжело переживал утрату.

За сравнительно недолгий срок в «Уральском рабочем» публикуются его стихотворения «Париж», «Тулонский взрыв» (о потоплении французскими матросамипатриотами своего флота, чтоб тот не попал в руки Гитлера). «Тебе, Урал!», «Уральская песня», «Песня о пер-

вой фронтовой» (о первой фронтовой бригаде, созданной на Уралмаше рабочим Михаилом Поповым и его товарищами), «Город-герой» (о победе под Сталинградом) и другие.

Хорошо помню: на собрании, где решали вопрос об участии писателей в субботнике — разборке и сортировке овощей, говорили — сперва Бажов, его горячо поддержала Шагинян, затем поднялся Коц — седой, аккуратный — и произнес экспромт:

Друзья, потрудимся немножко! Сегодня цель у нас одна: Нам не поэма о картошке... Сама картошка нам нужна!

Это было в октябре 1942 года. Коцу тогда было уже семьдесят лет. А двумя месяцами позднее он пишет стихотворение

## город-герой

Кипит уральская страда: Летят, как стрелы, поезда И мчатся вдаль, за горизонт, Скорей на фронт, скорей на фронт! Горя желанием одним, Мы клятву выполнить спешим. Не только день, не только час -Секунды дороги для нас. Фашистский зверь еще рычит, Он не добит, он не зарыт, Край Украины золотой — Еще под вражеской пятой. Еще ни Крым, ни Беларусь Не раздавили эту гнусь. И стадо бешеных зверей Бесчестит наших дочерей. Но есть Москва и Ленинград, Но живы Ржев и Сталинград! На помощь вам седой Урал Всю мощь машинную собрал: Гудят станки и провода, И в домнах плавится руда, Тяжелый молот бьет о сталь, И танки к вам несутся вдаль. Урал исполнит свой обет, Напрягши мощный свой хребет!

18 дек. 1942 г.

Неизлечимая болезнь давно подтачивала силы и здоровье заслуженного стихотворца. Он знал, что обречен, но продолжал писать даже на смертном одре. Нельзя без волнения читать его последнее стихотворение, в котором с потрясающей силой выражены чувства человека, у изголовья которого стоит смерть, и настоящего большого советского патриота.

## ДВА

Два земноводных существа Впились мне в грудь и в горло... Два. Грудная жаба, злейший враг, И рак, злокачественный рак.

Они спешат наперебой, Кричат и спорят меж собой, Борясь за первенство, за честь — Добычу первому унесть.

Глупцы. Кричу я им вослед: В работе вашей смысла нет. Ну, что б немного подождать? Отсрочку жертве вашей дать?

На свете Гитлер есть, палач, И смерть за ним несется вскачь. Дождаться б радостного дня: Пусть задохнется до меня.

А. Коц. В больнице

Из больницы он посылает последнее прости друзьям. Высокая светлая сила духа пронизывает письмо П. П. Бажову, написанное в связи с присуждением тому заслуженной награды — премии.

## «Дорогой Павел Петрович!

Крайне сожалею, что, прикованный тяжелой болезнью к постели в больнице, я не могу лично пожать Вам руку и от души приветствовать Вас, как лауреата

по искусству и литературе.

Закрываю на минуту глаза, чтобы лучше представить себе знакомый Ваш образ патриархального типа, как бы сошедший с картины Васнецова, но настолько, однако, преображенный событиями нашей великой эпохи! Сколько под этим внешним благообразием скрыто взрывчатого материала! Какая неистребимая ненависть к врагу в дни грозной опасности, нависшей над страной! Какая еще неизбывная энергия к творчеству на пользу Родине!

От души желаю Вам долго здравствовать и так творить!

A. Kou. 7/IV - 1943 2. ».

В мае 1943 года свердловчане проводили Аркадия Яковлевича Коца в последний путь.

...А жизнь шла своим порядком. Наперекор всем трудностям развивалось на Урале искусство, обогаща-

лась культура.

На сессии Академии наук СССР (решение о переводе Президиума Академии наук в Свердловск было признято в мае 1942 года) стояли очередные научные прободемы. Заметим, что ученые АН СССР, в том числе ученые-уральцы, вложили свои знания в совершенствование такого оружия, как реактивная артиллерия наменитые «катюши». А за представленный правительству доклад «О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны» коллективу авторов во главе с президентом В. Л. Комаровым была присуждена Государственная премия первой степени.

Новые постановки осуществлял Центральный театр Советской Армии. Сезон 1941/42 года он открывал в

Свердловске...

Первые, но далеко не робкие шаги делала молодая уральская кинематография. Если Нижний Тагил обзавелся в войну художественной галереей, то в Свердловске появилась своя киностудия художественных фильмов. Помещение для нее — бывший клуб строителей было выделено еще в декабре сорок первого года. В мае сорок второго правительство приняло решение об организации на Урале кинофабрики. Для начала сняли... «Сильву», по одноименной оперетте. В разгар тяжелейшей кровопролитной войны, и вдруг — «Сильва»?! Но смех, бодрая, жизнерадостная музыка особенно нужны, когда людям тяжело. «Сильва» прошла с потрясающим успехом, ее посмотрели десятки миллионов зрителей. (В главных ролях снимались молодые тогда актеры Зоя Смирнова-Немирович — Сильва, и Ниаз Даутов, певец Свердловского театра оперы и балета, - Эдвин, С. Дыбчо — князь Волапюк, Г. Кугушев — художественный руководитель Свердловской оперетты — Ферри. Приятно отметить, что, когда Венгрия освободилась от ярма фашизма, одним из первых фильмов, прошедших в кинотеатрах Будапешта, была «Сильва» — производства Свердловской киностудии.)

В 1944 году при студии создали школу киноактера. На 20 вакантных мест было подано 500 заявлений...

Строилось новое жилье, возводились производственные здания, появлялись новые цехи, рудники.

Шагинян в очерке «Урал в обороне» писала:

«Произошла удивительная историческая перестановка, о которой будущие историки напишут сотни томов:
немец, хваставший своим умением работать, своим высоким искусством организации, вдруг опьянел от разрушения, а тот самый «большевик», которым, как призраком разрушения, пугали Европу в невежественных бульварных романах и кем до сих пор отчаянно пытается
припугнуть наших союзников немецкая пропаганда,
именно он показал миру свое великое стремление к творчеству и созиданию, свой бессмертный и бескорыстный
инстинкт творца. В том, что произошло на самом показательном участке нашего тыла, на промышленном Урале, — есть черта эпохального значения».

Вот это и было таинственное «русское чудо», над загадкой которого ломали головы как наши враги, так

и многие друзья.

Люди отдавали на оборону все, что могли, и даже больше того. Комсомолка-трактористка Татьяна Наумова из Режа внесла 100 000 рублей на танк. Ее танк отличился в боях. А сколько их было, таких танков, самолетов, орудий, сработанных на трудовые рубли советских людей! Борис Васильев в Ачите (пятнадцать лет) единственный в стране получил знамя ЦК ВЛКСМ на вечное хранение...

Писатели тоже отдавали гонорары в фонд обороны. Мы вносили на танковую колонну «Работник печати», но, честно говоря, наши взносы не шли ни в какое сравнение с тем, что вносили простые труженики страны. Да

разве суть была в сумме! ...

Приближалась 25-я годовщина Великого Октября. В самом разгаре была грандиозная битва под Сталинградом. К твердыне на Волге непрерывным потоком шли подкрепления, танки, пушки, изготовленные на заводах Урала и Сибири.

На общем писательском собрании было решено ознаменовать 25-летие Советской власти выпуском большого литературно-художественного сборника. В редкол-

легию вошли: П. Бажов, А. Караваева, К. Мурзиди,

К. Рождественская, Л. Скорино.

Опыт коллективной работы над книгами к тому времени у нас был небольшой. Правда, выходил — хотя и с перерывами — альманах «Уральский современник». Первый номер его (или порядковый 5-й) собрали в самом начале войны, как отклик на события. (Свет он увидел несколько позже.) Номер целиком посвящался теме защиты Родины. Регулярно формировался альманах для семьи и школы — «Боевые ребята».

Тут хочется сказать: оба эти названия своим рождением обязаны К. В. Рождественской. Альманах начал выходить незадолго до войны, в 1938 году, «Боевые ребята» — в военную пору. Оба издания оказались очень жизнеспособными. Так, «Боевые ребята» долго с успехом печатались и после войны (эстафету из рук Рождественской приняла редактор И. А. Круглик) и закончили свой путь, когда открылся «Уральский следопыт».

Долгое время — в том числе всю войну — редактором «Уральского современника» был П. П. Бажов. В 1957 году альманах сменил свое название на «Урал», выходивший поквартально, а в 1958-м превратился в ежемесячный журнал «Урал», благополучно существующий до сих пор. Практически всю основную работу по составлению, подбору и подготовке материалов вели в те годы К. В. Рождественская, сначала как редактор художественной литературы, затем — главный редактор Свердлгиза, К. Г. Мурзиди — как руководитель поэтического отдела — и автор этих строк в роли ответственного секретаря редколлегии. Наряду с писателями в альманахе выступали ученые, новаторы и передовики производства, бывалые люди, фронтовики.

Мы заботились о том, чтоб в альманахе, по возможности, были представлены все эвакуированные на Средний Урал знаменитости, спешили воспользоваться благоприятной (в литературном смысле) ситуацией и старались привлечь как можно больше авторитетных, квалифицированных, высокого ранга, ученых и иных авторов, одновременно не гнушаясь произведениями начинающих, еще никому не известных или малоизвестных авторов. Меня отправили к академику Обручеву, патриарху геологической науки, также находившемуся в эвакуации в Свердловске. «Без статьи не возвращаться», —

напутствовали товарищи.

До этого у меня была встреча с академиком Ферсманом. Там все вышло просто: позвонил — пришел. Ферсман оказался чрезвычайно приятным человеком, он охотно отвечал на все вопросы, в свою очередь сам интересовался культурной жизнью Урала, в частности жизнью литераторов. Так же охотно он принял предложение прийти и выступить перед писательской аудиторией. Оратор был очень интересный, с увлечением говорил о минералах и минералогии. Так он провел параллель между трудом писателей и трудом ученых. «Мы, — говорил он, — люди точной науки. Но и у вас тоже точная наука. Разве вы не рассчитываете точно свое произведение, как архитектор рассчитывает дом, прежде чем построить его? Мы с вами — близкие родственники. . . » Запомнилось: «в литературе тоже точный расчет».

С Обручевым получилось несколько иначе.

Пред светлые очи академика меня допустили после долгих уговоров и выспрашиваний, зачем да откуда пожаловал, кто таков. Кажется, «недопущающей», ревниво охранявшей покой и драгоценное время знаменитого ученого, была его жена, она же личный секретарь, весьма строгая интересная дама средних лет. После мне говорили, что далеко не каждому, жаждущему встречи с академиком, посчастливилось прорваться через эту преграду.

Владимир Афанасьевич принял меня, сидя в глубоком кресле, до пояса укутанный пледом. Предложил тоже сесть. Дальше произошел занятный разговор. Я просил написать статью об Урале, не предвосхищая темы, лишь бы «поинтереснее» (Владимир Афанасьевич был старым «ураловедом», знавшим Урал «ногами»), а он все недоверчиво допытывался: «Напечатают? Выйдет в срок?» Вероятно, его уже не раз надували ходоки от литературы. «Непременно», — заверял я, хотя отнюдь не был уверен в том, что не окажусь обманщиком: как я уже говорил, выход нашего альманаха часто задерживался...

Неожиданно Обручев подобрел, разговорился, как будто из-за туч выглянуло солнышко; заулыбалась и дама-секретарь. Академику тогда доходил уже восьмой десяток, он ухитрялся выполнять четыре разных работы в день, распределяя их по степени сложности: утром, на свежую голову, самую сложную и трудную, потом — полегче; и т. д. «Вашу я буду делать вечером, вместо развле-

чения». Сказал — и вдруг опять замкнулся, сдвинув брови, сделался снова строг и неприступен, давая понять, что аудиенция окончена. Секретарь поспешно вско-

чила, провожая меня до двери.

В конце концов, престарелый, но сохранявший завидную работоспособность ученый дал нам не одну, а две статьи, вторую по собственной инициативе, в порядке «перевыполнения», написав обе точно к сроку: первая, какую мы и просили, написанная от первого лица (воспоминания геолога), другая — научно-популярная. Мы поместили их обе в одном альманахе; для подобных материалов всегда находилось место. Пожалуй, ученые еще раз давали предметный урок, как надо работать.

Наш редактор, как истый книголюб, с большим одобрением относился к участию в альманахе крупных ученых, знатоков края, печатное слово которых расширяло рамки познания Урала. Беллетристику Павел Петрович читал тогда уже далеко не всю: не позволяло зрение. Обычно работа у нас протекала так. С подготовленным и отредактированным Клавдией Васильевной альманахом я приходил к Павлу Петровичу и подробно рассказывал о каждой вещи, присовокупляя мнение свое и других членов редколлегии. Павел Петрович слушал, кивал, попыхивая табачным дымком. Иногда останавливал, задавал вопрос-два и протягивал руку: «Вот эту дай мне, посмотрю». Как правило, это была именно та вещь, где могла выйти «спотычка».

Павел Петрович обладал поразительной редакторской интуицией и безошибочно, если так можно выразиться, чуял, где прячется какой-либо «криминал». На первый план он всегда выдвигал идейность, ясность

мышления, четкость творческого замысла.

Меньше всего времени отнимала у нас поэзия. «Стихи пусть Костя смотрит». У меня создалось впечатление, что он несколько иронически относится к тому потоку «лирики», которая густо плыла в альманах, да и по сей день плывет в редакции наших литературно-художест-

венных журналов. «Хороший очерк — ценнее».

Но я несколько отвлекся. Альманах — это было, так сказать, повседневное, будничное дело, хотя, смею заверить, совсем не такое простое во времена, когда на учете каждый флакон чернил, каждый клочок бумаги. (Достаточно сказать, например, что современные антифашистские сказки В. Важдаева печатались на газет-

ной обрези, и это был не единственный случай успешного использования для литературных нужд типограф-

ских отходов.)

Позднее был создан коллективный сборник «Мы с Урала», посвященный трудовым резервам, «Сыны Урала» (литературные записи об уральцах-фронтовиках и очерки о передовиках, героях тыла), на исходе войны — «Нижний Тагил» и «Золото» (в связи с 200-летием русского золота, точнее, находки первых золотых самородков на Урале).

Кроме того, за этот период вышло несколько номеров однодневной газеты «Литературный Урал». Первый из них был приурочен к 25-летию Советских Вооруженных Сил — ко Дню Красной Армии (23 февраля 1943 года), другой вышел в Перми, в дни уральской межобла-

стной литературной конференции.

В ряду свердловских изданий военных лет сборник «Говорит Урал» занимает особое место. Он создавался в самый напряженный момент войны, когда еще не был известен исход Сталинградской эпопеи, и приурочивался к знаменательному событию — четверти века Советского государства. Двадцать пять лет — возраст зрелости. Надо было и сборник создать литературно зрелый, достойный этой исторической даты.

За составление взялась Л. И. Скорино.

Работу ее отличали настойчивость и целеустремленность. Первым деловитый напор этой женщины, вероятно, испытал на себе Бажов. По приезде на Урал Скорино сразу же «взяла в оборот» Павла Петровича, принялась выспрашивать его - как создавалась «Малахитовая шкатулка», что, да почему, да как, их часто можно было видеть беседующими; эти беседы продолжались и дома у Бажова. Лишь спустя какое-то время мы поняли: Скорино готовит книгу о Бажове. Книга, как должно быть известно читателю, появилась, правда, уже после того, как все эвакуированные вернулись по домам. По праву Скорино может быть наречена «первоосновательницей» критической литературы о Бажове. С той же «настырностью» и энергией она взялась теперь и за составительство сборника «Говорит Урал».

Пожалуй, если бы не энергия и напористость Людмилы Ивановны, не знаю, вышел ли бы сборник в том объеме и составе, каким намечался по плану, а главное — к сроку. Так нередко бывает: на собрании все голосуют «за», обещают не подвести и т. д., полны энтузиазма, — словом, сомнений никаких; а началась работа — тот автор не поспевает, у того не получается, а дни летят. Одним из отстающих оказался я. Моя вещь — «В дни великой войны» — единственная повесть в сборнике; а ведь всегда легче сказать, чем написать. Сборник был уже почти готов, прошли все сроки сдачи в производство, а я еще корпел над повестью. Потом потребовалась основательная доработка. Я уже готов был опустить руки: когда тут дорабатывать, если уже надо сдавать в набор?! Меня поддерживала и ободряла Людмила Ивановна. «Ничего, ничего, пишите. Главное — написать; а там уж не ваша забота». — «Как же не моя? А когда же вы успеете напечатать?» — «Это — мой секрет».

После открылся «секрет» Людмилы Ивановны. Вместе с мужем — В. М. Важдаевым — и бабушкой по прозвищу «страшный бубенчик» она жила в одной из комнат Дома печати. Это была, вероятно, самая веселая, самая шумная и самая приветливая комната во всем Доме печати (если не считать комнаты Союза), представлявшем тогда и редакцию, и общежитие, и все, что хотите. Здесь же жила подруга Людмилы Ивановны, маленькая, деловитая женщина, Ева Абрамовна Фильцер, по Москве — заведующая производством Первой Образцовой типографии, а здесь — завпроизводством типографии «Уральский рабочий». Заручившись ее согласием набрать и отпечатать сборник в самый сжатый срок, Людмила Ивановна и вела себя так уверенно. Прузья не подведут!

Наконец все было сверстано, отредактировано, подписано, сдано. В сборнике приняли участие двадцать пять авторов — Шагинян, Бажов, Караваева, Илья Садофьев, Людмила Татьяничева, Людмила Младко — начинающая поэтесса, Нина Попова — будущий преемник Бажова на посту председателя правления Свердловского отделения СП, Федор Васильевич Гладков, Николай Николаевич Ляшко, профессор Данилевский, Ю. Н. Верховский, А. Я. Коц, представители «легкого жанра» В. Типот и Ник. Мерцальский и другие. Со сдачей затянули. Волновались: успеет ли выйти вовремя? Ведь это был наш подарок, наш рапорт к великому празднику, так сказать, сгусток того, на что мы были способны...

Третье, четвертое, пятое ноября. Остался день. А сборника все нет. «Выйдет, выйдет», — успокаивала Людмила Ивановна с безмятежной улыбкой, сияя го-

лубыми плутовскими глазами.

Настал канун праздника. И вот наконец мы держим в руках первые экземпляры сборника. На обложке его, сделанной художником В. Таубергом, яркая надпись «Говорит Урал» и поднятое грозно пушечное жерло, за которым видны силуэты заводов. На первой странице, перед титульным листом, краткий четкий текст:

Трудящиеся Советского Союза!
За 25 лет Советской власти
Вы создали могучую социалистическую индустриальную и колхозную державу.
Всеми силами защищайте плоды своего многолетнего труда!

«Говорит Урал»! Он еще пахнет типографской краской; не беда, что бледноват шрифт и газетная бумага... А какой увесистый. Двадцать печатных листов. Это был самый большой литературно-художественный сборник,

выпущенный в том году в стране.

В самый последний момент, уже после выхода сигнального экземпляра, едва не сорвалось все. Кому-то не понравился один рассказ. В рассказе, написанном от лица эвакуированного, действительно содержались неудачные выражения: приезжий — озябший, промокший под дождем до нитки, только что с поезда — стоит и размышляет, глядя на все через пелену падающей воды: серый город, серые люди... Это было обидно, незаслуженно для города, который приютил, обогрел столько народа, вынес на своих плечах такие тяготы. Пришлось делать выдирку. Наконец было взято и это препятствие.

...Но сделано еще не все, нет, не все. Надо, чтоб сборник попал к читателям немедленно, сейчас же. Через час начинается торжественное заседание общественности города в Театре оперы и балета имени Луначарского. Нужно, не теряя ни минуты, забросить часть тиража туда. Но рабочий день окончен, грузчиков, транспорта не найдешь...

Дом печати напротив оперного театра. И как говорится, засучив рукава, мы принялись таскать тяжелые

пачки книг на себе. Таскали все — и сама составительница, и авторы... К театру уже начал стягиваться народ, быстро заполнялись фойе и зрительный зал, а мы, запыхавшиеся, раскрасневшиеся, едва переводя дух, все еще сновали от типографии к театру и обратно. В фойе, у входа, тем временем уже бойко шла торговля. Сборник шел нарасхват. Его не брали, а рвали из рук продавщицы, как самый дефицитный продукт. Такая толстая книга; последние год-полтора выходили только тонкие брошюры, едва начал читать — и уже конец... И название такое, что поневоле внушает почтение: «Говорит Урал»!

Я видел, как покупатели отходили от лотка, бережно прижимая книгу к груди; другие раскрывали ее тут же, на ходу, углублялись в чтение. Около лотка образова-

лась очередь.

Неправда, будто на войне Смолкает голос муз.

## ЗВЕРОПОКЛОННИК ВАТАГИН

Всегда будут вспоминаться слова, сказанные Василием Алексеевичем в один из апрельских дней 1966 года.

Как обычно, приехав в Москву, я отправился навестить Ватагина. Старый художник был грустным. Ему исполнилось 83 года. Нет, угнетал не возраст, неизбежное следствие быстротекучести времени; к этому он относился философски-стоически, как к явлению вполне естественному, хотя, в общем-то, и малоприятному. Камнем на сердце легло другое:

— Закат обещает быть печальным...

Закат! Уже одно слово это способно вогнать в тоску. Закат для художника — его смерть, иногда хуже, чем

физическая...

— Глаза. Говорят, что надо делать операцию: катаракта. Когда она созреет? И второй глаз... Вижу все в тумане...— Он говорил обычным своим, спокойным, тихим голосом, но можно было понять печаль мастера, которому угрожало завтра лишиться самого дорогого— возможности творить, без чего он просто не представлял себя.— Интерес к работе не падает, — продолжал он. — Стал преподавать в Строгановском училище. Пошло очень интересно. Но смогу ли дальше? Все-таки слепой профессор — это не очень...— Он не договаривал, но все было ясно и так.

Мы разговаривали, стоя перед большим бесформенным обрубком дерева. В руке у Василия Алексеевича был зажат деревянный молоток-киянка; на полу желте-

ла куча свежей мелкой щепы.

— Рублю медведя... Наверное, последняя моя работа. Рубить уже тяжело. — Он поднял киянку и снова опустил. — Лепить еще могу, но и то... Слепой художник — это грустно...

Свободной рукой он провел по шероховатой поверх-

ности дерева, покачал головой:

Плохо. Не то. Сослепу не так получается...

— Да это только вы видите... — Не вижу, в том-то и горе...

Черные думы обуревали его в тот день. Он не скрывал тревоги за судьбу своих творений: «Помереть не долго. А куда это все? Мастерская — через полгода убирайся — займет другой...» Я уходил от него с грустными мыслями. И меня не радовала даже автолитография — портрет льва с дарственной надписью, которую я уносил под мышкой. «Закат обещает быть печальным». Эта фраза продолжала звучать в моем мозгу.

Каждое воскресенье мастерская № 35 в Доме художника на Верхней Масловке (за исключением летних месяцев, когда все обитатели его выбирались на природу) открыта для посещений. Так велось уже на протяжении многих лет, и этот порядок был хорошо известен всем ценителям анималистического искусства столицы. Именно в одно из таких воскресений друзья и привели меня сюда. Московская секция охраны животных незадолго до того провела многолюдное собрание, посвященное проблемам воспитания любви к живой природе. Все ревнители живого в то время остро переживали гонения на четвероногих, развязанные чересчур ретивыми деятелями санпроса и коммунального хозяйства. С открытым протестом против этого выступил Ватагин. Народный художник и признанный старейшина советских анималистов, отдавший все силы прославлению красоты живого, он, естественно, не мог не возмущаться. Он пришел на собрание и произнес большую речь, которую все изустно повторяли во многих семьях. На том же собрании меня в нарушение Устава Общества охраны природы заочно выбрали членом бюро секции (в нарушение — ибо жил-то я в Свердловске, на Урале, хотя часто и наезжал в Москву, а выборы в руководящие органы Общества производятся все-таки по территориальному признаку). К тому моменту я успел опубликовать уже не одну статью в защиту бессловесных, и вот наши общие друзья вознамерились свести нас и познакомить. Не помню точно, кто вызвался проводить меня на Верхнюю Масловку (кажется, это была Елена Александровна Антонова, заместитель председателя секции); знаю твердо лишь, что это был кто-то из «собачников», то есть из числа людей, одержимых страстью к собакам (хотя, как я убедился вскоре, Ватагин не рисовал и не

лепил собак, единственное исключение составляла глиняная фигурка Корсарки, собачки вроде лайки, когдато члена ватагинской семьи, погибшей под трамваем).

Очевидно, Ватагин был предупрежден о моем визите, ибо встретил как старого и доброго знакомого; впрочем, как я убедился позднее, такова была его обычная манера — каждого привечать так, как будто он давно ждал его. Думаю, в этом сказывалось давнее желание художника — как можно у большего числа людей пробудить живой интерес и сочувствие к созданиям природы, помочь открыть прелесть живого и, приобщив к прекрасному, заставить залюбоваться и полюбить.

Мастерская — вся заставленная, завешанная (со вторым этажом-«полатями», где, кажется, тоже не оставалось ни одного свободного местечка) — представляла собой зоологический музей и художественную галерею одновременно. Скульптуры, картины, наброски карандашом и пастелью... Разбегались глаза. Здесь была представлена фауна всех частей света — звери, птицы, рыбы, творческим воображением. Художник жил в созданном им мире. Но это был и мир Земли, семья живых существ, издавна населивших нашу планету и составляющих ее живую гордость и красоту.

Можно было подолгу разглядывать каждую вещь. Чета могучих слонов, нежно оберегая с двух сторон, вела своего единственного, трогательно беспомощного, маленького слоненка; смешные ужимки строила семейка павианов; свирепо озирался, раздувая щеки, потревоженный гамадрил; вперевалку, ленивой рысцой направля-

лись куда-то наши бурые мишки. А вот. . .

Багира!.. Я сразу узнал ее. Кто из мальчишек моего поколения не зачитывался историей о Маугли, полуребенке-полузвереныше, вскормленном в джунглях, в семье волков! В. А. Ватагин был первым иллюстратором русского издания «Маугли». Тогда была слеплена из гли-

ны и черная пантера Багира.

Каждая вещь здесь имела свою историю. На видном месте стоял кондор Кузя, первый натурщик Ватагина, Живой Кузя долгое время квартировал в Московском зоопарке. Его часто выпускали на волю, и он разгуливал пешком по дорожкам, распустив крылья, грелся на солнце.

Все, что здесь, сделано для себя.

Двигаясь неслышно по узеньким тропочкам в лаби-

ринте между молчаливых настороженно-неподвижных звериных и птичьих фигур, — кажется, вот-вот они оживут и заговорят на разные голоса! — Василий Алексеевич припоминал биографию каждой. Он и сам выглядел музейной редкостью. При галстуке, в пиджаке, в неизменной черной шапочке-тюбетейке: таков всегда — и дома в часы досуга, и когда трудится в мастерской, и во время приема посетителей. Невысокий, сухонький, вежливо-предупредительный. Будто ручеек, негромкая, неторопкая речь. Скажет и замолчит, слушает, а худощавые натруженные руки, с желтовато-пергаментной кожей и рельефными венами, с длинными тонкими цепкими пальцами, то поглаживают бородку, то непроизвольно шарят по пуговицам пиджака: все время в движении, все время словно ищут работы для себя.

Когда-то Василий Алексеевич гнул запросто пальдами медные пятаки; со временем руки его приобрели

другую силу.

(Как-то, беседуя, припомнили: у Гиляровского была дурная привычка — в гостях за столом скручивать серебряные ложки. Василий Алексеевич улыбнулся: «Я ложки, правда, не гнул, воздерживался, а что-то другое — мог свободно...»)

Неутомимость этих рук, творческая неиссякаемость художника поражали. Всякий раз, бывая теперь у Ватагина, — после первого посещения это стало обычаем, потребностью, — я находил что-то новое, не только изображения четвероногих и пернатых натурщиков — новое и в самих приемах работы художника. Так, однажды в глаза сразу бросилась скульптурная группа из какого-то незнакомого материала благородного темного цвета.

— Алюминий с краской, — охотно пояснил Василий Алексеевич. — Отливки делает мастер по моим моделям, крашу — я... Хорошая замена бронзы. Бронзу ведь тоже панируют. А я просто масляную краску ввожу, тоже панирую, но холодным способом. Под черную бронзу, под медь, под чугун, под старое серебро... Рецепт сам разработал. В скипидаре разведенные краски. Хорошо впитывается, буквально срастается, нельзя подумать, что алюминий!

Тогда же пришли консультироваться молодые художники-анималисты из мастерской прикладного искусства, принесли изделия из цветной пластмассы, среди них — стилизованная хищно изогнувшаяся пантера и другие

звери. Василий Алексеевич долго внимательно разглядывал их, гладил пальцами блестящую гладкую поверхность, после дал ряд ценных советов, заметив попутно, что пришло время— пора ввести пластмассу в число материалов для художника.

В другой раз внимание привлекла негритянка. Фактура, цвет вещи удивительно подходили к изваянию темнокожей юной красавицы. Василий Алексеевич доволь-

но усмехнулся:

— Обыкновенное дерево, только окрашенное. Тоже свое, делаю только я... Были буржуйки в годы разрухи, когда экономика наша страдала и не было дров; трубы прямо в окно, через всю комнату, от охлаждения осаживались какие-то выделения, коричневые капели. Чтото сродни смоле, продукт сырой перегонки дерева... А здесь готовый раствор... Вешал жестянку под этой капелью, накапливалось — ведрами выносили. Теперь только жалеть приходится, что выбрасывали. Один мой знакомый художник попробовал этим рисовать, дал мне попробовать. Я покрасил дерево и ахнул: обычно выкрасишь и приходишь в отчаяние, ложится пятнами, форма нарушается, а здесь — когда высыхает, совершенно ровный цвет. Прокрашивает дерево насквозь и превращает его в цветное дерево. Липа, тополь дают различия, разный резонанс... А теперь нигде не возьмешь. Пожарная охрана не допустит такие печки, нет таких помещений. Я в бутылочке храню, как ценность; а можно было ведрами запасти. Было в гражданскую, после революции; повторилось в тридцатых годах; повторилось в эту войну, в Отечественную...

Удивительно это в художнике: находить во всем чтото свое, необычное, из ничего делать «чего». Восхищала
потребность поисков, постоянное стремление открыть нечто еще не открытое. И все это сочеталось с ежедневным,
упорным, каторжным трудом (ведь для каждого истинного творца его труд — добровольная сладкая каторга,
которую он отбывает с тем большим рвением и одержимостью, чем ярче и требовательнее его талант!). Ни дня
без напряженного труда, причем дня «полновесного»:

10-12 часов!

Вспоминаю, как, получив приглашение посетить художника на дому и провести с ним вечер в семейном кругу, сперва долго искал в сумерках Петровско-Разумовскую аллею (даже название места жительства Ватагина отдавало чем-то исконно русским, являлось ча-

стицей живой истории), а потом поднимался пешим порядком на восьмой этаж. Оказалось, лифт испортился и не действует все лето. «Никто к нам не ходит из-за этого. Высоко», — с легкой досадой заметил по этому поводу Василий Алексеевич. Но сам он ежедневно совершал это восхождение, и не по одному разу: как обычно, утром отправлялся в мастерскую, в полдень возвращался пообедать, затем — снова в мастерскую...

...Как случилось, что он стал художником-анимали-

стом?

Мы сидим за большим столом в квартире Ватагиных. На руках у Василия Алексеевича черная кошка Арабка, и он медленно ласково гладит ее. Тут же около деда трется внук-дошколенок Коля. Вся обстановка квартиры говорит сама за себя. Старинная мебель. За стеклом в шкафу разные диковинки, свидетельства дальних странствий хозяина дома: статуэтки, раковины и раки из Индии и Китая, сказочные чудовища — память об Ираке, Японии. Отдельно — голиаф, «король жуков». Пейзажи, виды Самарканда. Над дверью портрет молодого Ватагина; на стене другой портрет — старика с пышной белой бородой, акварелиста Мартынова, одного из ватагинских учителей. Еще один портрет, женский: жена в молодости. Сама Елена Николаевна в эту минуту хлопочет по хозяйству, готовит чай.

Да, так как вышло, что он ступил на эту стезю?

— Никакого художественного впечатления не имел с детства, — говорит раздумчиво Василий Алексеевич. — В детстве не имел никаких способностей к рисунку. С чего началось, не знаю. Помню, искал животных в книгах, разглядывал изображение. Тогда не было детского рисунка, необычайного по привлекательности и фантастичности, но реального. Срисовывал с обыкновенных иллюстраций... Родители и все родственники были учителя. Дед был сирота, на двенадцатом году остался... воспитан на стипендию графа Шереметева; стал Шереметевский — взял фамилию благодетеля. Так было принято тогда. А были Ватагины. Ну, я и стал Ватагин, вернул прежнее имя. Говорили: чтоб скрыть графское достоинство... Глупости! Какое там графское достоинство: шереметевский лакей, шереметевский дворник... Самый что ни на есть простой народ. Все исконные москвичи. Ну, а ближняя родня: отец — историк, мать преподавательница русского языка. Пять дядьев — все педагоги, математики, физиологи.

Арабка, зачуяв вкусный запах, поведя зелеными глазами, спрыгивает с колен и направляется на кухню; Коля уже давно перекочевал туда. Василий Алексеевич вытягивает руки и кладет их по обе стороны от чашки с дымящимся душистым чаем. Характернейший жест! Вот так тоже он дает им роздых во время работы.

Неторопливо разматывается клубок большой, плодотворно прожитой жизни. Еще деталь детства: над постелью висела возмутительная (как выразился Василий Алексеевич) литография, или олеография, как говорили тогла, масляная печать: корова с теленком ярко-рыжего цвета, тень коричневая на ней. Врезалось в память, как образен того, каким не должно быть искусство. Мать приносила из школы атласы зоологические. Шуберта и других, потом — Брема. Русское национальное искусство никогда не обходилось без зверей, но хороших изображений тогда не было, только случайные. Лет 13—14-ти волили в Румянцевский музей, раз или два; редко — в Третьяковскую галерею. Родители не признавали искусство достойным внимания. По их понятиям, надо было непременно окончить университет и стать либо учителем, либо врачом, либо агрономом. Стал срисовывать с Брема. Двоюродная сестра занималась акварелью; пользуясь ее красками, раскрашивал картинки в книжках. Родители не мешали. По воскресеньям стал ходить. как и кузина, к Мартынову. «Я из тебя сделаю художника, орнитолога», — однажды заявил тот и посадил срисовывать чучело.

«Действуй, действуй!» — вдохновлял он старательного паренька. Сам он не умел рисовать животных, но был знаком с орнитологами, им были нужны рисунки птиц. «Походи в зоологический сад и там рисуй с натуры», — посоветовал Мартынов. Ватагин уже учился в пятом классе гимназии. В мае 1902 года он целый месяц

рисовал в зоологическом саду. Это было начало.

После — студия Юона на Арбате. Поступил туда. Мартынов был страшно возмущен: «Голых баб захотел рисовать!» Но там рисовали не только «баб». Юон давал темы для композиций. У Ватагина оказалось воображение, у него получалось 2—3 варианта.

Орнитологи платили по 15 рублей за рисунок птиц.

А Юон сказал: «Где же искусство?»

Где искусство? А ведь было изображено все досконально, прорисовано каждое перышко. Слова запали в душу.

Поступил в университет, на естественно-историческое отделение. В 1905 году во время беспорядков университет закрыли. Зиму рисовал у Юона. Константин Федорович Юон, впоследствии народный художник СССР, — вдумчивый воспитатель молодежи и самобытный художник, все произведения которого были пронизаны глубоким сыновним чувством к русскому народу с его неповторимой историей и бытом, к родной природе, к старым городам, очагам издревле складывавшейся культуры, — дал самое главное: понимание места искусства в жизни. От него юный Ватагин почерпнул мудрую спокойную доброту и ясный оптимизм мировоззрения.

После — первое большое путешествие: поход по Военно-Осетинской дороге, пешком через перевалы, незабываемая, чарующая девственная красота Кавказа. Перешел на 3-й курс — отправился на север: северная оконечность Белого моря, Кандалакшский залив, через озера, Хибины, дикое Приполярье. Тогда впервые увидел живых морских животных — морских звезд, ежей. Уни-

верситет их приобрел, тогда это была редкость.

Университет направил в Неаполь— «в противоположность северным»! — нарисовать морских животных. Поехали вместе с кузиной-акварелисткой, морским путем. Греция, Константинополь, Айя-София, Афины... Тут впервые познакомился с Египтом — в музеях. Египет, то есть древнее египетское искусство, Ассирию тогда у нас еще мало знали. Ни Мексики, ни Перу, ни палеолита... Это, как выражается Василий Алексеевич, все расширение искусства XX века. Неаполь, живая сказка теплого лазурного моря; затем — Рим, Флоренция, сокровищницы Италии. Вот где увидел искусство, восславляющее красоту живого, бесконечное разнообразие его формы. «Как сказал Кушинский... был такой либеральный искусствовед... это был камертон моего искусства!»...

Поразило, что животное в почете, на иконах, отношение к зверю как к божеству. Изображение — с любовью, даже с почтением сделанное. Скульптуры — подлинники египетские, римские, ассирийские. Античное искусство... В память врезался Египет. Там каждое изображение было наполнено внутренним смыслом, содержало «душу» живого существа. Любовался произведениями великих мастеров античного мира, средневековья, эпохи Возрождения, жадно впитывая каждую деталь, особенности каждого, — и тут же стремился запечатлеть сам, карандашом или кистью, все, что останавливало внимание —

жизнь и быт чужих незнакомых городов с иноязычной речью, труд людей и, конечно, лики звериные на воле,

в заповедниках и в зоопарках.

И вот государственные экзамены, диплом об окончании. В 1907 году издатель Мензбир поручил молодому художнику сделать картины для курса зоогеографии (курс только еще рождался). ЗЗ картины по всем странам мира. Мензбир направил его за границу. Собирал материал по зоологическим садам, по музеям, повидал Берлин, Гамбург, Кельн, Амстердам, Париж, Лондон...

Мензбир со временем продал картины Дарвиновскому музею (они и по сию пору висят там). Ватагину заплатил тысячу рублей. Взял подписку, что художник не будет возражать, если картины будут изданы в виде атласа. И они действительно были выпущены альбомом.

Издание Сабашникова.

Искусство и зоология, география все время шли у него рядом. Он был первым, положившим начало учебным пособиям, где с большим знанием были воспроизведены представители фауны чуть ли не всего земного шара. Делал Сытину 25 больших картин зверей и птиц. Знания постоянно пополнялись в поездках. Был в Средней Азии, Лапландии; впереди ждали еще Дальний Восток, Индия...

Мартынов, Юон и собственная практика, собственные впечатления, самосовершенствование — вот вся его школа. Добрую службу, бесспорно, сослужили воображение, способность к компоновке. Рисовал без эскиза, а прямо

«с угла на угол», живописно.

«Художник и ученый», так и поныне еще нередко пи-

шут о нем.

Характерным был этот двойной путь, на котором сталкивались орнитология, зоогеография и зоопсихология. «Вот тут Египет-то меня и выручил», — вспоминал после Василий Алексеевич.

Наука кормила его; но в нем уже проснулся худож-

наука кормила его, но в нем уже проснулся художник. Зоологическое изображение точное, но мертвое. Постепенно он больше отходил от прямого копирования. Однако еще долго это мешало ему. «Борьба с натура-

лизмом идет у меня всю жизнь».

Появился интерес к скульптуре, начал пробовать свои силы в дереве и камне. В один год выступили он и Конёнков. Прежде выставляли гипс; а тут — дерево. Одна газета восхваляла: «Кустарь, который режет по дереву...» Так пришел к анимализму.

Уже после побывал в мастерской настоящего скульп-

тора.

Издавна велось: сперва — в гипсе, а потом уже чужие руки сделают в мраморе. Он делал сразу — начал и кончил сам. «Если в иллюстрации, — напишет он спустя десятилетия, — требовалось точно и объективно изобразить животное со всеми известными его свойствами, ничего не изменяя, не прибавляя, то в скульптуре я мог выразить то, что мне нравилось, что казалось самым важным, подчеркнуть характерное, то есть создать худо-

жественный образ».

«Скульптор Ватагин» нарекут его. Да, мрамор и дерево, керамика и кость в равной степени влекли его; но он продолжал оставаться и рисовальщиком, живописцем. Одно время был единственным иллюстратором-популяризатором. Иллюстрировал учебники, энциклопедии («более скучную работу трудно придумать»), создавал пособия для начальных школ и высших учебных заведений, рисовал русских зверей для немецкого издания «Жизни животных» Брема, стремясь научную иллюстрацию поднять до уровня искусства. Изображение животного сделалось основной темой его работ.

(«Сорок пять лет в музее Дарвиновском, двадцать пять лет в Зоологическом; ну, конечно, одно на другое находило... Мне говорят: «Вы миллионер». Какой миллионер! Питаться приходилось... Ругали меня зоологи: что он с деревяшками возится! А художники поносили: это наглядные пособия... Все-таки, конечно, зоология — это только технически передать, если хотите, регистрация этой красоты. Передача в искусстве — совсем иное дело... Непосредственное наблюдение за животными в естественных условиях дало возможность приблизить мое творчество к настоящему искусству и отодвинуть в прошлое так мешавшую мне иллюстративность».)

На дверях квартиры повесил табличку «Зверолюб Ватагин». А вскоре назовет себя сам «зверопоклонни-

ком»...

1913—1914 годы. Ватагин в Индии, на Цейлоне. Возвращался уже под грохот пушек первой мировой войны. На его глазах в четырнадцатом году, в полосу шовинистического угара, начисто разорили издателя Кнебеля. Черносотенцы устроили немецкий погром. Рояли сбрасывали со второго этажа, ломали машины, жгли книги. Погибло культурное издательство, сделавшее немало для

дела просвещения. Кнебель издавал очень хорошо, у него подвизались лучшие художники. Ватагин тоже рисовал для Кнебеля.

Россия стояла на пороге революции. Перемены, происшедшие в стране, принесли важные изменения и в на-

правлении деятельности Ватагина.

— В 1919 году государственное издательство предложило: не хочу ли я какую-нибудь книгу иллюстрировать. Книгу для детей, художественную. Я предложил сразу «Маугли». Я влюбился в эту книгу, когда ее еще читала моя мама вслух. Была она с нелепыми рисунками отпа Киплинга, тем не менее потрясла воображение. Образы книги будили и волновали фантазию. Впервые заказ совпал с сердечными устремлениями автора. Пригодилась поездка по Индии. Я очень живо представлял всю обстановку, роскошное царство джунглей с их обитателями. В качестве Маугли рисовал мальчика бойскаута... тогда у нас были бойскауты. Выразительное лицо южного типа... Смеющийся, задумчивый, ярость, печаль, веселье, горе... все изображал. Очень подвижное лицо. Между прочим, человек этот жив. Недавно он пришел на выставку и смотрел на свое изображение... А животных — Шерхана. Багиру, медведя, семейство волков — рисовал по памяти...

И вот Ватагин — народный художник РСФСР, членкорреспондент Академии художеств СССР, профессор Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшего Строгановского). Слава, почет, признание — все пришло к нему как заслуженная награда за самоотверженность в творчестве.

Нарастали годы, но не иссякала фантазия или то, что мы называем вдохновением, не утихал созидательный порыв. Все теснее становилось в мастерской, все новые

жители заселяли ее.

...Каждое посещение ватагинской мастерской — радость, счастье открытия новых творений и образов, найденных неутомимым художником. Друзей он принимал всегда в мастерской, так повелось на протяжении многих лет. Привычно было видеть, что он никогда не сидит сложа руки, каждую минуту отдает любимому делу. Не в этой ли неутомимости да одержимости и секрет успеха? И он не только творил — он продолжал и учиться. Была выставка мексиканского искусства — ходил, рисовал там; и мотивы Мексики вскоре появились в его работах. «Просился снова в Египет, не пустили, — как-то

посетовал он. — Побоялись: восемьдесят два года, а там

все-таки жарко...»

Мы встречались с ним на страницах печати: то он выступит со статьей, в которой делится своим драгоценным опытом с молодыми коллегами, то с задушевным напутственным словом к начинающим родителям. Ведь у него есть о чем поговорить не только на профессиональные темы, накопился и житейский багаж.

Василий Алексеевич не менялся и внешне — словно законсервировался. Курчавая бородка не слишком седая и всегда аккуратно подстрижена. Лысоватый лоб, выглядывающий из-под тюбетейки, отнюдь не служил лишь признаком возраста, а скорее напоминал о более важ-

ном качестве. Верно, такой был у Сократа.

С большим подъемом готовился Василий Алексеевич к своей персональной выставке в 1965 году. Выставка должна была явиться отчетом за шестьдесят лет работы, и он старался собрать на нее все лучшее, созданное им. Он, казалось, даже помолодел, появилась несвойственная ему живость в разговоре и движениях. Собственно, было даже две параллельных выставки, прошли они с огромным, превзошедшим все ожидания, успехом и завершились избранием народного художника РСФСР Ватагина в действительные члены Академии художеств СССР.

Основная выставка была на Кузнецком мосту, в специальном, недавно отстроенном выставочном помещении Союза художников, продолжалась три недели: потом в Ленинграде два месяца. Другая— в старом здании Академии художеств, где одно крыло занимал Тициан, другое — Рафаэль. Ватагину отвели центральный парадный зал. Честь великая! Удостоился он ее не сразу против организации экспозиции его произведений восстала завотделом устройства выставки: «Не допущу в Академию обезьянью выставку!» Потребовался почти год, чтобы уломать ее. В сущности, ей было безразлично. Ватагин это или кто другой: просто она вообще была настроена против анимализма и анималистов. Она вынуждена была уступить под напором требований художественной общественности столицы. Первые же дни показали, сколь неоправдан был такой скептицизм: народ на выставку валил валом.

С этой историей перекликается другая: взяли на выставку одну вещь — козла, а потом позвонили и сказали: «Некуда поставить. Не находим места». Он пришел, по-

смотрел сам: и впрямь вроде некуда... Конечно, какими глазами смотреть! Выставка была тематическая: труд, его герои, а тут — козел... Для него, зверопоклонника Ватагина, это соседство человека с животным было естественно: для других... Почему это надо выделять или отделять, находить какое-то особое место и особый случай, чтобы уделить внимание? Разве не находил Ленин в кипении великих дел время, чтоб приласкать щенка, котенка? По свидетельству старой большевички Лепешинской, не мог пройти мимо кошки, не погладив!.. (Это мне напоминает, как некоторые критики отделяют общечеловеческие проблемы от социальных, забывая, что без человека со всем его великим богатством чувств не может быть социализма и коммунизма.) Все это вызывало искреннее недоумение, а порой и обиду старого художника, порождая много раздумий о своем творчестве, о путях и значении анимализма.

— Есть еще, не понимают, даже среди нашего брата художника. Тут нужно природное чувство, а оно есть не у каждого. Один чувствует, другой не чувствует...

Любовь к природе, предрасположение, — говорил он в другой раз, — основа этого. Необходимо пристрастие такое, которое становится руководящей силой. Раз любишь, стараешься понять, исполнить в материале. Есть анималисты — в хищнике видят злое начало, звериное нечто, изображают, когда он терзает кого-то в борьбе... Но это изображение отрицательных явлений жизни. Судорожное сжатие мускулов — мне это неприятно. Когда говорят про человека, что — зверь, оскорбляют зверя...

Мое направление — доброе. Материнство, самопогружение — вот что привлекает меня. Кошка сидит, погруженная в себя; или — вся подобралась, но не спит, какое-то внутреннее состояние... Скорбная, печальная обезьяна... Что она сейчас переживает, я хочу постиг-

нуть. Здесь более тонкие ощущения.

Даже походка животного кажется мне необычайно привлекательной, исполненной изящества, красоты.

Зверь так красив, что хочется изобразить его, ничего

не прибавляя и не убавляя...

Слон обнимает слониху, мы — руками, он — хоботом, мирное, доброе, любовное проявление ласки, привязанности. Выражение чувств, внутреннего переживания — задача художника.

Любование красотой животного, если хотите, преклонение перед красой животного мира, а он необычайно

красив... какое богатство форм, цвета, движений! — вот что должно руководить нами, что должны мы испыты-

вать, соприкасаясь с живой природой.

Я наслаждаюсь, когда держу раковину в руках. Даже раковина, насекомое, бабочка — красивы необычайно, каждый раз чувствуешь себя учеником перед творчеством природы.

И когда убивают ради удовольствия, ради духовного начала, если это можно назвать духовным... я всегда переживаю, как потерю чего-то очень близкого, дорогого.

В дореволюционные годы, помню, писатель Чеглов (настоящая фамилия — Усов) описал случай: охотник подстрелил орла, а тот предсмертным взглядом смотрел на своего убийцу так, что человек понял, — он совершил преступление, и с тех пор охотиться не стал. Надо больше таких рассказов. Нужно развивать любовь к живому, это доброе начало. Особенно в детях. А когда бьет и терзает, это не слишком хорошо...

Меня удивляет психология матерей, которые не понимают этого и уродуют своих детей, запрещая им

общение с животными.

Заграница вводит в культ насилие, садизм, развращает молодежь. Там идеология убийства, крайне отвратительный способ воздействия изображения на человеческую психику. Наш путь другой.

Нельзя развивать в детях страсть к коллекционированию жуков, бабочек. Это тоже страсть к убийству.

Любительская охота — это страсть к убийству.

«Между человеком и животным непроходимая пропасть», — говорят нам. Почему? Откуда же взялся ра-

зум? Не согласен.

Ортодоксальные зоологи считают, что достаточно знать физиологию четвероногих и пернатых, их размножение, больше не требуется. Я зоолог, всю жизнь изучаю животных, защитил кандидатскую диссертацию, я считаю: животные — наши старшие братья, у них есть свой язык, свой порядок, и, когда мы заявляем, что не понимаем их, мы расписываемся в собственном невежестве.

Педагоги тверды и жестки. Самое большое число нелепостей исходит от них. И они учат молодых!

Меня в книге заставили вычеркнуть о жестокости. Единственное место. Замалчивают. А надо ли? (Тут на память приходят полные великолепной человеческой мудрости и безграничной сердечности и доброты слова его из книги «Изображение животного», — ее и помянул Василий Алексеевич:

«С глубоким чувством изумления, уважения и любви смотрю я на мир животных. Отвергать такое отношение может лишь тот, кто незнаком с этим миром, не обращал на него внимания... Я не перестаю изумляться перед неисчислимым разнообразием форм, всегда неожиданно новых, неповторимых, прекрасных...

Много необходимого получает и отнимает у животного человек, но он редко помнит и сознает, что животное не только кусок мяса или физическая сила, что в его руках живое существо, покорно переносящее насилие, глубоко чувствующее страдание и вместе с тем трепетно

принимающее всякое доброе отношение к нему...

Когда в художественной литературе, в произведениях живописи и скульптуры, на экранах кино будет изображена красота животных, их увлекательная жизнь в природе, их привязанность и преданность человеку, это, несомненно, вызовет ответное чувство интереса, любования, симпатии, сочувствия и любви к животным.

Анимализм в широком смысле, и в частности изображение животного, сыграет свою гуманную роль».

«Будьте великодушны!» — призывает он со страниц газеты «Вечерняя Москва» (рубрика «Вечерние беседы москвичей»).

Интересный взгляд высказал он на домашних животных, в частности на собаку.

— А домашних животных я даже не совсем за животных считаю, они так очеловечены... Это произведение человека. Поэтому я приверженец диких, изображаю только диких. Гончие и т. д. — почему они собаками называются? Лайка — это собака. Остальные извращенные человеческие произведения. Мопс, бульдог... хвосты укорочены, голова, морда — результат дегенерации. Спаниель — что за нелепая собака! Взять сеттера, обрубить ему ноги, хвост, уши распустить... подделка какая-то! Болонка — какая же она собака? Ничего не осталось от собачьего. Лайку я очень уважаю, она сохранила свой облик. А остальные чисто утилитарные. Я и к лошади так отношусь. Осла — очень люблю. Да еще кошку. Кошка — пластика замечательная. Кошка — единствен-

ная, сумевшая сохранить себя такой, какой ее создала природа. Она очень самостоятельное животное, сберегла себя...

После выставок мастерская заметно опустела. Приходили закупочные комиссии, отбирали, рассматривали и увозили — в художественные галереи, музеи. Все это было не раз и прежде. Проходило время, и мастерская вновь наполнялась...

Жаль расставаться, — ведь в каждую работу вложена частица души творца, твоей души! Глаз привычно шарит по закоулкам мастерской и останавливается на освободившихся местах на стеллажах: вот здесь было семейство бегемотов — где они теперь? чьи взоры ласкают? А здесь... Странно, но одна крупная вещь стояла уже давно, разные официальные и компетентные представители неоднократно останавливались около нее, разглядывали, спорили — и отходили, а она оставалась. Ведь эта по теме была особенно близка мне, и всякий раз, попадая в мастерскую, я первым долгом глядел в ту сторону: еще стоит? Стоит... И испытывал облегчение. Вероятно, это было что-то вроде чувства собственника, который может наслаждаться тем, чего не дано другому.

Более сложными были чувства автора. С одной стороны, он тоже привык к вещи, она хорошо «вписалась» в интерьер мастерской, но с другой... Какой художник не мечтает, чтоб его творение было представлено обозрению широкой публики, получило всеобщее призна-

ние!

— Не понимают, — сокрушенно разводил руками Василий Алексеевич. В тоне его голоса слышалось неподдельное удивление: — Не понимают, когда все так ясно... Почему?!

Большая деревянная, потемневшая от времени скульптура стояла на полу у окна. Боковой свет придавал ей особую рельефность и выразительность. Нагая девушка отпрянула от неведомой опасности, защищаясь рукой, а из-за нее выглядывает оскаленная морда, полуволк-полусобака, зверь, защищающий человека...

При мне пришла девица студенческого вида, глянула небрежно: «Маугли». Какой же Маугли?! Маугли был мальчик, юноша, а здесь обнаженная девушка, как можно не заметить! «Да, верно, я спутала»... Задумалась,

глядя на скульптуру. Девушка, да еще безоружная, слабое существо; и выбор художника подчеркивал значение этого неожиданного союза, человека и животного. Чего же непонятного: в трудную, смертельно опасную минуту, когда все воины племени на охоте или войне, некому заступиться, на помощь беззащитной юной доисторической прапращурке нашей, еще почти ребенку, приходит вчерашний зверь, а ныне и до скончания века — четвероногий друг, он встал на ее защиту. «Первый друг» так я нарек бы эту скульптуру.

Обращенная в глубь веков, композиция напоминала, какую благодетельную роль сыграло животное в человеческой истории. В подтексте, думается, она содержала и такую мысль: не пора ли теперь человеку решительно

встать на защиту бессловесного друга?

- Пускай стоит.

Такой фразой Василий Алексеевич обычно завершает все разговоры подобного рода. Пускай стоит — достоит до своего. Ведь творения, которые сразу нравятся всем, как правило, самые недолгоживучие, век признания их бывает короток. И потом не случайно он сказал однажды: «Все, что здесь, сделано для себя». Истинный художник всегда творит «для себя». Это внутренняя потребность, деспотический диктат таланта, и только тогда, когда это идет «изнутри», и рождается произведение искусства.

Очень хорошо эту мысль старый мастер выразил в статье «Труд всей жизни», опубликованной в «Правде» в связи с выставкой. Статья прозвучала и как наставле-

ние молодым:

«Я уже прожил долгую жизнь, и труд художника всегда был смыслом и содержанием моей жизни... Всю свою жизнь я работал по внутреннему побуждению, но всегда думал о народе, о том, для кого я творил...

Много путешествовал и много прекрасного видел я на нашей земле. Окружающий мир был моей художе-

ственной школой.

В своих скульптурах я всегда стремился выразить мое отношение к действительности... Я глубоко убежден, что живое, полнокровное искусство рождается только при постоянном общении художника с народом, непосредственном участии его в делах людских, внима-

тельном изучении дум и стремлений наших современников.

Я не мыслю себе творчества без глубокого проникновения в явления жизни и природы. И еще одно качество совершенно необходимо художнику — самозабвенно, безраздельно любить свой труд.

Любовь к окружающему миру и своему делу открывает перед глазами художника необыкновенно много прекрасного, волнующего, чего никогда не заметит равнодушный созерцатель. Радость, восторг, возникающий в душе мастера, создающего художественный образ, обогащает его произведение, которое потом вызывает ответные чувства у зрителя.

Мне хочется напомнить об этом нашей творческой молодежи и пожелать тем, кому предстоит пополнять сокровищницу советской культуры новыми полотнами, скульптурами, графическими листами, любить свою профессию, трудиться без устали, постоянно, каждодневно совершенствовать свое мастерство. Только эта надежная дорога может привести к успеху.

Сейчас, в дни моей персональной выставки, когда я представил народу отчет о своей работе за шестьдесят лет, мне дано пережить большую радость, глубокое удовлетворение...

Признание родного народа! Более высокой награды, большего счастья для художника не может быть».

...Прошло всего несколько месяцев, еще не утихли разговоры о выставке, казалось, всегда Василий Алексеевич будет таким, каким привыкли видеть его окружающие: ясным, одухотворенным, полным замыслов, с ровным, спокойным расположением духа, — право, его просто невозможно было представить другим! — и вдруг эта резкая перемена: «Закат обещает быть...»

Впрочем, «не вдруг». Конечно, несчастье подкрадывалось постепенно. Постепенно тускнело в глазах, пропадала зоркость, мир будто окутывался какой-то пеленой. День ото дня становилась ощутимее утрата зрения, а с нею и потеря того, что было «смыслом и содержанием всей жизни»... Что же, значит, впереди слепота, безрадостное безделье, мрак душевный и физический?

скульпторы?

Но ведь творил же глухой Бетховен! А бывают ли слепые

Именно в эту пору, погруженный в невеселое раздумье, ища ответа на мучительные вопросы, Василий Алексеевич припомнил историю Лины По, бывшей киевской балерины. (Последние годы она жила в Москве, в Столешниковом переулке.)

В результате осложнения после какой-то страшной болезни она ослепла. Прощай сцена, балет. Конец карь-

еры, конец всему.

Однажды кто-то принес ей в больницу пластилин. Неожиданно она стала лепить. Из-под пальцев ее стали выходить разные фигурки, главным образом фигурки танцующих. В них присутствовало чувство ритма. Изящные выгибы. Все очень натурально. Передача была превосходной. После она начала лепить более крупные вещи, и, хоть это было намного труднее, тоже удачно...

 Познакомилась со мной, — рассказывал Василий Алексеевич. — Я ей помогал, давал советы. Иногда прилешь к ней, а она в слезах. Большая фигура, надо каркас колотить, попадала по рукам. Ноготь на мизинце отращивала, заменяя стек... Пальцы исключительной чувствительности. Даже портреты стала ощупывать. Слепила бюст Пушкина — исключительное явление! С определенным выражением. Гнева, ярости. Редкость! Такого Пушкина еще никто не видел. И — очень похоже, сразу узнаешь: Пушкин! Улыбающаяся девушка... Улыбка вообще плохо выходит у скульпторов... Как она «видела»? Открылось внутреннее зрение. Умерла рано. За десять лет стала профессионалом-скульптором. Я. как начал слепнуть, стал часто думать: как же это? Как в трубочку, видишь через стекла. Надо видеть все, весь предмет, а тут... Иногда закрою глаза и пытаюсь представить, как все это будет, на ощупь, - не получается. А у нее получалось. Не всякому дано...

Года полтора после этого мы не виделись. Стороной я слышал, что дела у Ватагина плохи, перестает видеть и второй глаз. Наконец — снова знакомая мастерская. Признаюсь, переступал порог со стесненным чувством и был приятно поражен: Василий Алексеевич весел, улыбается. В глазах — теперь прикрытых большими окулярами — какой-то лукавый огонек:

- Сделал операцию. И вот, видите, удачно. Снова

вижу!

Право, в тот день я благословлял союз науки и искус-

ства (тот союз, который долгое время был помехой для Василия Алексеевича, хотя и подготовил его триумф как художника), колдовские чары медицины, хирургии в частности! Она продлила сроки творческого долголетия народного художника. Какое счастье!

Положительно я не узнавал его, он словно родился

заново!

От природы он был крепок, если не считать операции с глазами, никогда не болел, никто ни разу не слышал от него, чтоб он жаловался на недомогание. Он явно преуспел за то время, что мы не встречались: к 50-летию Октября в Берлинском зоопарке у входа поставили его группу орангов. Правда, сделана она была намного раньше: «Два года не могли отправить за границу». Кроме того, тоже для столицы ГДР, изготовил группу мамонтов, метровую модель. «В мае кончил. Просили в натуральный размер, сделал метровую. Эскизы для входа хочу им подарить, два носорога...»

— Приходится обслуживать заграничные зоопарки. А наши не интересуются, — заметил он с укоризной дальше. — Оформляли вход в наш Московский зоопарк, пригласили каких-то своих анималистов, а они пришли

ко мне же консультироваться...

Разговор о Берлинском зоопарке припомнился мне, когда Моссовет принял решение о строительстве нового, большого Московского зоопарка. Вот где пригодились бы руки Ватагина! Увы, к тому времени Василия Алексе-

евича уже не было в живых.

Нет, он не жаловался, не подумайте. К чему жаловаться? Дела идут хорошо. Мысли его постоянно возвращались к Строгановскому училищу. Огромный заряд энергии получал он от общения с молодежью. Строгановское почти не сходит с уст. Привязался к Строгановскому! В воскресенье здесь, в мастерской, по будним дням — там... Ведь он и выставку свою, за шестьдесят

лет, адресовал в первую очередь им, молодым!

— Педагогом стал! — повторял Василий Алексеевич. — Уже шестой год... Может быть, я пришел в институт несколько поздно, надо было раньше, но еще коечто успею сделать... Первый курс уже могу проводить, уже второй выпуск. И таланты видишь — приятно! Есть способные ребята, хорошо получается. Есть чувство меры, чувство вкуса... Я — консультант, там преподают декоративную скульптуру, а в ней всегда представлены животные. Делают керамику, иной раз в стекле, в дру-

гом материале. Условные декоративные звери. В декоративном натура только повод, чем больше выдумаешь, тем лучше, и все же знать натуру необходимо. Я им говорю: я ведь зверопоклонник! И вы любите предмет своего творчества, без этого ничего не получится. Мне приятно, что моя педагогическая деятельность началась именно здесь. И еще говорю им: я принадлежу к тем художникам, которые достигают цели долгим трудом. Природе я благодарен за верность глаза, твердую руку...

А вот и они, легки на помине. Студенты. Девушки, парни. Они не забывают своего учителя и здесь. Молодая поросль советских скульпторов. Они любознательны, жадно-охочи до всего, что удастся услышать, что сможет продвинуть их в овладении мастерством, найти себя. Василий Алексеевич сразу все внимание переключает

на них.

На доске, прислоненной к стулу, свежий набросок

зубра. Работа только началась.

— Что-то не нравится мне в нем, — остановившись перед доской, в окружении студентов, задумчиво роняет Василий Алексеевич. — Недостает движения... А как на ваш взгляд?

Разгорается спор. Сколько людей — столько суждений. Мнения разделились. Василий Алексеевич терпеливо выслушивает всех. Проходит полчаса, час, два часа, а ребята и не думают уходить, верно, им и невдомек, сколь драгоценны для Ватагина эти часы воскрес-

ной работы. Они словно забыли о времени.

Теперь уже идет общий разговор. Студенты вставляют свои замечания, любопытствуют, докапываются до тонкостей. Василий Алексеевич с полной готовностью обстоятельно отвечает на любой вопрос. У него от них секретов нет. Вот так же подолгу задерживались они в выставочном зале Московского высшего художественно-промышленного училища, где показывались его произведения, и так же, до вечера, слышался этот тихий добрый голос...

Конечно, коснулись прикладного искусства: ведь многие из юных собеседников — будущие «прикладники». Что ж, ему и здесь есть что сказать; недавно сделал стилизованные бытовые украшения (в прошлом делал и «скифские»). По его образцам наладили выпуск на продажу; в салоне на Петровке — видели?

Внезапно встрененулся — и уже другим тоном:

— Ожаднел, доски подбираю. Новое увлечение. Выскабливаю старые доски, пропитываю маслом, получаеться три тона...

Да, он верен себе. И выдумка его неиссякаема. И досок припас, — хватит надолго! Но все же червячок точит:

— Признаки того, что я начинаю сдавать, есть... И неудачи, и ошибки, которые я осмысливаю потом...— Подошел к медведю, тронул его. Медведя все-таки закончил, но он ему не нравится.— Ничем не оправдан. И размер его... Стоит и стоит, нюхает. Можно думать, что медом пахнет, но это очень условно. Виновата моя слепота...

Резьба по дереву по-прежнему влечет скульптора, но... сейчас не хватает духу рубить большие вещи».

Все равно — неуемный. Вот еще новшество: обезьяны, горельефы, несколько разнохарактерных групп, зеленоватые и розовые. Доски из глины. Поглядел критически, покачал головой.

— Несколько раз лепил, все никак не попаду... И тон какой-то не тот...

Творец существует, пока он строг к себе. Чародей анималистики, Ватагин не знает покоя, творческого застоя. Возраст преклонный, но он как будто и не чувствует его. Вот разве только чуть изменилась походка. Снова направляется к зубру:

— Идет или не идет? Все дело в походке...

— Идет, идет, Василий Алексеевич! — Право, молодым все здесь кажется верхом совершенства, без единого изъяна.

Внезапно завязывается беседа об искусстве ацтеков. (Вероятно, виноват зубр: от него мысли тянутся к бизонам, просторам Америки, искусству мексиканцев, много позаимствовавших от их предшественников-индейцев.) Чем они обрабатывали камень? Кремнем? А древние египтяне? Все это живо интересует старого художника. И тут же вдруг, уже без всякой видимой связи, — о Микеланджело, о его неукротимости и творческой неиссякаемости, поражающей и доныне энергии: два года сам ломал мрамор, заготовлял для своих скульптур. А как расписывал купола: смотреть надо лежа, а он три года писал безотрывно. За шесть дней до смерти рубил плиту. Будучи девяностолетним стариком, говорил: «Только начал понимать ремесло — и конец...»

Конец? Но разве бывает он у настоящего большого мастера?

«Пускай стоит»... Такими словами обычно заканчивал Василий Алексеевич, отклоняя просьбы коллекционеров продать что-либо из его запасов. «Денег мне не надо, — не раз говорил он. — Государство дает мне достаточно. Сам скупаю! Хочу собрать здесь побольше...» Ему шла пенсия, а кроме того, притекали средства от тех вещей, которые приобретали музеи и художественные галереи. Пенсия, как признание его заслуг, была крупная, и жаловаться действительно не приходилось.

Правда, мне таки удалось купить у него «Багиру». керамику, но это было на заре нашего знакомства: а после он стал дарить — сам, без просьб. Приезжаещь, соберешься уходить — он придвигает статуэтку: «Это вам». Так я получил голову львицы, кондора, «предка» — фигурку доисторического «гомо сапиенс», нечто среднее между гориллой и человеком (все — глина), жирафа рисунок на березовом горбыле, один из оригиналов иллюстраций к «Маугли», чудесную автолитографию портрет льва (причем Василий Алексеевич не преминул пояснить, что автолитография это то же, что оригинал, рисунок от руки. «Сам автор переводит изображение на камень и делает десять оттисков — больше нельзя, они считаются бестиражными»). Так собралась коллекция. моя личная коллекция произведений Ватагина, которой я очень дорожу и горжусь.

Одна вещь не давала мне покоя — та, которую не понимали государственные закупщики, «Женщина с волком», как называл ее Василий Алексеевич. Можно сказать, спал и видел ее украшением своего кабинета. Она так отвечала его обстановке и всему духу моего творчества: собачья фарфоровая коллекция, книги о собаках... Скульптура «Первый друг» (так мысленно я давно на-

зывал ее) как бы открывала эту тему...

Не выдержал — заговорил с Василием Алексеевичем: «Продайте». (Чтоб получить бесплатно, и мысли не держал: вещь крупная, в высоту до моей груди.) Ватагин засмеялся:

— Да нет, я привык к ней. Жалко расставаться. Бу-

дет не хватать ее, если опустеет место...

«Женщина с волком» стояла у рабочего стола, на подставке — срезе пня, на самом виду. Действительно, «будет не хватать». Даже я привык видеть ее всегда там; она и стол как будто составляли одно целое. Словом, в какой-то мере я понимал художника и соглашался с ним. Нам всегда трудно — и даже иногда невоз-

можно — ломать привычный порядок, нарушать установленное течение жизни. Без него ломается вся жизнь.

Но Василий Алексеевич не любил оставлять людей, как говорится, ни с чем. Раз просят — надо уважить, тем более когда просит близкий человек, друг.

— Продавать не буду. Лучше напишу завещание:

после моей смерти — получите...

— Ну что вы! — отшутился я. — Зачем будить во мне черные желания! Так я еще начну ждать вашей смерти...

Очень характерным для Василия Алексеевича было — он помнил все, о чем бы с ним ни говорили, а особенно если то была просьба. И когда я в следующий раз появился у него, он неожиданно сам заговорил о «Женщине с волком»:

— Знаете что: я вам ее отдам. Скоро должны закончиться две моих выставки, вещи вернутся обратно: часть заберут закупочные комиссии для музеев и художественных галерей, а часть вернется; надо для них найти место, а — тесно, придется кое-что переставить, вот тогда и заберете. Только с условием: приедете и заберете сразу же, чтоб мне не возиться. Я вам сообщу...

И вправду, прошло не больше двух или трех месяцев, получаю коротенькое письмено: «Борис Степанович, приезжайте — забирайте Вашу «Женщину с волком». И пожалуйста, если можно, поскорее...» Василий

Алексеевич был человеком слова.

Торопит — нужно место. Немедленно связался по телефону с Москвой и попросил знакомого съездить к Ватагину и «забрать» (как выражался Василий Алексеевич) скульптуру. Не прошло недели — прилетело новое письмо: «Я хотел бы передать в ваши собственные руки...»

Наверное, он был прав, хотя мой московский друг был совершенно безупречен и мог служить примером порядочности. Еще раз я почувствовал, насколько Васи-

лию Алексеевичу дорога эта вещь.

Это было в апреле 1969 года. В мае я поехал лечиться за границу, на курс вод в Карловы Вары. На денек задержался в Москве. Сразу же позвонил к Ватагиным. У телефона оказалась Ирина Васильевна, старшая дочь Василия Алексеевича.

— Папа в больнице, — сообщила она. — Ему сделали сложную кишечную операцию, лежит тяжело. . . Еще бы: полостная операция на 86-м году жизни! Мне было неудобно говорить о скульптуре (до того ли!), но Ирина Васильевна сама напомнила об этом:

— Папа беспокоится, вспоминал вас, хочет, чтоб вы ее забрали... Вечером я буду у него в больнице, скажу,

что вы здесь, а вы попозднее позвоните.

Вечером, когда я позвонил вторично, она сказала:

— Приезжайте завтра пораньше в мастерскую.

С каким-то новым чувством переступил я в этот раз порог мастерской. Будто видел все впервые. Казалось, все эти неподвижные звери — обезьяны, слоны, медведи — осиротели. Грустно. У Ирины Васильевны было сдержанно-серьезное выражение лица:

— Дома я не говорила, а вам скажу: у папы — рак... Шофер такси помог мне отнести «Женщину с волком» в машину, но сейчас меня не радовало мое приобретение, мысли были далеко отсюда — я видел лежащего на смертном одре милого Василия Алексеевича... Неужели же? неужели? Потрясло, что даже в эту тяжкую минуту он помнил о своих обещаниях и беспокоился, чтоб все было сделано. Вот она, старая интеллигентская закваска, та порядочность и обязательность, которой нужно гордиться и которой должны следовать молодые! Человек лежит на смертном одре, и он помнит, помнит и беспокоится о том, чтоб слово было выполнено. Право, многим нашим современникам следовало бы поучиться такой обязательности.

Уже в Карловых Варах я узнал о смерти Василия Алексеевича. Товарищи принесли мне «Правду» и показали некролог. А на обратном пути, в Москве, друзья

рассказали о похоронах.

Он умер, как и жил, никого не беспокоя, и даже похороны, по оценке его друзей и почитателей, были удивительно светлыми, мало чем напоминающими обычную погребальную церемонию. Люди вспоминали его жизнь и благодарили за то прекрасное, что он им дал. Выступали представители Дарвиновского музея, с которым Василий Алексеевич был связан долгие годы, скульптор Вучетич, художники, ребята из Строгановского училища. Все это сопровождалось прекрасной музыкой, играла Юдина — известная пианистка. Плача, слез почти не было — была тихая чистая грусть и какое-то возвышенное состояние, которое, вероятно, бывает тогда, когда человек соприкоснется с вечными и прекрасными истинами, с тем, что не умирает и не умрет никогда.

После гражданской панихиды в Академии художеств тело увезли в Тарусу и там, где погребены первая жена и мать Ватагина, предали земле. Нал обрывом на взгорье, откуда открывается широкий вид на долину, на русские просторы, видны замечательные дали. Там же похоронен Паустовский.

В. А. Ватагин завещал поставить ему памятник на могиле. Он хотел, чтоб на надгробье была обезьяна. Именно она. Грустная, задумчивая. Всех животных он рисовал и лепил по-разному, в движении: у обезьян всегда какая-то грусть, «Больной шимпанзе», тоскующая обезьяна... Этот образ постоянно привлекал его. Он не

хотел расставаться с ним.

Может быть, тайная грусть снедала порой его самого, и потому он так чувствовал ее даже в животном. Кто знает. (Уже спустя много времени я узнал, что Василий Алексеевич оставил крупную сумму денег секции защиты животного мира, членом которой состоял, для развертывания работы на помощь бессловесным. — позаботился даже и об этом!)

Хочется привести слова из монографии, изданной при

жизни хуложника:

«Покоряя природу, люди долгое время хищнически истребляли животных, вырубали леса, уничтожали целые виды зверей. Теперь наконец человечество почувствовало, что, истребляя животных, оно обедняет себя не только материально, но и духовно, лишает себя чего-то необходимого, важного, посягает на красоту природы, совершает преступление против человечества.

Все чаще раздаются голоса в защиту природы. У нас в Советском Союзе эти голоса звучат особенно страстно и заинтересованно. Искусство Ватагина среди этих голосов, сно пробуждает в людях человечность и любовь ко

всему живому на земле» 1.

Ступайте в художественную галерею, в музей, где выставлены ватагинские вещи, перелистайте альбомы, книги с его рисунками, - живой зверопоклонник Ватагин глянет на вас из тысяч своих произведений. Художник не умирает.

Я смотрю на стоящую в моем кабинете «Женщину с волком», неизменно привлекающую внимание всех приходящих, и снова слышу тихий ручеек ватагинской речи, постукивание его молотка...

<sup>1 «</sup>Ватагин», 1961.

## В ПЕСКАХ, У КОМАРОВА...

Говорят, с именем каждого крупного художника обязательно связывается какое-то место, где он жил и тво-

рил.

Всякий раз, когда я вижу в журнале или книге подпись под рисунком «А. Комаров», — в глазах у меня возникают крыши небольших уютных домиков среди густой зелени, много крыш и много зелени, а в памяти проносятся: Пески... Вам не доводилось там бывать? Хотите, вместе совершим путешествие туда?

Но прежде небольшое отступление.

Возможно, этот очерк не был бы никогда написан, если бы не открытка, однажды доставленная мне почтой:

«Уважаемый Борис Степанович!

Может быть, Вы не забыли меня — я иллюстрировал Вашу книгу «Рассказы о верном друге». Мы встречались раз в издательстве «Молодая гвардия». Я с интересом слежу за Вашими выступлениями в печати в защиту родной природы, хочется повидаться и о многом поговорить. Я был бы рад, если бы Вы побывали у нас в Песках. Наш поселок «Художник» называют райским уголком, и, я уверен, он Вам понравится...

На лицевой стороне открытки был изображен глухарь на току, репродукция рисунка Комарова. Как я узнал потом, художник всем друзьям рассылал такие открытки. И даже если писал письмо, то вместе с ним вкладывал в конверт и открытку. Он словно хотел этим напомнить: посмотрите, как красивы звери, птицы, насколько прекрасна природа. Не проходите мимо этой красоты.

Не странно ли: когда случай свел нас в издательстве, это не пробудило взаимного интереса. Встретились, обменялись ничего не значащими замечаниями по поводу рисунков, разошлись... Вот так иногда можно пройти мимо интересного в жизни! Теперь мне захотелось по-

ближе узнать Комарова.

...Если сесть с Казанского вокзала в электричку и отъехать от Москвы километров сто, это и будут Пески, небольшой подмосковный городок.

Первый встречный прохожий покажет, где поселок Художник. Уже из названия ясно, что тут живут худож-

ники.

Под ногами шуршит, пересыпается желтыми струйками песок (теперь понятно, почему Пески). Сухая дорога выводит за околицу и углубляется в березняк. Красиво как! И впрямь райский уголок! Березы высокие-высокие и зеленые, какие-то ясные, радующие, стволы будто обвернуты чистыми белеными холстинами. Неба почти не видно, лишь кой-где голубые окошки. В них проплывают облака. Вдали кукует кукушка. Редкие строения — дачи — тоже почти не видны, запрятались среди кудрявых зеленых кущ.

Вот, за палисадником, и комаровская дача. Навстречу выходит хозяин. Он высокий, приветливый, с чистыми светлыми глазами и остренькой бородкой. Опирается на

палку.

Ноги плохо слушаются, — говорит он.

Ох и походили эти ноги! Немудрено, что устали.

Большой желтый двухэтажный дом с острым коньком под шиферной крышей. В доме живет родня, часто приезжают друзья, гости. А сам художник редко заглядывает туда. Он зиму и лето живет в мастерской, по-

среди большого сада. Туда и ведет гостей.

Сад старый, разросшийся. Дубы, громадные ветвистые яблони, сирень, облепиха, кусты актинидии — листья с белыми кончиками; туя в грунте. Карликовая елка американская. И цветы, цветы. Маки, ирисы, древовидные пионы, гладиолусы, дальневосточное растение — ясенник; арункус цветет... Маки карминно-красные, киноварно-красные... Их выращивает жена художника, Наталья Александровна Вальтер, известный цветовод, активный член секции цветоводов Общества охраны природы; имеет много наград; к ней частенько приезжают за опытом. Несмотря на возраст, она удивительно подвижна и постоянно в хлопотах по устройству выставок мужа.

Дикий виноград причудливо изукрасил ворота; он затянул и вход в сад, в дом, вьется по березе, осенью золотой.

- Зеленый цвет успокаивает. Синий, красный, тем-

ный цвет очень вредно действует на нервы человека...—

К художнику подходит поджарая борзая собака Сильва и трется узкой головой об его руки. Он гладит ее. Приземистый косматый пес Мурзик следует по пятам. Улыбается, морщит морду, когда хозяин взглядывает на него. «Улыбчивый пес», — говорит про него Алексей Никанорович. Рассказывают: если художник уедет куданибудь, Мурзик прячется и не показывается целыми днями, даже есть не приходит. Тоскует.

А вокруг — протяжный шум леса, щебет птиц. Поютзаливаются петухи в поселке. Гудит пароход — близко

Москва-река.

Жужжат шмели. Снова где-то вдали послышался печальный голос кукушки. Раньше, когда художник был молод, он нередко загадывал: сколько раз прокукует? сколько ему жить? Теперь уже давно не считает. Пожалуй, никакая кукушка не сможет накуковать столько, сколько лет жизни у него за плечами.

Мастерская — легкое деревянное здание с окном во всю стену. Зимой тут прохладно; да его не испугать. Привык. Закалился. В прохладе как-то и голове яснее, и работается лучше, сама кисть ходит по полотну. У порога лежит каменный медведь — сторожит, чтоб никто не помешал, когда хозяин трудится; тут же пес. Святилище! Караулят художника! Со стен смотрят звери, птицы. Кого только нет! Кажется, все обитатели наших лесов и полей переселились сюда...

Всю свою долгую жизнь художник изображал зверей и птиц. Он рисовал их. Лепил из глины. Писал масляными красками. Вырезал из дерева. Всю жизнь — звери и птицы, животные дикие и домашние. Иногда с человеком, а чаще одни. Волки, медведи, лоси, глухари, ряб-

чики, верблюды, лошади, собаки, кошки...

А это еще кто? Что за чудище готовится спрыгнуть с полки? Свернул упругие кольца удав. Змея — наплыв на березе («я рубил немного»). Лягушка с выпученными зелеными глазами... Он называет ее «моя царевна Лягушка». Пожалуй, впрямь царевна... Да это же корни! обыкновенные корни деревьев! Голова барана — корни. Сказочный Змей Горыныч — тоже корни. Береговые корни. Их можно найти на подмытых вешней водой берегах рек. Их увидел, подсмотрел глаз художника.

Как это получается, что художник видит то, чего не замечают другие? Вероятно, тысячи людей прошли мимо

этих древесных наплывов и корней и не обратили никакого внимания. А он заметил и сделал так, что теперь это видят другие. Чуточку подправил, там подрезал, вставил глаза лягушке... и на свет явились удивительные создания!

...Я карандаш с бумагой взял, Нарисовал дорогу, Потом быка нарисовал, А рядом с ним корову...
...Я сделал розовым быка, Оранжевым — корову...

Конечно, вы помните это стихотворение? Все его знают. И я сразу вспомнил его, когда смотрел на кар-

тины Комарова.

Не с того ли начинал и Алексей Никанорович? Не с оранжевой ли коровы и розового быка? Наверное, бывают и такие, только надо увидеть их, как увидел он среди обнажившихся корней готовую ожить квакушку, Змея Горыныча...

Наверное все надо увидеть как-то по-своему.

И вдруг мне почудилось, что ожили все звери и птицы, только что беззвучно глядевшие с бумажных и холщовых полотен, задвигались, зашевелились, по-иному заиграли краски. Встрепенулась лягушка с выпуклыми зелеными глазами-фарами, изготовясь к прыжку за такой же громадной и глазастой мухой, как она сама: неслышной походкой, выслеживая добычу и заметая за собой следы пушистым хвостом, прокралась плутовка лиса; машисто зашагало по чистой заснеженной опушке за стогами сена семейство сохатых-лосей: засветились. как фонарики, глаза у рыси, запрятавшейся среди сучков на сосне... Ведь всех их видел художник такими, прежде чем нарисовал. И, конечно, был и розовый бык. Облитый лучами закатного солнца, поматывая рогами, он важно возвращался со стадом с пастбища домой, в родное село Скородное Тульской губернии Ефремовского уезда, где еще в прошлом веке — 1 октября (по ст. стилю) 1879 года — родился Алеша Комаров. Биография его не совсем обычна. Мать, Дарья Кузьминична, была простой крестьянкой, отец — Павел Филиппович Розетти — помещик. В браке они не состояли. Мать жила в деревне и вскоре вышла замуж; она как была крестьянкой, так и осталась ею; получилось так, что она оказалась в стороне от воспитания сына. Но до того как резко измениться его судьбе, мальчик изведал тяжелый труд,

сам боронил летом землю (скородить — боронить, среднерусское; отсюда и Скородное), занимался посильной крестьянской работой, помогая старшим. И коров пас, и ходил со сверстниками в ночное, гонял табун лошадей. А однажды его чуть не забодал свирепый бык. Только тогда он не показался мальчику розовым, потому что это был очень злой, свирепый и большой бык, которого боялись даже волки...

Образование и все прочее дали Алеше тетки, отцовы сестры, три старые девы. Они взяли Алешу на воспитание. У них было имение под Тулой. Одна из них, старшая, Екатерина Феликсовна, заменила ему мать. Его перевезли в Тулу, мальчик стал жить в городе. До самого совершеннолетия они нещадно баловали его; сами ничего не делали — «и вышел лодырь», по его выражению. (Но какой из него вышел лодырь, увидим потом.) С детства его интересовала природа. В лесу, в саду мог быть бесконечно. А когда сажали за алгебру, угасал. Учился скачками. То выйдет вторым учеником, то чуть не последним. Тула в те времена бла немощеная, в ветер по улицам неслись облака пыли, утром и вечером шло стадо. Мимо их дома прогоняли коров и бычков, как дома в селе...

Навсегда запомнилось: они шли с теткой по рыночной площади, когда вдруг из дощатого балагана, около которого стояли небольшие вагончики на колесах, донеслись сперва заунывные звуки шарманки, затем яростный звериный рев. Ревел тигр.

В город приехал цирк. В вагончиках на колесах, за железными прутьями, в темноте, сидели несчастные

звери-артисты.

— Хочу туда, — сказал Алеша. Уцепившись за тетку, он так просил, что в конце концов она согласилась. Купила два билета.

Обратно его пришлось вытаскивать силой. Прилип

к зверям.

Прежде он видел зверей теплых стран только на картинках. Теперь увидел, как мечется живой тигр в клетке, как его выпускают на арену и он по приказу проделывает всякие штуки.

Глаза у тигра были желтые, такие же, как полосы на шкуре, в них горели кровожадные огоньки. Но он слушался дрессировщика — лазил по шесту, катался на

большом гладком шаре.

Представление окончилось, смеющаяся, оживленная публика повалила к выходу, один Алеша не торопился

уходить.

— Пойдем, Алеша, домой. Пойдем, Алеша, домой, — повторяла тетушка, но он как оглох. Напустил от волнения в штанишки; штанишки были мокрые; но он ничего не чувствовал, не понимал.

На следующий день Алеша снова потащил тетку в цирк. Снова смотрели все от начала до конца. Широко раскрыв глазенки, ждал: вот сейчас случится что-нибудь, тигр бросится и растерзает укротителя. Должен же постоять за себя! Но ничего не случилось. Грозный зверь был послушен воле человека с хлыстом.

Так они ходили каждый день. Еще издали Алеша старался услышать рев тигра. Ему казалось, что тигр ждет и зовет его, просит помочь ему — открыть клетку и выпустить на волю, чтоб больше не принуждали выступать на арене, не щелкал и не хлестал больно по полоса-

той шкуре длинный извивающийся бич...

Но однажды пришли — тихо, цирк уехал. Опустела плошаль.

Мальчик заплакал. Больше всего ему не хотелось расставаться с тигром. И тигр остался. Да, да! Когда Алеша вырастет, он нарисует тигра. И отныне этот тигр будет всегда с ним.

А тогда... тогда ему было только семь лет. Страсть к зверям, к лошадям проявилась у него очень рано. Когда приезжал извозчик, не отходил от лошади. Кучер толстый, старый; и лошадь больше дремала. Привозила докториху.

Когда он впервые взял в руки карандаш, точно и сам не знает. Начал рисовать после десяти лет... и — о чудо! — вышло. Розетти был художником, нет, не профессионалом, но писал неплохо для своего времени. Все тетки, как и все барышни тогда, умели рисовать. Алеша помнит: изображал что-то в теткиных альбомах, так в одном альбоме появилась надпись: «Автор сих рисунков А. Комаров»... Лепил птичек из хлебного мякиша. Но учителя, настоящего учителя, который смолоду показал бы, как надо, не было; учиться не у кого. Старая, дореволюционная Тула не имела даже картинной галереи. Разглядывая картинки в журналах — в «Ниве» (нравил-

ся Каразин), в «Родине», в приложениях отыскивал картины Маковского, других художников, олеографии.

С птичьего рынка притаскивал то птичку, то зверька. Дома постоянно была какая-нибудь живность. Бегал ручной скворец по комнате, ночью шуршали соломой, повизгивали морские свинки, дрались норки. Тетка терпела. Была добрая. А кроме того, возможно, она догадывалась, что у мальчика призвание.

Она не забыла, как Алеша целыми днями пропадал на передвижной выставке, где впервые увидел картины великих русских мастеров кисти — Репина, Шишкина, с горящими глазами возвращался оттуда и делился впечатлениями. Особенно поразили его шишкинские пей-

зажи, так напоминавшие Скородное.

Девятнадцати лет, не доучившись в реальном, уехал в Москву и поступил в школу живописи. Он хотел писать так же, как Шишкин, стать вторым Шишкиным. Тогда он еще не понимал, что не может быть двух Шишкиных, как никогда не будет двух Пушкиных, двух Лермонтовых, двух Чайковских.

Преподавали в школе живописи превосходные художники, среди них Левитан, Серов, Бакшеев, Пастернак. (Запомнилось: в «Ниве» печаталось «Воскресение» Толстого, иллюстрировал Пастернак.) Первым учителем для него стал Н. А. Касаткин; уже в преклонных годах, Комаров всегда с чувством глубокой признательности вспоминал его. И все же он не усидел там долго. Ему было тесно среди стен.

Рисунки его не удовлетворяли. «Они не удовлетворяют художника всю жизнь, — скажет он потом. — Лучшие картины художника в его воображении. Когда он начинает переносить на холст, они очень линяют...»

Тянуло на простор, ближе к природе. Хотелось слышать галочий крик, видеть, как носятся низко над водой стрижи перед дождем, перекатывается ветер по спелому ржаному полю...

Проучившись два года, он оставил училище.

«Ушел на волю, в лес. Променял на зайцев, на костры, дремучие боры», — так он объяснил свой уход.

«Ищи, ищи, — кто-то шептал ему. — Ищи и найдешь!» Вероятно, это был голос таланта, данный ему от рождения. Талант будоражил и не давал покоя.

Пристально вглядывался Алексей Комаров в жизнь бессловесных существ, населяющих землю; удивительный, необыкновенный по красочности и неповторимой

прелести мир открылся ему.

Он видел, как в густой чаще лезет в дупло за медом косолапый лакомка-мишка и, застигнутый собакамилайками, яростно рычит и отмахивается, норовя зацепить когтями, как только что отмахивался от жалящих пчел...

Он видел, как в половодье на пеньках сидят дрожащие перепуганные мокрые зайчишки и ждут, молят всем своим видом, чтоб подъехал добрый человек и вызволил из беды...

Видел, как в страшный лесной пожар с громом и треском валятся наземь обгоревшие великаны-деревья и в тучах черного дыма, блеске искр и сиянии пламени взвиваются вверх тысячи птиц и, опалив крылья, тут же падают в огонь...

И как весной, словно стремясь восполнить эти потери, новыми голосами наполняется природа. Вылупляются из яиц желторотые птенцы; пробует стать на неокрепшие ножки новорожденный олененок; у белки появляются бельчата...

Но ведь надо на что-то и жить. Тетки состарились, уже не могли содержать его. Да и сколько можно си-

деть на чужой шее!

Шел по Москве, денег нет. Где бы достать? Видит: редакция «Народное благо». Сбегал домой, прихватил рисуночки. «Вам не надо?» — «Давайте. Сколько вам?» — «Не знаю, сколько дадите». — «Вот вам пять рублей. Хватит?» Пять рублей за несколько минут работы! Он был на седьмом небе, вот удача так удача. Журнальчик оказался дешевенький, по духу сугубо провинциальный, даже черносотенный. Больше с ним не имел дел. Но начало было сделано.

Из уст Алексея Никаноровича мне будет известен еще и такой факт. Черкизово в прошлом принадлежало помещику Черкасскому, который проиграл его в карты. Новый хозяин заказал известному зодчему Казакову церковь, и в оформлении — четыре картины, память о выигрыше. Как вышло, что выбор пал на Комарова, кто навел на него, он и сам не ведал, но, словом, вдвоем с приятелем они взялись за роспись. «Смелость рук — расписывать ризницу от руки, изображать сказочных птиц с длинными хвостами, с невероятными хохлами, — благо-

душно иронизировал Алексей Никанорович. — Поп поглядел — изрек: «Замысловато, но благолепно и храм украшает». С другом Фомкой за две недели заработали

15 рублей. Первый заработок».

Если в этом рассказе все соответствует действительности (думаю, так оно и есть: память у Алексея Никаноровича была хорошая), то, выходит, фортуна уже благоволила тогда приметить молодой талант. Но я так и не понял, что было раньше — церковная роспись или рисунки в журнале «НБ».

«Я был очень застенчивый и скромный. В незнакомом обществе я чувствовал себя неловко, краснел, смущался. Мне все казалось, что я смешон», — напишет он со временем про себя. Как такому робкому да стесни-

тельному выбиваться в люди?

Вдруг получил письмо от редактора журнала «Псовая и ружейная охота». Его дебют был замечен! Журнал находился в имении помещика Озерова, около города Венёва. В пяти-шести верстах. У того была большая охота, около ста борзых и полсотни гончих. Нарисовал на пробу. Немедленно пришел ответ: «Хорошо, но собак не знаете. Приезжайте ко мне». Поехал в его имение. Слез с поезда, видит, стоит тройка. Кучер: «Кто тут Комаров?»

Встретил старик, высокий, барин. Бородка с проседью. Черные брови. Познакомил с семьей. После — во двор. Со всех сторон окружили борзые, мчатся отовсюду. Громадные, выхоленные, шерсть шелковистая, глаза сверкают, хвостами-правилами размахивают. Борзятники, доезжачие... вот она, классическая русская старина! Пошли на другой двор. Там гончие, выжлятники...

это кто с гончими, управляется с ними.

Стал рисовать борзых. Озеров объяснял, в чем прелесть борзой собаки, какими должны быть уши, хвост; надо признать, знал он их преотлично. «Равной в свете нет, — убежденно заявлял он. — Все остальные перед борзой пасуют. Она самого благородного происхождения, ведет начало от фараонов... Сперва были хорты, гладкие. Были помешаны с южнорусскими овчарками, они дали такую псовину. А рост, сила развивались постепенно. Не боится волка. Некоторые в одиночку идут на волка». Так говорил этот энтузиаст русской борзой и псовой охоты.

Первый раз на охоту с борзыми... Зимой. Подали розвальни. На лавочки садятся охотники, а в середине

между ними — собаки. Розвальни едут без дороги по полю. Выскакивает русак, лошади мчатся, с гиканьем, борзые выскакивают. Начинается травля. Картина. за-

хватывающая дух.

У Озерова он прожил с месяц. Осенью приехал в Свиридово снова. Показали охоту на волка. С доезжачими ездил подвывать. Искали волчий выводок. Казенные леса, так называемые засеки, тянулись на большое расстояние. Поехали. В овраге остановились, выжлятник руки сложил трубкой, низко к земле нагнулся, потом выше, выше... Настоящий волчий вой. Никто не откликался.

И вдруг сразу близко завыли волки. Молодые волки. Выбегает волчица с волчатами, увидели, остановились. Волчица оскалилась. Доезжачий сказал: «Поехали домой...» И шажком стали отступать. Волчица проводила немного.

На другой день — охота. Волчица была опытная. Набрала гончих на себя и увела бог знает куда. После их собирали выжлятники. А из волчат убили лишь одного. В те дни он узнал много такого, чего не узнаешь, сидя в городе. Перво-наперво, борзую собаку. Твердо усвоил: хвост у борзых — правило, у гончих — гон; выжлец — значит кобель, выжловка — сука, своя, охотничья терминология... Охотничьих лошадей тоже усвоить надо было. Лошади — полудонцы, кабардинки...

После несколько лет молодой художник рисовал для журнала «Псовая и ружейная охота». Первые рисунки не удовлетворяли: заимствовали у немцев, а подражать — всегда плохо. Все пошло по-другому, когда он нашел верный тон. Именно тогда, в Свиридове, он досконально изучил старинную помещичью охоту с борзыми, набил руку в изображении лошадей и различных принадлежностей охоты, предметов быта. Со смертью Озерова прекратилось и сотрудничество с журналом. Но именно отсюда берет свое начало слава Комарова как знатока русской старины.

Затем пришла работа у издателя Сытина, в детских журналах «Светлячок», «Путеводный огонек». Василий Иванович Сытин, сын, приятель был. Сверстник Кома-

рова. Очень дружили.

Теперь он работал много, систематически — непрерывно. Подолгу просиживал в зоологическом саду, сидел днями и ночами — наблюдал за поведением зверей и птиц, делал зарисовки, тогда еще назывался зоологиче-

ский сад, а не зоопарк. У профессора Мензбира готовил атлас (сперва рисовал с чучел). Иллюстрировал издания Академии наук, Московского университета. Написал много портретов лошадей, сцен народного быта с обязательными персонажами — животными. Знал уже много таких тонкостей, которые недоступны простому смертному. К примеру, лев. Кажется, все львы одинаковы: грозный владыка, царь зверей. Ан нет. У одного вида грива только на шее, у других — и на лопатках, на груди, в пахах. Вы про это знали?

Конечно, случалось всякое, не обходилось без нелепых суждений. Всегда найдется слишком умный цени-

тель.

Обсуждалась картина — наглядное пособие «Тетеревкосач». Изобразил в позе токования, когда птица блещет красками и показывает свой наряд, желая затмить соперника и прельстить подругу жизни. Министр понял по-своему: «Это может навести детей на вредные мысли. Нарисуйте его в обыкновенной позе», — решил сей мудрый педагог и блюститель нравственности.

Тут грянула революция. В России родилась новая

власть.

Пролетарский поэт Демьян Бедный, знакомый с Лениным, попросил Комарова проиллюстрировать книжки «Про гуся», «Про попа», в которых он клеймил прошлое и помогал расправиться с врагами нового. В книжках Демьяна Бедного действовали люди и животные. Значит, необходимо было передать характерное поведение тех и других, да посмешнее, чтоб смехом убивать противников Советской власти. С такой же задачей пришлось столкнуться Комарову, когда он взялся иллюстрировать народные сказки и басни.

В голодные годы товарищество «Художник» поручило рисовать плакат для выставки «Охрана материнства и младенчества»; рисовал под руководством нар-

кома Н. А. Семашко.

Теперь уже не розовые быки да оранжевые коровы возникали на его этюдах. От него требовалось большее, гораздо большее.

Молодое народное государство предприняло выпуск новых учебников. В Советской стране не должно быть

неграмотных, темных граждан.

Комаров участвовал в издании наглядных пособий для учебников русского языка, по другим предметам. Сколько он их сделал — не счесть! В издательстве «Про-

свещение» (бывший Учпедгиз) печатается со дня его возникновения. Делал букварь, календарь природы, картинки для развития речи.

Но трудно, ох как трудно стать хорошим художником! Каков бы ни был талант, одного таланта мало— нужно работать много, упорно, постоянно, изо дня в день, год за годом, с утра до ночи, а иногда всю ночь напролет до самого рассвета. Талант, помноженный на года и рвение, вот что такое художник... А когда загорится новый день— оплеснул себя холодной водицей, утерся жестким полотенцем, и снова карандаш в руки, снова за дело...

Животных рисовали до него, до Комарова. Издавали пособия и учебники. Да то было раньше!

Отчего ты, снегирюшка, не женишься? Рад бы я жениться, да некого взять. Взял бы я сороку, — говорливая она. Взял бы я кукушку, — тоскливая она. Взял бы я чечетку, — она тетка мне...

Знаете эту книжку? Читали? А картинки в ней помните?

— Я делал эту книжку, — рассказывал Алексей Никанорович. — Николай Андреевич Андреев, скульптор, вел это название. Вот когда я задумался. Сорока — говорливая... А как сделать, чтоб на рисунке она была говорливая? А как нарисовать тоскливую кукушку? Тоскливую, не веселую! Ну, а чтоб все поняли, что чечетка тетка мне... Тут как?

Прежде рисовали просто птицу или зверя. Добивались, чтоб было прорисовано каждое перышко, каждый волосок. Но это было не искусство, а ремесло. И птицы, звери на рисунках выходили мертвые, не жили, не дви-

гались, хоть все было точно.

Требовался характер, требовалось, чтоб они «жили»: сорока — веселая, болтунья, кукушка — тоскливая, унылая... Ну, а чечетка... нельзя же вправду нарисовать ее, чтоб она походила на тетку, которая когда-то водила Алешу за руку в цирк!

«Отчего ты, снегирюшка, не весел? ..» Будешь не весел, когда тебе дадут такую работу! И все же художник

добился своего. И впрямь: когда смотришь на его зверющек и птиц, кажется, они вот-вот оживут, загогочут, запереговариваются меж собой, спрыгнут со страницы и

побегут. И одну зверюшку не спутаешь с другой.

Художнику нельзя сидеть на месте, он должен без устали путешествовать, много видеть. Путешествовал обычно за свой страх и риск, никто ему поездки не организовывал, не оплачивал расходов. Не забыть встречу в Крыму с Гиляровским. Про «дядю Гиляя», неистового журналиста, говорили, что он поспевает на место происшествия раньше, чем случится это происшествие. Неугомонен и подвижен был на удивление. Вместе с Гиляровским и писателем Елпатьевским они ездили в пещеру, на Черную речку. Пещера — как барсучья нора, надо спускаться, все измазались в глине, измаялись. Когда вылезли, облегченно вздохнули: «Все-таки на земле лучше»...

После Крыма — Урал. «Каменный пояс» давно тянул его к себе. Навсегда врезались в память образы Башкирии — чудесной, горной, поэтической страны. Стерлитамак, Яман-Тау («Плохая гора», — почему плохая? Она понравилась ему...), Белорецкий завод, затерявшийся среди древних Уральских гор... («Говорят, теперь там ничего не узнать — развилась промышленность, нашли нефть, выросли города... Интересно посмотреть бы!») С ним ездил башкир Гариф Улла. Жив ли ныне, помнит ли его? Дала ли судьба ему такой же долгий век, как художнику, в провожатых у которого он был, с которым сдружился? Дело было перед войной, в 1914 году. Друг Комарова был мобилизован и направлен на Кавказ. Комаров поехал за ним и оттуда — в Персию...

В Крыму он побывал в 1903 году, на Урале в 1914-м, Кавказ, Персию увидел воочию в 1915-м... Накапливал знания, набирался впечатлений. Необходимейшая вещь

для художника!

«Ученые завербовали». К тому времени он уже свел дружбу с учеными Дементьевым, Туровым — будущим соседом по Пескам, Герптнером. Как-то пришел к ним, в зоомузей. Глядь, ящики, сборы, суматоха. Куда? В экспедицию на Алтай. Возьмите меня. Пожалуйста. «Они на казенный счет, я — за свой». Но никогда не жалел. Увидел фауну Алтая. Три месяца по вершинам гор. Встречи: медведь, лоси, олени. Все время рисовал, очень много оттуда вывез. «Гвоздем» экспедиции оказалась...

мышь. Снежная мышь. Белая. Редчайшая. Живет на гра-

нице вечных снегов. Это было уже в 1934 году.

Видел он и Скандинавию, сказочные норвежские фиорды, водопады. Когда ехал на пароходе в Швецию, началась качка, купец из каюты кричал: «Фрекен! Фрекен!» Звал обслуживающий персонал. А фрекен тоже все лежали. Две англичанки-дамы на палубе сидели, вязали, на качку нуль внимания. В кают-компании обедали только они да две девицы-зубодерки, капитан да он, Комаров... (Крепок, даже море с ним не справится!) В Стокгольме, столице Швеции, в музее видел прекрасных художников — Цорна, Лилифорса. Как-то стоял на набережной, смотрел, как ребятишки ловят рыбу, облокотился на парапет, задумался и не заметил, как около него остановился молодой, безупречно одетый черноватый красивый мужчина и спросил:

— Do you speak English? (Говорите ли вы по-ан-

глийски?)

— Нет, я русский, — ответил художник.

— Как приятно! — воскликнул обрадованно незнакомец, теперь уже по-русски. — А вы знаете, кто я? Я Вахтангов. . .

Встретились земляки. Незнакомец оказался из Москвы, знаменитый актер, будущий художественный руководитель одного из крупнейших столичных театров, со временем принявшего его имя. Он тоже путешествовал один. После вместе ехали в Москву.

— А вы знаете, — говорил Вахтангов, — мне вы понравились, потому я с вами и заговорил. Я вас принял за англичанина...

Пожалуй, и впрямь спутать легко. Такой же высокий, прямой, сдержанный, лощеный. Выезжая за границу, одевался особенно тщательно; дома — просто, опрятно, но без излишнего шика, в рубашке-косоворотке, в сапогах, по-русски.

И сколько бы он ни ездил в дальние страны, в творчестве оставался всегда русским художником. Россия — любовь его!

Прежде всего он певец русской природы, русский художник; и когда вы рассматриваете его произведения, вы погружаетесь в мир русской природы. Хотя он отлично изображает и заморских диковинных зверей и птиц, бесспорно, силен в жанровых сценах, колоритно передающих незнакомый дальнестранный быт,

Где-то в далеком туманном и прекрасном детстве остался тигр — первый заморский зверь, так поразивший впечатлительного мальчика Алешу. Много перевидал он их потом. И тигров, и львов, и слонов... Но навсегда он связал свои чувства и мысли именно с нашей, русской природой, нашими лесами, нашими зверями, нашими птицами. букашками.

Родная природа глядит с его рисунков и картин— живая, многоликая, бесконечно разнообразная и всегда прекрасная. Природа и русская история, ведь они всегда неотделимы. И, пожалуй, эту истину еще раз познаешь, глядя на картины Комарова. Псовая охота, тройка с бубенцами... увы, это где-то уже за чертой нашего времени, во всяком случае иным стал быт, и свору борзых не увидишь у нынешнего городского жителя; но все это — Россия, ее черты, которые не спутаешь ни с какими другими, русское в мельчайших, очень тонко выписанных подробностях.

И, что особенно хочется подчеркнуть в нашем рассказе о художнике: все изображаемое им несет в себе признаки именно его, комаровского, видения мира, его манеры. Ну, кажется, что такое корова?.. Нет, не оранжевая из Алешиного детства, а натуральная, обыкновенная корова-буренка, каких стада разгуливают по нашим колхозным и совхозным пастбищам, помахивая хвостами? Но взглянешь, какой она возникла под его волшебной рукой, и сразу скажешь: это — своя, особенная, его корова. Его олень, его борзая, его волк... Вот это и есть талант. Талант — когда видишь не так, как все.

Живописец Комаров, в отличие от некоторых других, всегда изображает свои персонажи— зверей, птиц— в живописном окружении. Даже в самом маленьком рисунке он старается посадить птичку на веточку или травинку, зверя запрятать в лесную чащу, то есть показы-

вает их так, как они живут в природе.

Комаров — иллюстратор многих научных трудов. Назовем шесть томов «Птицы Советского Союза», монографию «Хищные звери»... И здесь: каждый рисунок — не просто зверь или птица вообще, это своеобразный психологический портрет. Тонкий знаток животных, Алексей Никанорович умеет привнести свое чувствование даже в самое крохотное штриховое изображение. И не случайно про его рисунки говорят, что они открывают животных. Природа предстает в его произве-

дениях населенная бесчисленным количеством живых существ, самых разных, а все они — каждое по-своему

красивое.

Надолго сохранилось впечатление от выставки работ А. Н. Комарова, устроенной в помещении Литературного музея Е. Никитиной. Переступаешь порог зала и останавливаешься в изумлении: как необыкновенно прекрасен мир! сколь он разнообразен! Все это, кажется, ты знал теоретически, из учебников, из книг. И вдруг все предстало воочию, одухотворенное, да, да, именно одухотворенное... Как говаривал еще Пришвин, всему — и зверю, и облаку — человек придает свой образ и смысл! То же чувство не покидает тебя и в Песках, в мастерской художника.

Упомянутая выставка кочевала по многим залам столицы, была в издательстве «Просвещение», и то, как подолгу и неохотно выпускали ее из своих стен, говорит само за себя. Человеку радостно видеть, что он не один

на свете.

На памяти выступление одного из видных советских деятелей культуры на обсуждении произведений Комарова: «Поражает достоверность всего изображаемого Алексеем Никаноровичем, удивительное знание жизни... Вот умершие охоты — это псовая русская охота. Чего только не рисуют те, которые никогда не охотились! Они не считают нужным вникать в детали. У Алексея Никаноровича каждая деталь на картине верна. Борзятник, помещик стоит — это настоящая жизнь во всех подробностях. Кинжал правильно сделан. В этих работах я почувствовал всю русскую литературу — и Чехова, и Тургенева, и Горького... И еще вот что: когда смотришь на картины Комарова — ясно ощущаешь, что таких зайцев, таких собак, кошек, таких белок может рисовать только очень добрый, очень хороший человек...»

Художников, изображающих животных, называют анималистами. Алексею Никаноровичу Комарову суждено было стать старейшим, или, точнее, по времени первейшим, советским художником-анималистом. Он, да еще И. С. Ефимов и В. А. Ватагин, явились основоположниками анималистического искусства у нас в стране.

Есть ли у него ученики, последователи? Сам Алексей Никанорович никогда не говорил об этом. Случай помог мне прояснить эту сторону жизни мастера. Случай часто идет нам навстречу, когда мы того не ждем.

«Добрый день, Борис Степанович!

Пишет Вам учащийся Пермского художественно-графического педагогического училища № 4 Чебыкин. В 6-м номере «Следопыта» я познакомился с Вашим материалом о художнике Комарове. По моей просьбе редакция дала Ваш адрес. Извините за беспокойство, но я не мог Вам не написать.

Все то, что Вы пережили, будучи в Песках, я видел и тоже пережил в январе 1969 года. Это я пронесу через

всю жизнь.

Еще до школы я пристрастился к бумаге, краскам, карандашам, затаив дыхание следил, как рисует старшая сестра. А потом брался сам. Одновременно я полюбил все живое: кур, гусей, кошек, собак, лес, цветы, зе-

леную траву.

Потом школа; любимые предметы рисование, черчение, зоология, ботаника, география. Уже учась в школе, я знал, что все рисунки животных в учебниках и таблицы по зоологии сделаны художниками-анималистами А. Н. Комаровым и В. А. Ватагиным. Позднее журнал «Охота и охотничье хозяйство», книги о животных и— опять рисунки Комарова. И вот в одном из номеров «Охоты» профессор-орнитолог С. С. Туров пишет статью о Комарове в связи с 85-летием. Это первый материал, который я нашел о художнике. Позднее встретил статью в «Огоньке» и еще в книге В. Пескова «Шаги по росе» рассказ (очерк) «Рисунок с буквой «К». Имея уже небольщое представление о художнике, я очень внимательно следил за печатью и жадно читал и смотрел все новое о нем.

А потом началась служба в армии. Когда командир роты получил очередной номер «Охоты», я увидел новый рисунок с буквами «А. К.» Написал в редакцию, а через неделю получил письмо от художника и рисунок рябчика. Так мы заочно встретились. Посмотрите журнал «Охота и охотничье хозяйство» за 1967 год, 6-й номер. В разделе «Письма читателей» есть заметочка «Люблю рисовать». Это редакция напечатала выдержку из моего письма, когда я просил у них адрес художника.

В январе 1969 г., когда служил уже третий год, мне был предоставлен отпуск на родину. По приглашению художника, я посетил его в Песках. Здесь я еще познакомился с Туровым, научные труды которого много иллюстрировал Комаров. О встрече я расскажу в следующем письме. А пока скажу, что переписываюсь с Комаро-

вым и Туровым. С Комаровым обмениваемся рисунками. Он отличный педагог! На все мои работы дает очень ценные советы, пожелания. Имею много его рисунков, акварелей, книг с иллюстрациями, репродукций с картин. Сделал альбом «Художник Комаров». Есть материал и о дригих анималистах: Ватагин. Горлов. Трофи-

Теперь коротко о себе. Учусь очно на 3-м курсе. Будущая специальность — учитель рисования и черчения. Очень люблю природу, зверей, птиц, занимаюсь рыбалкой и охотой. Больше предпочитаю последнюю. Имею сравнительно хорошую библиотеку. Книги о природе, охоте, о художниках, методические книги по рисунку и живописи. Очень люблю писателей, классиков, натуралистов, охотников. Особенно Черкасова, Аксакова, Бианки. Скребицкого, Терника, Арсеньева, Пришвина...»

Дальше шло приглашение переписываться, опять же в надежде больше узнать о своем кумире Комарове, а также навестить, если окажусь в Перми, чтоб познакомиться лично, указан подробный адрес, и в заключение:

«До свидания. Володя Чебылкин. 28.10.71».

мов Кондаков Воробьев и др.

Володя познакомил меня с письмами Алексея Никаноровича. Они весьма примечательны. Даю их в выдержках.

Одно из первых: «Когда кончите свою службу, приезжайте ко мне. Я постараюсь дать Вам кой-какие советы».

А дальше шло уже запросто, как говорится, по-свойски:

Здравствуй, Володя! Поздравляю с праздником. Будь здоров и работай. Рисуй больше с натуры. Изучай каждого натуршика до конца.

Учись, работай и никогда не довольствуйся достиг-

нутым.

Рисуй с натуры, делай эскизы, композиции, пробуй и карандашом, и углем, и акварелью, и маслом. Овла-

девай техникой, будет легче рисовать.

...Без работы таланты пропадают. ...Рисуй цветы. Старайся брать краски чище, ярче, чтобы не было грязи. Рисунок делай вернее, тверже. Без рисунка картина развалится. Теперь молодые художники увлекаются модой, уродуют натуру. Не следуй их примеру — это временное увлечение — оно пройдет. Крепкий рисунок и верный тон всегда будут цениться.

...Я очень рад, что мои рисинки пробиждают в людях любовь к природе и к животным — именно это я и

стараюсь пробидить в людях.

Raш <mark>писин</mark>ок для газеты плох, но я бы не хотел более точного рисунка деревьев. Они у Вас сделаны явно без натиры. Старайтесь изичать натири, каждию мелочь. каждию деталь и иже потом, хорошо зная, что рисиешь. старайтесь обобщить, не искажая рисунка и отбрасывая только ненижные, лишние детали и этим исиливая впечатление. Глихарь и вас растрепан, крылья оканчиваются более окригло, шея не так раздита... Я очень строгий критик, но Вы не обижайтесь... Я не знаю, как Вы владеете красками, но димаю, что при желании и исердии Вы добьетесь хороших резильтатов и станете анималистом. Самое тридное это рисовать лошадей и собак. Их мы хорошо знаем, и малейшая неточность бросается в глаза. Рисия бегемота или крокодила, никто не заметит ошибок — никто хорошо не знает их, а лошадь — совсем дригое, и настоящий лошадник срази заметит ощибки. Работайте не спеща

Рисинки птии не плохи, но Вы портите их необыкновенными штрихами, какими-то каракулями вроде этого... (неразборчиво). Что это? трава? вода? непонятно... Если рисуете дерево, то надо рисовать так, чтобы было видно, какое это дерево. Селезень сидит на кочке или на гриде камней? Сзади что-то похожее на вешки. а может, и на травинку, глухарь очень коротконог, головаст и хвостат и утопает в каком-то сене. Гуси, пожалий, лучше всех. Все рисунки все же не плохи, и, как мне кажется, Вы, Володя, чувствуете животных, Теперь, конечно, Вам трудно выбрать время для рисования, а потом Вы бидете рисовать. В Перми есть зоопарк. и было бы Вам интересно попасть туда...

Здравствуйте, Володя! Получил Ваши три рисунка. Неплохо. Только гончие и заяц — все бегут в разные стороны. Рисуйте, Володя, с натуры. Попросите Ваших товарищей посидеть часик и нарисуйте портрет. Легче в профиль. Это будет Вам очень полезно. Я сейчас очень занят и на охоту не хожу; да и вообще я уже не охочусь. Во-первых, я для этого слишком стар (мне 89 лет), вовторых, мне уже неприятно убивать, а в-третьих, у нас. кроме мышей, никакой дичи нет, и, в-четвертых, у меня гончих нет, а есть только две дворняжки и борзая.

Хочешь быть хорошим художником — работай, работай и работай. Рисуй с натуры и вырабатывай крепкий, верный рисунок. Постепенно ты будешь узнавать много новых истин о композиции, о пятне и теме.

...Мы тут замерзаем, и, несмотря на топку печей, у нас термометр не подымается выше 17 град., а утром 9—8 гр. Я, когда немного оттаю, кое-что работаю. И мы и Туровы все тебя хвалим за твое упорное желание быть художником и уверены, что ты им будешь. Так держать! Рисуй, пиши и добьешься!

И опять переходя на «вы»:

Здравствуйте, Володя! Мне понравился Ваш рисунок селезня. Есть движение, и рисунок легкий: пейзаж из двух колосков кучи вполне дает представление, где находится птица. Вообще пейзаж нужно рисовать как можно проще, и достаточно одного пенька или камушка, чтобы было все понятно. У Вас часто пейзажи не соответствуют зверю и заяц кажется величиной с лошадь. Старайтесь этого избегать!

...Надо строже следить за каждой линией в рисунке и не делать так, не глядя. Рисовать животных надо, долго изучая их. Один рисунок не удался, делай другой, третий, десятый, а на пятнадцатом, может быть, и выйдет. Зверь и птица состоят из костей, мускулов, шерсти, перьев, и нужно, чтобы в рисунке все это чувствовалось!.. Работайте, Володя, и добивайтесь точного рисунка, чтобы зверь был живой, чтобы каждая линия, каждый штрих был на месте и был бы красив. Акварель у Вас не нарисована и тяжела по тону. Акварель надо стараться делать легче, воздушней. На мою критику не обижайтесь...

...Вы молодец, Володя! Так и продолжайте: хорошо учиться и работать, работать, не покладая рук. Мой Вам совет — читайте больше, читайте классиков — Тургенева, Чехова, Толстого, Бунина, Некрасова и уж конечно

Пушкина, Лермонтова. Этих надо знать на память. Художник должен быть образованным человеком. Будьте здоровы.

В 1934 году по указанию Советского правительства группе художников отвели близ города Пески, что по Казанской железной дороге (а если ехать автомобилем — по Рязанской дороге), близко от деревни Коломны, участок земли, поросший лесом. Выбирать место, говорят, приезжал К. Е. Ворошилов, еще кто-то из больших людей, утвердил М. И. Калинин. Годом-двумя позднее организовался дачно-строительный кооператив для художников. Народная власть хотела, чтоб художники жили хо-

рошо, творили больше. Дали денег на постройку. «Дивная березовая роща, высокие старые сосны и дубы; в мелком осиннике вся земля в ландышах. А какой запах! — вспоминал Комаров. — Поглядел и... Не может быть никакого сомнения — я покупаю этот участок и поселяюсь здесь. Прощай, Москва! С меня хватит городской муки, хватит шума, толкотни, газа, редакций, пятых этажей. Хватит!» Стучали топоры, строились первые дачи. Вскоре вырос поселок Художник. Комаров из Афанасьевского переулка на Арбате, где долгое время находилась его мастерская, перебрался в Пески. Здесь жили Лансере, Лентулов, Куприн, Бакшеев, Горелов, Пименов, скульпторы Шварц, Козловский. Позднее неподалеку поселился режиссер Сергей Герасимов с Тамарой Макаровой; совсем рядом, за легкой деревянной изгородью, — профессор С. С. Туров с семьей. За прошедшие десятилетия многое изменилось, иных уж нет... Появились другие соседи. А он с тех пор безвыездно жил здесь. Накопленных впечатлений хватило бы даже не на одну такую жизнь, как его, и он не испытывал недостатка в выборе сюжетов, тем. Наоборот, они всегда переполняли его голову. В Москве появлялся изредка, лишь когда надо сдавать в издательство или редакцию очередную «продукцию», рисунки, картины. Рассказывают, когда был моложе, транспортом пользоваться не любил. Ну, и здоров был. Из Песков в Москву — 98 километров — ходил пешком; утром пораньше выйдет, к ночи в Москве.

«Когда приехал сюда, мог от станции до поселка пробежать рысью». В мастерской — зиму и лето, тут и спит; утром позавтракает — и за работу, до обеда. После обеда небольшая передышка, вздремнет полчасика и опять. Теперь уже до вечера, пока темнеть не начнет. В душегрейке-безрукавке. И так непрерывно день за днем, год за годом. «Спать — около десяти часов, не позже, сна должно быть достаточно. Встаю, как Онегин: «В седьмом часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке...» и так далее. Надо крепко держаться, а то как раз сведут». (Сведут раньше времени годы в могилу, лишишься сил?)

«А когда приехали, — продолжает свой рассказ Алексей Никанорович, — были пни и песок. Местные жители говорили: «Что вы стараетесь, здесь ничего не растет». Покупали удобрения, сотни возов навоза, чтобы создать почву. Мужики смеялись: «Что ты, Лексей Никанорыч, разве тут дождешься яблок!» Дождались. В 1939—40 году все померзло, начинали сызнова. Участок понравился из-за домика. Потом пристраивали. Потом привез ма-

стерскую и уже больше в дом не захотел...»

Подвижническая жизнь. В истории известны такие. Беседовать с ним было одно удовольствие. Мысль ясная, ум живой, гибкий, несмотря на возраст, превосходная память и какая-то удивительная ясность, чистота помыслов, отношения ко всему, что было, есть и будет... Право, эта жизнеспособность, жизнелюбие восхищали: в такие-то годы! Сели за стол, нальет себе стопочку перед принятием пищи (только одну — и баста, хватит; в молодости, говорят, пивал чистый спирт, настоянный на калгане, да что о том вспоминать, было и прошло). Завязалась беседа, расскажет анекдот к месту, какое-то воспоминание из прошлого, слушать любо-дорого. А когда приедет сосед Сергей Сергеевич Туров, и вовсе... Смех. юмор, шутки. Хозяин и тут не уронит своего достоинства. Обаятельный! А каков был смолоду? Женщины сохли небось.

(К слову, поистине удивительна была его семейная жизнь. Трижды женат, на трех сестрах. Сперва, влюбившись, женился на старшей. Прожили вместе довольно долгое время. Заболела, умерла. Женился на второй сестре. Умерла и эта. Взял третью, младшую. С нею и доживал век... Так вот иногда может распорядиться судьба.)

...Мы подолгу сидим за столом, беседуем, не хочется подниматься. Интересно! Когда погода балует, обед в легкой летней веранде; тут же кухня. В застолье участвует весь наличный состав, свои и приезжие, за исклю-

чением домоуправительницы тети Шуры. Она и домработница, и главный распорядитель, вечно в хлопотах; на ней весь дом. Пожилая, энергичная, в платочке, с округлым полным лицом. Разговор о всяком-разном.

— Одна курица пропала, не ночевала дома, — докладывает тетя Шура, скрестив руки на груди, что означает: моей вины нет. я ни при чем. Спрашивайте с других.

— Может, села где-нибудь...

— Может. Придет с цыплятами.

Да как и не прийти. Еж — лесной житель — и тот приходит из леса, попьет молока и уходит. Хорошо здесь всем. Всех привечают, обиды никому никакой. Вон — опять здесь...

Налей ему молока, — командует Шура. Ежу, значит.

У тети Шуры тульский говор: табе (тебе), яму (ему), тады (тогда), шанка (щенка), почтва пришла (понимай — почта, разносчица газет и журналов), а также свое — лисапет (велосипед), манаес (майонез), мардельтерьер (эрдельтерьер)... ну, и т. д. Животных она любит, покровительствует им, но требует порядка во всем.

Тетя Шура живет у Комаровых уже более двадцати лет, родной, близкий человек, но вкус остался такой, какой был привит с детства, всем говорит «ты», кричит, командует. Воюет с Сильвой, борзой: та уходит из вольеры. Перемахнет через загородку (что ей стоит), потом приходит.

— Қак придет, у сарае запрем. Пусть сидит, как у темнице.

Ну, у темнице так у темнице, хотя все знают, что это лишь слова, никакой темницы у Комаровых быть не может.

Косматый Мурзик, как всегда, не отходит от хозяина, смотрит на него влюбленными глазами. От ворот донесся автомобильный гудок — с лаем кинулся туда, проверить, кто пожаловал. Мурзик вообще любота: приехала Таня, комаровская падчерица, устроил истерику любви.

Сколько здесь собак, я уж и не знаю; да, наверное, и сами хозяева затрудняются сказать точно. Бродячая собака принесла щенков под домом; один из них стал Бобка. Бобку держали вместе с лисой в клетке; кормили вместе, чтоб подружились. Бобка (она) другая собака, ни к кому не подходит.

Бобка — супруга Мурзика, однажды провинилась, ее наказали, с тех пор осторожная, людей сторонится. Только не хозяина. Показатель (так ее прозвали) — куда ушел хозяин, лежит на дороге, головой в ту сторону. От ворот не уйдет, пока не вернется. Вот она, собачья

страстная скрытая любовь!

Вихря (еще одна борзая) привел молодой рабочий. скромный такой, воспитанный, живет неподалеку, не то в Коломне, не то в Песках, не поняли: прочитал в журнале «Охота и охотничье хозяйство» рассказ Комарова о борзой охоте — и вот к нему. Пристала собака. Пять рублей заплатил за собаку. А куда девать? Первый хозяин бил. Думал, будет сторожить, а она не сторожит. Он ее бил, ногой пинал. Сосед видел, пожалел и выкупил за пять рублей. Оказалась ворованная. Вихря украли в декабре, полгода назад; при мне приехали за ним. Вихрь белый с коричневым, очень худой, тихий. Вежливый, лапу давал. Много пережил, какой-то печальный. А бежит. земля дрожит. Когда уводили, сжался, в глазах тоска, весь какой-то поникший. грустный-грустный. «Хозяин не любит не выпить. И собаку потерял», - прокомментировал Алексей Никанорович. Сказал без всякого выражения, но от этого слова приобрели особую выразительность. Я рассказываю подробно потому, что вот на таких экземплярах, наверное, художник изучал повадки и характеры животных, и не только животных.

Границы участка собакам переходить строжайше воспрещено, и, надо признать, они, за исключением бегуньи Сильвы, весьма исправно исполняют этот наказ. Забавная сценка. Под плетеной изгородью дыра, ее проделал грач: сажают лук, а он выдергивает, бросает, огурцы тоже, а когда его гонят, ныряет в дыру, летать не желает. У дыры сидят с той стороны соседский Аббас, курцхаар, с этой — Мурзик, грача они не трогают, но если

сунется кто другой, поднимают гвалт... Умрешь!

Собакам он воздал должное в творчестве (не случайно взялся иллюстрировать мои «Рассказы о верном друге»). В Дарвиновском музее (тоже поработано было немало) они составили целый раздел, или, говоря по-современному, цикл: собаки на войне; собаки на охоте; собаки друзья человека; сторожевые собаки; собаки и их хозяева. (Делалось в голодные годы, вспоминал он, оплата была натурой — овсом, отрубями, ну, да еще спирт; то, что удавалось достать музею. Тогда же была выполнена серия работ о лошадях, лошади в литературе.)

Живности вокруг много. Две козы, белая и черная, мать и дочь. Хозяева пьют козье молоко. «Натуральное хозяйство», — шутит Комаров. В баках дафнии для аквариума: «Ловлю дафний». У внучки хомячки. А еще скворцы, синички-мухоловки, голоса их все время висят в воздухе. Не редкость услышать и соловья... Хорошо! Рай земной.

Не случайно тут постоянно народ. Когда бы ни приехал, обязательно кто-то есть, в субботу, под воскресенье, особенно много. Еженедельно появляется (приезжает на сво й машине) Таня с дочками Катей и Маришкой; частенько наведываются Володя — брат Натальи Александровны, Леня, мальчик, двоюродный племянник. Приезжают, гостят ученые, художники, живут месяцами. Из Коломны приезжают смотреть, как цветет сирень, перетрум. «Вам не холодно? — осведомляется он. — Какой-то зябкий стал, кровь не та, не греет. . .» А сам по-прежнему, как повелось уже много лет назад, днюет и ночует в мастерской, в святилище его таланта. Седой, с тростью, в теплой безрукавке, невозмутимый и приветливый ко всем. без различия, откуда и кто ты.

Наталья Александровна побыла с гостями и занялась очередными делами, не тратит время зря. Неутомима: то стучит на машинке в беседке, то возится с цветами, веселая, всегда в ровном расположении духа. Гладиолусы собственной выводки, не желаете взглянуть? Целая плантация гладиолусов. Селекцией гладиолусов она занимается с 1947 года. А вообще увлекаться цветами начали с конца войны; до этого сажали картошку. Сирень была натыкана маленькими хвостинами, сообщает она, потом пришлось срезать и прививать. Сейчас все очень хорошие сорта. Ирисы — «тициановский тон»... (Жена художника, чувствуется!) С ранней весны до поздней осени

что-нибудь цветет.

Внучка Мариша тоже спешит вставить слово:

— Посмотри, деда, какая красота. Лилии.

— Зачем выдирали? — охлаждает он ее пыл.

— Я маме...

— Не надо выдирать. Все выдирают... Посмотри, какие облака красивые, — говорит он через минуту, обратив лицо вверх. Следуя за его взглядом, она тоже уставляется глазенками в небо, смешно вытягивая шею и моргая: что там увидел дед?

Прилетел рой пчел. Они каждый год прилетают.

— «Пчела за данью полевой летит из кельи воско-

вой...» — Память у него по-прежнему хорошая, то Пуйкин, то Майков или еще кто из классиков приходит на язык

- Пчела норовит ужалить в самое чувствительное место: под глаз, еще куда-нибудь... Такое зловредное животное...— опасливо произносит Таня, замедляя шаг
- А ты их не бойся, и они тебя трогать не будут. А мед любишь есть? А кто опыляет растения? И он безбоязненно берет запутавшуюся пчелу двумя пальцами и затем отпускает ее на волю. Пусть живет.

Каждое живое существо вызывает у него сочув-

ствие.

Маришка притащила ежа: «Отпусти!» (После еще тетя Шура будет бранить: «С тобой бяда. Все у дом волакёт!»)

В сад входить — все заросло, ветки царапают лино.

— Надо сказать, чтоб подрезали, надоело кланяться... Наташа, ты срежь, шапку снимает!

— Срезать не буду, очень плакать будет, сок течет, —

возражает мужу Наталья Александровна.

Дошли до мастерской, тоже надо пригибаться, входя.

— В царских палатах двери были низкие, чтоб кланялись, — шутит художник.

Необычайно интересно беседовать с ним, слушать

ero.

— Скворец... поет-заливается... люблю! — и не гнушается вставлять в свою песню: курица кудахчет, жеребенок ржет, по-собачьи лает, а то, слышь, иволга... Виртуозно!

Огонек (у печки) — это святое дело. Весь город Москва огонька не видит. Все удобства, кроме огонь-

ка. . .

Вот придет зима, упадет снег, будет светло, тогда и работа пойдет... (Он считает, что работает еще мало, непродуктивно, хотя дня не прожил без работы!)

Вспоминая Шурино угощение (одновременно воспоми-

нание о давно минувшем):

— Пироги пекут у нас неудобные для резки, круглые.

Пирог должен быть на четыре угла...

Разговор опять переходит на животных. Внучки ходят в конноспортивную секцию, катаются на лошадях.

Катя, старшая, пасла стадо, чтоб потом ей дали прокатиться верхом на лошади. Маришка как одержимая, помешана на лошадях. Обе изучают английский язык, Маришка заявляет:

- В английском языке для неодушевленных предме-

тов и животных одно местоимение.

— Қак?! — искренне возмущен дед. — Я бы такой язык учить не стал!

Таня - гостю (она улыбчива, в мать, и любит

шутку):

— Маришка как-то перевела: Аня видит неодушевленное животное... Теперь мы ее и дразним: неодушевленное животное...

Комаров:

— Слишком большое углубление в науку всегда приводит к таким результатам.

Затаенная тихая грусть звучит в голосе художника,

когда он говорит, делясь своими раздумьями:

— Люблю я природу. Особой заслуги в этом нет... Сколько я зайцев перестрелял. А теперь жалко... Теперь не стал бы стрелять. Ну, в то время, знаете, сколько зайцев было! Это очень веселая охота, интересная, подвижная. Когда хорошие гончие, так они погонят, такой гам, гомон в лесу поднимается... А теперь жалко. Теперь не стал бы стрелять...

Его заботит положение с природой и животным миром, сложившееся за последнее время. В словах большая

тревога:

— Сейчас все время сожалею: природа уходит, та дикая природа, которую я любил: тишина в лесах, зверь жил, как хотел, охотников было мало, птица почти не пуганая... А сейчас несчастные звери. Как они удерживаются? Каким-то чудом еще живы. Идет неумолимый процесс. И ничего не сделать. Все застраивается: где были дикие леса, города выросли. Пожары в тайге. Зверя остается все меньше и меньше. Неужели ничего нельзя сделать? Такие звери, как рыси, медведи, исчезают и скоро исчезнут совсем. Стараются беречь некоторые энтузнасты; а для большинства безразлично, будут или не будут звери, без них даже спокойнее... И химия. Жестокую службу она сослужила природе. Ведь росли сады, никто их не посыпал, были птицы, и были яблоки... Теперь заговорили о биологической защите. Я считаю: что посыпают, что не посыпают, урожай один и тот же. Возникла привычка — посыпать! Если год яблочный —

есть яблоки, девать некуда. А когда их нет, так

И снова:

— К охоте я сейчас отношусь отрицательно. Какая охота, на кого? Изобилия дичи нет. Ну, убъешь, а какая польза? Та же лиса, тот же заяц. Украшение природы. Как бриллиант! У нас тут был лесник, ходил, стрелялдятлов. А дятла убить легче легкого, сидит, доверчивый. Убил бекаса. А к чему он ему, собственно, этот бекас? Я понимаю, когда человек зависел от охоты... Охота — страсть каменного века, когда человек жил охотой. А сейчас надо жить без охоты...

«Когда-то, в молодости, жил волчьей жизнью. То есть тихо, в лесу, кругом лес дремучий, никаких тебе телефонов, телеграфов, телевизоров. . .» Это также его слова. Не тогда ли зародилась у него любовь к этому прекрасному сильному зверю, так преследуемому человеком, но и по сию пору не сдающему своих позиций в борьбе за существование? Волки часто встречаются на его полотнах. А может быть, это пришло еще раньше, когда мальчик Алеша шел с тетушкой по базарной площади и вдруг до него донесся звериный рев. . .

— Что я хотел? Чего добивался? Я старался, — говорит он медленно, взвешивая каждое слово, — заразить зрителей... я считаю их своими союзниками, по крайней мере хочу, чтоб они были ими... заразить своей любовью к зверям и птицам нашей родной природы. Это

так нужно, так важно!

И как плод долголетних размышлений, важный вывод, который нужно знать всем: «Вечное стремление человека к красоте при соприкосновении с миром живой природы рождает экстаз, который подобно вольтовой дуге, вызывающей молнию, рождает в одаренной душе высшее счастье — счастье художника, творца».

Говорит, а руки все время в движении, непрерывно что-то делают, то возьмут карандаш и чертят на бумаге, то перекладывают нарезанные ватманские листики, как бы подготовляясь к очередной работе, без которой он не

представляет жизни.

Смотришь — и снова начинаешь перебирать в памяти: чего только они не создали, эти сухие, морщинистые, но все еще уверенно держащие карандаш и кисть, руки. «Путешествие по басням Крылова». «Зоологическое лото» (игры на русском, французском, немецком. Животные жарких стран, севера, домашние, нашего леса; тут

же жучки, рыба, лягушки, змеи. Кстати, почему не перенздают? Рисовал не спеша, хорошо). Чеховская «Каштанка», еще до революции иллюстрировал (любимый писатель Чехов). Иллюстрации для научных книг. Рисунки для журнала «Мурзилка» (издание «Рабочей газеты», 1928). Для издательства «Малыш» — «Домашние животные», «Звери наших лесов», «Звери жарких стран», «Домашние птицы», «Жучкина родня» — все родичи собаки. «Хохлаткина родня» — родственники кур, «Кошкина родня» — все семейства кошек... Готовили к изданию энциклопедию животных Казахстана — Комаров три года ездил по Казахстану, проиллюстрировал ее. Иллюстрировал П. Мантейфеля «Рассказы натуралиста», Ушинского «Петушок», С. Михалкова, Скребицкого, «Колобок», «Теремок»... Да все просто невозможно перечислить!

«Много порисовал», — вспоминая свои работы, гово-

рит он.

Это все рисунки, акварели. А еще живопись, работы маслом. В Дарвиновском музее 172 картины. Марки, открытки, конверты с его рисунками (звери, птицы). «Живые самоцветы» — птицы. Большая тематика — материн-

ство (рыси, медведи, лоси, жеребята).

«За рубежом анималистов тоже мало, обращаются в Россию». Это значит, что и к заказам заграницы тоже приложил руки. «Пускай поглядят». В журнале «Охота и охотничье хозяйство» непрерывно работал почти десять лет, пока фотографии в журнале не вытеснили рисунок. Но главное — рисунки для детских изданий.

Классик детской иллюстрации, песковский отшельник, как прозвали его друзья, он создал такое количество рисунков, что, если бы попытаться показать их все разом, не хватило бы всех выставочных помещений Мо-

сквы.

Много поколений советских ребят выучилось по букварям с рисунками Комарова и даже не знали, что эти чудесные картинки, которые они так любили рассматривать, сделал он. Лишь не так давно в наших учебниках и букварях стали писать фамилию художника. Считалось, что это работа незаметная. Но можно ли считать незаметной работу, которая открывает целый мир!

С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре...

Эту работу оценило наше правительство, присвоив художнику А. Н. Комарову сперва звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, затем — в 1972 году — народного художника РСФСР.

Прибывали годы: 90, 91, 95... Теперь я бывал в Песках регулярно. Живая природа (рисунки к анималистической книге) в свое время свела нас: природа, а точнее, забота о ней (последние десятилетия о белах природы стали писать и говорить так много) сделала друзьями и единомышленниками. Всякий раз Алексей Никанорович радовал новыми акварельными и штриховыми работами. Он не оставлял карандаща и кисти, и, более того, как справедливо отмечал С. Туров в статье к 95-летию художника, произведения этих годов были отмечены особой свежестью колорита и твердостью рисунка. Как и прежде, вставал рано, мылся холодной водой, завтракал и, совершив прогулку по саду (это у него было как физзарядка), садился работать — за столом или у мольберта. Мало того: занялся сочинительством — начал писать чудесные рассказы-воспоминания, пережитое виденное, озаренное светом собственной сказки...

Далеких лет воспоминанье, Цветов увядших аромат...

Все было здесь теперь мне так знакомо и так близко. Наталья Александровна была все такая же, неутомимая, вся в хлопотах, разве что прибавилось серебра в волосах. Сетовала на птиц («Обыкновенную рябину не могу собрать — дрозды склевывают». То же с вишнями: «Дубоносы налетят — все косточки выклюют, ягодки висят, а косточек нет»), но все так же подкармливала синиц, в саду гнездились горихвостки, завирушки пеночки; попрежнему теплыми летними вечерами где-то неподалеку от дома в густой чаще пели-заливались соловьи; по-прежнему ее любимыми конфетами (они не переводились здесь) были коломенские «Коровка»; и по-прежнему все население — в первую очередь Наталья Александровна — ревниво следило за состоянием здоровья «хозяина», нежно-заботливо опекало его...

Кипы акварелей на столах в мастерской все росли, листать их было сплошное удовольствие. Особое наслаж-

дение доставляло разглядывать чудные картины (масло), хранившиеся на чердаке дома (зимняя удалая тройка, взлетающая на заснеженный пригорок; косоланый мишка в осеннем золотом лесу, уплетающий ягоды рябины; и др.). Впрочем, можно ли сказать «хранившиеся», когда они подвергались изменениям температуры (чердак не отапливался), но другого места для них не находилось.

Я не находил во внешности Алексея Никаноровича никаких заметных изменений; разве что говорить стал чуточку медленнее, с перерывами. Впервые, когда ему исполнилось девяносто три года, он пожаловался: «Чтото у меня работоспособность понизилась». «Понизилась»... на десятом десятке! Не многие смогли бы похвалиться тем же. Еще сказал, что бессонница мучила всю зиму, «сейчас ничего». И опять порадовал очередными акварельными и штриховыми работами. Глядя на эту неутомимость, окидывая мысленным взором тот большой, наполненный неустанным трудом и непрерывным поиском век, что подарила художнику судьба, невольно начинаешь думать, что природа, наверное, благосклонна к таким людям и дарит часть своей животворной силы тому, кто ее воспевает... Разве не говорим мы, что в при-

роде существует высшая мудрость!

В начале октября 1976 года с редактором Центрального телевидения Алешей Макеевым мы приехали навестить его. Приехали, как говорится, не без корысти, но с корыстью хорошей: студия в Останкине, прослышав о нашей дружбе с А. Н. Комаровым, вознамерилась выдать в рубрике «В мире животных» нашу беседу за рабочим столом мастера. 14 октября художнику исполнялось 97 лет. В таком возрасте юбилейный — каждый год. Перед тем я года полтора не был в Песках. Впервые я заметил в Алексее Никаноровиче резкую перемену. Он заметно сдал, передвигался, тяжело опираясь на палку, одевался и раздевался, вставал с сиденья с помощью близких, тем не менее был приветлив, как обычно, сдержанно шутил. Поразило обилие новых рисунков; особенно великолепны были работы, выполненные сухой кистью (гуашь). Его мастерство продолжало крепнуть, казалось, лишь сейчас он доходил до его высот. Сухой кистью владеют не многие, а он создавал поистине волшебные по выразительности вещи. Алеша записал на магнитофон нашу беседу (увы, передачи-диалога всетаки не получилось, Алексей Никанорович был уже не тот). Пора отбывать. Внезапно Алеша схватил лежавший на столе чистый листик белой ватманской бумаги (не растерялся!) и положил перед хозяином мастерской со словами: «Алексей Никанорович, нарисуйте что-нибудь на память. Пожалуйста!» — «Вы хотите убедиться, что я все-таки сам рисую, — мягко пошутил Алексей Никанорович, подвигая к себе карандаш и бумагу. — Давно не рисовал, у меня рука не ходит», — и тем не менее в какиенибудь 10—15 минут нарисовал лошадь. «Уникальный дед», — сказала о нем падчерица Таня, когда мы, оставив гостеприимный комаровский дом, направлялись на станцию.

Это было последнее наше свидание.

Алексей Никанорович умер 31 марта 1977 года на 98-м году жизни. Только два года не дожил до ста лет!

...Да, каждый большой художник оставляет свое имя месту, где провел долгие годы и создал значительную часть своих произведений, которому подарил кусочек своего сердца. От имени Репина неотделимы Пенаты; с Прикамьем прочно связан Шишкин; с Крымом — Айвазовский...

Интересно, что станут говорить спустя годы о Пес-

#### в ворзеле, у лятошинского

С Борисом Николаевичем Лятошинским меня свела

общая забота о «братьях наших меньших».

Еще задолго до нашего знакомства до меня \_ эносилось, что Лятошинский сочувствует идеям охраны природы, особенно — животного мира. Позже, приезжая в Киев, я всякий раз слышал от товарищей, принимавших участие в работе секции охраны животных, что членом секции состоит композитор Лятошинский. «Знаете Лятошинского?» Как не знать! Говорилось с гордостью и надеждой: что-де, раз v нас в активистах такие люди, секция не пропадет. К слову сказать, секция переживала трудные дни, работа только начиналась, не все понимали ее значение и смысл осуществляемой ею деятельности, и действительно нужен был авторитет отдельных людей, чтобы отбивать наскоки со стороны тех, кто считал все это ненужной блажью, пустой забавой бездельников, которым некуда время девать, и выживших из ума старых барынь.

Долгое время нам не удавалось встретиться — мешали разные обстоятельства. Наконец, в один из очередных приездов в столицу Украины, приятный женский голос из квартиры Лятошинского, куда я позвонил по телефону, сообщил: «Бориса Николаевича нет дома, но он недалеко, в Ворзеле. Вы не хотите поехать туда? Борис Николаевич будет рад вас видеть. Я тоже еду туда...»

Обладательницей приятного женского голоса оказалась родственница Лятошинского. Она стала нашим гидом. Кроме того, сопровождать нас в Ворзель (я был с женой) вызвалась Елизавета Александровна Струцовская, член бюро секции и очень энергичная женщина. Она едва ли не чаще других поминала имя композитора, убеждая, что нам необходимо встретиться. Я думал, они давно знакомы; оказалось — виделись впервые.

Ворзель — очаровательное дачное местечко, пригород

Киева. Домов почти не видно — все тонет в зелени. Через заборы свешиваются яблоневые и вишневые ветки. Пс земле рассыпаны солнечные блики. Вероятно, творить, живя здесь, наслаждение.

У ворот дачи Струцовская вдруг оробела и остановилась в нерешительности: «Может, мне не ходить?» Из этого можно было заключить, что хозяин дачи не очень жаловал незваных гостей.

А вот и сам он идет навстречу, высокий, в сером костюме, довольно заметно сутулящийся. Характерное лицо с крупным носом, седые волосы, спокойный, будто о чемто вопрошающий взгляд глубоко посаженных глаз. Он не вы зал никакого удивления перед неожиданными визитерами (телефона на даче не было, и предупредить его не могли), тем более из таких дальних краев, как Урал, — встретились так, как будто были давно знакомы и хорошо знали друг друга, расстались лишь вчера.

Обширный участок дачи Лятошинского выглядел не то чтобы запущенным, но чувствовалось, что владелец его предоставляет хозяйничать больше самой природе. Деревья и трава росли там, куда ветер занес семя; только около дома присыпанная песочком площадка и разбиты клумбы. Птицы беззаботно вили гнезда на деревь-

ях — их никто не обижал.

В глубине двора была привязана черная собака. Еще две бегали свободно и, лениво взбрехнув раз-другой на пришельцев, показали нам хвосты, удалившись по своим делам. Я пошел по дорожке к черной собаке, которая внимательно смотрела на приближавшегося незнакомого человека.

— Не подходите, она злая, — предупредил Лятошинский.

Но черная псина вдруг сперва несмело, затем более решительно махнула хвостом и позволила погладить себя.

— Узнала родственную душу, — констатировал Лятошинский.

Он, казалось, все принимал как должное, с тем спо-койствием умудренных жизнью людей, взгляды кото-

рых на мир выработаны раз и навсегда.

Черный пес явился своеобразной прелюдией к разговору о животных. Мы установили полное совпадение взглядов на проблемы, порождаемые заботой о сохранении животного мира и правильном отношении к нему человека. Что скрывать, ведь еще очень часто мы обра-

щаемся с четвероногими друзьями не по-дружески, не по-человечески; а вред — какой вред отсюда для самого человека! Проблемы эти глубоко волновали Бориса Николаевича, он возмущался некоторыми необдуманными «обязательными» постановлениями, ущемляющими права владельцев домашних животных (имелись в виду собаки и кошки) и ставящими наших четвероногих спутников в положение изгоев.

 А если моя собака ведет себя лучше, чем иной подвыпивший гражданин, — почему я должен надевать на нее намордник?!

— Ну, намордник тоже нужен, — возразила Марга-

рита Александровна, жена Бориса Николаевича.

— Иногда, только иногда. Если всех собак одеть в намордники, дети будут считать, что так надо, что собака лютый зверь, которого надо бояться... А разве это правильно? Видели, как пес понимает, кто его друг... Разбирается лучше нас с тобой! Об этом еще и Бальзак

В гостях у композитора мы ни разу не заикнулись о музыке, не вспомнили о «высших материях». Разговор шел о повседневном, о земном, только о земном.

Борис Николаевич тогда, если не ошибаюсь, уже разменял седьмой десяток, временами похварывал, и, однако, это не мешало ему быть активным ратоборцем за дела живой природы. Он считал это делом совести. И именно поэтому, урывая крупицы своего бесценного времени, ходил по делам секции в различные присутственные места, чтобы помочь отрегулировать тот или иной вопрос. Все это он связывал с общей проблемой воспитания нравственного человека — главной цели нашего общества.

Струцовская — сама ярая сторонница всех этих дел в присутствии Лятошинского как воды в рот набрала. У меня создалось такое впечатление, что она то ли стеснялась, то ли робела перед нашим именитым хозяином, хотя он отнюдь не выглядел строгим или чванливым. Направляясь в Ворзель, она по дороге накупила полную сумку конфет и теперь, чтоб скрыть смущение и как-то оправдать свое присутствие, все предлагала конфеты. Борис Николаевич несколько раз пропустил это мимо ушей, а потом, видимо, когда ему уже достаточно надоело, сердито оборвал ее:

- Что, вы сюда ехали, чтоб посмотреть, как мы бу-

дем конфеты рубать? Давайте лучше обедать... Струцовская сконфуженно закрыла сумку и больше

не проронила ни звука. Маргарита Александровна бы-

стро собрала стол на веранде.

За столом я наконец уяснил одну особенность хозяина: он редко шутил и еще реже улыбался. А когда острота слетала с его губ, не всегда можно было понять — шутит он или говорит серьезно. Считается, что лучший юмор — произносимый серьезно. Борис Николаевич обладал этим качеством.

После обеда перешли в кабинет композитора. Общее внимание привлекли тонкие жердочки, соединявшие некоторые деревья. Одна такая жердочка спускалась прямо к открытому окну кабинета. Подумалось: для просушки

белья, что ли? Но почему так высоко?

— Для белок. Белки по ним спускаются... нет, не боятся! Чего им бояться? Придут и щелкают орешки на столе. А что съесть не успевают, утащат. У меня для них всегда есть запасец. — Борис Николаевич выдвинул один из ящиков стола и показал. — По дороге разроняют — ищут. Что-то найдут, а что-то останется. Видели молодые деревца? Я их называю беличьими посадками. Я их не трогаю, не пересаживаю. Где взошло, там и пускай растет. Но... — Тут голос говорившего погрустнел, на лицо набежала тень. — Меньше их стаёт. Белок. Раньше, бывало, десять, двенадцать живут на деревьях. Теперь три, четыре. Убывают...

Он произнес последнее слово как-то неясно, и я не понял, хотел ли он сказать «убывают» или «убивают». Впрочем, этот двойной смысл, пожалуй, тут оказался как нельзя к месту, соединив два понятия воедино и углубив значение того, что хотел выразить композитор.

Пока продолжалась беседа, в окно не раз влетали шмели и осы, очевидно, они тоже жили неподалеку. Их никто не трогал, и, пожужжав, они удалялись той же дорогой: через окно. Потом, как бы в подтверждение слов Бориса Николаевича, на конце жердочки показалась белка, любопытная мордочка заглянула в комнату. Повертевшись, изящный рыжий зверек вспорхнул на подоконник, оттуда на стол и принялся грызть орехи, беря из ящика и поднося к себе обеими лапками. Все смотрели на нее с улыбкой. Только Борис Николаевич оставался серьезен, казалось, он видел то, чего не видели мы.

Аста Нильсен однажды заметила: кому дано слышать музыку тишины, тот услышит симфонию небывалой красоты. Борис Николаевич был из таких слышащих и не

мог не сокрушаться, что есть «глухие», неспособные к вос-

приятию этой красоты.

Свое отношение ко всему тому, о чем мы в тот раз беседовали в Ворзеле, мне кажется, он с предельной полнотой выразил в письмах, полученных мною в ответ на присылку ему только что вышедшей из печати книги «О любви к живому».

Привожу их целиком.

«19/III.1967

Дорогой и искренне уважаемый Борис Степанович! Сердечно благодарю Вас за присылку Вашей заме-

чательной книги «О любви к живому».

Это, действительно, замечательная книга и по самой идее своей, и по подборке этих, таких коротких, но тем не менее очень сильных рассказов, и по большей силе убедительности, заложенной в ней. Найдутся, конечно. такие жестокие м....цы, а, сказать яснее, мерзавцы, на которых и эта книга не подействует, но все же, и я нисколько в этом не сомневаюсь, она принесет огромную пользу и многим людям «вправит мозги», многие если и не станут спасать животных, то хоть вредить им не будут. Но как мал тираж: 40 000!!

Я, конечно, не успел еще прочесть ее всю, но и те. которые я прочел (очевидно, главы. — Б. Р.), произвели на меня очень сильное впечатление. Сейчас книгу читает моя жена, но через неделю я смогу сам прочесть ее с начала и до конца и тогда позволю себе еще раз написать Вам обязательно, чтобы еще подробнее, еще полнее высказаться, но и сейчас уже, как я Вам написал, книга произвела на меня очень сильное впечатление.

Еще раз крепко Вас благодарю и крепко жму Вам

DVKV!

Ваш Б. Лятошинский.

PS. Я еще не встретил в книге отражения Вашего

приезда в Ворзель, но, очевидно, встречу.

PS. Наша секция охраны животных еле жива, т. к. некому работать почти. Кое-как тянем, но достижений мало.

Еще раз всего самого лучшего Вам!» (Об «отражении приезда в Ворзель» я сообщал ему еще в период работы над книгой или когда посылал ее. точно не помню.)

«22/IV.1967

Искренне уважаемый и дорогой Борис Степанович! Второй раз пишу Вам, чтобы повторно, от всего сердца, поблагодарить за прекрасную Вашу книгу, прочитан-

ную мной уже до конца.

Много в ней и страшного, но все же над всеми этими ужасными рассказами о зверских жестокостях «царя природы» над слабыми, над всем этим чувствуется идея книги — пробудить в человеке гуманное отношение к животным, его спутникам на жизненном пути. Вот я написал слова «зверские жестокости». В сущности говоря, это неверное выражение. Надо было написать «человеческие жестокости», т. к. «человеческое зверство» хуже «зверского зверства» и самый страшный зверь на земле — это, конечно, человек. Тигр не будет гоняться за оленем, если он сыт, не станет убивать его, только чтобы убить. Садизма ради.

Прочел я и Вашу, тоже очень хорошую статью «Шоры на сердце» в Литер. газете. Она у меня есть, т. к. эту

газету я выписываю.

Наконец начинается, хоть и черепашьими шагами, подготовка статьи уголовного кодекса о наказании за му-

чительство и убийство животного.

На днях мы были приглашены для ознакомления и обсуждения проекта этой статьи в Министерство сельского хозяйства. Несколько удивляет, что это начинается с сельского хозяйства. Понятно, что тут имеют дело с животными, но, казалось бы, такой проект должен был бы параллельно обсуждаться и в Министерстве юстиции. А может, так оно и делается.

Правда, там в проекте животные не называются «поименно», а говорится просто о животных вообще. Надеемся, что все же в конце концов появится эта статья о наказаниях. Тогда легче будет бороться с убийцами.

А тем временем у нас в городе продолжаются убийства и издевательства над несчастными животными. Трудятся и «самодеятельные»

убийцы.

Есть только небольшой прогресс в отношении диких животных. В постановлении горсовета запрещается уничтожать в парках, и вообще в зеленой зоне города, птиц, белок, ужей, ежей и проч. Запрещается пользование пневматическими пистолетами и рогатками. Но все это, увы, еще очень мало. Вот когда появится статья в уголовном кодексе, будет все-таки легче.

Итак, спасибо Вам еще раз за все!

Ваш Б. Лятошинский».

И — последняя встреча.

Дело с законом против жестокости на Украине продвигалось туго. Были сторонники, но были и противники его, считавшие, что он ни к чему. Воспользовавшись моим пребыванием в Киеве, товарищи созвали бюро секции, чтоб обсудить создавшееся положение. Я представлял московскую секцию охраны животных, одновременно являясь и полноправным членом киевской: товарищи киевляне оказывали мне честь, по примеру москвичей, выбирая членом бюро своей секции.

Собрались в кабинете редактора журнала «Перець» Ю. Макивчука, — он в то время возглавлял киевскую секцию. Пришел Лятошинский. Он выглядел уставшим и все просил поскорее начинать совещание. При нем был большой черный портфель с бумагами и нотами. Но, как и прежде, Борис Николаевич был настроен непримиримо к губителям живого на земле. Опять склонялись гицели, уличные ловцы бродячих животных, допускавшие всякие недостойные выходки и подававшие нездоровый пример детям, невольным свидетелям их безобразий. Приводились и другие факты, которые Борис Николаевич в своем письме квалифицировал как «самодеятельные».

Присутствующие единодушно сошлись во мнении, что нельзя навязывать законопроекту слово «полезное» (животное), как это почему-то старались сделать некоторые официальные лица (в частности в Министерстве сельского хозяйства), то есть наказывать только за гибель полезного животного. А если человек издевался над мышью? Заслуживает ли он осуждения и наказания? Конечно! Законопроект, точнее, будущий закон имел нравственное значение — нравственное! — подчеркивалось всеми, — и должен был защищать прежде всего не материальные, а духовные ценности, чистоту души, благородство человеческой личности. Кто-кто, но собравшиеся в кабинете Макивчука люди отлично знали цену всего этого, и им не надо было объяснять, что отношение к бессловесному — это, по выражению писателя Атарова, «корректура человечности».

В течение всего совещания Борис Николаевич оставался серьезным, не улыбнулся ни разу. Он показался мне грустным и не совсем здоровым. Казалось, его что-то гнетет. Так оно и было — вскоре, уже в Свердловске, я узнал, что он вынужден был лечь на операцию, которая оказалась последней в его жизни, но тогда, в Киеве, о его

недуге знали еще немногие.

Догадывался ли он, что жизнь, ЕГО жизнь подходит к концу? Тем не менее судьба ЖИВОГО по-прежнему волновала этого человека — и он продолжал бороться за него.

Под конец совещания Макивчук показал несколько дружеских шаржей на видных деятелей культуры Советской Украины, которые предполагалось опубликовать в журнале. В их числе был и шарж на Лятошинского. Карикатурист, как всегда, подчеркнул самое характерное: крупный нос стал еще крупнее, озабоченное выражение лица превратилось в горькую мину. Всем понравилось — было очень похоже; но Борис Николаевич запротестовал, усмотрев в рисунке что-то ущемляющее его достоинство.

— Ну, зачем...— сказал он совсем по-детски, обиженным тоном.— И такой нос... Разве он у меня такой?

Я вас прошу: не надо... Ну, зачем?

Макивчук был явно огорчен, но тотчас с готовностью согласился: ну, раз не надо, значит, не надо, — и пообещал не помещать в журнал. Борис Николаевич поблагодарил и, попрощавшись с присутствующими, заспешил к выходу, чуть сгибаясь под невидимой ношей, крепко сжимая ручку портфеля. Как сейчас вижу его слегка сутулую спину и высокую фигуру в сером костюме, медленно сходящую вниз по лестнице...

#### ЛЮДИ, КОТОРЫХ МНЕ ОТКРЫЛИ СОБАКИ

Допускаю, что кто-то будет шокирован: «люди, которых открыли... собаки», даже поежится, сделав брезгливую мину: фи... Я делаю это заявление вполне серьезно. без тени усмешки или намека на иронию. Еще Плиний Старший сказал: человек познается по его отношению к рабам и скотам. Развивая эту мысль, Горький утверждал: люди, не любящие животных, представляются ему людьми сомнительными, на них положиться нельзя. О животном как индикаторе человеческих свойств не раз говаривали и Лев Толстой, Чехов... Позволю себе добавить: любовь к животным, к тем же собакам способствует сближению людей, более тесному узнаванию друг друга. Среди англичан и поныне бытует поговорка: «Не называй человека собакой — оскорбляещь собаку». И вообще надо лучше знать животных, чтобы решиться осуждать или хотя бы пренебрегать ими... Словом, стою на своем: ничего унижающего человеческое достоинство здесь нет. Наоборот! Могу лишь прибавить: открывают же теперь собаки-рудознатцы залежи полезных ископаемых. Человек — тоже «месторождение», или, если угодно, накопитель многих наинужнейших богатств — высоких прекрасных чувств, житейского опыта, ума-разума, и очень часто это узнается лишь через общение с более слабым. незашишенным существом. В общем - к черту ханже-CTRO

Люди часто проходят по жизни, оставаясь непознанными, не задевая чувств других; иногда не раскрываются, так и уходят, унося с собой свою тайну; иногда раскрываются при случае. Собака — катализатор. Любовь к собакам свела меня со многими замечательными личностями. Среди них народные артисты СССР Сергей Образцов и Александр Огнивцев, писатели Леонид Леонов и Владимир Лидин, Перовские и семья Гитовичей, скульптор-москвич А. И. Григорьев и его жена А. А. Арендт, прямой потомок доктора Арендта, который

пытался лечить смертельно раненного на дуэли Пушкина, земляк наш, уралец Степан Щипачев и алмаатинец Максим Зверев... всех их объединяет любовь к братьям меньшим. Так, через собак, познакомился я с писательницей Галиной Серебряковой, с представителями династии путешественников и ученых-металлургов Грум-Гржимайло (две родственные ветви) и— наследниками традиций Дуровых (тоже две линии). Так состоялось и знакомство с Ватагиным, знакомство, родившее вскоре союз двух единомышленников-единоверцев, почитающих силу и красоту живого как самое прекрасное в этом мире.

А сколько милых людей повстречалось в бесчисленных поездках по стране и за ее пределами! Помню, в Тольятти, волжском Автограде, ночевал у совершенно неизвестных мне людей: они нежно были привязаны к своему Пиму, и этого оказалось достаточно, чтоб двери их квартиры распахнулись для меня. Любовь к живому — сильнейший душевный двигатель, который помогает выявлению общности идеалов и воззрений. Сколько я получил и продолжаю получать писем из-за

рубежа.

Зоркость глаза и пристальное внимание к миру окружающих нас живых существ, обостренное чувство ответственности за судьбу живого — вот что характеризует этих людей. (Не такова ли важнейшая черта всех бор-

цов за мир?)

Вспоминается, как Галина Серебрякова, после прочтения статьи «Человек должен быть добрым» (потом вышла книжка такого же названия), узнав о выпаде против автора статьи и защищаемых им принципов со стороны некоего Земного (псевдоним?), первой предложила свою помощь, прислав незамедлительно небольшое, но достаточно выразительное и аргументированное, емкое по чувствам и мыслям письмо.

Серебрякова писала:

«Любовь и дружба между человеком и собакой началась в незапамятные времена. Уже на первых робких скульптурных упражнениях человека каменного века она отразилась воочию.

Спиноза и Толстой, Маркс, Энгельс и Ленин, такие поэты, как Маяковский, действительно, жалели и берегли

животных

В истории жизни великих революционеров Робеспьера и Лебо многократно описаны собаки. Пес Шилликем

последнего революционера Великой Французской революции Филиппа Лебо привел его вдову на могилу хозяи-

на и сам умер там с горя.

Маяковский не раз говорил мне о своей горячей привязанности к своему псу Скотту, который умер у него на руках, и великий поэт горько плакал над ним, чему я живой свидетель... Любовь к животным свойственна советскому народу, и только некультурность может порождать попытки посягнуть на животный мир... Галина

Серебрякова, член КПСС с 1919 года».

Вспоминается также, как однажды в Москве ко мне пришел нежданно-негаданно учитель Гельфан, добрейший Ефим Моисеевич Гельфан, приехавший ради такого случая из поселка Белоусово Угодско-Заводского района Калужской области (разыскал, где я живу, как? — до сих пор для меня загадка; я остановился у знакомых). пришел, чтобы уговорить меня написать для книги «Игры и упражнения для маленьких и больших» («Воспитание детей в игре»), готовившейся в издательстве «Просвещение», раздел «Игры детей с животными». Он придавал большое значение таким играм. Книга вышла, Ефим Моисеевич был доволен (желание его было исполнено). однако не считал, что дело сделано, можно поставить точку. На дарственном экземпляре, который я сохраняю как дорогую реликвию, он написал: «И все же Вы. Борис Степанович, напишете большую, хорошо иллюстрированную, чрезвычайно нужную книгу «Игры детей с животными»...

Именно они, четвероногие друзья и спутники наши — собаки, подарили мне много незабываемых встреч, общение — в иных случаях письменное, — без которых жизнь моя, право, была бы беднее. При их посредничестве круг моих знакомств значительно расширился, а сфера интересов стала поистине необъятной. Без преувеличения, они помогли мне лучше увидеть красоту человека и богатство человеческой души.

Бывают встречи, которые помнятся всю жизнь. Такой незабываемой по впечатлениям явилась для меня встреча с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым, генерал-лейтенантом в отставке, автором широко известной книги «Пятьдесят лет в строю», служившим, как он писал о себе, трем русским императорам и закончившим свой богатый событиями жизненный путь в верном служении советскому народу, Советскому государству.

## Только одно воскресенье

### (День с автором книги «Пятьдесят лет в строю»)

Крупные, без наклона буквы, манера письма свободная, форма выражения, как показывал текст, весьма своеобразная, свидетельствующая об яркой, незаурядной индивидуальности, открытой независимой душе и живом привлекательном характере.

«г. Свердловск, Пролетарская ул. 22, кв. 11...»

Это — мне. Тогда я жил на Пролетарской, недалеко от того места, где построили позднее кинотеатр «Космос». Дом — деревянный, двухэтажный, внутри двора, — пока стоит, но, кажется, его скоро снесут, как многие другие в этом районе.

«19—I—53.

Проезд Серова, 17, кв. 15. К5—98—78. Москва.

Восхитительный и благодетельный автор, Борис Степанович!

Окольным путем (чужая «библиотечная») ко мне по-

пала Ваша книга «Твои верные друзья».

Лучшей книги о своих друзьях я не читала. Богатый грамотный русский язык, — тоже отрадно. Проникновенная наблюдательность и любовь, любовь, любовь — этот ключ успешного творчества. До чего хорошо, слов не нахожу! У меня, представьте, было самое «рассобачье» детство, но дружба с моими друзьями ведется с тех пор, как я себя помню. Это было отрадно и именно благодетельно.

Вся эта преамбула к тому, чтобы просить Вас выслать мне наложенным платежом (в Москве книги нет) Вашу книгу. Вы окажете мне необычайное удовольствие!

Можно еще предложить «товарообман»: пришлите мне книжку с автографом и взамен получите книгу моего мужа, А. А. Игнатьева «50 лет в строю». Не знаю, как Вам, а мне эта книга тоже нравится.

И еще: будете в Москве — приходите к нам. Познакомимся и представим Вам спаньольчика «Додика». Это совсем отменный собачкин. Привет *Н. Игнатьева*».

Книгу (разумеется, не наложенным платежом) я по-

слал и вскоре получил второе письмо:

«3—2—53 г.

Алексей Алексеевич и Наталия Владимировна Игнатьевы.

К5-98-78. Москва,

Прелестный Борис Степанович!

Сегодня получила письмо Ваше. Спасибо!

Засыпая, — стараюсь всегда думать о приятном, — вспоминаю Вашу книгу... Да, это — «Твои друзья». Наилучшие! Когда свидимся — почитаю Вам свои мемуары о, в памяти, бессмертных собаках «Топе» и «Муму», о коте «Робеспьере». Вы и представить себе не можете, какую роль они могут играть в «недетском», как мое, детстве ребенка!

О присылке Вам книги Вашего тоже поклонника, Алексея Алексевича. Дело так: из прежних изданий ни одного двухтомного нет. Изда-ство «Советский писатель» (договор 1952 г.) еще не выпустило ничего. Ждем! Вам

понятно? Конечно, да.

Как только выйдет (наступил уже 1953 г.) — сейчас же Вам вышлем. (И, действительно, прислали, не сразу, пришлось еще подождать, пока развернется издательство, но прислали. У этих людей слово не расходилось с делом. —  $\mathcal{B}$ . P.)

Интересно о Вас: где родились, учились, работаете,

какая у вас семья?

У нас: 38-летний «мезальянс», — мы разных кругов, чтобы не сказать «классов», люди. Прошли через все испытания вдвоем и живем так же. У нас Маруся (она же Малюся) и воспитывается ее дочка, Лидок, нынче отличница 9-го класса, потом Додик. Сегодня его 6-месячный день рождения. Весь в хозяина: любит всех людей и всем (о ужас!) верит. Разница только в уме: хозяин, правда, умен, а Додик, пока что, представьте, глуп. Что делать? Отдать в школу, боюсь, затупят. У нас — общая к нему любовь способствует оглуплению.

Джекки, — пожалуйста, поцеловать. Ему будет гостинчик, который ему отвезете, когда уедете из Мо-

сквы.

Привет от нас обоих. Ждем к себе. Н. Игнатьева». В ту пору я держал овчарку Джекки. Это — для ясности.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Впоследствии Вл. Г. Лидин сообщил мне, что эта книга — «Твои верные друзья» (Челябинск, 1953) находится в его коллекции. Каким образом, почему она попала к нему, теперь узнать уже не у кого — обоих Игнатьевых и Лидина нет в живых. Знаю, что они дружили... может, потому? Как известно, Лидин собирал редкие книги и книги с авторскими надписями, вероятно, таким путем книга и перекочевала к нему — после смерти тех, кому дарилась.

Небольшое отступление.

Тут хочется напомнить, что в Союзе писателей у нас подсмеивались над моим увлечением собаками и собачьей темой. Я писал очерки, как того требовали от меня время и мои заказчики-издатели, писать о собаках никто не понуждал, это я делал по внутреннему побуждению. Но, странное дело, шло время, очерки мои умирали, они не переиздавались, умирали, быть может, не потому, что были безнадежно плохи (хотя я не переоцениваю себя), а потому что старели и утрачивали значение факты, а нередко и сами герои документальных произведений переставали быть героями, свет их горения иссякал и прекращал служить людям (потухшие звезды — назвала их «Литгазета»), а «собачьи» книги продолжали жить (их герои не подвергались инфляции), на них очень живо, сердечно откликался читатель.

Помню бажовские слова, сказанные в мою защиту на одном из писательских собраний: «У нас о Борисовых-то собаках говорят с пренебрежением, считают — пустяки. А ведь о них среди читателей идет большой разговор, и

не только среди ребят...»

И вдруг эти письма, такие открытые, искренние, полные милой трепетной сердечности, женской непосредственности, и предложение знакомства. Можно ли оставить их без внимания!

...И вот я на проезде Серова, 17.

Дверь открыла женщина средних лет — Мария Степановна («Малюся»), и тут же появилась Наталья Владимировна. Всплеснув руками, она бурно приветствовала меня, провела в кабинет хозяина, усадила в кресло. Я ждал, когда появится Алексей Алексевич. И он появился. В халате, очень высокий и очень тонкий, узкий. как он говорил о себе. И очень приятный, внутренне приятный, с лицом аскетического вида и громким голосом, в котором явно прослушивались командирские («генеральские»!) нотки: как-никак десятилетия в строю, не шутка. Военное воспитание проглядывало в выправке. в манере держаться, в походке. Но в разговоре прост, мил, обаятелен, ум живой, быстрый, я бы сказал, резвый, несмотря на возраст, с тонким пониманием юмора. Извинился: был занят — выполнял обязательные утренние упражнения. Да, пояснил в ответ на мой немой вопрос: «В воскресенье мы спим дольше обычного. Сегодня воскресенье... Дурная привычка, очень дурная». Вскоре он сходил переоделся и за стол обедать сел подтянутый, на костюме ни единой складочки, любезный хозяин и галантный кавалер. Я не мог отвести от него глаз. Поражали его худоба и бледность лица, но скоро я перестал это замечать — внимание всецело было занято другим. Потом мы обедали в большой соседней комнате-гостиной, а потом пили чай. Долго. Потому что беседа продолжалась, и, казалось, ей никогда не иссякнуть. Казалось, мы знакомы уже целую вечность и не встречались по недоразумению, так легко и приятно было общаться с этой необыкновенной парой.

С чего начался разговор?

Здесь, пожалуй, самое время напомнить, у кого в гостях я оказался. Цитирую А. Кривицкого «Тень друга»: «Генерал Игнатьев, автор книги «Пятьдесят лет в строю» когда-то носил графский титул, начал военную службу в Петербурге, в кавалергардском полку. Был он мужчина саженного роста, таких только и верстали в этот полк тяжело вооруженной кавалерии... Значит, граф Игнатьев. В годы первой мировой войны был он военным атташе русского посольства в Париже. По должности своей общался с крупнейшими военачальниками стран Антанты, с маршалом Фошем например. После Октября оказал Родине серьезные услуги, отвернулся от белогвардейшины, стал советским подданным, приехал в Союз, получил у нас звание генерала и работал в Наркомате обороны, в Главном управлении учебных заведений. Был он красив и элегантен. .. » 1

Он и сейчас был красив и элегантен, своей особенной и, пожалуй, не всякому понятной красотой, которая была характерна в прошлом для людей его круга — лощеных аристократов, военных дворян, крупных общественных и

государственных деятелей.

Граф, генерал, а теперь — писатель, член СП СССР...

— О чем вы сейчас пишете?

Только много позднее я понял, как может раздражать этот вопрос. Всякий, встречаясь с признанным писателем, почему-то считает необходимым задавать его. А если это моя «производственная» тайна? Я не суеверен, но... пока не написал — не выдавай авансов; литература — не декларация, а тяжелый труд. Мне кажется, все это я про-

<sup>1</sup> Кривицкий Александр. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года. М., 1980.

читал на лице Игнатьева, но он был достаточно воспитан, чтоб не сказать этого вслух.

Вместо этого он крикнул:

— Малюня... (Она была на кухне.) Малюня же! Принеси... — Что принеси, я не понял, по-моему, он сказал не по-русски; но Малюня поняла и тотчас явилась, неся... сковородку. Да, обыкновенную сковородку. Впрочем, не совсем обыкновенную.

Сковородка перешла в руки Алексея Алексеевича.

— Что это? — Голос его был строг и требователен и, я бы сказал, бескомпромиссен; или мне так показалось. После я понял, что такова была его обычная манера разговора.

Сковородка...

— Верно. Что вы в ней находите, чем она отличается от нашей? Это французская сковородка. Я привез ее из Парижа.

— Мне кажется, у нее ручка не такая, более длинная и изогнутая, — неуверенно произнес я, разглядывая сковородку, которой он потрясал, как знаменем, сжимая

жилистой рукой.

— Верно. Видите, в чем разница. — Он ловко вскинул ее вверх, не выпуская ручки из кулака. — Видите... Вы готовите яичницу, вам надо перевернуть ее, чтоб поджарилась одинаково с обеих сторон. Наша хозяйка начнет переворачивать ножом, все искромсает... А на этой сковородке — подкинули... вот так... и, пожалуйте, в воздухе перевернулась, целехонька, жарьте дальше! Для того и длинная ручка, она пружинит!..

Я приобщался к тайнам французской кухни...

Надо признать, получалось у него все очень сноровисто, как будто он только и делал, что жарил яичницы. Мне казалось, что я вижу, как яичница взлетает на воздух и снова ложится на сковородку, даже донесся аромат кушанья, — но это готовился обед на кухне. Там хозяйничала Мария Степановна — Малюся.

— Вы спросили, чем я сейчас занимаюсь? Кулинарией. Главный консультант по кухонным делам. Готовится к изданию «Книга о вкусной и здоровой пище». Знаете. Одно издание уже вышло, сейчас готовится второе, дополненное и исправленное. На днях приезжал Микоян, сидел больше часу, просил быть консультантом. Вы, говорит, всю Европу изъездили, знаете французскую кухню, про русскую уж не говорю... Что делать? Согла-

сился. Почетное предложение! Книга о вкусной и здоровой пише... Народ должен есть сытно и вкусно. Так что сам. батенька, не пишу, ничего не пишу! Только консультирую!

Засмеялся, довольный своей шуткой. Конечно, он писал, но не любил распространяться о своих планахзамыслах. Наталья Владимировна по секрету шепнула

мне.

— Кстати, а вы знаете, что слово «гарнир» — из франпузской кухни ввел в наш обиход Николай Васильевич Гоголь? Гоголь сам был отличный кулинар и любил стря-

Он мог бы добавить «как и я», скромность не позволила ему это сделать. Говоря по-теперешнему, это было его хобби, так же как страсть помогать людям. (Забегая вперед, скажу, что после моего визита он звонил в студию «Мультфильм», — я узнал об этом много позднее, убеждал товаришей кинематографистов выпустить мультипликационный фильм о собаке. «Сценарист? Найдется. Есть сценарист. ..»)

— A что, уже была почта? — увидел он на столе свежую «Правду». Внимание привлекла фотография: курсанты военного училища в новенькой форме. Нахмурился, разглядывая, заговорило сердце старого кавалериста: — Ну, что это за шитье! Видите, брюки галифе, а швы! где швы! Сядут на коней верхами, далеко не уедут, складки натрут так, что «мама» закричишь!!! Свалишься с коня! Разве так надо шить?! Надо знать, для кого шьешь...

Глаз у него острый, примечает все, даже самую малую мелочь. И беспощадный. Спуску не давал ни в чем. Высочайшая требовательность к себе, такая же требовательность ко всем.

Он продолжал говорить, а я думал о кавалерийских штанах. А если нелады со штанами обнаружатся в самый неподходящий момент, в бою... К примеру, бывает, лопнет подпруга, — что тогда? Прав он: «Иногда от мелочи зависит жизнь».

Еще о его биографии.

Книгой-исповедью назвали читатели и критики «Пятьдесят лет в строю». И впрямь: представитель «столбового» дворянства (предки — черниговские бояре, история служения которых русским царям прослеживается с 1340 года; отец — генерал-губернатор Юго-Западного края), с рождения готовили его к беспорочной геройской

службе «за веру, царя и отечество». Вехи роста: кадетский. Пажеский корпус, академия Генерального штаба... В «германскую» русский военный агент при главной квартире союзной французской армии. Сливки дворянства... И вдруг!!! Вдали от родины, в окружении контрреволюционного эмигрантского отребья, он решительно и бесповоротно становится на сторону Советской власти и первого государства трудящихся. Патриот истинный, дальнеглазый, как сказал бы другой патриот России и социалистического отечества П. П. Бажов. Не есть ли это лишнее свидетельство необоримого влияния на умы и сердца людские идей Великой Октябрьской революции — идей Ленина!

Комбриг А. А. Игнатьев... Затем старший инспектор Красной Армии по иностранным языкам генерал Игнатьев... Он знал военную службу, как, может быть, никто другой, и достоинство воинское свое нес с честью и гордостью. Обладая поистине необыкновенной биографией и энциклопедическими знаниями, он сразу привлекал к себе внимание — в театре ли, в гостях или в служебной обстановке, на фронте — и всюду покорял собеседников личным обаянием, остротой ума, простотой.

Помню, появился с женой во МХАТе (кажется, шли «Дни Турбиных»), и сейчас словно ветерок прошелестел по рядам: «Игнатьев, Игнатьев. . .» — «Где?» — «Да вон, садятся...» Люди вскакивали, тянули шеи. Всюду его появление вызывало обостренное любопытство. производило фурор. Но сам он оставался совершенно чужд всякой аффектации, подчеркиванию своей незаурядно-

У свердловчанина П. Н. Бабкина, в прошлом политработника, участника Великой Отечественной войны, не раз встречавшегося с Игнатьевым, сохранилось письмо Алексея Алексеевича, дающее представление об образе мыслей и внутреннем облике этого необыкновенного человека, без остатка отдавшего себя благородному служению Родине.

Игнатьев отвечал на приглашение приехать и выступить перед слушателями Военного института иностранных языков (институт был создан в разгаре войны, в 1942 году):

«По форме я остаюсь старшим инспектором инязыков, но функционировать не могу из-за разбросанности моих детей и условий преподавания в военное время (управление мое в Свердловске). По существу я писатель и

даже журналист... Я должен... поднимать чувства патриотизма своими докладами. Это я тоже считаю своим долгом и только что вернулся из утомительного объезда

войск нашего района...»

Всю войну А. А. Игнатьев не только безупречно исправно нес свои прямые служебные обязанности, но также много и успешно писал, часто выступал с горячим зажигательным словом перед бойцами и командирами в частях действующей армии, по радио, зовя на смертный бой с ненавистным жестоким врагом — гитлеровскими захватчиками. А ведь ему шел тогда уже седьмой десяток...

Несколько слов о Наталье Владимировне. Говорят, по жене судят о муже, и наоборот. Всегда буду благодарен ей за те незабываемые и ни с чем не сравнимые часы, которые я провел в их обществе, на проезде Серова, 17. Тех, кто захочет узнать о ней больше, отсылаю к книге Вл. Лидина «Люди и встречи» (см. очерк «Рояль Плейель»).

Да! я ничего не сказал о спаниельке Додике. Он действительно оказался премиленьким существом; но, поверьте, в этот раз меня интересовали больше люди, чем

собаки...

# Корней Иванович

Колонный зал Дома союзов. Первый послевоенный съезд писателей СССР. С трибуны только что сошел

Чуковский...

Съезд шел уже вторую неделю, прошла острота и свежесть впечатлений первых дней, схлынул поток приглашенных гостей, все уже изрядно подустали, и многие выступления проходили при полупустом зале. Второй съезд шел в кулуарах. Разбившись на отдельные кучки, там оживленно беседовали, обсуждали наболевшие злободневные вопросы, «выясняли отношения», затихая ненадолго, когда по радио объявлялась фамилия очередного оратора. Все прихлынули в зал, когда объявили выступление Шолохова. Так же вышло с Чуковским...

Удивительно странно все-таки, капризно избирательно и непонятно устроена память: какие-то вещи исчезают, стираются напрочь, словно их и не было никогда, другие, наоборот, откладываются прочно, навсегда, и время не

властно что-либо сотворить с ними. Как будто было вчера, вижу Пабло Неруду, прибывшего из Латинской Америки, и Назыма Хикмета, в легкой рубашке с открытым воротом, в восточной обуви с загнутыми носками, дарующей человеку легкую бесшумную походку, только что из турецкой тюрьмы, куда был заточен за свои прогрессивные убеждения, и — к нам. . . И так же запомнился Корней Чуковский.

Он говорил о насущных проблемах русского языка. Его слушали с напряженным вниманием. Именно тогда мы впервые услышали слово «канцелярит» — Чуковский произносил его с уничтожающим сарказмом, — ужасное, убийственное слово, символ и живое свидетельство деградации и обеднения языка наших отцов, самого бога-

того и красочного языка в мире.

— Но я думаю, — возвысив и форсируя свой тоненький, с какими-то детскими интонациями голос (сам высокий, сильный, всем мужчинам мужчина, а голосок как у ребенка), почти выкрикнул он в аудиторию заключительные фразы своего доклада (да, по форме и обстоятельности это был доклад, в котором докладывающий привел бесчисленное множество поражающих примеров порчи родного языка, в том числе и кичливыми литературоведами, не говоря о сочинителях казенных бумаг), — я думаю так: великий русский язык выдержал такое испытание, как двести лет татарского ига, выдержит-выдюжит он и на сей раз...

Напряженная тишина в зале взорвалась бурными аплодисментами. Ему хлопали долго, кто-то подбежал и помог сойти с трибуны, кто-то жал руку. Вопрос для всех, кому дорога отечественная культура, первейшей жизненной важности. Без языка нет художественной литерату-

ры. Без языка нет народа.

Позволю высказать собственное мнение, замечание к высказанному. Русскому языку, как и русскому народу в целом, пришлось за века своей истории выдержать много испытаний. Но едва ли когда-нибудь он подвергался такой опасности, как сейчас. Прежде не было средств массовой информации и каждая деревня говорила так, как хотела, как разговаривали деды и прадеды. Сейчас непрерывно-непрестанно давит тяжелый пресс: газеты, радио, телевидение, книги... они давят, понуждают каждодневно, не давая ни минуты роздыха; удручающая и все нарастающая стандартность и безликость печатной и повседневной расходной устной речи,

вытесняющая живой, образный, эмоциональный язык, следствие того явления, которое получит название научно-технической революции — НТР, и неуемного увлечения и постоянного загромождения речи непонятными, трудно осмысляемыми и только мешающими нормальному восприятию, наукообразными формами иностранного происхождения (против чего восставал еще Ленин), — как тут тоже не заговоришь сухим, черствым, безликим и бескрасочным языком служебных сводок, информационным языком, поставляющим, быть может, и много необходимых сведений, но, увы, на том и кончаются его заслуги и достоинства...

В антракте я увидел Корнея Ивановича в коридоре. Он стоял буквально припертый к стенке окружавшими его делегатами и гостями съезда и не успевал отвечать на сыпавшиеся на него вопросы. Велика была популярность автора «Мойдодыра» и «Мухи-цокотухи», каждому хотелось перемолвиться с ним словечком! Мне кажется, он был даже растерян таким признанием, пытался чтото сказать, возразить, однако толком ничего не получалось, и только раздаривал добрые улыбки направо и налево. Отойдя в сторонку, я решил подождать, когда

подойдет мой черед.

Это была вторая наша встреча. В памяти сразу всплыло: Москва предвоенная, курсы-конференция молодых писателей, и он с книгой «Мои друзья» в руках. Тогда мне не удалось уяснить толком отношение Чуковского к ней и ее автору. Попробовать сейчас? Помнит ли он меня? Вряд ли. Ведь прошла целая вечность: война. Я не считал себя лучше других, небось сколько к нему обра-

щается, не счесть числа. Всех запомнишь ли!

А я помнил очень живо: с какой нежностью — именно нежностью! — почти не дыша, переворачивал он листы своей дорогой «Чукоккалы» — альбома поистине бессмертного, казалось, опасался лишний раз дотронуться до ее драгоценных страниц и никому не доверил взять в руки — показывал только из своих рук: ведь там присутствовали живые черты Ильи Репина, поставившего свой автограф — рисунок, а также черты других не менее выдающихся личностей. О том, что сам он тоже личность, Чуковский думал меньше всего. В те минуты он напоминал ребенка: строг и простодушен, нетерпелив и беспощаден ко всякой фальши — чувствует ее за версту — и тут же будто готов раствориться без остатка в том, что ласкает душу, близко ему по духу.

Большого человека всегда отличает определенная манера обращения с детьми, внимание к ним. Известно, что и на даче у Чуковского, и в детской библиотеке, созданной им, чуть ли не до последнего дня его жизни всегда видели много детей, и он немедленно вступал с ними в контакт: читал стихи и сказки, рассказывал, затевал всякие игры. Право, кажется, он и на нас тогда, на молодых писателей, съехавшихся в столицу, некоторым образом посмотрел как на детей. Да и мы, пожалуй, смотрели на него тоже как ребята, вытаращив глаза...

Тут прозвенел звонок, толпа около Чуковского начала редеть, я подошел к нему. Назвал себя. На всякий случай напомнил и про курсы, о том, как он приходил к нам,

начинающим.

— Да, помню, помню, как же...— Но мне показалось, что сказано было не слишком уверенно, больше для приличия.

— Вы еще сказали тогда, что о собаках я высказываюсь как о людях, в тех же выражениях...

Ах, да, да! — Вот теперь он вспомнил.

Я решил действовать смелее:

— У меня вышла недавно книга «Твои верные друзья»... тоже о собаках. Я хочу прислать ее вам. Очень хотел бы знать ваше мнение о ней...

Он внимательно слушал, слегка наклонив голову набок, не высказывая своего отношения.

- ...нелицеприятное мнение. Как говорится, все напрямки...
- O! нелицеприятно это я могу! заулыбался он. Нелицеприятное обещаю!

На этом разговор закончился. Чуковский пошел в зал.

Книгу я выслал сразу же после возвращения в Свердловск. А спустя немного времени на столе у меня лежало письмо:

«Спасибо, дорогой тов. Рябинин, за чудесную книгу «Твои верные друзья». Книга написана таким квалифицированным, опытным мастером, в ней столько таланта и вкуса, что я читал ее с восхищением и с завистью. К сожалению, я потерял Ваш адрес — и не мог написать непосредственно Вам. Пришлось послать «отзыв» в издательство (в г. Челябинск) в надежде, что изд-во сообщит мне Ваш адрес. Не только я, но вся моя семья и мои соседи полюбили эту книгу с первых же страниц. Мой

внук, ученик 10 класса, приезжающий ко мне только по воскресеньям, уже на пороге спросил:

- Агдеэта книга?

Оказалось, в прошлое воскресенье он прочитал ее только до половины, и ему не терпелось ее дочитать. Его сверстники, мальчишки, буквально рвут ее у меня из рук. Мне кажется странным, почему Вы не предложили Вашу книгу московскому Детгизу. Уверен, что в конце концов она выйдет в Москве.

Уверен, что и «Голубые домики» хорошая книга. К сожалению, я сейчас болен — и не в силах прочесть ее. Да и это письмо пишу через силу. Если станет легче, напишу еще. Всего доброго. С искренним приветом Кор-

ней Чиковский».

Хотя Корней Иванович и упрекал себя в потере моего адреса, письмо пришло быстро и прямо ко мне (кстати, издатели никогда не говорили мне, что получали такой отзыв). Сейчас уже не помню, посылал ли я ему «Голубые домики», рассказы для детей младшего возраста о зверях и птицах, возможно, Корней Иванович сам приобрел эту книжку, после прочтения «Друзей» (книги вышли с небольшим интервалом во времени одна в Челябинске, другая в Свердловске).

Вот вам и «нелицеприятное» мнение! Я готов был плясать от радости. Чуковский, сам Чуковский (такой придира!) похвалил мою книгу! Право, радоваться было

чему.

Надо ли говорить, как воодушевило меня это письмо!...

В ближайший же свой приезд в столицу я позвонил Корнею Ивановичу по телефону. Надо было поблагодарить его. Не перебивая, он терпеливо выслушал мои излияния, как выслушивают хорошо воспитанные люди, а затем спросил:

— Благодарить надо не меня, а себя. А почему вашу книгу до сих пор не издали в Москве? Вы предлагали ее Детгизу? Хотите, я позвоню Константину Федотычу Пискунову...

Хочу ли я!

И он действительно позвонил, рассказывали мне впоследствии, и долго убеждал директора, что такие книги не должны проходить мимо внимания Издательства детской литературы. Передаю то, что сообщили мне, Кажется, это был единственный случай, что кто-то ходатайствовал за меня, молодого писателя, перед издателями. Это была протекция? Не думаю. Более того, уверен, что — нет. Корней Иванович был не способен на такие вещи. Для него главное и единственное было — ценность произведения. Качество, качество и еще раз качество. Только это являлось для него критерием оценки произведения и определяло его отношение к автору.

Таков он был — соратник Горького, неутомимый исследователь и творец литературы, автор бессмертных книжек для детей, доктор Оксфордского университета и носитель многих званий, длиннорукий, длинноногий, черноусый, каким с неподдельной большой любовью живопи-

суют его друзья...

Михаил Слонимский в своих воспоминаниях о Чуковском говорит, что «при всей своей занятости, с самого утра (вставал в пять часов, когда все еще спали. — Б. Р.) до ночи в работах, Корней Иванович находил время и силы для важнейшего дела — он старался помочь людям. . .». Пусть эта небольшая история добавит черточку в портрете Корнея Ивановича Чуковского.

Добро не забывают.

## А вам жаль старых коней?

В Ленинград я приехал с заданием журнала «Уральский следопыт». Друзья-ленинградцы сообщали о примечательном факте: в одном из районов города после войны порядок удалось навести только с участием дружинников-бригадмильцев и их питомцев — служебных собак.

С аэродрома я прямиком направился в отделение милиции, на территории которого происходили все события. (Потом это дало повод острякам шутить: «Только прибыл — и сразу привод в милицию...») О моем приезде товарищи были оповещены заблаговременно, меня уже ждали. Помещение было полным-полнехонько, негде ни сесть, ни встать. Народ собрался разный — милиционеры, бригадмильцы, представители Клуба служебного собаководства. Всех интересовала беседа с писателем, каждому хотелось высказать что-то свое, лично пережитое и наблюденное.

Засиделись допоздна, а когда пришло время расходиться, ко мне приблизилась женщина интеллигентного

вида и с улыбкой, протягивая небольшую изящную книжицу в темном переплете и с китайскими иероглифами на обложке, сказала:

— Мой муж просил передать вам...

— Кто ваш муж?

— Александр Гитович. Поэт...

Я раскрыл книгу. На заглавном листе значилось: «ДУ ФУ. Стихи. Перевод с китайского Александра Гитовича». Это был первый русский перевод и первое издание у нас произведений выдающегося китайского поэта древности (VIII век).

 — Мужу хотелось бы, чтоб вы обратили внимание на два стихотворения. Он пометил их в оглавле-

нии...

Стихотворения назывались «Больной конь» и «Между Янцыцзяном и рекой Хань». Но я не стал их сейчас читать.

Расставаясь, мы пожали друг другу руки. Пожатие у нее было крепким почти по-мужски. Я поблагодарил за подарок. Сильвия Соломоновна — так звали мадам Гитович — приглашала останавливаться у них дома, не «путаться с гостиницами». Сказала адрес: канал Грибоедова, 9, квартира 78. И телефон.

— Это в самом центре, недалеко от Казанского собора. Заезжайте, не стесняйтесь. Муж давно любит и

хотел видеть вас. Мы все будем рады...

И вот — ну надо же! Для меня был заказан номер в гостинице «Европейской»; но тщетно дежурный администратор перебирал в папке — нужная бумага не находилась, задевали куда или вышла какая-то ошибка, словом, я остался без ночлега. Куда деваться? Что делать? Час поздний, четверть двенадцатого. А что, если позвонить Гитовичам? Звали ведь. Канал Грибоедова — это же совсем рядом, несколько минут ходу...

Там как будто ждали. Звонкий голос Сильвии Соло-

моновны прокричал в трубку:

— Вот и хорошо! Заночуете у нас! Места хватит, выделим отдельную комнату... Никуда не уходите, ждите... Нет! Идите, вас встретит сын Андрюша, он будет с собакой, шотландской овчаркой, вы его узнаете! Он уже одевается...

Так состоялось мое знакомство с древней китайской поэзией и с семьей Гитович, быстро перешедшее в крепкую дружбу, продолжавшуюся до самой смерти Александра Ильича. Гитовичи любили собак, сами держали

двух колли, понятен был интерес к «собачьей» литерату-

ре и «собачьим» писателям.

Перед сном, в кабинете Александра Ильича, где заботливая хозяйка постелила мне постель на удобном широком диване, я прочитал оба стихотворения. В ночной тиши со страниц книги говорили тысячелетия восточной народной мудрости.

> Я седлал тебя часто На многих просторах земли,

> Помнишь зимнюю пору У северных дальних застав?

Ты, состарившись в странствиях, Отдал все силы свои

И на старости лет Заболел, от работы устав.

Ты по сути ничем Не отличен от прочих коней,

Ты послушным и верным Остался до этого дня.

Тварь, — как принято думать Среди бессердечных людей, —

Ты болезнью своей Глубоко огорчаешь меня.

(«Больной конь»)

Хотелось перечитывать еще и еще.

Под стать было и второе, в котором автор горько сетовал на то, что в одинокой старости чувствует себя ненужным и лишним в этом неблагодарном мире (как «в чужом краю затерянный человек»), близится конец его дней, и — в заключение:

Я слышал, что в древние времена Кормили старых коней Отнюдь не за то, что они могли Работать на склоне дней,

Какая безысходная тоска исходила от этих скупых строк. А может, кони, как и люди, тоже способны воспринимать и переживать все происходящее с ними, ощущать несправедливость... Мне вдруг стало невыразимо грустно и зябко, откуда-то из глубин сознания поднялась непонятная печаль.

Да, это было близко мне, автор-переводчик не ошибался, предлагая прочитать их в первую очередь. Очевидно, настрой такой был созвучен и ему, нас объединяло общее отношение ко всем тем живым существам, которые не могут постоять за себя.

Подтверждением явился вопрос, заданный мне наутро

за завтраком:

– Å вам жаль старых коней?

Мы долго не выходили из-за стола, говорили и говорили.

- А вы молодец, сказал Александр Ильич, серьезно глядя мне в глаза. Да, да.
  - -- 5
- ...в книге «Вы и ваш друг Рэкс» вы приводите мысль Энгельса... цитирую по памяти: собака и лошадь за долгий срок жизни около человека научились — в пределах своего круга представлений — понимать и человеческую речь и даже «свою неспособность говорить ощущают теперь как недостаток!» Это из «Диалектики природы». В пределах их круга представлений... ну, и что? У каждого из нас есть свой круг представлений, который ограничивает наше мышление, иногда, прямо скажем, весьма существенно. Почему я об этом говорю? А потому, что человек неблагодарное создание: выйдя из мира живых существ, не располагающих человеческой речью («вторая сигнальная система», будь она неладна, всем бы владеть ею как надо! Это я уже про себе подобных!), но обладающих такой же сложной нервной организацией, как и мы, он теперь ставит себя над ними без всякого стеснения и полагает, что вправе распоряжаться их судьбой и их жизнью, как ему взбредет на ум... роковое, пагубное заблуждение! Когда-то человек стоял гораздо ближе к ним. Теперь вознесся! Он не желает признавать наличие разума у животных. Правда, кое-кто из ученых наконец-то, кажется, начинает менять точку зрения. но медленно, медленно, с оглядкой, все еще давит груз предубеждений и заблуждений. Ох и отомстит нам однажды за это мать-природа, еще как отомстит-то! Без жалости! А ведь классики материалистической философии совершенно определенно и давно уж высказались на сей счет. Но почему-то с некоторых пор мы стали замалчивать это; вот почему я хвалю вашу смелость,
- Ну, какая тут смелость. Просто взял и напомнил...

#### — Вот в том и смелосты!

Мы говорили все дни, пока я жил у Гитовичей. Во всех беседах непременное участие принимала Сильвия Соломоновна, отрываясь на минутку, чтобы сбегать на кухню; иногда сын Андрей, скромный воспитанный малый; тут же терлись пушистые ласковые колли. Фактом своего присутствия они словно напоминали: да, да, речь о нас, мы все понимаем. Вам без нас было бы скучно или, по меньшей мере, не так интересно...

Александр Ильич («Саня» — называла жена и все друзья), быстро загорающийся, азартный спорщик и тут же готовый пойти на мировую, казалось, обладал неисчерпаемым запасом сюжетов и тем. Складывалось впечатление, что знакомство с восточной поэзией пробудило в нем дремлющую в каждом из нас страсть проникновения в сокровенные глубины жизни, поисков своего места в ней и желания служить этой жизни. Китаист, признанный знаток китайской, корейской литературы, подлинный интернационалист по духу и всем устремлениям, он каждой клеточкой своего существа тянулся ко всему, в чем скрывался зародыш какой-то новой мысли, обогащающего нравственного откровения.

Жизнь — удивительно богатая впечатлениями. Охотно рассказывал о поездках в страны Востока, освободившиеся от ярма колониализма (к моменту нашей встречи все это было уже в прошлом: перешел на оседлую жизнь с твердым рабочим распорядком: пораньше вставать — побольше сделать). Сколько навидался! В Корее неоднократно встречался с Ким Ир Сеном, показывал мне фото-

графии, на которых были сняты оба.

Интересна и загадочна была история медного Будды, стоявшего на угловом столике в большой комнате, где обычно творилось общее застолье, когда собирались друзья. Однажды поздно вечером кто-то осторожно позвонил у входа, в полуоткрытую дверь просунулась рука со свертком; выглянули за дверь — на площадке уже никого нет. Развернули сверток — Будда... Дорогое творение, оригинал, литая бронза. Век... точно установить не удалось; в общем очень далекий век, может быть, надо считать не на века, а на тысячелетия. Будда сидит в характерной позе с поджатыми ногами, на коленях у него женщина. Миг соития. Глаза Будды полузакрыты, на лице сладостное чувство оргазма и смутная, полная тай-

ны, полуулыбка... Вещь — нет цены! Кто принес ее, от

кого исходил подарок, осталось неизвестно.

После я еще не раз останавливался у Гитовичей. Там познакомился и с Лидией Ивановной Острецовой, мастером дрессировки служебных собак, тоже незаурядным человеком, совершенно исключительной рассказчицей. Перлы остроумия сыпались из нее, как из мешка горох. Животик надорвешь, слушая! С Гитовичами связывала ее многолетняя дружба. Там был представлен мне собственной персоной Акбар, овчарка Острецовой, удивительнейшее по уму существо, умевшее выражать себя без слов (иллюстрация к положению, высказанному А. И. Гитовичем).

Александр Ильич помогал Лидии Ивановне написать книгу о своем опыте дрессировщицы, шутливо стращая ее, что, если она будет тянуть, Рябинин возьмется и опередит, напишет раньше. И я действительно написал рассказ «Мы с Акбаром», прообразом главного героя которого послужил мне живой Акбар, черный, как ночь, всегда с немой загадкой в по-человечьи умных карих глазах. От Острецовой я услышал немало поучительного и комичного; и вообще много почерпнул из этого знакомства 1.

Следующая наша встреча произошла в Комарове, где Гитовичи ежегодно снимали на лето дачу Литфонда —

деревянный домик.

Посещение Комарова запомнилось тем, что Гитович «вытаскал» меня по всему поселку — представлял ленинградцам-писателям. Познакомил с Александром Прокофьевым, Верой Пановой, Верой Кетлинской, Вадимом Шефнером. После он пришлет отличную статью в редакцию газеты «Вечерний Свердловск» к моему 50-летию, организует присылку поздравительных телеграмм, которые подпишут и Вера Панова, и Николай Тихонов, Грин, Гранин, Попов, Чепуров, Дудин, Лихарев... Истинный друг!

С ним было легко и просто. И весело. Смех часто звучал в доме Гитовичей. Смеяться любила Сильвия Со-

ломоновна — Сильва.

Потом свидания стали повторяться реже — я реже

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Л. И. Острецова участвовала в съемках телефильма «Трое в лодке, не считая собаки» (по Джером-Джерому) и многих других. Среди кинематографистов — известнейший человек!

приезжал в Ленинград. Захлестывали разные дела. Связь поддерживалась услугами почты, но Александр Ильич был небольшой охотник до писания писем. Я — тоже.

Последний раз мы виделись в Комарове.

Погода стояла теплая, солнечная. Распускалась зелень. Отовсюду доносилось щебетанье птиц. Воздух недвижен. Чудно!

Чудесен весь окружающий мир в такое время...

Александр Ильич явно сдал, изменился. Ему шел пятьдесят седьмой год, вроде бы не так уж много... Не брит. Дрожали руки. Оброс и походил на Хемингуэя. Я не узнавал его. Однако по-прежнему заботился, чтоб круг моих знакомств расширялся, дабы меня знали не только по книжкам. Повел знакомиться с Ахматовой (она жила рядом, в таком же домике), предварительно сбегав и выяснив, может ли принять. У Анны Андреевны задержались недолго: она чувствовала себя не совсем здоровой, выглядела усталой; мы поспешили уйти.

Потом посидели «по-холостяцки», попили чайку. Хотя Сильва, жена, оставалась в городе, в домике имелось все необходимое, хозяйка была заботливая и предусмотрительная. Настал час расставанья. Встали?

Постояли, оттягивая миг разлуки.

После он проводил до калитки; у заборчика простились.

— До свиданья, милый, — сказал он на прощанье и долго смотрел вслед, положив обе руки на загородку, небритый, черный с проседью, с взъерошенной шевелюрой и проникающим в душу взором, который, кажется, хотел вобрать в себя все, все...

Таким и остался в памяти.

Уходит ночь, и на смену ей розовеет заря, но нет возврата дням нашей жизни. Широкий горизонт открывается взору, но глубоко в сердце скрыта рана весны.

(Ли Тай-бо)

Вспоминаю одно из последних его стихотворений, может быть, самое последнее, не перевод, а его, Александра

Гитовича, им сложенное, им осмысленное, выстраданное.

ДОРОГА СВЕТА

Свет — образец для искреннего слова: Каких бы крепостей ни возвести — Свет обойдет препятствия, чтоб снова Стремиться по кратчайшему пути.

Мы выбрали опасную дорогу, Где не помогут добрые друзья,— Она полна преград. Но слава богу, Что мысль— как свет— остановить нельзя.

(1966)

Этой дорогой он шел.

В последний раз я на канале Грибоедова, 9. Сидим вдвоем с Сильвией Соломоновной. В квартире как-то пусто, не хватает чего-то, хотя все вещи на своих местах. Изменилась и Сильва. Она уже больше не смеется, как бывало прежде. Суровые складки избороздили лицо, появилось много седых прядей.

Умер муж.

Умерли собаки.

Усыпили кошку — была неизлечимо больна.

— Почему снова не заведете?

Всё. Я отлюбила.

Вскоре дошла весть: не стало и ее...

Остался сын Андрей. Осталась внучка Катя, дочь Андрея и Поли. И остались стихи, переводы с древнейших языков мира...

# Отдавший сердце детям

Мы с ним никогда не встречались. И уже не встретимся никогда. Наше знакомство было заочным. И, од-

нако, я не смогу забыть его.

Не скрою: я откровенно гордился знакомством с ним, вернее сказать, гордился тем, что разделяем взгляды друг друга, что мы — единомышленники. Впрочем, по-настоящему, серьезно я понял это позднее, когда его уже не стало. У нас были общие планы, в частности, обоих беспокоило недостаточно углубленное преподавание основ охраны природы в школе, и мы собирались по этому поводу предпринять совместные действия.

Вы уже догадались, о ком идет речь, кто это.

Да — Сухомлинский, Василий Александрович Сухомлинский, советский Песталоцци, как со временем нарекут его. Его перу принадлежит книга «Сердце отдаю детям»

А свела нас, точнее, познакомила заочно, Елена Кондратьевна Андреева, моя читательница и непримиримый оппонент по вопросам женского равноправия 1, педагог

из города Могилева.

В конце 1966 года вышла в свет книга «О любви к живому», в которой я попытался привлечь внимание общественности к наиважнейшей и острейшей, по моему мнению, проблеме современности — воспитанию доброты, нравственной чистоты, чуткости.

Пожалуй, когда я ее писал, я даже не предполагал, какой горячий отклик найдет она в сердцах наших читателей. Полной неожиданностью явилось письмо, которое

прислала Андреева.

Мелкий-премелкий, убористый почерк, бисерные буковки с маковое зернышко, однако четко слагающиеся в отдельные фразы, предложения (они напомнили мне Владимира Алексеевича Попова, первого редактора «Уральского следопыта» и моего наставника. Писал точно так же!):

«Дорогая Елена Кондратьевна!.. (Это же не мне... почему?! Но уже следующие строки поставили на свое место все, впрочем не рассеяв моего недоумения) ...Большое спасибо Вам за то, что Вы познакомили меня с Б. С. Рябининым. Какой он прекрасный человек! Самое увлекательное в нем — верность своим убеждениям. Эта верность проходит красной нитью через его книгу (кстати, Вашу книгу я пришлю дня через три-четыре; хочется, чтобы прочитали ее все наши учителя).

У нас началась напряженная пора нашей трудовой жизни. С утра до ночи — в школе. И это — самая боль-

шая радость...»

Глянул на подпись: «В. Сухомлинский». Откуда он узнал о моем существовании да еще выдает такие характеристики?

Недоумение было недолгим и скоро сменилось чувством благодарности и признательности. Через несколько

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Когда-нибудь об этой дискуссии, которая шла между нами в течение нескольких лет, то чуть затихая, то разгораясь с новой силой, я напишу особо. Она стоит того.

дней я держал в руках письмо с тем же бисерным почерком (хоть в лупу рассматривай), но уже адресованное мне:

«Дорогой Борис Степанович!

Елена Кондратьевна Андреева дала мне прочитать Ваше письмо. Я и раньше считал Вас единомышленником в борьбе за добро и человечность, а теперь просто дышать стало легче от мысли, что есть в мире такие прекрасные люди, как Вы.

Меня восхищает Ваша книга «О любви к живому».

Верю, что все-таки Вы мне ее подарите.

Посылаю Вам книгу «Сердце отдаю детям». У меня есть очень много фактов, которые нужны Вам для статьи обзначении и роли анималистической литературы в становлении психики ребенка. Вот факт, который я включаю в книгу «Воспитание школьного коллектива» (книгу я уже написал, в издательстве «Радянська школа» она выйдет в 1971 г.).

В моем распоряжении есть картотека преступлений описание жизни (с раннего детства) подростков, совершивших преступления, выявивших жестокость, бессердечие, садизм. Почти во всех случаях первичным и важнейшим источником жестокости, которая привела к насилию, убийству, садизму, — является безжалостное уничтожение живых существ в детстве. Есть в моей картотеке жизнеописание и психологическая характеристика 13-летнего Леонида Л. Когда он был маленьким (5—6-летним) мальчиком, мать, идя на работу, поручала ему, казалось бы, невинное занятие: бить мух в комнате. Мама дала Лене «хлопушку», показала, как это делать... Изо дня в день ребенок уничтожал мух. Иногда он с радостью сообщал маме: сегодня в хате нет ни одной мухи. Бывало, мухи «хитрили», как жаловался Леня маме: их никак не удавалось «прихлопнуть». Однажды мать, придя домой, увидела, как сын, сосредоточенный. с радостно пылающими глазами, сидит у подоконника и смотрит, как ползают две мухи с оторванными крылышками. Это он «наказал» их за то, что они долго убегали от его хлопушки. Мать погладила сына по головке: молодец! да и конфет купила (очень уж боялась она мух). С того момента охота на мух приобрела иной характер: Леня ловил их, надрывал крылышки и наблюдал, как долго может жить бескрылая муха. Потом мальчик научился надрезать крылышки ножницами, и мухи «жужжали, как шмели» — это очень нравилось. Двенадцатилетним подростком он поймал под крышей воробья и отрезал ему крылышко... Мать, узнав об этом от соседей, осталась спокойной... В школьном коллективе Леонид был из тех, кому «хоть кол на голове теши». Одноклассники увидели однажды, как Леонид ловит бабочек, прокалывает тело, вставляет соломинку и любуется, как бабочка «летает с парашютом»... Об этом сказали учителю, но он не обратил внимания на жестокость (позже, когда Леонил стал преступником, учитель припомнил этот случай, назвал это «детской шалостью»). По окончании 6-го класса 13-летний Леонид Л. совершил страшное преступление. В жаркий летний день он пошел купаться с 6-летним сыном своих родственников. Купаясь, он утопил мальчика. Просто взял его за шею и придушил, подержав минуты три у дна... Преступление ошеломило и мать, и учителей. Только после трагедии стали припоминать и анализировать: откуда это взялось? Что могло привести к преступлению? И вот тут-то и вспомнились мухи. Соседи не раз говорили матери: не приведут к добру эти игрушки с живым существом. Мать только улыбалась. В школе тоже смеялись: мухи — это паразиты... их надо уничтожать».

И далее шло самое главное: «Я глубоко убежден, что воспитание любви к живому — одна из первейших задач педагога. Маленький человек должен быть добрым ко всему живому. Только при этом условии он становится воспитываемым — вот в чем дело! Только доброта открывает ребенку радость бытия, радость человеческих вза-

имоотношений.

Меня поражает дремучее бескультурые многих теоретиков и администраторов... Ведь кое-кто считает, что воспитывать доброту — это значит «расслаблять», обезоруживать человека.

Я буду очень рад познакомиться с Вами ближе.

С уважением В. Сухомлинский. 30.VIII.69 г.». Снова и снова я перечитывал письмо. Оно било в самую цель. Спасибо, тысячу раз спасибо, дорогой, бесценный, сокровище наше, Василий Александрович!

Сколь дорога эта поддержка. Немало мне довелось наслушаться иронических замечаний, навидеться ехидных улыбок: «Рябинин? А, это тот, который о собаках пишет...» Да! тот, тот, тот. Тот самый! Теперь у меня появился союзник, и еще какой! Оказывается, даже муха

играет важную роль в воспитании (хотя никто не собирается культивировать и разводить мух, исключая научные опыты), не только четвероногие...

Так возникла переписка с Сухомлинским.

«О любви к живому», разумеется, я послал. Туда же, в село Павлыш, отправился «Нигер». В ответ пришло:

«Ваши «собачьи книги» — просто прелесть. Это же самые человеческие книги. Вспоминаю слова Чехова: хорошему человеку стыдно даже перед собакой. Да, по тому, как человек относится к собаке и другим нашим «младшим братьям», можно сделать безошибочный вывод о том, какой человек.

Вашу книгу о Нигере читает сейчас вся школа. Книга переходит из класса в класс. Дети плачут. Дай бог, чтобы каждый в детстве заплакал такими слезами. Да, нравственный облик человека в огромной мере зависит от того, что приносят ему слезы и что приносит смех в годы детства. Пусть будут слезы состраданья, но не слезы жадности, зависти! Недели через две Вы получите письмо от юных читателей наших об этой чудесной книге. Я сам, читая эту книгу, чувствовал, как боль сжимает сердце.

Желаю Вам добра и счастья...»

Следом пришло послание от группы ребят, учеников Павлышской школы. Ребята сообщали, что «книга дуже им сподобилась, читали з великим интересом и захопленнями», и приглашали приехать к ним, в село Павлыш. Письмо было на украинском языке, но, комментировал Сухомлинский, «думаю, что Вы его поймете. А если необходим будет точный перевод, наверное, найдутся люди, знающие украинский язык».

Еще невдолге он сообщал:

«...Да, мы во всех классах ввели курс «Любовь к живому» (за счет сокращения совершенно нейтрального, ненужного материала). В каждом классе — от 5 до 8 часов. В основу положили Вашу книгу — по существу весь курс — это изложение Вашей книги (лучше не скажешь), используем также некоторые наши, местные примеры...» Позднее он уточнил:

«Сейчас у нас в школе есть новости. Во всех классах, с 1-го по 10-й, ввели мы факультативный курс «Охрана природы». Курс слагается из теоретического материала

и практической работы. За каждую четверть ученик получает оценку по предмету «Охрана природы». Оценка ставится в классный журнал, в табель; намерены мы также поставить эту оценку и в аттестат о среднем образовании (у нас для этого есть возможность)».

В тот же период Андреева (она только что вернулась из поездки в Павлыш) сообщала: «Вашу книгу «О любви к живому» я оставила В. А. Сухомлинскому. Он в 5—7 классах сократил на 5 уроков курс биологии (за счет морских животных), и эти 5 уроков посвящены работе с Вашей книгой».

Снова и снова он возвращается к волнующей его проблеме, в неправильном отношении к которой видит причину многих зол и еще больших будущих бедствий.

«Меня все больше беспокоит безжалостное, варварское отношение к живому, — делится он своими тревогами. — Читали в «Комсомольской правде» заметку В. Пескова «Случай в степи»? Что может сделать маленький человек, если природу истребляют в общегосударственном масштабе! Давайте обратимся с коллективным письмом к общественности, что ли...

А в «Новом мире» (№ 1, 1970) читали «Белый пароход» Ч. Айтматова? Прочитайте, если не читали. В ам

это надо прочитать обязательно!

У себя в школе (на свой страх и риск) я ввел факультативный курс «Охрана природы» — 50 часов — теоретические занятия, а практика — это вся жизнь детей. На нашем школьном участке — все цветет и зеленеет. В селе у нас бережно, заботливо относятся к природе...

P.S. «Правда» 9/IV—70 г. опубликовала рецензию на мою книгу «Сердце отдаю детям». Читали ли Вы эту рецензию? Вы когда-то писали, что ваша городская газета собирается опубликовать отрывок из моей книги.

Была ли эта публикация?»

К письму прилагалась подробная программа факультативного курса «Охрана природы», под которой стояла подпись: «директор школы — В. СУХОМЛИНСКИЙ».

Он присылает копию своего письма председателю правления Союза писателей РСФСР Л. С. Соболеву и министру просвещения РСФСР тов. Данилову, в котором ходатайствует о необходимости переиздания книги «О любви к живому».

«Книга предназначена для учителей, воспитателей школ-интернатов, классных руководителей, — пишет Сухомлинский. — Она получила прекрасные отзывы. Там, где учителям удалось ее приобрести, она используется в качестве пособия по воспитанию бережливого отношения к природе. Эта книга — в своем роде единственная в мире, в ней дается глубокий анализ становления нравственности человека в связи с его трудом и отношением к живому.

Однако тираж этой книги настолько незначителен, что

в отдельных районах ее вообще нет...»

В настоящее время проблема воспитания бережливого, заботливого отношения к живому выдвигается не только в этическом плане. На Всесоюзном съезде колхозников со всей остротой поставлен вопрос о том, что с каждым годом в нашей стране уменьшаются площади пахотной земли на душу населения. Если мы не будем воспитывать бережливого, заботливого отношения к природе, — может наступить время, когда нам нечего будет есть.

Проблема воспитания бережного отношения к природе — одна из первоочередных воспитательных проблем. Учителю необходима литература. Книгу «О любви к живому» Б. С. Рябинина надо переиздать тиражом, достаточным для того, чтобы она была по крайней мере в каждой школе...»

Интересы его широки, многогранны, а все суждения поражают глубиной и той редкой всеохватностью видения, которое одно является признаком настоящего мыслителя, гуманиста. Мимо его внимания не проходит наш затянувшийся спор с Е. К. Андреевой. Несмотря на наши расхождения «по женскому вопросу», переписка моя с нею продолжалась. Главное расхождение было в том, что она уж слишком буквально понимала равноправие (мужчины и женщины) и пресловутую эмансипацию. В очередном письме он высказывается со всею определенностью, на какую был способен и которая была характерной частью его натуры:

«Я очень рад, что наша общая знакомая Елена Кондратьевна Андреева вызывает у меня такое же... ну, недоумение, что ли... как и у Вас. Не знаю, почему в своих спорах с Вами она ссылается на меня. Я тоже не один раз пытался убедить ее, что никакого «равенства сил», как она говорит, мужчины и женщины не может быть. Женщина в силу своего особого положения в роде человече-

ском (рождение детей) нуждается в особой защите и помоши со стороны мужчины, так как она бесспорно существо более слабое и более беззащитное, чем мужчина. Мне кажется, тревожное положение с продолжением рода человеческого создалось уже сейчас в отдельных наших республиках (например, на Украине нет сейчас чистого прироста населения!) потому, что гнусный взгляд на женшину как на существо совершенно равное по силам — с мужчиной стал господствовать в трудовых взаимоотношениях: во многих местах женшина выполняет такую же тажелую работу, как и мужчина. Женщина по существу лишается возможности быть матерью и воспитательницей летей: изнурительный труд на производстве зачастую не только делает невозможным ее материнство, но и огрубляет ее, опустошает духовно. Мы скоро дойдем до того, что не будет женственности. Я считаю лицемерным клич: «Женщина — на трактор!» Разве может быть настоящей матерью женщина-трактористка? Разве это нормально: девушки идут в школы трактористок, а молодые мужчины — на курсы киномехаников, бухгалтеров... К чему мы придем — бог знает!

Да, наверное, Е. К. действительно немного рехнулась. Единственное, что она могла понять в моих ответах как какое-то основание для мысли, что я поддерживаю ее, — это мои рассуждения о силе духа, о нравственной стойкости и несгибаемости женщины, о женщине как о нравственном повелителе, властелине семьи. Она, по-видимому, неправильно поняла это. Я считаю, что судьба рода человеческого зависит в нашем обществе от того, как мы сумеем воспитать духовно сильную, стойкую, знающую свое достоинство женщину. Но это опять же зависит от того, насколько все общество, и мы, мужчины, в частности, овладеем искусством дорожить хрупкостью, слабостью женщины. Чтобы воспитать в женщине силу духа, надо утверждать в ней понимание и чувствование ею самой собственной ее силы и слабости».

И опять о том, наболевшем:

«...Я читал в № 1 «Работницы» Вашу статью. Конечно, я полностью разделяю Ваши взгляды. Сейчас меня очень волнует не только судьба живого. Я сомневаюсь, сохранится ли вообще жизнь на нашей планете при таком варварском отношении к природе...»

Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь, Не позволять душе лениться — было девизом Василия Александровича Сухомлинского, непререкаемым правилом его жизни. О том говорят все знавшие его. И эти строки Заболоцкого были его любимыми строками.

В школе, в Павлыше, на стене висел написанный крупными буквами вопрос: «Подумай, для чего человек живет

на свете?»

Для чего живет человек?

Ответ дает биография В. А. Сухомлинского, написанная его рукой. Из нее мы узнаем, откуда берутся Сухомлинские.

Это простая биография простого человека наших дней, но сколько в ней истинного величия — величия человеческого духа, мудрости помыслов, необоримого светлого желания сделать мир лучше, чем он есть!

Вчитайтесь, внимательнее вчитайтесь в эти строки:

«...Я не могу согласиться с тем, что ребенка надо любить с какой-то оглядкой, что в человечности, чуткости. ласковости, сердечности заключена какая-то опасность... Вель я учитель, воспитатель детей, я продолжаю себя в своих питомцах. Я люблю их безоговорочно и без какой бы то ни было оглядки. Я убежден, что только человечностью, лаской, добротой — да, простой человеческой добротой можно воспитать настоящего человека... Треть столетия работы в школе убедила меня в том, что нормальное, абсолютно нормальное воспитание, - может быть, оно пока еще идеальное — это воспитание без наказаний, без окрика, без угроз, без повышения голоса. Хочу сделать оговорку, чтобы предотвратить недоразумение: не просто воспитание без наказаний, а воспитание без надобности в наказаниях. Я твердо верю, что наступит час, когда человек не будет знать, что такое ударить человека, что такое оскорбить его. Так, как подсказывает мне моя педагогическая вера, я и воспитываю детей...

Я начал свой педагогический труд в 1935 году. В 1940 году я женился. Через год, весной 1941 года, моя жена Вера Петровна окончила учительский институт. Мы собирались работать в одной школе. Мы были молоды и полны надежд на будущее.

Наши надежды разрушила война. С первых дней вой-

ны я ушел на фронт. Никто тогда не мог предполагать, что через шесть недель на берега Днепра придут фашисты. Я верил, что скоро вернусь с победой. Расставаясь, мы мечтали о том, что у нас будет сын или дочь. Но пожар оказался не таким, как думалось. Село над Днепром, где у своих родителей жила Вера, было захвачено фашистами. Жена с двумя подругами распространяла листовки... Нашелся изменник. Веру и ее двух подруг арестовало гестано...

В застенке у Веры родился сын. Лицемерно обещая сохранить ей жизнь, фашисты совершили страшное преступление. У меня вот уже двадцать пять лет горит сердце, когда я на мгновение представляю себе то, что произошло в фашистском застенке. Сына, которому было несколько дней от роду, фашистский офицер... поднес к жене и сказал: «Если не назовешь руководителей организации, ребенка убьем». И убили.

...Потом Веру повесили. Это было как раз тогда, когда я, сражаясь на фронте, был тяжело ранен. У меня была прострелена грудь, несколько осколков металла и

сейчас еще сидят в легких.

...Я опять пошел в школу. Работать, работать, работать — в этом я искал забвения от горя. Целые дни я бывал с детьми. А ночью просыпался — в два, три часа и не мог уснуть до утра... И сейчас каждое утро жду детей: с ними мое счастье. Меня часто спрашивают: как вам удалось написать так много? Да, может быть, и не много: 320 научных трудов, среди них 33 книги. Меня вдохновляли и вдохновляют два чувства — любовь и ненависть. Любовь к детям и ненависть к фашизму...

В моем сердце вечно кипит гнев, и в то же время мне хочется обнять и приласкать всех детей нашей страны, хочется, чтобы никто из них не знал горя, страданий... Каждый день, каждый час я пробуждаю в детских сердцах человечность — тончайшую способность чувствовать рядом с собой сложные движения чужого сердца, чужой

души».

И снова и снова: «...Никто не заставит меня отказаться от убеждения: главным предметом в советской школе должно быть человековедение». Человековедение — оно и цель литературы, в частности русской художественной литературы. Может, поэтому Сухомлинский так быстро сходился с писателями, умел понять каждого с их страстями, одержимостью и индивидуальными особенностями. Педагог и писатель — они как близнецы и должны быть равны по увлеченности, безграничности

чувств.

Это Сухомлинский написал: «Школа становится подлинным очагом культуры лишь тогда, когда в ней царят 4 культа: культ Родины, культ человека, культ книги и культ родного слова».

По праву мы ставим ныне Сухомлинского — великого страстотерпца с его верой в человека и бесконечной любовью к детям — в один ряд с такими именами, как

Ушинский, Макаренко, Корчак...

А ведь — все ли знают о том? — он был неизлечимо болен, война искалечила его — тяжкие контузии, ранения; знал, что обречен. Был приговорен к смерти — и продолжал жить. Поднимался с петухами в четыре часа утра и — жил, жил, трудился, в восемь уже за своим директорским столом, а потом допоздна, до полуночи, а иногда и дольше, за рукописями... Он — знал! И может быть, поэтому он особенно остро чувствовал свою ответственность перед всем живым, так защищал и отстаивал живое.

Еще документы, писанные его рукой. Нет, не частные письма к друзьям, а официальное уведомление на имя директора издательства «Радянська школа» (от октября

1968-ro):

«В связи с неизлечимым заболеванием и неизбежным прекращением в недалеком времени научно-педагогической работы прошу издательство «Радянська школа» принять в дар все мои опубликованные труды... Кроме того, после прекращения моей научно-педагогической деятельности прошу принять в дар мои завершенные и подготовленные к печати рукописи...» И в конце: «До прекращения моей научно-педагогической деятельности прошу считать это тайной, о которой, кроме Вас лично, никто не должен знать. Это самое главное условие.

С уважением В. Сухомлинский.

18 октября 1962 года. Павлыш».

До прекращения научно-педагогической деятельности...

Какая сила духа жила в этом человеке!

И вот... Это случилось 2 сентября— на второй день нового учебного года. В ясный осенний день...

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ. В черной траурной рамке.

Газета «Правда».

«2 сентября скоропостижно скончался Василий Александрович Сухомлинский — Герой Социалистического

Тпида заслиженный ичитель школы УССР, член-корреспондент Академии педагогических наик СССР, директор Павлышской средней школы Кировградской области.

В. А. Сихомлинский родился 15 августа 1918 года в селе Омельник Онуфриевского района Кировоградской области в семье крестьянина-бедняка. В 1935 году начал учиться в Кременчигском педагогическом инститите. После окончания второго кирса стал работать ичителем икраинского языка и литератиры и одновременно ичился в Полтавском педагогическом институте, который окончил в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны Василий Александрович — политрук роты. Был тяжело ранен. После лечения работал директором Увинской средней школы Удмиртской АССР, а с апреля 1944 года был заведиющим Онифриевского районо Кировоградской области.

В 1947 годи Василий Александрович по его просьбе был назначен директором Павлышской средней школы Кировоградской области, где он бессменно работал до последних дней своей жизни. Здесь развернулась плодо-

творная деятельность педагога-иченого.

В 1955 году он успешно защитил диссертацию, и ему была присвоена ученая степень кандидата педагогических наик, в 1957 годи он был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук РСФСР, а с 1968 года В. А. Сухомлинский — член-корреспондент  $A\Pi H CCCP.$ 

Имя В. А. Сухомлинского широко известно педагогической общественности нашей страны и за рубежом. Его научные труды, многочисленные статьи и выстипления с большим интересом воспринимались учительством...»

Не хочется верить, сердие отказывается верить...

Как раз к новоми педагогическому сезону он подготовил «Семинар педагогической культуры», для плана предстоящего учебного года, в нем такие темы:

«Как учить, чтобы дети верили учителю»:

«Уметь требовать и уметь прощать, уметь видеть и не все замечать»:

«Уметь снисходить к ребенку, уметь понимать детство и детские слабости»:

«Как избежать предубежденности во взаимоотношениях со школьниками»:

«В школе не должно быть суеты, нервозности, спеш-Ku»;

«Учитель — совесть народа»;

«Конформизм в воспитании»... (конформизм — приспособленчество, пассивность в восприятии: как идет, так иди! — едва ли не основной недостаток людской психологии и человеческой натуры; в них он видел причину многих бед и земной неустроенности).

«Сто практических советов учителю». Так называлась одна из последних его работ, в которой он суммирует свои взгляды на сложную профессию педагога, воспитателя. Это книга-завет. Некоторые из его наставлений

(запомните, друзья-педагоги!):

«Недопустимо делать предметом обсуждения в коллективе: предосудительное поведение ребенка (подростка, юноши), причиной которого являются явные или

скрытые ненормальности в семье...

предосудительное поведение или отдельные поступки детей, если причина их — душевный надлом у ребенка в связи с тем, что у него неродной отец или неродная мать. Каким бы злостным нарушителем дисциплины ни оказался ребенок, если у него нет отца или матери, разбирательство его поведения коллективом никогда не может быть объективным;

поведение или отдельные поступки, которые являются протестом против грубости, произвола родителей или

кого-либо из взрослых, в том числе и педагогов...

предосудительный поступок — реакция на то, что учитель допустил необъективность в оценке знаний ученика. Как и во многих других случаях, здесь мы имеем дело с детской обидой, а это очень нежная, капризная ранка: чем больше о ней беспокоишься, чем чаще прикасаешься к месту ранения, тем больнее. Ранку-обиду лучше всего оставить в покое...

проступок, объяснение которого требует рассказа о глубоко личных, дружеских отношениях ученика со своим ровесником или старшим или младшим другом. Наталкивание на откровенность в таких случаях осознается и переживается учеником как побуждение к измене, выдаче друга... У детей свои понятия, свои убеждения о чести и бесчестии, и эти понятия и убеждения надо уважать.

...У читателя может возникнуть вопрос: а что же следует, что допустимо разбирать в коллективе?

Ничего».

Запомните, запомните это, товарищи.

(А как мы любим устраивать всяческие нужные, а

чаще ненужные публичные проработки на педсовете. общем собрании... ох! Когда обичимся знанию человеческой диши? Проведем «мероприятие» и считаем, что сделали дело, поставили крыжик, Главное — крыжик, Навредили и довольны.)

Слово С. Соловейчику (из очерка о В. А. Сухомлин-

CKOM):

«Рассказывайте о Сухомлинском. Его хоронила вся школа, весь Павлыш и огромное число приехавших на похороны людей. Учителя решали: привести ли прошаться с ним малышей, с которыми Василий Александрович занимался весь прошлый год — готовил к школе? Не будет ли это травмой для них? Но он писал: «Прикосновение детского сердца к смерти любимого человека, переживание утраты пробуждает не только радость бытия, жажду жизни, но и новое видение мира вообще. Человек с изумлением как бы открывает для себя истинную цену того, что он живет, чувствует, видит, наслаждается радостью бытия и познания. Только тот, кто постиг душой, что значит потерять человека, умеет видеть в своем поведении, в поступках отношение к человеку».

Детей привели в клуб. Один мальчик сказал:

— Это не наш учитель... Наш учитель всегда ходил или сидел, а этот лежит... Наш учитель обещал покатать нас на катере...

Я разговаривал в этими нынешними первоклассниками. Так и запомнился им «наш учитель»: они помнят человека, который водил их в лес, жег с ними костры, показал им буквы, сложил с ними сказку про шпака — про

скворца и обещал покатать на катере...

Чтоб малышей не затоптали в толпе, их окружили кольцом десятиклассники и поставили впереди процессии. Вся дорога от клуба до кладбища была усыпана георгинами и астрами. Маленькие мальчики и девочки шли по цветам, за ними — их учитель.

Кладбище неподалеку от школы, две минуты хольбы. Сухомлинский все-таки не покинул своей школы — и те-

перь уже никогда не покинет.

Его именем названа улица, на которой стоит школа, и, конечно, сама школа».

Безмерна потеря.

А ведь находились деятели (они встречаются и сейчас), пытавшиеся сбить Сухомлинского с завоеванных позиций, заявлявшие, что «человечность» слишком туманное понятие и едва ли применимо в педагогике. Какая чушь, какое чудовищное недомыслие и непонимание! Он все это пережил, преодолел, как и свою болезнь, заставив

ее на целый ряд лет отступить перед его волей.

Вспоминаю, как я тоже где-то прочел — его называли «сентиментальным». В нашей областной газете, когда я пришел туда с предложением опубликовать выдержки из сочинений Сухомлинского, в ответ услышал: «Старомодно...» Но есть вечные истины. Без них нам не взойти к вершинам человечности и счастья. Им служил Сухомлинский. Им поклонялся.

Как очень правильно написал С. Соловейчик, имевший счастье и радость быть лично знакомым с В. А. Сухомлинским, «вечная человеческая драма: мы не умеем распознать великое, когда оно слишком близко к нам, мы ленимся задирать голову, чтобы всмотреться в заоблачные вершины, у нас не хватает зоркости, чтобы угадывать их очертания...»

Большое видится на расстоянии.

«Рассказывайте о Сухомлинском, — таким призывом заканчивает писатель и педагог С. Соловейчик очерк о В. А. Сухомлинском, — рассказывайте, как сумеете! Мы должны делать одно: рассказывать о Сухомлинском, о его школе и его идеях, и они сами пробыот дорогу в сердца людей».

Мои воспоминания зовут к тому же, преследуют ту же цель.

Да, мы никогда не виделись. Судьба отказала мне в личном знакомстве с ним, и встреча, которую мы проектировали, так и не состоялась: вмешалась смерть. Я как раз собирался в Павлыш, прикидывая наиболее удобное время для него и для себя, когда пришла скорбная весть. Знать, так было написано на роду, запрограммировано помимо нашей воли. Не суждено.

Вспоминаю, как после его первого письма увидел его на снимке в «Огоньке». Он выглядел моложаво, но Андреева писала мне, что Василий Александрович очень больной. Это можно было понять как «поторопитесь», но я этого не понял...

Возможно, кто-то спросит: а при чем здесь собаки? Не будь собак — не было бы и книги «О любви к живому», не было бы книги — не возникла бы и эта переписка и, следовательно, не состоялось и такого, письменного, общения, пусть на расстоянии, и все-таки общения, дорогого, незабываемого...

# 2 — Терезы — 2, или Тереза-маленькая выходит на арену

Гремит оркестр. Под бравурные звуки марша на арену выезжает экипаж. Его тянет пони. В экипаже — она, королева аттракциона, внучка великого Анатолия Леонидовича Дурова, Тереза Дурова, обаятельная, красивая, в сверкающем платье, с улыбкой на устах, очаровывающая уже одним своим видом, одной своей фамилией... Под шквал приветственных аплодисментов она раскланивается с публикой. Цирк настороженно стихает, готовый каждую минуту вновь взорваться бурей восторгов.

Представление начинается.

Маленькая Тереза стоит за занавесом у выхода на манеж и ждет. На ней эффектный костюм клоунессы, сшитый матерью, традиционный дуровский колпак. Нетерпеливое ожидание, волнение, страх, гордость, самые противоречивые чувства терзают ее в эту минуту. Когда на арене будет произнесено ее имя, ей выходить. Выходить впервые в жизни.

...Правнучка Дурова! Были два брата Дуровы — знаменитые русские цирковые артисты — Анатолий и Владимир; Тереза — представительница ветви Анатолиевой.

Она очень похожа на своего отца, Ганнибала: и взрывным темпераментом, и общим обликом. Те же глаза (впрочем, глубокие черные глаза у обоих родителей), хорошо сформировавшаяся, с прыщиками на лице — признаком раннего созревания, еще девочка, но уже не ребенок. До этого дня она была просто младшей в роду, маленькой Терезой, третьей Терезой по счету в их генеалогическом древе (первая была бабушка), училась в школе, готовила уроки, как все ребята ее возраста...

Впрочем, — нет, уже со дня рождения в ее судьбе есть нечто, отличающее от других. Ну, прежде всего, никакого постоянного пристанища, вся жизнь на колесах. Месяцполтора в одном городе, и — дальше... За свои тринадцать лет она успела повидать с отцом и матерью и их

аттракционом более ста городов, став ученицей, успела переучиться к этому времени в сорока пяти школах. И, конечно, уже чуть ли не с пеленок ее мечтою было — стать артисткой цирка, дрессировщицей животных, чаровательницей зрителей, так же, как ее родители, и, прежде всего, как ее мать Тереза, как их одаренный дед, оставивший такой заметный след в истории русского отечественного цирка.

Мать оттягивала выход дочери на профессиональную стезю. Пусть еще поучится, побегает беззаботно! Еще нужно закончить образование. И вообще кто из родителей не хочет своим детям долгого детства. События ускорила сама дирекция цирка. Почетно: еще один из знаменитой династии сделает свой первый шаг на арене Сочин-

ского цирка. (О сборах мы уже не говорим.)

Всего несколько дней назад начались репетиции. Горячая, темпераментная, неукротимого нрава, вся во власти нетерпеливого желания не посрамить себя, сделать из дочери актрису (уж коль начали, так давай! к чему тянуть!), Тереза-мать гоняла дочку до поту. Хваталась за сердце и требовала: «Еще, еще раз!» Животные верблюды, пони, пеликаны, зебра — убегали с манежа и снова возвращались. Были и слезы, и протесты. Дочь натаскивали все враз - мать, отец, приезжий режиссер, художественный руководитель Киевского цирка Б. Заец. Он приехал на берег Черного моря отдыхать, купаться, загорать, но как откажешься посодействовать в таком деле? — и любезно согласился помочь советом и опытом, «поставить» номер. Отец вскоре отступился и стоял у парапета молча, сложив руки на груди. Ее «натаскивали» строгая родительница и режиссер.

— Улыбочку! улыбочку! — требовала мать, размахивая шамберьером. Сейчас она совсем не походила на тусияющую волшебницу, которую ежевечерне радостно встречает публика. — Помни: ты на арене, ты — актри-

ca!..

— Чтоб рот не закрывался, — вторил режиссер. — Где твон зубы? Я их не вижу. Ты старушка в тринадцать лет. . .

— Вы хотите все <mark>сразу, — не выде</mark>ржал отец.

Животных она знала, и они знают ее, — это облегчало дело. Контакт с бессловесными — тоже чего-нибудь да стоит! Срочно перешивались материнские костюмы, подгонялись по фигуре дочери.

Ой, мама, — протестовала маленькая Тереза, если

платье казалось неподходящим. — Это такой стиль... к Дуровым никакого отношения не имеет!

Видали, эта кроха уже разбирается в стилях!

И вот назначен день и час...

А я — вроде свидетеля, фиксирующего каждую мелочь...

Как назло, в канун дебюта разболелось ухо. Хроническая болезнь — воспаление среднего уха, Тереза-маленькая страдала этим с детства. Ночь почти не спали, вызвали врача. К одной заботе прибавилась еще другая. Неужели выступление сорвется? Нет, нет! ни в коем случае! Так, уже в самом начале пути судьба посылала и первое, как говорят нынче, незапрограммированное или попросту непредусмотренное испытание, в каких выковывается характер. Ведь артист всегда должен быть в форме, таким и никаким другим, всегда готов к выступлению. Личное, расстройство и недуги отходят на задний план.

Вспомнилось, как однажды у матери разболелся зуб перед ответственным выступлением. Ее повели к какомуто знаменитому дантисту, чтоб он «по блату» или врачебной воспитанности (врач не может отказывать больному. на то и клятва Гиппократа), во внеурочное время принял срочные необходимые меры — помог. Он хотел лечить она потребовала: «Дергайте!» Когда там лечить? только бы унять эту зверскую боль! Боль была нестерпимой. «Дергал» он неумело, раскрошил, — как она выдержала, сама не помнит, была почти без сознания. А самое ужасное — вернулась от него, адская боль никак не стихала. Назавтра выяснилось, что второпях выдернул не тот зуб, здоровый, а больной остался. После она рассказывала об этом с неподдельным юмором, так что все держались за животики; а тогда было совсем не до смеха! И все-таки она выступала. С чарующей улыбкой, как всегда, выехала на арену; и мгновенно забыла про развороченные десны, про боль... А как, в другой раз, верблюд ступил на ногу; боль была ничуть не меньше, но представление продолжалось, а после врач констатировал перелом.

Со смехом рассказывала Тереза-старшая, как однажды попробовала работать с крысами. Дуровы не работают с хищниками, это у них традиция. Дуровская метода ласковая и добрая, а с хищниками, хочешь не хочешь, легко сорваться на крик, на грубость, жестокость... хочешь не хочешь, придется применять резкое принужде-

ние — хлыст, брандспойт, если вдруг взбунтуются... а заслужил зверь такое обращение? Нет и нет! Сие противно всей их школе. (И это, добавлю, больше всего прельстило меня в знакомстве с Луровыми и питало мое уважение к ним, заложив основу для дружбы.) Кто «подбросил» мысль о крысах, уже не припомнить... запамятовала. Оказалось, крысы работают превосходно, понятливы, быстро дрессируются. Она приучила их ползать по себе. Но раз вышло непредвиденное. Во время репетиции лопнула большая электрическая лампа, как выстрелила. в аккурат в тот момент, когда на дрессировщице находилось около двухсот крыс. Серые сварливые хищницы испугались и принялись ее кусать. Она завопила. Их колотили на ней палками, но, как после признавалась она, больше досталось ей, чем им... Ох, не легкую долю ты себе избрала. Тереза-маленькая! Но ей ли отступать, ей ли, перед чьими глазами постоянно стоял высокий пример служения искусству?

— Представляешь, Терезочка, — сказал я ей, — пройдут годы, когда-нибудь я неожиданно приду к тебе в цирк, я буду уже старенький, маленький, дряхлый, буду шамкать, а ты будешь уже знаменитой и не захочешь разго-

варивать со мной...

— Ну, вот, — с обидой возразила она, — еще не выступила, а все уже говорят «зазнаешься», «зазнаешься».

Однажды во время гастролей Дуровской группы в Свердловске директор цирка Николай Иванович Слаутин представил меня Терезе Васильевне, — с того дня повелась наша дружба. Верно, определенную роль опять сыграли мои «собачьи» книжки, опять они; а кроме того, все любители животных охотно знакомятся и поддерживают в дальнейшем добрые отношения меж собой. Впрочем, об этом я уже говорил. Тогда же Тереза-старшая подарила мне иллюстрированное издание «Дуровы», сопроводив подарок надписью: «Человеку, который любит животных. А это значит, что хорошему человеку. Рябинину от Т. Дуровой». Не знаю, заслужил ли я такую надпись, но что человек, любящий животных, лучше нелюбящего, обладает неоспоримым духовным превосходством, святая истина, ныне уже не требующая доказательств (казалось бы... хотя доказывать все еще приходится). После были редкие встречи: то проездом в Красноярске — я летел на Дальний Восток, а Дуровы гастролировали как раз там,

Тереза-большая была занята в представлении, Тереза-маленькая специально приехала на аэродром поприветствовать меня и передать привет от мамы. . . А теперь вот в Сочи, в прекрасном городе-курорте с недавно построенным прекрасным цирком. В Сочи я приехал отдыхать, глянул на афишу — ба! Дуровы здесь, такая удача! Конечно, тотчас пришел в цирк. И вот, пожалуйте (вторая удача!), Тереза, дочь Терезы и внучка Терезы, становится профессиональной артисткой — впервые выходит на арену, начинает цирковую карьеру еще один отпрыск знаменитой фамилии. . .

Она стояла у занавеса и как-то еще плохо представляла, что происходит, какой сегодня день в ее биографии, вся — внимание (не пропустить бы свой выход!). Во всех проходах толпились свободные от представления артисты — ждали ее появления. А на арене шел шуточный

диалог:

— Слон открыл клетку и разогнал всех ваших голубей...— говорил отец, держа под мышкой пустую клетку, он же — комик, он же дрессировщик. Обычно он выделывает всякие смешные номера с Катрин, доброй слонихой, непременной участницей всех выступлений, но сегодня, кажется, и его голос звучит как-то необычно. Вероятно, тоже волнуется за дочь.

— Это голуби не мои, а моей дочери, — отвечает звон-

кий голос матери.

— У вас есть дочь?

— Да, есть. И тоже Тереза. Тереза Дурова. Сейчас я

ее позову, и она вам поможет...

Пора. Занавес слегка раздвинулся, пропустил ее вперед и тотчас сомкнулся за ее спиной. Назад возврата нет, теперь только вперед. Тереза-маленькая, будущая Тереза-третья, преемница традиций Дуровых и освященной временем русской цирковой школы! Не урони их, Тереза!

Она выпорхнула, юная, свежая, с такими же сияющими лучистыми глазами, как у матери. Цирк грохнул овациями. Кому не приятно, что у знаменитой артистки есть дочь, и к тому же тоже Тереза! И кроме того, такая фамилия — уже половина успеха! Но это налагает и особую ответственность. Зритель принял начинающую Дурову благосклонно. Теперь — смелей, Тэтка (так все зовут уменьшительно Терез в их семье: Тереза — Тэтка).

Как все прошло, она не может сказать, пусть судят

другие. Только придя в уборную, она почувствовала, насколько все это было страшно. Вот когда затрясло всю. Знакомые и друзья целовали, поздравляли с удачным дебютом. Еще на арене маленькая девочка, взявшаяся невесть откуда, вручила ей букет цветов. Первый букет! Первое представление — первое признание... Никогда она не забудет этого! Режиссер сказал — ободряюще или критически, не понять: «Поговорим завтра...»

Это произошло двадцать девятого октября 1966 года, на субботнем представлении, которое началось в 16.00.

Вероятно, первое время (так делалось всегда) ей предстоит работать с матерью. Я уже представлял эту афишу:

### 2 — Терезы — 2 Смотрите! Смотрите!

Пройдут годы. Они идут быстро. И вот уже Терезамаленькая стала большой. Но никогда не изгладятся в памяти переживания этого дня, первого артистического дня ее жизни.

Через несколько лет у Терезы-маленькой пробудится тяга к литературному творчеству; но сегодня — да здравствует цирк, цирк и один цирк! Как у матери, как у всех

представителей дома Дуровых!

Интересно отметить, что именно здесь же, в Сочинском цирке, ровно за год до этого, начинал младший Юрий, сын Юрия Дурова, представителей другой ветви дуровского древа — Владимира Леонидовича Дурова. Мы ведь сказали: основателей династии — двое, и вот уже более полувека эти две родственные «линии» соперничают между собой на цирковой арене, одаривая нас великолепными плодами своего таланта, трудолюбия, непрерывных поисков. Мы, зрители, не внакладе от такого соперничества, и пусть оно продолжается еще долгиедолгие годы. Четвертое поколение Дуровых выходит на арену. Будет и пятое. . .

А сразу после дебюта, еще не успела опустеть гримировальная уборная после поздравителей и друзей, стро-

гая мать напомнила:

— А уроки — готовы? Уроки, уроки! чтоб были сделаны!

Артистка должна учиться.

## Она любила все живое

Улица Алексея Толстого, дом 4... Небольшой тихий переулок с еще сохранившимися старыми зданиями и закрытыми дворами, каких теперь остается все меньше и меньше, в самом центре Москвы. Всякий раз, попадая в эту часть столицы. — а бывать там приходится довольно часто: поблизости Союз писателей СССР, ЦДЛ 1, издательство «Советский писатель» и Комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли РСФСР. я думаю: а ведь, наверное, рядом с этой табличкой могла бы висеть еще и вторая — «и Ольги Перовской». Злесь. в одном из этих потемневших от времени кирпичных домов, с низкой каменной аркой и тесным двориком без единого прутика зелени, прошли последние годы ее жизни. Помню, как я, направляясь к Перовским, впервые нырнул под эту арку, и меня сразу охватила атмосфера старой Москвы: это впечатление усилилось, когда передо мной приветливо распахнулась дощатая дверь и впустила в тесноватую, темную, с крохотной прихожей, какую-то такую обжитую, такую удивительно привычную всей своей непритязательной обстановкой, уютом и налаженным ритмом жизни квартиру... нет, не квартиру, а квартирку! Привело меня туда письмо с приглашением навестить, когда окажусь в Белокаменной. Точь-в-точь как в свое время состоялось знакомство с Игнатьевыми — Алексеем Алексеевичем, человеком удивительной судьбы. и его супругой, с Комаровым в Песках; и вот теперь еще... новое приятное волнение, предвкушение новой встречи.

Нет, я не застал ее уже в живых. Меня приняли Софья Васильевна, старшая сестра покойной писательницы (она и послала мне письмо), и их близкая родственница, старенькая (даже не сумела вспомнить, сколько она прожила в этом доме), но чрезвычайно хозяйственная и энергичная, тотчас побежавшая на кухню готовить чай; да еще большой, сытый, холеный кот, который как забрался ко мне на колени, так и не слезал, пока меня не освободили из этого плена хозяйки.

Сразу почувствовалось: в этом доме любят животных. И действительно, кто только не жил здесь: собаки, кролики, зайцы, ежи, синицы. Животные с первой же минуты стали темой разговора, который с перерывами

<sup>1</sup> Центральный Дом литераторов.

прододжался до нашего последнего свидания. Софья Васильевна, женщина крупная, в годах, но не уступавшая в энергии иным молодым (наверное, это было фамильной чертой Перовских: все отличались подвижностью, неуемной энергией и жаждой деятельности), коневод по специальности, работала в Рыбном, Рязанской области, в Институте коневодства, поднималась затемно, к семи часам уже была там, на своем рабочем месте, возвращалась в Москву, когда на улицах зажигались фонари, однако никто никогда не слышал от нее ни единой жалобы на усталость, дальнюю езду, трудности жизни: всегда бодрая. приветливая, готовая протянуть руку помощи любому нуждающемуся, и — разговоры, разговоры о лошадях, о скачках, выездах! Животные под кровлей этого старого московского дома были такими же полноправными членами семьи, как люди, и, если даже они не жили здесь (лошади), все равно присутствовали незримо, а в какойто мере и зримо — на фотографиях. Фотографий было несметное множество... в альбомах и шкатулках, в конвертах, просто пачками, на стенах. Думаю, что это было тоже наследственное - товарищеское, дружеское отношение к бесловесным, глубокое участие к их сульбе.

Софья Васильевна приглашала наведаться к ним в Рыбное, посетить конезавод и институт, поскольку я обмолвился, что тоже люблю лошадей и намереваюсь написать несколько рассказов на темы конного спорта, в частности о знаменитом Абсенте — чемпионе мира; а я, в свою очередь, хотел захватить с собой и свозить туда Алексея Никаноровича Комарова, он обожал лошадей.

К сожалению, поездка так и не состоялась.

О животных и любви к ним писала Ольга Перовская. (Племянница тоже пробовала себя на литературной стезе, но не знаю, была ли она так же одержима духом анимализма, кажется, нет.) После Ольги Васильевны остался архив — 26 папок; почему-то Софья Васильевна хотела, чтоб я забрал их себе. По ее настоянию я был включен в состав комиссии по литературному наследству О. В. Перовской, а теперь она хотела, чтоб я, быть может, взялся и дописал рассказ «Любимый репей», оставшийся не законченным Ольгой Васильевной: об их общем любимце семьи — кролике Чике, или Чикене, что в переводе с хинди по-русски значило «Маленькая крошка». Чикеню я мог очень живо представить по набору фотографий: Чика является осенью в дом своих будущих дру-

зей — еще совсем махонький, с трудом лезет по ступеням крыльца; Чика явился к обеденному столу — сидит в окружении тарелок и мисок; Чикеня умывается; Чика читает — в очках склонился над книгой; заметки делает; углубился; Чика ходил проверять, кто живет в собачьей конуре, — вылезает из конуры; Чика привел маленького (тоже крольчонка, каким был сам, когда впервые пожаловал сюда); когда уходят из дому, Чикентий нежно прижимается (очень трогательная сценка); наконец, О. В. Перовская с Чикой — и Чика прослушал рассказ о нем под названием «Любимый репей» и в благодарность расцеловал автора... (Рассказ пока еще только в черновых заготовках.)

Софья Васильевна была нежно привязана к сестре, она не могла дня прожить, чтоб не вспомнить о ней, и все рассказы о животных, фотографии были данью той же любви, они как бы лучше высвечивали, оживляли образ умершей. Она была красива, очень красива, и внешне и душой, особенно душой, повторяла Софья Ва-

сильевна.

Так, постепенно, я знакомился с Ольгой Васильевной, узнавал некоторые ее черты — то, о чем можно было догадываться, читая ее книги; и так родились эти записки...

\* \* \*

Бывают люди, подобные падающей звезде. Вспыхнет, пронесется стремительно по ночному небосводу и канет в вечность, ее уж нет, а ты еще долго стоишь и всматриваешься в ту сторону, где она только что сияла ярко, таким волшебным светом. Такой представлялась мне всегда Софья Перовская, революционерка, героиня, заставившая в минувшем столетии много говорить о себе, повешенная по приказу царя (кстати, ей принадлежат слова: «В революции можно быть только целиком». А в искусстве? воспитании человека?); такой представляется и внучатая племянница знаменитой народоволки, жившая уже в наши дни, писательница Ольга Перовская...

С невозвратимых дней юности врезалась в память большеформатная нарядная книга с заманчивым названием «Остров в степи» и серебряной скачущей зеброй на

обложке, о заповеднике Аскания-Нова и его диковинных обитателях — страусах, антилопах, зубробизонах, зебрах, диких лошадях тарпанах... «Ребята и зверята», тоже о бессловесных и их друзьях; «Мармотка», о ручном сурке... Она любила все живое! Откуда берется это чувство и как оно достигает такой силы, что передается другим?

Их было четыре сестры — Софья, Ольга, Юлия, Наталья. Мать — земская учительница: отец — лесничий, состоявший под гласным надзором полиции. В Петербурге. еще в пору учения, его дважды выгоняли из Лесного института за участие в студенческих беспорядках. После уехал в Семиреченскую область, но без разрешения жанлармского управления он не мог переменить места жительства. За отцом прочно закрепилось прозвище «дикорастущий старик». Большой был оригинал, вольнодумец. Дети звали его батькой — по-простецкому, хотя дети были образованные, знали языки. Ходили в обычной крестьянской одежде, жили просто. Культ народничества. уважения к сложившимся обычаям, к русской национальной истории, свято сохранялся у Перовских на протяжении нескольких поколений. Это было питательной средой, почвой, на которой вырастали талантливые люди, истинные граждане Отечества. В архиве писательницы сохранились наброски «Книги о моем отце». Отца любили.

Колоритной личностью предстает в воспоминаниях близких дед Василий Львович, брат казненной Софьи Львовны, белобородый, прямой, высокий, которого не согнули годы и восемь лет царской каторги. Он замерз в

блокаду в Ленинграде.

Ольга родилась в Крыму, с детских лет находилась в окружении живой природы. Эта близость была особенно тесной, когда жили в Медео, в Казахстане. Отец принесет то птицу, то ежа, в доме постоянно были собаки, кошки. Животные росли вместе с детьми, и, может быть, уже тогда укреплялась в сознании необходимость защиты слабого, «братьев меньших».

Ольга была вспыльчива, отходчива — эмоциональная, тонко чувствующая, артистическая натура, изящный человек. И внешне хороша: нежный овал лица, тонкий прямой нос, красивый вырез рта, русые волосы, уложенные двумя ровными рядами, и взгляд — вдумчивый, с всегда готовыми брызнуть искрами заражающего веселья, и, одновременно, с легкой, запрятанной в глубине грустин-

кой. Вероятно, таков всякий истинно одаренный человек: в нем уживаются самые противоречивые свойства. Дружила с Макаренко, с Борисом Житковым. Отец когда-то жил в Одессе у Житковых. Училась на биологическом факультете, на практике четыре лета провела в Аскания-Нова, что и привело к рождению «Острова в степи».

Судьба уготовила ей большие радости и тяжкие душевные и физические испытания. Она родилась с пороком митрального клапана. От рождения сроки жизни ее были ограничены неизлечимым недугом; а сердцу еще пришлось любить, страдать, волноваться, переживать за близких, за страну, за свои творения... Известно: путь художника не бывает гладким!

В двадцать семь лет врачи настоятельно советовали ей лежать; а она была влюблена в жизнь, реагировала на все бурно, обожала путешествовать. Василий Васильевич, отец, скитался в эту пору с экспедицией по горному Алтаю, она — с ним, ездила верхом, «обманула болезнь»

и вернулась поздоровевшей.

Тяжкий, непоправимый удар, невозместимую потерю нанес сорок первый год. Погиб в ополчении Григорий Емельянович Замчалов, муж любимый и любящий, писатель, как и она. Они вместе создавали «Остров в степи». Очень интересный человек, проницательный, понимавший все с полуслова. Вышел из неграмотной крестьянской семьи. Люди моего поколения должны помнить его книгу «Красный фартук». Похоронила, не видя его. Ушел и не вернулся. Это сломило ее. Она всегда была очень ранима, а тут...

Врачи приговорили ее к смерти еще в 1949 году. Сказали: жить осталось месяца два-три... Был момент—сутки ждали: вот-вот умрет. Восемнадцать вливаний за сутки, чтоб поддержать угасающее сердце. Родные сидели в больничном коридоре, готовые каждую минуту услышать о трагической развязке. И вдруг—стало лучше. Случилось чудо, она начала поправляться. Это дало ей повод острить: «Неизвестно, за счет чего живу». «В долг живу!»

Да, характер, душа у нее были золотые! Ее радовали встречи с маленькими читателями. Наверное, этим и жила. И еще — работой, любимой литературой для папмам и их деточек.

Последние восемь лет почти все время лежала. И пи-

сала лежа. Ольга Васильевна Перовская умерла 17 сентября 1961 года.

...Я перебираю папки с архивом писательницы.

Незадолго до смерти она написала ЗАВЕЩАНИЕ. Последнее слово к читателям. В нем содержатся такие строки:

«...Действительно, только впитанное с молоком матери, внутреннее, воспитанное с детства, с самых младенческих лет УВАЖЕНИЕ и ЛЮБОВЬ ко всему живому, УВАЖЕНИЕ, в котором формируется детское сознание, сделает из ребенка с годами люблщего, хорошего сына, товарища, мужа, отца и достойного нашей Великой Отчизны — Гражданина.

Гуманное отношение к слабейшему (вместо капиталистического закона «сильный души слабого») — краеугольный камень воспитания будущих строителей и членов

коммунистического общества».

Можно утверждать, это было ее кредо, основа всего мировоззрения, зовущее сияние прекрасной души человеческой, которым озарена была вся ее жизнь. Какая несправедливость, что эта жизнь оказалась короткой.

Время идет, и уже новые поколения перечитывают «Остров в степи», «Ребята и зверята»... Их читают на русском и украинском, на грузинском и таджикском, на польском, чешском, арабском, болгарском, датском, японском, китайском... И всюду произведения О. Перовской учат добрым чувствам, светлому видению мира.

Да, она похожа на звезду, что, вспыхнув во мраке ночи, стремительно пронеслась по небосклону, разгоняя тьму, и исчезла. Но она не погасла. Свет ее еще долго будет доходить до людей. И слышите, как с этим светом к вам летит ее наставление, совет-признание в испытанном, пережитом самой, укрепившем веру в прекрасное и

бессмертное:

«Однажды, путешествуя со своим отцом — ученым лесоводом и охотоведом, убежденным «лесовиком», — по горному Алтаю, я что-то разворчалась на какую-то мелочь и в сварливом настроении не замечала ничего вокруг. А вокруг были высокие зеленые травы, пышные заросли ярких горно-луговых цветов, наши лошади продирались сквозь сплошные стены диких роз, как в сказочных владениях Спящей Красавицы.

Мы въехали под узорный купол леса. Торжественно. Тишина. Вьются, свисая, изумрудные гирлянды, бле-

стят бусами ягоды кислицы, малины, смородины, ежевики... Стук копыт заглушает пружинистый, мягкий мох. Пахнет свежестью, смолою, чем-то лесным, особенным...

Отец с недоумением оглянулся на мою ворчню: «Ну как можно на что-нибудь раздражаться в лесу?! У меня здесь никогда не бывает плохого настроения...» Немного погодя я вижу: он остановил лошадь у высокого пня. Дерево спилили зимою по линии снега, снег стаял, и срез оказался более чем на полметра выше земли.

Отец снял войлочную шляпу и со счастливым лицом шутливо и церемонно приветствует какую-то, видимо, «значительную» лесную Особу. . . А на пне сидит на задних лапках полосатая белочка-бурундучок, любопытно и смело сверкая на гостя веселыми бусинками глазок, и передними лапками прижимает к груди какой-то орешек, корешок, словом, какой-то лесной гостинец. . . Какие чудесные у них в это мгновение были лица!!! Да, великое счастье — общение с природой! Любите, цените, оберегайте ее. . . И научите ребят ценить это великое счастье!»

#### могло быть инача

Улица Гвардейская, дом 18... Дом как дом, каких много в старом Львове. Довольно большой, а по прежним понятиям просто большой, в том западнославянском стиле, в каком сооружались в здешних местах все здания, из белого прочного камня. Поднимемся на четвертый этаж. Квартира 10. На звонок дверь откроет сам хозяин... Друзья рассказывали, он гостеприимен и рад даже нежданному посетителю, потому сам спешит принять, как предписано народным обычаем... Но — нет, прошлого не вернуть, вас встречает приветливая девушка, служительница мемориального музея. Распахнув дверь и вежливо кивнув, отступя немного назад, она посторонится, приглашая войти, и вы шагнете через порог, вдруг разом ощутив всю торжественность и святость места и необычность своего визита. Здесь в сороковых годах нынешнего века жил писатель-коммунист Ярослав Галан.

В квартире все осталось так, как было при жизни ее владельца. Сохранена вся обстановка, то же убранство, даже, как прежде, топятся кафельные печи. В небольшом кабинете письменный стол, за которым он работал; разложены стопки чистой бумаги; блокнот с пометками; телефон, пепельница (Галан много курил). На отдельном маленьком столике пишущая машинка «Эрика» (печатал сам). Рядом комната, где писатель отдыхал, но просторный диван с украинским паласом нередко до утра оставался нетронутым, пустовал. На стене большой портрет собаки. Это Джим, любимый пес Галана, из породы карпатских овчарок. Галан любил собак. Не случайна книга на польском языке «Пес домовой и пакоёвый (домашний и комнатный)», с таксой на обложке. Черно-белый Джим пользовался особым доверием и привязанностью Галана. На прогулку всегда вместе. Джим ждал этого часа и сам подходил к хозяину, чтоб тот прицепил поводок.

Однажды в октябре 1949-го, вот так же, как сегодня, раздался звонок у входных дверей. Пришли двое. Один уже бывал здесь раз, назвался студентом, пил кофе. Жаловался на свои невзгоды, просил пана письменника помочь: закрывают лесотехнический факультет, а он и его

товарищи не мыслят себя без этой специальности. Галан действительно пытался сделать для них что мог. И сейчас встретил как старых знакомых.

— А, друже! Заходьте, прошу вас.

Он провел их к себе в кабинет, пригласил сесть, хотя, если сказать правду, визитеры были совсем не ко времени: как всегда, в эти часы писатель напряженно трудился. Сегодня он как раз засел за статью, которую обдумывал давно. Посвящалась она 10-летию воссоединения западных украинских земель с матерью-Украиной и называлась «Величие освобожденного человека».

«...Исход битвы в западноукраинских областях решен, — писал он по-русски, — но битва продолжается. На этот раз — битва за урожай, за досрочное выполнение производственных планов, за дальнейший подъем культуры и науки. Трудности есть, иногда большие: много всякой швали путается еще под ногами. Однако жизнь, чудесная советская жизнь победоносно шагает вперед...»

Да, битва действительно продолжалась. Забывать об этом не следовало ни на минуту, кому-кому, ему — осо-

бенно.

Джим был тут же, в кабинете. В отличие от хозянна он встретил появление этих двоих не слишком любезно, глухо зарычал, наморщив верхнюю губу и обнажив белые острые зубы, потом стал обнюхивать у одного бок: почему-то тот подозрительно прижимал руку. Посетители быстро переглянулись, как бы спрашивая один другого: что делать? Галан приказал собаке лечь или убираться в другую комнату. Джим нехотя повиновался, легоколо стола, продолжая недобро коситься на пришельцев.

Галан сидел в кресле вполоборота к собеседникам и не успел произнести нескольких слов, когда один из них — тот, что прижимал локоть к боку, как бы придерживая что-то, — внезапно поднявшись, зашел со спины, в руках его оказался топор. . . Да, он и вправду прятал за пазухой, пес не ошибся, у них, у собак, на этот случай особое чутье. Сверкнуло остро отточенное лезвие, занесенное над головой ничего не подозревавшего Галана. Но ударить покушавшийся не успел. Джим опередил его. С коротким грозным рыком он впился зубами в руку убийцы; тот закричал и выронил топор. Оправившийся от неожиданности Галан повалил врага на пол и стал вязать ему руки. Второй кинулся бежать, но Джим нагнал и его. Все произошло в одно мгновение. На шум появилась

женщина-домработница, жившая в семье Галанов много лет, жена писателя Мария Александровна, побежали в милицию...

...Но откуда эти бурые пятна на столе и на полу

под креслом? Увы, все получилось не так.

Борис Полевой в книге «В конце концов» (Нюрнбергские дневники) вспоминает, как однажды Ярослав Галан просвещал его и других, что значит «вурдалаки». «Вурдалак»— есть такое слово, украинцы употребляют его

как ругательство; есть оно и в русском языке.

— Вурдалак, — объяснял Галан, — это непременный персонаж славянской мифологии. Это великий грешник, проклятый людьми и богом, которого не принимает могила. В темные, безлунные ночи он встает из земли, бесшумно прокрадывается в селения и пьет у спящих кровь, прокусывая им горло. Насосавшись человеческой крови, он на некоторое время может даже вернуть себе свой прежний облик. В Закарпатье гуралы до сих пор верят, что избавиться от вурдалака можно, лишь загнав в новолуние в его могилу осиновый кол...

Один из самых просвещенных литераторов Западной Украины, писатель-интернационалист и гуманист, Я. А. Галан стремился загнать осиновый кол в могилу недругов новой жизни, во все то, что мешало и противилось победе и утверждению более справедливого социального порядка, и прежде всего в метрополию и патриаршее правление «мутителя святой водички», как он нарек «бархатного диктатора» униатской церкви — митрополита и графа Андрея Шептицкого, своего лютого врага...

Неслыханно дерзкое замыслил — замахнулся на то, на чем стояла и императорская Австро-Венгрия, и вся империя Гогенцоллернов и Габсбургов, а после панская Польша Пилсудского и, наконец, третий рейх людоеда

Гитлера!

Жизнь бурная, насыщена событиями. Еще в юности он восстает против национализма и шовинизма. На старой фотографии мы видим его в переднем ряду среди участников антифашистского конгресса, состоявшегося в 1936 году во Львове. Галан идет за гробом убитого безработного. Расплата не замедлила — очередной полицейский налет и обыск в квартире. Репрессии следуют одна за другой. И старинная скрипка, висящая в музее-квартире, вовсе не для приятного времяпрепровождения в часы досуга в обществе друзей: с ее помощью в особо трудную пору удавалось приработать хотя бы немного,

в качестве тапера, сопровождая в кинотеатре немые

фильмы...

Когда на Западной Украине установилась Советская власть, Я. А. Галан работал в газете «Вильна Украина». В войну активно сотрудничал на радио, с помощью пламенного слова держа фронт в эфире. В качестве эвакуированного довелось побывать на Урале; о том напоминают телеграмма за подписью Александра Фадеева и бланк Башкирской литературной организации с пометкой — «оказывать Я. А. Галану всяческое содействие в работе».

«Второй молодостью» назвал он день освобождения родного края — Львовщины, или, по-старому, Галичины, «Красной Руси», от фашистских оккупантов. Дорогим для него памятником стал уральский танк-«тридцатьчетверка», первым ворвавшийся в освобожденный Львов в составе Уральского добровольческого танкового корпуса и ставший там на пьедестале на свою вечную стоянку.

На Нюрнбергском процессе Ярослав Галан специальный корреспондент газеты «Радянська Україна». В своих памфлетах, очерках, статьях на бесчисленных фактах он раскрывает предательскую роль националистов и их агентов, стремясь к добру, бичует и зовет на борьбу со злом. А в короткие передышки говорит: «Вдохните воздух на полную грудь — и вы почувствуете, как вам страстно, до боли страстно хочется жить».

Он не только публицист, памфлетист, он — зачинатель драматургии в своем краю, прозаик, пишет литературно-критические, театроведческие статьи; но главное сейчас — выкорчевать корни мракобесия и всего того, что мешает строить новую жизнь, и этой цели он посвящает

весь свой талант, все силы.

Атмосфера накалена до предела. Еще бродят по лесам банды националистов-бандеровцев, прячутся в подземных «схронах» кулаки-недобитки, предатели украинского народа, сотрудничавшие с гитлеровцами. Они подсылают своих агентов, грозят, стращают. За рубежом, за океаном его уже давно называют «отступником», «безбожником», «агентом большевиков», «самым главным организатором в подготовке московских планов уничтожения украинской католической церкви». (Глупость-то какая! да что от них ждать!) Что ж, брешите, брешите, на это он отвечает: «Пугают с перепугу, пусть не надеются, что я сложу оружие».

«Я и в дальнейшем, как и теперь, буду выполнять свой

классовый долг и беспощадно бороться с тайным и явным фашизмом», — снова и снова повторяет он. «Ну, а если... Если же будет суждено погибнуть, — не умрет память обо мне, и в шуме Стрыйского парка будут шуметь и мои недопетые песни».

За это его люто ненавидит кардинал Шептицкий, поверенный Ватикана и, возможно, самого папы Пия XII. и вся клерикальная свора. Да как и не ненавидеть, когда он пишет «Плюю на папу», «Люди без родины», «С крестом или с ножом», «Их обличье»... Галан презирал их всех до последнего выродка и гордо-убежденно заявлял о том во всеуслышание. Не Шептицкий ли, митрополит, осевший на землях Западной Украины после Великой Октябрьской революции и засылавший империалистическую агентуру в нашу страну, возглавив местных униатов, как сообщали советские газеты, блокируется с Петлюрой, с польской дефензивой и другими империалистическими разведками, а потом, с первых дней войны, действует в теснейшем контакте с негодяем Бандерой и гитлеровцами. Слуги тьмы! Желтоблакитники и прихвостни капитала! Их оружие насилие, ложь, жестокость. А он, Галан, за человеческую духовность, веру, доброту и свет.

В него уже стреляли. Он шел с другом Джимом по безлюдной аллее Стрыйского парка. Стояла пора золотой осени. Если б он знал, что это его последняя осень!.. Задумался, размечтался, — сама природа располагала к сладостному раздумью и самопогружению. Дышалось легко. Неподалеку на озерной глади медленно проплывали черные лебеди. И вдруг — выстрел, другой. Враги не дремали, они подкарауливали, ища встречи с ним. Стреляли из траншеи (в парке производились земляные работы). Пули пронеслись где-то совсем рядом. Джим заскулил и потянул в сторону, шерсть на нем встала дыбом. Кто знает, может, уже тогда пес спас его: не будь Джима, убийцы подкрались бы ближе и выстрелы оказа-

лись бы более меткими.

«Вурдалаки» спасовали перед собакой...

Вернувшись домой, Галан рассказал о происшедшем близким друзьям. Просил не говорить жене Марийке:

зачем тревожить ее...

Много ль времени прошло, и вот явились эти двое. Они давно и основательно готовились к своей акции. Сняли на фотографию дом по Гвардейской, № 18, досконально выяснили, когда и куда ходит Галан, в сопровождении родных и друзей или один. Выведали и расположение

квартиры, и распорядок жизни.,, За тем и приходили в первый раз под видом обиженных студентов. Продуманы были все подробности, вплоть до того, что сразу же оборвать телефонный шнур, чтобы члены семьи не могли позвать на подмогу, забрать медали Галана, а вместо них оставить окровавленный плащ и топор — вещественные свидетельства неотвратимости мести, назидание другим...

Правда, у Галана имелся пистолет ТТ, но он никогда не брал его с собой, не пользовался им, да и не умел пользоваться. Это также было известно бандитам.

Право, ему было совсем не до них. «Студенту» что мог он уже сделал. Что еще? Шевельнулось ли у него подозрение? Все, близко знавшие его, характеризуют Галана как человека доброго, порой немножко сентиментального, который пренебрегал личной безопасностью, и иногда по-детски наивного. Какие мысли тогда были у него в голове?

К слову, когда они приходили в первый раз, с хозяином квартиры почти столкнулись в дверях: он возвращался с очередной прогулки, держа Джима на поводке. Пес сразу же потянулся к одному и стал обнюхивать карман,

где у того был спрятан пистолет.

На этот раз Галан работал. Недавно они с женой позавтракали, после чего она ушла в филиал Музея имени В. И. Ленина, где числилась художницей, а он прошел к себе и сел за небольшой столик, спиной к двери, лицом к окну, через которое открывался вид на улицу и вливался свежий утренний воздух, рождавший ясность мысли и чистоту чувств. Зачем, зачем он так сделал, зачем проявил эту непростительную доверчивость! Лучше б сидел и писал, не позволяя себе отвлекаться. Время было неспокойное, не мог он забыть этого. Может быть, сыграло свою роль чувство ответственности перед народом: депутат горсовета - не имеет права избегать людей, уклоняться от встреч с ними. Так или не так, вера в людей и привычная обязательность, которую он воспитал в себе, пересилили осторожность: он отослал собаку в другую комнату (как всегда, Джим был тут, около любимого человека, здесь было его обычное место), а потом даже, поскольку пес что-то зачуял и попытался ослушаться хозяина, прикрыл плотно дверь, чтоб не мешал разговаривать.

В карманах пришельцы имели по гранате, за поясом пистолеты, а один под плащом держал топор, который

для успешного выполнения задуманного был специально освящен Ватиканом...

Яснолицый, с копной русых волос и быстро загорающимся огнем в живых, прямо глядящих глазах, Галан сразу привлекал и располагал к себе. Общение с ним доставляло радость и удовольствие. Но только не для них, этих слуг тьмы и их «батьки». Они ненавидели его. Их ненависть была свидетельством его силы (слабых презирают). Да он для них был как кость в горле, которую ни разжевать, ни проглотить!

Роковое мгновение близилось. Роковыми назвал когда-то подобные мгновения, когда решаются судьбы отдельных людей и судьбы целых народов, другой писатель-

гуманист — Стефан Цвейг.

Ах, добрый и неистовый товарищ наш Ярослав Галан! Почему ты больше доверился неизвестным посетителям, чем испытанному четвероногому другу? Ведь тот своим поведением предупреждал, пытался предупредить тебя. Все могло быть иначе...

Один из французских императоров, когда во дворец проникли заговорщики с намерением убить его, был спасен маленькой собачкой, лаем поднявшей тревогу; а ведь такой случай не единственный. Наконец, почему у многих народов, в том числе у предшественников славян, было в обычае — после смерти хозяина класть в могилу и собаку: пусть охраняет и там, в загробной жизни... Нет, конечно, все могло быть и по-другому, не так, как рисуется воображению, когда враги пробрались к Галану.

Эти двое — Стахуро и Илларий Лукашевич, выродки в человеческом облике, — только того и ждали. Бурые пятна — это брызги его, Галановой крови. Капли крови остались и на страницах статьи, которую он все-таки успел закончить, не успел только перепечатать на ма-

шинке...

Отец Иллария Лукашевича — Денис Лукашевич, служитель культа, в эту самую пору в селе Сороки Львовские правил службу в церкви Богоявления господнего. Знал он, на что пошел его сын? Знал. Вот оно, ханжеское

лицемерие отцов-богословов...

Они убили его ударами топора по затылку. Обрывком телефонного шнура убийцы связали домработницу Евстафию Довгун и, оставив плащ на левом стуле, бросив топор, убежали. Галан был в пижаме, кресло уронил, падая. Так, лежащим, его и нашли. Он уже не дышал, кровь перестала течь...

Но темные силы не победили, нет. Они думали запу-

гать — не вышло.

Иллария Лукашевича и его сообщников судил военный трибунал Прикарпатского военного округа. В акте судебно-медицинской экспертизы говорилось: «Смерть Ярослава Галана наступила от одиннадцати ран головы, сопровождающихся нарушением целости костей черепа и повреждением правого большого полушария мозга и мозжечка... Десять из указанных ран, каждая в отдельности, являлись смертельными, и лишь одна рана в области левого теменного бугра захватывала только мягкие ткани... Удары убийцей были нанесены Галану сзади...»

Акт отмечал: они продолжали убивать его, когда он

уже был мертвый.

И все-таки победил он, Галан.

Да, он сильно мешал им. Потому они учинили такую кровавую расправу. Но они так и не смогли помешать ему. Думали, у него не будет последователей, актом террора запугают всех — кто, как он, знал отвратительную подноготную бандеровщины, черные дела самостийшиков-«боевиков». Случилось обратное. Газеты обнародуют статьи «Дорогой позора и предательства», «Униаты», «Свастика на сутанах», «Анатомия предательства», «Национализм против нации...». Знамя Галана подхватят другие писатели — С. Даниленко, К. Дмитрук, В. Чередниченко. Журнал «Жовтень» создаст отдел — «Пост имени Ярослава Галана»...

И все-таки, и все-таки. Как жаль, как бесконечно горько, до боли, до спазмы в сердце обидно, что в роковой момент он убрал из кабинета Джима и оказался наедине с бандитами.

Если бы он не отослал Джима! Возможно, все было

бы по-другому — Джим сохранил ему жизнь...

Я все понимаю, нет и не может быть гарантии того, что произошло бы именно так, как рисуется моему воображению; и даже если б случилось именно так, Джим не дал бы совершиться убийству, католицизм беспощаден, враги слишком ненавидели Галана, чтоб остановиться на этом, и можно было ожидать новых заговоров и новых покушений; и все-таки! Говорят, иногда от случайности зависит многое, что-то непредусмотренное может изменить весь ход событий...

## ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТ ЗВЕРЯ

Есть имена, при напоминании о которых сразу возникают картины природы: Айвазовский — море, Шишкин сосновый бор с играющими медвежатами, Миклухо-Маклай — дальние-дальние острова в океане с бедными тростниковыми хижинами туземцев. На плоский песчаный берег нескончаемой чередой накатывают волны, тянется к небу синий дымок костра, в кругу диковинных темных людей ведет беседу белолицый человек с добрыми глазами...

Джой Адамсон... Вряд ли нужно представлять это нмя, имя ученого и писательницы. Книги Д. Адамсон «Рожденная свободной» и «Пятнистый сфинкс» переведены на русский язык и издавались в Советском Союзе, их хорошо знают наши читатели. Видели мы и фильм «Рожденная свободной», сделанный по одноименной повести. Джой Адамсон. В воображении сразу рисуется бесконечная африканская саванна, буйные заросли бушей и разгуливающие в них экзотические для нас звери — львы,

слоны, носороги, жирафы...

Около сорока лет Джой и ее муж Джордж жили и трудились в Кении, поставив себе целью содействовать охране животного мира Восточной Африки, чтобы хоть в какой-то мере исправить то зло, которое причинили природе «черного континента» неразумные богатые европейцы с ружьями. Нелегкая задача! Колонизаторы и любители острых ощущений (как правило, люди с толстым карманом и неограниченным запасом свободного времени) похозяйничали там столь основательно, что за какоето столетие от былого сказочного изобилия африканской фауны осталась ничтожная часть.

О Джой Адамсон однажды уже шел разговор в Центральном совете Всероссийского общества охраны природы. Дело в том, что Адамсон отказалась получить гонорар, полагающийся ей за ее произведения, изданные у нас, попросив направить эти деньги на нужды охраны диких животных (ведь все звери — ее братья!). Посовещавшись, президиум Общества решил передать их Крас-

ноярску, на строительство живого уголка, созданного в заповеднике «Столбы» другой такой же энтузиасткой защиты природы живой, правнучкой декабристов, Е. А. Крутовской, и неожиданно встретил сопротивление со стороны сибиряков. Местные товарищи, не разобравшись толком, отказались наотрез: «Зачем это нам? Принимать какие-то подачки от капиталистов...» Тщетно заместитель председателя ВООП В. Е. Голованов убеждал по телефону, что никакой это не капиталист, а такой же трудящийся человек, как все мы. Кончилось тем, что эти средства (что-то около тысячи рублей с небольшим) были перечислены в фонд развития юннатского движения.

По совету посла СССР в Кении Д. П. Горюнова Всероссийское общество пригласило Джой Адамсон в Советский Союз.

И вот встреча с Адамсон. Конец октября 1973-го. В Центральном совете, на проезде Куйбышева, 3. собра-

лись корреспонденты газеты, любители природы.

Она высокая, сухощавая, затянутая в талии, напоминает спортсменку, хотя возраст далеко не спортивный. Вьющиеся (или завитые) коротко подстриженные волосы. Взгляд быстрый, настороженный, каким и должен быть у человека, всю жизнь имеющего дело с хищными зверями. Одета просто, в гладкой темной юбке, в блузке с коротким рукавом. Руки рабочие, загорелые дочерна: и сама вся обожженная беспошадным африканским солнцем. (Правая рука испорчена — память об автомобильной катастрофе; но, мне сказали, не любит об этом вспоминать, вероятно, надоели, спрашивают, не результат ли пожатия какого-либо хищника; я, признаться, в первый момент подумал так же.) Часто улыбается, показывая белые крепкие зубы. На груди кулон — львица (Эльса?). Села на предложенное ей место за столом и выжидающе поглядывает на окружающих. Стоит обратиться с вопросом, сразу же вскакивает, выпрямляясь во весь рост. прежде чем ответить, не любит или считает неприличным говорить сидя. И вообще вся собранна и постоянно готова к действию, постоянно как будто ждет чего-то (поживика среди львов...).

«Неделя» приводит высказывание Адамсон о себе:

«Я счастлива, что живу в окружении прекрасного мира природы и отдаю ему все, что могу отдать. Однако мир этот не только прекрасен, но и тревожен. Существует масса проблем, которые посылают сигналы «SOS». Про-

блема охраны диких животных остра и безотлагательна. Как сберечь этот единственный мир, как спасти его — вот о чем я думаю с болью, но и с надеждой, что еще не все потеряно. Потому и сама занялась работой, о которой написала в своих книгах. Дело не в том лишь, что будет бесконечно горько, если грядущие поколения смогут узнать о львах или слонах только по книжкам или картинкам, но и в том, что исчезновение целых видов нарушает равновесие в природе, а это может неизбежно привести к последствиям, губительным для всех нас...»

Адамсон только что закончила в сопровождении Голованова поездку по стране. Своего спутника она называет «папа Голофанов» («фазэ Голофанов», «па-па Голофанов, да?»), но, кажется, это не вызывает у него восторга. Надо заметить, что она заставила его изрядно переволноваться: в одном из зоопарков устроила форменную обструкцию — почему диких животных содержат плохо, вон олени стоят в грязи! Ей разъяснили: олени Давида (водятся в северной части Китая) любят стоять в болоте, поэтому в зоопарке два раза в день им льют воду под ноги. Как видно, для нее это оказалось новостью. Но после этого «папа» вынужден опасаться, как бы не вышло еще чего.

«Она сумасшедшая, помешана на своих животных!» — уже слышал я о ней. Нет, она вполне нормальная, с нормальным умом, с приветливой улыбкой, мгновенно вспыхивающей на ее смуглом лице, чуть поймает на себе чейто доброжелательный взгляд, которая тут же сменяется озабоченностью, едва речь заходит о судьбе природы и животного мира. Одержимая — да. Но, хочу сразу сказать, одержимость — полезная вещь, без нее, быть может, гомо сапиенс по сию пору жили бы в каменных пешерах.

Сравнительно за недолгий срок пребывания у нас Адамсон успела повидать многое. Была в Сочи, в Кавказском заповеднике (произвели впечатление кабаны; уви-

дев след медведя, пыталась его догнать, но он не пожелал свидеться с нею), восхищалась Черноморским побережьем, самшитовой рощей; посетила чайный совхоз, это было для нее тоже в новинку. В Сочи встречалась с активом Всероссийского общества охраны природы, а в Киеве — Украинского и с его председателем профессором М. А. Воинственским. В Киеве поднималась на Владимирскую

горку, осмотрела зоопарк. В радостное возбуждение привел ее львенок двух с половиной месяцев от роду, беззаботно и свободно гулявший по дорожкам среди толпы людей: она схватила и поцеловала его, а он. вырываясь и балуясь, оставил на ее шеке следы своих острых когтей. Затем — Ленинград. Эрмитаж, Петергоф, Ломоносово. Зоопарком осталась не удовлетворена: львы, к которым питает особую любовь, в узких клетках (там вышел и инцидент с оденями). А вот от заповедника Аскания-Нова просто без ума. Стада африканских животных на воле! Антилопа-гну, зебры-канны... И где? На Украине, в Европе. Не ожидала. Привыкла видеть в Кении. Привыкла... а молоко канны впервые попробовала здесь, в Аскании-Нова. Ее восхитили опыты одомашнивания (поразилась, что они ведутся уже более полувека! не слыхала!) и птичьи базары на прудах. Понравился ботанический сал. Проехала по'степям и через Симферополь вернулась в Москву, откуда и начиналось путеществие.

Да! — добавляет Голованов, много стреляла. Особенно как увидит стаи водоплавающих, так сразу входит в

азарт и давай... из фоторужья. Навскидку.

Пока говорилось о ней, Адамсон молча сидела, затем, выслушав перевод, принималась быстро кивать, сопровождая это улыбкой. Разговор велся на английском, хотя по рождению она австрийка (не отсюда ли улыбка, постоянная готовность к общению? Англичане более сдержанны). Некоторые из присутствующих хорошо знают английский язык и в трудных моментах помогают девушке-переводчице, когда речь заходит о специальных вещах.

Однако послушаем, что скажет сама Джой.

— Я приехала сюда четыре недели назад. Очень волновалась. Новые люди, незнакомые мне обычаи. . . — Она делает короткую паузу, внимательно оглядывая лица слушателей. — Очень довольна пребыванием здесь, очень! Это было восхитительно! Основной целью моей поездки было ознакомиться с охраной природы у вас, с проблемой подготовки молодежи. И все, что я видела в вашей стране, произвело на меня большое впечатление. Я видела много пионерских клубов. Меня поразило, насколько хорошо у вас дети 8—10—12 лет относятся к животным, любят, изучают их.

Очевидно, она имеет в виду юннатские кружки, потому

что дальше говорит:

— В Канаде, в США и Англии есть подобные клубы,

носящие имя Эльсы. Было бы интересно установить контакты, чтоб познакомиться с опытом. Это было бы полезно для всех. Сейчас я хочу полететь в Лондон, встретиться с создателями фильма «Рожденная свободной». Они хотят создать серию фильмов по полчаса каждый, с участием тех же героев... Здесь, у вас, я посмотрела три фильма. «Симфония леса», о норках и «Аскания-Нова». У меня родилась мысль обменяться фильмами. Считаю, что это было бы полезно обеим сторонам. Вообще я буду послом вашей страны.

Ну, а что же все-таки ей понравилось больше все-

Lo;

 Многое, — отвечает она. — Особенно понравился Сочи, Стояла прекрасная погода. На Кавказе очень наглядны зоны растительности, изменение по высоте... поднимаешься и видишь, очень интересно! Должна сказать, что флора Кении в пять раз богаче флоры Европы. Я пятнадцать лет пишу картины природы Кении, изучила хорошо. Но я исключаю из этого сравнения вашу страну. которая такая огромная и богатая. Безусловно большое значение имеет одомашнивание диких животных, которым занимаются в Аскании-Нова. Там накоплен большой опыт. Когда я вернусь домой, я попытаюсь уговорить правительство Кении послать сюда зебр и антилоп, это необходимо для дальнейшего разведения. Меня интересовали исторические памятники в Москве, Киеве. Они произвели громадное впечатление. А также то, что все большие парки абсолютно чистые... Видела балет, оперы. концертные залы... Думаю, что Общество охраны природы меня слишком баловало... — Она смеется, глаза запрятались в узкие щелочки. Говорят, в улыбке раскрывается человек; Адамсон сместся хорошо. И снова: — Я буду послом вашей страны. Вернувшись, при встречах с корреспондентами, буду рассказывать о вас. Когда возвращаешься из путешествия, всегда расспрашивают... обязательно будут расспрашивать... это тоже обмен информацией и тоже на пользу связям между народами! Признаюсь, что имела о советских людях извращенное представление. Я увидела, что они трудолюбивы, приветливы. Хочу поблагодарить Общество охраны природы за то, что оно организовало мне такую интереснейшую поездку. Я чувствую здесь себя среди друзей. Я подружилась здесь не только с людьми, но и с животными...-Последнюю фразу она произносит с лукавой усмешкой,

вероятно вспоминая острые коготки киевского львенка. — Большое, большое спасибо папе Голованову!

Я ждал, когда она заговорит о зоопарках. И она заго-

ворила.

— Мы обсуждали с Обществом охраны природы планы улучшения работы зоопарков. Поскольку они в старых городах, они отстают, их нужно улучшить, реорганизовать. Зоопарки очень сложная проблема, нужно не менее лесяти лет, чтобы сделать их на уровне современных требований. Зоопарки предназначены для образовательных целей, а если животные живут в неестественных условиях, то создается неправильное представление... (Вотвот, это я и хотел услышать!) Исправить это непросто. ...Но это совершенно необходимо сделать. Люди в городах лишены возможности видеть животных такими, каковы они есть, поскольку судят о них по зоопаркам, а это приносит определенный вред в отношениях между человеком и зверем. Человек должен знать животное таким, каково оно есть на самом деле, только тогда он сможет помочь ему... захочет помочь. А главное, чтоб он захотел...

Джой права. К зоопаркам у меня уже давно своеобразная аллергия: не могу видеть, не хожу, не смотрю. Пришло время, когда зоопарк должен быть совсем иным. Не тюрьмой, не клеткой для заточения, а совсем-совсем иным. И пора захотеть и устроить все на другой основе. Главное — захотеть. Так ведь и люди часто, не зная друг друга, враждуют, а узнают — и удивляются, что им мешало жить в дружбе. Надо жить в дружбе!

Глядя на Адамсон, вспоминаешь выражение: только энергичные делают жизнь. Несущественно, кто это сказал, немногими словами высказана важная истина: хотя, как заметил один видный ученый, жизнь явление очень упорное, средства истребления ныне стали настолько мо-

гущественными, что ее нужно защищать.

Положение с животным миром тревожное. Нужно восстание чувств против безразличия к участи меньшого брата, против чудовищного, тупого, оскорбительного недомыслия тех индивидуумов, что полагают, что для процветания и благоденствия нашей планеты достаточно одного двуногого существа. Нет! Пусть человек поймет, что без меньшого брата нет и большого. Мне кажется, вот такой накал чувств непрерывно владеет Джой Адамсон и руководит всеми ее поступками. Он присутствует и в ее

книгах и во всех ее суждениях, даже в манере держаться.

Нужно всем быть такими же одержимыми, как она. Нужно. (Говорил же мне в Новосибирске академик М. А. Лаврентьев, делясь своими заботами, что на охрану природы надо бросить такие же силы, какие в свое время были переключены на атомную физику и космонавтику, только тогда будет настоящий результат.)

Напомню: в печати уже не раз поднимался вопрос о зоопарках. Пора переходить к делу. Мало того. Надо запретить передвижные зверинцы, что все еще колесят по дорогам страны, отрыжку тех времен, когда человек разговаривал со зверем только с помощью железных вил, живое свидетельство варварства и дикости, в коих еще недавно пребывал сам человек. Подобные зверинцы — по-

зор нашего времени.

Обоих Адамсонов волнует — поголовье диких животных уже недостаточно, чтоб снабжать зоопарки. Еще недавно Джой с мужем занимались приручением, старались удержать диких около себя; теперь решают обратную проблему — как животных, выращенных в неволе, переселить на свободу, из зоопарка — в саванну. Опыты с львицей Эльсой («рожденной свободной»), которая выросла в людском окружении, в их семье, а потом была возвращена в джунгли, показали, что все это очень непросто. Одомашнить, быть может, иной раз легче, чем вернуть к первобытному состоянию. И мы во Всероссийском обществе охраны природы все чаще вынуждены напоминать об этом: не тащите из леса в город всякую живность — ежей, лисят, косулят. Ах, он болен, потерялся... а мать, быть может, в это время смотрит на вас из кустов. Не надо, поймите, не надо! Неумной сердобольностью мы наносим существенный вред природе. Помогать нужно лишь действительно больным, раненым: но и такого звереныша, как только он поправится, тут же, немедленно, отпустить на волю, принести туда, где взял, и отпустить. Иначе будет худо. Разучившись бороться за свое существование, утратив природные инстинкты, такое животное само легко становится добычей других.

Семерых питомцев европейских зоопарков, привезенных в Африку и выпущенных в отдаленном полупустынном районе Северо-Восточной Кении, ожидала нелегкая участь. Одного молодого льва утащил в воду крокодил;

другого застрелили при попытке напасть на лагерь местных жителей. Одну львицу убил разъяренный дикий лев. И лишь три львицы сумели приспособиться к жизни в лесу, научились охотиться, были приняты в компанию львов-старожилов, подружились с их семействами и вскоре сами обзавелись потомством.

Кто-то задает вопрос:

- Какое значение, на ваш взгляд, имеет общение детей с животными?
- Безусловно, очень большое, серьезно отвечает Джой. У ребенка развивается чувство ответственности, пробуждается интерес к живым существам и природе в целом. Кроме того, животное всегда искренне, всегда честно, а это как раз те качества, которые необходимы нам, людям...
  - А как госпожа Адамсон относится к укрощению

хищников в цирке?

— Я против этого категорически. Дрессировка в клетке это жестокость и уродство. (И здесь мы сошлись во взглядах. — Б. Р.) Пока зверь маленький, он не понимает и какое-то время подчиняется насилию, а взрослый начинает страдать, происходит перелом в психике, и это кончается трагедией. Другое дело домашнее животное; домашних — можно, они тысячи лет живут с человеком и привыкли. . Мы мало знаем о чувствах животных, — добавляет она после короткого раздумья. Выпрямляется, строгая, и — подчеркивая каждую фразу: — Сколько у нас чувств? Пять. А сколько у животных, мы знаем? У некоторых — два. А сколько у других? Может быть, пвалцать. . .

Вот когда она заговорила по-настоящему. Вот то, что

более всего волнует ее!

В самом деле, даже собака, — казалось бы, самое приближенное к нам и потому наиболее изученное существо из мира бессловесных, — постоянно задает нам неразрешимые загадки. Не отсюда ли и название «Пятнистый сфинкс» — о леопарде? Каждое животное — сфинкс. У кошки уже признали шестое чувство...¹

(«Человек не имеет права считать себя выше животного мира, — говорила она корреспонденту «Недели» А. Авдеенко. — Конечно, дельфин не может изобрести вертолет, но он может кое-что другое, на что мы не спо-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Имею в виду статью в журнале «Наука и жизнь» — «В вашем доме живет таинственное существо», опубликованную в эти же годы.

собны. Так что не всегда есть причина для нашего превосходства».

«Я люблю кошек. Диких, правда. Ведь львы принадлежат к семейству кошачьих. Это не значит, что я не люблю птиц, например, но я их просто меньше знаю. А вот с хищниками я провела много времени, многое могу о них рассказать, поэтому и говорю, что предпочитаю их. После смерти Эльсы я дала себе слово никогда не привязываться ни к какому животному. Но гепарды по темпераменту и характеру совсем не похожи на львов, и я почувствовала, что могу полюбить Пиппу, не изменяя памяти Эльсы. В ближайшем будущем собираюсь проделать такую же работу, как со львами и гепардами, на этот раз с леопардом. Это будет очень интересно. Леопард обладает мгновенной реакцией, предвосхитить его движения просто невозможно. Он считается самым опасным среди диких кошек. И, по-моему, еще не было человека, который бы сдружился с леопардом. Пытались, но ничего не получилось. Но и о львах тоже говорили, что они очень опасны и неспособны на искреннюю дружбу. Я доказала обратное. Думаю, если животным предоставить свободу, естественные условия их жизни, не давить на их инстинкты, не вмешиваться в их жизнь, когда они того не хотят, тогда можно достичь очень больших успехов даже с самыми дикими и агрессивными животными. А эти успехи нужны и животным и нам самим».)

— Как вы думаете, — следует новый вопрос, — что было бы сейчас с животным миром, если бы на земле не было бы ни одного охотника?

На лице Адамсон мелькает саркастическое выражение.

— Животные существуют четыреста миллионов лет, а человек два миллиона лет. Очевидно, животные не очень страдали оттого, что не было охотников. Могли бы обходиться прекрасно и дальше. Не животным нужны охотники, а охотникам — животные...

Легкое оживление среди слушателей показывает, что стрела попала в цель. Не правда ли, как часто мы встречаем заявления представителей охотничьих обществ, что это они, охотники, лучшие радетели природы, и если б не их заботы, то охотничьей и вообще всякой фауны давно не существовало бы!

— Не припомните ли вы какой-нибудь забавной истории с животными, которая случилась с вами, — просит

корреспондентка «Пионерской правды». — У нас в газете есть специальный отдел, в котором мы печатаем такие истории, присланные нашими читателями. Мы охотно напечатали бы...

- О, их было слишком много, всю жизнь...

Право, она нравится мне. Она не разменивается на мелочи, все ее выводы ясны и логичны и основаны на большом личном опыте, которому может позавидовать любой защитник природы и натуралист-естественник, пытающийся проникнуть в тайны живого.

— Каково мнение госпожи Адамсон, — спрашиваю я, — сумеем ли мы в условиях непрекращающегося наступления современной цивилизации сохранить мир жи-

вотных на планете?

Она внимательно-напряженно слушает, пока девушка переводит вопрос. Ответ следует немедленно:

— Без развития сотрудничества трудно достичь успеха. Из-за этого мы теряем много времени. Спасти можно лишь общими усилиями, всех стран, объединившись для этого. Сейчас очень острой стала проблема сохранения китов...

Все ясно. Наши точки зрения совпадают. Мы думаем так же.

На память приходит фильм «Для диких животных места нет», снятый Бернгардом Гржимеком. Джой и подобные ей опытом всей жизни своей доказывают, что животным должно быть сохранено место под солнцем, и не только за решеткой зоопарка. Кстати, вспоминается также, муж Джой — Джордж Адамсон — в молодости был азартным охотником; длительное общение с природой привело к тому, что он превратился в антиохотника и грозу браконьеров.

Хочется сказать словами, заключающими фильм «Дикая жизнь Гондваны», снятый под режиссурой А. Згуриди неподалеку от тех мест, откуда приезжала Джой Адамсон: как было бы прекрасно, если бы всех нас объ-

единяло желание — сохранить природу...

Берегите эти земли, эти воды, Даже малую былиночку любя. Берегите всех зверей внутри природы, Убивайте лишь зверей внутри себя 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Е. Евтушенко,

Чем беспомощнее существо, тем больше у него прав на защиту со стороны человека от человеческой же жестокости...

Верно, верно! Не эта ли мысль руководила четой Адамсон все эти сорок с лишним лет жизни в Африке?

Финал беседы, право, заслуживает того, чтобы его слышало как можно больше представителей рода стопоходящих, столь горделиво считающих себя неразделимыми владыками Земли и всех ее богатств, живых обитателей в том числе.

- А что вы можете сказать о чувствах людей, вообще об интеллектуальной жизни человека?
- Я думаю... она чуть помедлила, чтобы лучше сформулировать свои мысли, - мы, полагая, что у нас более высокая организация мозга, чем у животных, сами можем стать жертвами своего превосходства по отношению к растительному и животному миру; я уже говорила это и говорю еще раз. Я часто думаю об этом. Особенно много стала думать после одного посещения Оксфорда. Там — институт... (она назвала его, но я не расслышал, а переспрашивать не стал, чтобы не перебивать течение ее рассуждений) ...с которым у меня давние добрые контакты. Ученые этого института занимаются исследованиями человеческого мозга. Уже весьма длительное время. И вот к каким выводам они пришли. Как вы знаете, различные отделы мозга ведают разными функциями. Так вот, тот отдел, который ведает абстрактивным мышлением, математическими способностями и прочим, то есть то, что позволило нам достигнуть недостижимого — начать исследования других планет, эта область мозга заметно развивается; а та, подкорковая, которая ведает любовью, родственными чувствами, чувством кровной близости к семье, природе, ко всему миру животных и растений, эта область деградирует, подавляется той, другой...— Она умолкла, обвела взглядом лица присутствующих, будто спрашивая: каково? как вам это нравится? — И, таким образом, человек постепенно отходит от того, что, собственно, и сделало его человеком, рвутся связи с живой природой; а раз так, он перестает и заботиться о ней, жить с нею в мире, становится безразличен к ее судьбе. Но это и его судьба...

Мы долго молчим.

 Предупреждение всем нам, — заключает Адамсон. ...Беседа окончена. «Папа Голованов» дарит дорогой гостье и союзнице на фронте борьбы за природу памятный сувенир — альбом с фотографиями, на которых запечатлена вся ее поездка, а также пластинку с голосами рыб.

— О чем они говорят, мы не расшифровали, — басит

он шутливо, пожимая гостье руку.

— Наверное, тоже жалуются на людскую несправед-

И опять, в который раз, вместе со словами благодарности за радушие и подарок:

— Я буду вашим послом...

Что ж, будем очень рады, если все будет именно так, Джой.

На прощание мы обмениваемся адресами. Печатны-

ми буквами она быстро чертит в моем блокноте:

JÓY ADAMSON «ELSA MERE» P. O. BOX 254 NAI-VASNA KENYA.

Друзья должны поддерживать контакты. Ведь только так, совместными усилиями и стараниями, мы сбережем общую радость и тревогу нашу, что мы зовем природой, и, таким образом, отведем беду от нее и от себя...

Сообщение в печати: ТРАГЕДИЯ В КЕНИИ. Январь 1979.

«Найроби. 10. (ТАСС). Трагически погибла Джой

Адамсон, отважная исследовательница Африки...

Труп Дж. Адамсон был обнаружен вечером 3 января в нескольких десятках метров от «Шаба кэмп резерв»— научно-исследовательского лагеря, где последние полтора года она жила и вела научные опыты с леопардами. Первоначально было высказано предположение, что Джой погибла от когтей львицы. Однако первые шаги расследования и данные медицинской экспертизы позволили установить, что она стала жертвой группы негодяев, польстившихся, как видно, на ее скромное имущество.

Джой Адамсон впервые прибыла в Кению в 1937 году, и с тех пор эта африканская страна стала для нее домом, второй родиной. И недаром 30 лет спустя свою книгу «Народы Кении» она посвятила «народу Кении всем тем, кто ее любит». Именно здесь Джой Адамсон приступила к серии уникальных экспериментов с дикими зверями, принесших ей мировую славу.

Прах Джой Адамсон, согласно ее воле, развеян с самолета над территорией национального парка Меру. В этом районе в свое время был осуществлен эксперимент с «рожденной свободной», и там же трагически оборвалась жизнь замечательной исследовательницы

животного мира Восточной Африки».

Читаю, а в памяти — наша первая и последняя встреча в Москве, кажется, слышу знакомый, звучащий помужски, чуть резковатый голос: «Я очень благодарна Обществу охраны природы за приглашение посетить вашу страну и ту доброту, которая была проявлена при встрече. Для меня это большая честь и привилегия — познакомиться с теми достижениями, которые характеризуют ваше общество. Я уверена, что мы найдем очень много путей к взаимному сотрудничеству, потому что, насколько я знакома с вашей страной, Советский Союз является ведущим во многих областях, связанных с защитой природы».

«Вы еще раскаетесь, что пригласили меня, — смеясь, говорила она корреспонденту «Недели». — Я всех заму-

чаю — ведь так много хочется увидеть и узнать».

Нет, мы не раскаиваемся, дорогая Джой. Наоборот. Это было счастье — встретиться с вами, неистовой, не щадившей себя в деле защиты мира бессловесных и гонимых, и воспоминания об этой встрече на нашей земле будут жить долго.

Кто бы мог ожидать такого конца...

Но кто виновник этого трагического события? Запутанная история: сперва думали — львица (на зверя свалить легче всего), потом оказалось — люди, двуногие убийцы. Кто же и за что отнял у вас жизнь? «Польстившиеся на ее скромное имущество»... ой, что-то плохо верится. Мысленно пытаешься представить себе картину несчастья, а в голове неотвязный роковой вопрос: случайность ли это, обычное ли подлое убийство, вроде тех, какие происходят каждодневно, ставши непременным спутником жизни общества на Западе?

Нет ли тут умысла более широкого, заговора врагов природы? Кому-то вы помешали, встали поперек дороги с вашими идеями, — не потому ли и расправились с вами... Такую мысль высказывали и газеты, комментиро-

вавшие преступление.

Позднее пришло сообщение: в кенийском городе Ньери, севернее Найроби, перед судом предстал 23-лет-

ний Поль Накваре Экан из племени туркана. Сорок два свидетеля на процессе показали, что в прошлом Экан работал у Адамсон и грозился отплатить за то, что она уволила его; а уволила она его за то, что он показал себя плохим работником, дурно обращался с животными. Он свел счеты с Адамсон, нанеся ей несколько колотых ран ножом.

...Убили — нет, не звери, не станем оскорблять зверя, а люди-изверги. Вот так человек и человечество по-

знает себя.

Много, очень много нужно сделать для того, чтоб человек поднялся на ту высоту, на какой мы хотим видеть его. Не бессловесному животному, а себе прежде всего мы должны предъявить суровый счет. Снова — теперь уже реквиемом и грозным предупреждением одновременно — звучат строки, пророческие строки:

Берегите всех зверей внутри природы, Убивайте лишь зверей внутри себя...



Вероятно, было бы довольно странно и просто противое**с**тес**твен**но, **если бы я, корен**ной или, как у нас говорят, кондовый уралец, уралец по рождению, ж**изни и всему образу мышлен**ия, не уделил должного внимания и не выделил особию теми — Бажова и все связанное с ним. Мы называли Бажова иральским патриархом; и сборник воспоминаний о Бажове, вышедший в Москве к 100-летию со дня пождения писателя, был наречен «Мастер, мидреи. сказочник» (особо выделяю слово мидрец): а в празднование столетия с трибины высокого собрания в Большом театре Союза ССР, в Москве, мы услышали, как его — Бажова — публично провозгласили классиком. Впрочем. для нас это не явилось никакой неожиданностью: про себя мы считали Бажова классиком уже давно и — не ошиблись. Думается, что сейчас дорога и представляет особию ценность каждая, даже самая незначительная на первый взгляд, деталь, связанная Бажовым, каждый штрих его портрета... Время — самый строгий и неошибающийся сидья: время подтверждает, что Бажов, как и предначертано классики, продолжает всеми своими тридами жить среди нас. А стало быть... А стало быть, пусть и грядущие поколения ближе знают уральского волшебника — милого славного человека в быти и в общении с друзьями — Бажова. Итак...

## по следам легенды

(С Бажовым по бажовским местам)

Помню, как обрадовал меня летом 1939 года неожиданный телефонный звонок: Павел Петрович приглашал меня, тогда еще совсем молодого литератора, сопровождать его в поездке на свою родину — в Полевской район.

— Вдвоем-то веселее, — пояснил он свое предложе-

ние. — И тебе польза: Полевское повидаешь.

Полевское — старый уральский горнозаводской район, кладезь народных поверий и легенд, родина изумительных по яркости форм и глубине содержания устных рабочих сказов, ставших ныне бажовскими сказами, — по имени того, кто придал этим самоцветам устного народного творчества ювелирную огранку, собрал их, философски осмыслил, ввел в мир большой литературы; — вполне понятно, что я ответил немедленным согласием.

Своими глазами посмотреть на места, описанные в книге, увидеть и понять почву, на которых она выросла, да еще проделав это путешествие в сопровождении самого автора сказов, — право, для этого стоило отложить

любые срочные дела!

Всегда буду благодарен Павлу Петровичу за эту поездку. Она открыла мне, начинающему писателю, глаза на удивительное прошлое Урала, отныне, казалось мне, вытканное камнями-самоцветами, помогла как-то по-новому понять и прочувствовать и бажовские сказы, и их тесную связь с родным краем. Я как бы воочию увидел то, что до этого представлялось умозрительно, ну, да еще на рисунках художников, иллюстрировавших «Малахитовую шкатулку». Поездка во всех отношениях получилась исключительная, такое случается раз в жизни.

«Путешествие в молодость», то есть по самой характерной канве, как выразился один читатель, помогла

лучше понять и увидеть и самого Бажова.

Уговорились встретиться на вокзале. Павла Петровича провожала младшая дочь Рида — Ариадна, тогда еще не знавшая меня в лицо. Едва успели поздоровать-

ся, еще не отдышавшись, Павел Петрович сказал, кивая на нее:

— Спрашивает меня: «Кто он, который с тобой поедет? Какой он?» — «Высокий, говорю, ходит прямо, голову носит высоко, в кепке, с очками, на груди сумочка» (про фотоаппарат. — Б. Р.). Из трамвая вылезли, она кричит: «Вон он!» Смотрю, верно, высокий, прямой... в общем, все правильно, как сказал. А не ты. Вот ведь как трудно, выходит, описать человека, чтобы это был он!

Павел Петрович ехал в знакомые места после долголетнего перерыва. Еще не были написаны сказы «Ермаковы лебеди», «Веселухин ложок», «Не та цапля» и многое другое. Всем им суждено появиться после этой поездки. Незадолго перед тем общественность Урала отметила 60-летний юбилей старейшего уральского писателя; Павел Петрович был полон давно лелеянных творческих замыслов и планов, стремления реализовать их, ехал с намерением воскресить в памяти потускневшие от времени наблюдения ранних лет, набраться новых впечатлений, — ехал, по его выражению, поискать «есть ли здесь моя любимая жила», или, как говорят литераторы, «собирать материал».

И вот мы в поезде. Павел Петрович приумолк, все чаще поглядывает за окно, наконец негромко произно-

сит:

Сысертская дача пошла.

Смотрю по направлению его взгляда, но никаких особых признаков Сысертской дачи не вижу. Все тот же пейзаж, почти не изменяющийся от самого Свердловска: лес, перелески-колки, кой-где небольшие пашни, время от времени — неглубокие зеленые лощины. Однако спокойно-уверенный тон моего спутника не оставляет сомнений. А вскоре и названия разъездов подтверждают, что действительно «пошла» Сысертская лесная дача.

На соседнем сиденье, за нашей спиной, двое пассажиров, по виду колхозников, оживленно рассуждают о золотом самородке, найденном в здешних местах. Павел Петрович давно уже с интересом прислушивается к их

беседе, неторопливо покуривая папиросу.

— Ведь уж все кругом изыскано было, перешеек маленький остался. Тут и накопилось... Только лопатой ковырнули — и готово!

Павел Петрович, не выдержав, оборачивается:

— Велика ли находка?

— Тринадцать семьсот. — Славно Гле нашли?

— В Косом Броду.

Самородок, о котором шла речь, за несколько лет до того (в декабре 1935-го) был найден артелью Ильи Семеновича Пальцева, старого уральского старателя, в месте между рекой Чусовой и Крутой горой, называемой Канавой. Считалось, что по размерам он третий в мире (точный вес 13 кг 787 г). Нет, не оскудел батюшка-Урал, коть уж изроблен весь вдоль и поперек и в глубину. Наверное, об этом была дума Бажова.

— А вы сами-то откуда будете? — вежливо поинте-

ресовался он после непродолжительной паузы.

— Из Полевского, — ответил один из беседующих. Павел Петрович сразу оживляется:

— Из Полевского? Ну, что, как он? Изменился?

— Да есть кое-что. Криолит, завод большой. Гумёшки, говорят, разрабатывать опять хотят. Домов новых понастроили, стадион... Церква-то, знали, где стояла?

— Знал.

— Ну, так тут, около этого места, стадион нынче... Павел Петрович докурил папиросу, молчит и задум-

чиво щиплет бороду.

Станция Мраморская. Недалеко от железнодорожной линии высится серое, каменное здание промышленного типа — мраморный завод. Когда проезжали мимо

него, Павел Петрович стал припоминать вслух:

— Старый заводик. Лет двести, не меньше. Самый тихий завод, какой знаю. Бывало, даже страшновато становилось: идешь по поселку — тихо, никого не видно... Все на заводе. А работа тихая: шир-шир по плите пилой. Придешь на завод, а там: сам — тешет, сама — вертит, ребята — ширкают... Работали целыми семьями. Двести лет камень тешут... А жили бедно, даже собак не держали, кроме попа мраморского: тот здорового волкодава кормил.

Видно, что воспоминания переполняют его, с каждым оборотом колес паровоза он все больше уносится думами

в прошлое.

С волнением и живым интересом всматривался он в каждую деталь, сравнивал с тем, что было раньше, полутно приводя в разговоре любопытнейшие, характерные подробности из старого горнозаводского быта и вообще из истории Урала, по-своему осмысляя многие мелочи, которые прошли бы незамеченными мимо другого глаза.

На станции Сысерть вышел, походил по перрону и. возвратившись, сообщил, что станция, пожалуй, не изменилась. Езда не дальняя — от Свердловска до Полевского по прямой не больше шестидесяти километров. — но седобородого товарища моего разбирало нетерпение, хотя он и старался не показывать этого.

Вот они, Гумёшки, смотрите! — мотнул он головой

Поезд медленно подтягивался к остановке. За окном видны общирные заброшенные выработки. Там и сям торчат треногие буровые вышки. За ними, вдали — поселок у подножия невысокой облысевшей горы. По другую сторону железнодорожного полотна дымит большой. обнесенный забором, завод,

Выходим из вагона. Павел Петрович на ходу осматри-

вается и вполголоса бормочет:

- Изменилось, изменилось... Неузнаваемо стало...

О своем приезде Павел Петрович никого не предупредил, нас никто не ждал, не встречал. Наняли подводчика с лошадью, погрузили на телегу чемоданы, сели сами, и незатейливый экипаж загремел по нескончаемой, вытянувшейся в ниточку, главной улице поселка.

Примерно на половине пути седоусый возница обер-

нулся:

— Вы v нас бывали? Я как бы видал вас...

 Бывал, — отозвался Павел Петрович. — Давненько уж.

— Я и не говорю, что вчера. Не вчера родился.

— Да и я не вчера, — с юмористической серьезностью возразил Павел Петрович. — Вижу по усам, с кем имею лело.

Когда телега остановилась около Дома приезжих, он вежливо осведомился, как фамилия возчика. Тот, в свою очередь, тоже спросил и, услышав в ответ: «Бажов», сразу оживился:

Стойте-ко! Василий Семеныч!

Павел Петрович.

- Как же! Петра-то Васильевича хорошо знал! Батюшку вашего. Это — шкатулка, значит... изумрудная! — Малахитовая, — с улыбкой поправил Павел Петро-

вич.

— Да, да!

Распростились как самые лучшие друзья.

В Доме приезжих не оказалось ни одной свободной

койки. Подвода уже уехала.

— Куда же мы теперь денемся? Лето, положим, не замерзнем, — шутливо-серьезно рассуждал Павел Петрович. — Ну, ничего. Тут у меня один адресок на примете. Пойдем искать.

На главной улице поселка, все на прежнем месте, как знавал когда-то Павел Петрович, жил его прежний ученик, Николай Дмитриевич Бессонов, к тому времени—сам преподаватель средней школы.

Остановились у него. Встреча была сердечной.

— Павел Петрович! Сколько времени не видались! Борода-то, что же это, совсем седая стала!

— Седая, Коля, седая... Да борода-то полбеды. Вот

слова захлестывает...

— Бывает!

— Бывает, конечно. Но когда часто, так начинает на размышления наводить: не пора ли с полукона бить? Это у нас так говорят, — пояснил Павел Петрович и тут же внес поправку: — Говорили.

Он с любопытством озирался вокруг, подмечая пере-

мены.

— Давненько я у вас не был. С женой последний раз приезжал, сколько же прошло?..— принялся он подсчитывать.— Девчонка младшая еще в чемоданчике была... (Про Риту, младшую дочь.— Б. Р.) Сейчас ей четырнадцать лет. Значит, годков пятнадцать прошло! Да и у тебя, гляди-ко, Николай Дмитрич, голова-то седая стаёт...

 Седая, Павел Петрович, да и плешивая. За сорок ведь уж стукнуло.

— Ребят-то много ли?

— Четверых рощу.

— Вот это хорошо.

Пока жена Николая Дмитриевича хлопотала у самовара, гости в сопровождении хозяина дома отправились на прогулку. Выйдя переулком на зады поселка, перешли по мостику речку и поднялись на гору Думную — ту, что видали еще со станции.

Гора увенчана памятником. Это — в память похороненных здесь во время гражданской войны коммунистов, борцов за народное счастье, расстрелянных белыми. На мраморном пьедестале — строгая фигура рабочего с винтовкой и молотом в руках. Статуя отлита на Каслинском

заводе, известном художественными изделиями из чугуна. Жаль, не сохранился, исчез другой памятник — дере-

вянная сторожка дедушки Слышко...

Гора невысока, полога и без единого кустика. Из-под сухой, тощей, выгоревшей на солнце травы высовываются острые ребра камней. Говорят, она исстари такая лысая. Но именно потому, что она открыта со всех сторон, с нее широкий вид на окрестности.

Павел Петрович сел на обломок сглаженной временем каменной глыбы, над обрывом, и тотчас запалил неизменную папиросу. Молчит. Молчим и мы. «Думная, здравствуй!..— говорит его вид. — Здравствуйте, все вы, родные мои горы, леса, пруды, строения!..» Легкий ветерок обвевает его лицо, шевелит седую бороду, раздувая синий дымок и рождая какую-то необыкновенную ясность мысли, будя многие чувства. Не так же ли сиживал здесь когда-то дедушка Слышко — Василий Алексеевич Хмелинин, по прозвищу «Стаканчик», неутомимый рассказчик, впервые заронивший в впечатлительную душу юного Бажова неизбывную любовь к родному словуприсказью, пробудивший в нем неистребимый — на всю жизнь — интерес к многодумной, красочной народной побывальщине-легенде.

У подножия Думной струится речка Полевая. На противоположном берегу ее огороды. За огородами вплотную придвинулись первые дома поселка. Яркими белыми пятнами сразу бросаются в глаза две недавно отстроенные школы-десятилетки и россыпь новых зданий, образующих целый поселок, на окраине старого. Дальше, немного отступая от строений, начинается лес, и за ним, заслоняя горизонт, встает сглаженная и как бы пережатая немного посередине Азов-гора. На вершине ее чуть видна триангуляционная вышка. Где-то там, у подножия Азова, прячась в черемуховых зарослях, берет начало речка Полевая.

Азов и Думная будто смотрятся друг на друга, господствуя над всею окружающей местностью. По преданиям, обе горы раньше были соединены между собой тропой, называющейся Азовскою. От этих основных возвышенностей по всему горизонту разбегается ряд менее высоких холмов, отчего линия, где сходятся земля и небо, похожа на пилу с затупившимися, изношенными зубьями.

Левее поселка лежит пруд. Он тих, спокоен и одного цвета с небом. За прудом горизонт опять замыкается холмами. По другую сторону поселка виден завод. Он

плавает в облаках дыма. Правее местность понижается к речке, и на берегу, у пруда, стоит темно-красное, кирпичное, как видно, здание, приземистое, с непропорционально большой железной трубой, а за ним — уже совсем лалеко — едва можно рассмотреть высокие трубы еще какого-то завода: самого завода не видно — он скрыт холмами.

Вот он, старый — «седой»! — горнозаводский Урал, неузнаваемо преобразившийся за годы Советской власти и все же несущий на себе печать прошлого, давно ушедшего. Вот здесь века назад были найдены богатые медные руды. А сколько самобытных сказаний родилось здесь! Каждое из этих мест по-своему примечательно, и каждое так или иначе связано с творчеством Бажова.

Солние уже село. За Азовом рдел закат, но видимость еще хорошая. Сильный полевой бинокль переходил из рук в руки. Наш гостеприимный и предупредительный хо-

зяин охотно дает пояснения.

— Это — Криолит, — говорит он, показывая рукой на окутанный дымом завод. — А вот то, низенькое-то здание, с железной трубой, — Штанговая электростанция. — Штанговую помню, — роняет Павел Петрович.

— А то, трубы-то, Северский завод...

— Не узнать Гумёшки, — произносит Павел Петрович после некоторого раздумья и тотчас деловито осведомляется: — На Думной разведки не было?

— Не было.

— А надо бы. Пожалуй, и нашли бы что. Помолчали.

А Далеки́ в Северском живы?

— Живы.

«Далеки» — это несколько параллельных улочек в поселке Северского завода. Оказалось, что есть здесь «поганый угол» (западная окраина Полевского), «штаны» (две сходящиеся вместе улицы), «дьяконский рукав» (одно из покосных угодий) и еще много самобытных запоминающихся названий, оставшихся от прошлого.

Нынче уж отошли в прошлое «Первомайка», «Шамянка»; пожалуй, совсем забылась и не вспомнит никто Барневскую слободу, переименованную позднее в Полевской

Для любого приезжего человека они только занятное созвучие слов; для Павла Петровича — частицы его жизни, и не только его, — крупицы еще не написанной истории поселка, истории всего этого богато наделенного природой, с необычайно колоритным прошлым, края,

почти осязаемые, живые вехи минувшего.

Спускаемся с Думной. Из-под ног сыплются мелкие камешки. Павел Петрович, поскользнувшись, взмахивает руками, ища опоры для потерявшего равновесие тела. Но решительно и как бы даже с обидой отталкивает протянутую ему руку:

— Ну-ко, ну-ко, не мешай!

— Да я сам хотел поддержаться!

— А, это можно! — и подхватил дружески под руку. Спустившись с другой стороны горы и пройдя немного вдоль речки, вышли на плотину. У подножия ее огромная выемка с остатками каких-то строений. Здесь стоял Полевской медеплавильный завод, тот самый, который фигурирует во многих бажовских сказах, положивший начало поселку и горному делу в здешних местах. От него сохранилось только несколько фундаментов, сваи, крохотный каменный корпус да будка сторожа на плотине с вырезанной из железа цаплей — знаком бывшего Сысертского горного округа.

— Ты эту цаплю сними, — говорит Павел Петрович, дотрагиваясь до моего фотоаппарата. — О ней будет особый разговор. Про нее народ даже песню сложил. Какую? А — вот: «Горько, горько нам, ребята, под желез-

ной цаплей жить...»

— Ну вот, Павел Петрович, — замечает Николай Дмитриевич, — а еще жаловался, что слова захлестывает... Что-то не видно!

— Не каждый же раз, — добродушно улыбается Па-

вел Петрович. — Бывает, что и ладно получается.

Так и подмывает спросить, какой «особый разговор» связан с железной цаплей, которая торчит на длинном шесте как напоминание о прошлых хозяевах завода, помятая и почерневшая, но не хочется нарушать течение мыслей Павла Петровича.

 Давно ли десятилеткой по плотине-то бегал, — задумчиво говорит он, наблюдая за купающимися в пруду

ребятишками.

Внезапно на площади становится шумно: повалил народ из кинотеатра. Доносится пронзительный мальчишеский голосок:

Первый сеанс отпустили!

Павел Петрович заметно улыбается:

— «Отпустили»... Хорошо! Бывает такая картина, что когда «отпустят» — рад-радешенек!..

Грохочет телега по деревянному настилу плотины, заглушая ритмичный шум падающей воды; вероятно, так же стучала она пятьдесят, сто лет назад; и тотчас доносится фырканье мотора проносящейся по улице автомашины. На зеркальной глади воды чернеет точка — рыбак в лодке, окаменевший над своим поплавком.

Добротный каменный дом смотрится окнами на пруд.
— Тут у нас детясли, — поясняет Николай Дмитри-

евич.

— Господский дом, — как эхо, отзывается Павел Пе-

трович, весь во власти воспоминаний.

Мы идем домой. Там уже ждет нас кипящий самовар, душистый — свежей заварки — чай с молоком (по-уральски) и горка румяных, подогретых в печке, картофельных шанег, а паче того ждут четверо наследников Николая Дмитриевича, сгорающих от нетерпения посмотреть на живого «дедушку Бажова».

\* \* \*

Кабинет секретаря райкома, он больше похож на минералогический музей, нежели на кабинет ответственного партийного работника. Подоконники завалены образцами руд и минералов. Тут и магнитный железняк, и искрящийся золотым блеском медный колчедан, и темно-зеленые, причудливо-слоистые кусочки малахита, слюда, обломок серого зернистого мрамора на добрых три-четыре килограмма весом, керны других горных пород. В небольшом полированном ящичке, под стеклом, хранился бронзированный слепок-муляж с самородка, о котором мы слышали в вагоне, — плоский, вытянутый и гладко обкатанный, похожий на естественно громадный боб желтой фасоли. Даже пепельницей служил кусок руды в виде пузыря — небольшая жеода, по-геологически.

Наш приезд совпал с большой работой по составлению материалов о естественных ресурсах района, проводившейся по заданию обкома партии и облисполкома. Материалы предназначались для отправки в Москву. Секретарь райкома с увлечением занимался этим. Копался в архивах, изучал историю своего района, ездил на вновь открытые горные разработки и даже по отдален-

<sup>1</sup> Керн — столбик горной породы, образующийся при бурении.

ным геологическим шурфам, стараясь собрать как можно

более полные сведения.

— Вот недавно графит нашли, асбест, — принялся показывать он, разворачивая бумажные свертки. — Качеством еще не очень высоки, но и поиски-то были самые поверхностные. Копнуть, так, может, и не то найдется. — И он стал перечислять, какие богатства еще надеется разведать в ближайшем будущем, на что, по его мнению, может рассчитывать хозяйство района впереди.

Секретарь — энтузиаст. Павел Петрович внимательно слушает, кивает головой, а сам нет-нет и задержится внимательным взглядом на собеседнике, неприметно точ-

но прощупывая его.

Войдя в кабинет, он сперва опустился в предложенное ему глубокое мягкое кресло, но затем поднялся и пересел на стул, а спустя еще минуту встал и подвинулся к столу; одной рукой оперся о край его, а другой, поставленной на локоть, повертывал перед глазами то, что подавал ему секретарь, — и так, стоя, оставался в течение всей беседы. Иногда, переспросив, что-то заносил в книжечку, которую вынимал из грудного кармана и тут же прятал. Порой задумывался на пять — десять секунд и опять спрашивал. Попутно высказывал свои соображения: где, на его взгляд, возможны еще залегания того или иного ископаемого. Не забылись родные места!

Характерно, что сбор так называемого «материала» начался незаметно, как бы сам собой, словно тут не было писателя, создателя широко известной «Малахитовой шкатулки», а сам Бажов приехал совсем по другому

делу, не имеющему касательства к литературе.

Беседа закончена. Теперь у Павла Петровича одно желание — поскорей отправиться в объезд по району, самолично вновь увидеть то, куда властно зовет его память, естественная тяга к близким от рождения местам, усиливаемая страстью исследователя, каким всю жизнь был Бажов и каким должен быть каждый писатель.

— В Косом Броду, в Полдневой побывайте, — наказал на прощание секретарь. — Там старички много койчего сумеют рассказать. Помнят, не забыли. На Гумёшки съездите, Криолит посмотрите. Многое, пожалуй, теперь и не узнаете... На Азов тоже поедете?

— Ну как же, — опять согласно кивает Павел Петро-

вич. — Непременно надо съездить.

Вот и машина подкатила к крыльцу. Едем! С чего начать? Решили — с Азова.

Азов от Полевского недалеко, километров пять-шесть. Но проехать прямиком туда трудно, почти невозможно: лес, чащоба, болота. Пришлось в обход, через Зюзельский рудник, расположенный почти у самой подошвы Азов-горы.

Дорога на Зюзельку вымощена камнем. Местность болотистая, покрыта чахлым лесочком. Но за этим ничем не примечательным пейзажем скрываются большие богатства, частичное представление о которых мы получили

в кабинете секретаря райкома.

Зюзелька — деревянный поселок, выросший в расчишенной от леса низине. Тогда, в 1939 году, это был целиком новый поселок, хотя и на прежнем селище. Новые жилые дома обычного типа, какие можно встретить в наше время в любом молодом поселке, возникшем на еще вчера не обжитом месте. Новое здание рудоуправления. столовая, клуб. Свежеобструганное дерево не успело потемнеть на солнце. Новые копры шахт. Одна, действующая, шахта расположена в черте поселка. Под эстакадой грузятся автомашины (железной дороги на Зюзельку тогда не было, ее построили в годы Великой Отечественной войны). Другая шахта — Капитальная — в отдалении. у леса. Она достраивалась и вскоре должна была вступить в эксплуатацию. Огромный, обнесенный изгородью пустырь между шахтами провалился в подземные выработки, образовалась глубокая впадина наподобие кратера вулкана; это — как напоминание о труде прошлых поколений горняков.

Постепенный подъем на Азов начался почти сразу же за последними строениями Зюзельки. Едва заметная полевая дорожка виляет из стороны в сторону. Следуя ее капризным поворотам, наш газик то спускается в неглубокие лощины, то продирается сквозь кусты, то лезет круто в гору. Скоро не стало и этой дорожки. Машина идет прямо по лесу, оставляя за собой глубокие колеи примятой травы.

А трава высока, колеса целиком утопают в ней; местами она выше бортов. Воздух насыщен ароматом цветов и надоедливым жужжаньем слепней. Слепней — мириады! Хорошо, что мы не воспользовались лошадью, которую предлагали нам на руднике. Оводы наверняка до-

вели бы ее до бешенства.

Чем дальше, тем круче подъем. На пути часто попадаются огромные прелые колоды, целые стволы поваленных бурей деревьев толщиной в два обхвата. Вот пень, в дупле которого могут свободно стоять два человека. Павел Петрович охотно принимает предложение сняться в дупле и позирует, улыбаясь, надвинув кепку глубже на глаза, чтобы не слепило солнце. Весело шутит: «Вроде как леший!»

Все глуше, дичее лес, хотя проехали мы не так уж много. Каков же он был лет двести — четыреста назад, когда первые отряды русских храбрецов пробирались ставшей теперь почти мифической «Азовской тропой» мимо этих гор, в далекую маняшую Сибирь?

Наш водитель ловко объезжает все препятствия. Он, видимо, твердо решил взобраться на вершину Азова не иначе как на механическом транспорте! Павел Петро-

вич восклицает:

На Азов — и вдруг на машине?! Удивительно. До

чего же времена меняются.

Стоп! Впереди меж деревьев проглянуло что-то темное, каменное, громадное. Близка вершина — шихан. Лальше возможно — только пешком.

Вылезаем из автомобиля, и тут Павел Петрович обнаруживает, что всю дорогу держал на согнутой руке драповое пальто, захваченное еще из Свердловска «на всякий случай» (у него хронический бронхит, и жена наказывала беречь себя).

— Никакой догадки не стало, — сердится он сам на себя, освобождая затекшую руку и кладя пальто на си-

денье.

Поставив машину в тень, лезем по тропинке куда-то вверх. Камни, шишки катятся из-под ног. Низко нависли ветви, стегают по лицу, приходится раздвигать их руками. Мелькнула и исчезла в траве змея — не то уж, не то гадюка. Не до нее: слепни не отстают, так и вьются, так и кружат, окаянные!

Павел Петрович решительно отвергает всякую помощь, которую ему поочередно предлагают то один, то другой из спутников, подавая руку или пытаясь поддержать его. Он идет в середине цепочки и только время от

времени настойчиво повторяет:

- Коля, вересовник где? Палку надо!

Лишь на самом трудном участке, когда гора, казалось, буквально нависла над головой и пришлось карабкаться, цепляясь за острые выступы скалы, он переместился из середины цепочки в конец.

Влезли. Наконец-то! Ровная площадка, много тени — кусты, деревья. Под березами избушка с дерновой кры-

шей. В избушке ведро с водой. Напились. Вода прохлад-

ная, вкусная — ключевая.

Метрах в пяти от избушки дымит костер. Огонь едва видно в глубах сизого дыма, выбивающегося из-под дерновины, наброшенной на поленья. Две лошади стоят, поникнув мордами над костром, отмахиваются хвостами, прядают лениво ушами, шурясь от едкого дыма. Подозрительно пахнет паленой шерстыю. Одна из коняг резко встряхивается и опять лезет мордой в костер. В этом единственное спасение от оводов. Людей — ни души.

Но это еще не вершина. Площадка упирается в скалы. На самой высокой из них — триангуляционная вышка. Это ее мы видели с Думной. Там наивысшая точка

Азова.

Берем последнее препятствие. Павел Петрович замы-кающим.

Вышка служит геодезическим знаком и одновременно наблюдательным пунктом лесоохраны. На ее площадке дежурный охраны зорко посматривает по сторонам. Второй дежурный бродит где-то по лесу, собирает на обед

грибы и ягоды. Это их кони и избушка.

Ну, вот мы и наверху. Сколько здесь воздуха и света! Какая высота! Глубоко в зеленой долине белеют домики Полевского. Окрестные холмы с величавой выши Азова кажутся едва заметными возвышенностями, весь рельеф сглажен, словно по нему прошлись утюгом. Плывут облака. Даль подернута дымкой.

— Жаль, — говорит наш проводник, служащий Зюзельского рудоуправления. — В ясную погоду отсюда

Свердловск видно.

На фоне темной зелени леса отчетливо белеет тягучая, кудрявая струйка дыма.

— Не пожар?

— Не-е, — отвечает дежурный. — Поезд идет.

— А если пожар, тогда как?

— Известно как: на лошадь и — айда вниз!

Побеседовав с дежурным, пошли любоваться на скалы Ворота. Они действительно похожи на ворота. Представьте себе две огромные каменные глыбы, поставленные на попа, одна против другой. Между ними — узкий проход метра в три шириной. Это своеобразный перевал через Азов. Темный окрас камней (в тени они кажутся почти черными) эффектно контрастирует с изумруднояркой, залитой солнцем, зеленью травы и кустов. Место волшебное, чарующее.

— Не здесь ли девка Азовка гостей принимала? — шутит Павел Петрович. — Эй, где ты? Откликнись! По-

«Девка Азовка» — популярная героиня многих легенд, которыми овеяна эта по праву одна из примечательнейших горных вершин Среднего Урала. По некоторым из этих легенд, здесь, на Азове, скрывались в старину разбойники, или «вольные люди». Ну, а где разбойники, там и клады. Охраняет эти клады девка Азовка, красавица невиданной красоты и неслыханно большого роста. Живет она в горе и заманивает к себе неосторожных путников. Если же кто вздумает сам проникнуть в гору, девка Азовка «в гору не пускает, ветер пускает. От ветра свеча гаснет и дышать тяжело»...

В других легендах говорится о том, что когда-то жили в здешних местах «стары люди» — неведомый народ, населявший в глубокой древности Урал. Жили безбедно, занимались рыбной ловлей да охотничьим промыслом, а богатство свое — золото самородное, голубые хризолиты — вовсе и за богатство не считали. Но вот пришли в эти края чужие, злые люди. Узнали про богатства «старых людей» — стали требовать, чтобы те отдали им его, стали притеснять, обижать их. Видят «стары люди», что не будет им покоя, собрали все золото да каменья драгоценные в пещере на Азов-горе, сами туда же забрались, обрушили все выходы из пещеры и завалили там себя вместе со своими сокровищами. От всего народа остался только один человек — девка Азовка. Она и стережет клал...

По другой версии, «захоронив» в горе «богатство», «стары люди» навсегда ушли отсюда, оставив девку Азовку караулить сокровища, никого не подпускать

к ним. Есть и другие концовки.

Устные предания, передаваемые от отца к сыну, от сына к внуку, упорно сходятся на том, что раньше на Азове были пещеры. Сейчас на Азове нет никаких пещер, нельзя установить даже, где были входы в них, если они были вообще... Можно, конечно, допустить, что все они завалились со временем. Во всяком случае, по мнению геологов, если эти пещеры и существовали, то они могли иметь только искусственное происхождение, так как породы, слагающие гору, не допускают образования больших пустот естественным путем.

Как бы то ни было, но неоспоримо одно: Азов-гора

всегда занимала видное место в устном народном твор-

честве Урала, и это, очевидно, имело свои корни.

В старину через Азов шла тропа в Сибирь. Во времена Грозного этот путь связывал Сибирь с Уфой. По этой тропе двигалась камско-чусовская вольница. Эта же тропа служила для пересылки воевод, снаряжения, воинского пополнения. Несомненно, характерный и видимый издалека профиль Азова был приметным пунктом — «маяком» — на этом историческом пути через завоеванные, но не освоенные еще земли, покрытые дремучими лесами и таившие на каждом шагу много опасностей. Весьма вероятно, что некоторые из удальцов находили временный приют на Азове. Все это порождало новые сказания и легенды о горе. Можно предположить, что первыми смельчаками землепроходцами было принесено и это название — Азов, более характерное для южных земель России, нежели для Урала.

Естественно, что такой тонкий художник, как Бажов, посвятивший всю свою жизнь собиранию народных дум, не мог пройти равнодушно мимо темы Азов-горы. На материале преданий об Азове построен один из самых первых его сказов — «Дорогое имечко». Долгое время Бажов ставил его в «Малахитовой шкатулке» головным. Открывая им книгу, писатель, по-видимому, специально хотел подчеркнуть фольклорные истоки своего творчества, его тесную связь с историей края. Уже позднее для этой цели им было написано предисловие-очерк «У старого рудника», который он включал во все наиболее пол-

ные издания своих сочинений.

Бажов говорил:

«Всякая легенда — не случайна. В них народ высказывался. Либо это — его желание, мечты; либо — отзвук каких-то давно прошедших событий; либо — попытка посвоему объяснить недоступные уму тайны природы; а иногда — все вместе. Дело литератора, фольклориста — отыскать это зерно, правильно понять, объяснить его. Обмозговать, словом. Сказки не для одной забавы складывались. В настоящей, нефальсифицированной сказке обязательно есть народная мудрость и скрытый смысл, по-ученому — подтекст».

Помню, как ликовал Павел Петрович, когда на Азове действительно обнаружились интересные находки. Случилось это вскоре после нашей поездки в Полев-

ское.

Поездка наша происходила в июне: в августе, полтора месяца спустя, раздался новый звонок у меня в квартире — Павел Петрович снова приглашал в Полевское.

— Что-то нашли там. Валов звонил. Зовет: приезжайте обязательно... Слышал? — говорил торжествующе Павел Петрович по телефону. — Нашли ведь! Не зря, стало быть, толковали о старых людях да кладах, зарытых в горе. Не зря! — И немедленно вновь поехал в Полевское, чтобы на месте убедиться в достоверности фактов, сообщения о которых вскоре проникли и в газеты. На сей раз я не смог его сопровождать, о чем после сильно сожалел

А нашли вот что.

После выхода в свет «Малахитовой шкатулки» интерес к Азов-горе резко повысился. Ее стали часто посещать экскурсии школьников и взрослых, большие группы туристов приезжали издалека, чтобы увидеть эту сказочную гору. Однажды на Азов поднялась компания полевской молодежи — парни и девушки. Перед тем пронесся сильный ураган. Глядь, средь камней, в тени под корнями вывороченной ветром сосны, что-то блеснуло. Заинтересовались. Места вокруг богатые: не золотишко ли? Стали копать и близко у самой поверхности нашли целый «клад». Одна вещица, другая... нет, не самородки, а какие-то странные плоские фигурки, на манер диковинных клювастых птиц, - как потом выяснилось, жертвенные ритуальные изображения эпохи бронзового века. Всего насчитали 36 предметов. Ребята даже потерли их о песочек. Нет, не золото. Видать — медь. Все предметы позеленевшие; хотели их отчистить. «Ну, тут нашелся умный человек, сказал, что зелень не надо оттирать», — удовлетворенно рассказывал потом Павел Петрович, для которого все это было нечто большее, чем археологическое открытие.

Позднее было найдено еще четыре предмета, в том числе обломок копья весом около полутора килограммов. Медь литая. Для прошлых насельцев края все эти изделия, несомненно, являлись даже большим сокровищем. нежели простое золото.

Находки вызвали громадный интерес в научном мире. Все они представляли исключительную ценность и были отправлены в Центральный исторический музей, в Москву.

По заключению археологов, здесь было мансийское

стойбище тысячелетней давности, еще до разделения племен на манси и ханты, и, может быть, действительно, начавшаяся междоусобица принудила древних обитателей захоронить свои сокровища.

Так открылась тысячелетняя загадка Азов-горы.

Так самым блистательным образом подтвердилась мысль, которую Бажов всегда выдвигал на первый план: что любая легенда, предание — отзвук каких-либо событий, дошедших до нас в искаженном виде, что в основе подавляющего большинства легенд лежит научно доказуемый, но неизвестный нам исторический факт.

...Жаль покидать Азов. Мысли невольно переносятся к тем временам, когда у подножия этих величественных скалистых вершин пробирались на восток вооруженные караваны. Сколько требовалось мужества и решимо-

сти, чтобы идти в глубь неведомых земель!

Спускаемся вниз, снова садимся в машину. Мотор не включен, но автомобиль легко скользит, придерживаясь проложенной на переднем пути колеи. Но... что это? Колея исчезла. Некоторое время шофер рулит наудачу, затем резко тормозит.

— Куда? — спрашивает он проводника.

Тот долго осматривается по сторонам и не очень уверенно указывает направление. Через пять минут уперлись в болото. Взяли правее — болото. Объехали влево — опять болото.

— Вот она, девка Азовка-то, завела да и бросила! —

шутит Павел Петрович.

После подъема на Азов он сдержан, молчалив более обычного. Какие новые замыслы рождаются в этой голове с чистым, обрамленным рамкой седых волос, выпуклым лбом, который, задумавшись или припоминая что-

либо, Павел Петрович часто потирает рукой?

Поиски дороги продолжаются с тем же успехом. Избрали другое направление — уткнулись в ручеек! Кочки, болотце — машине не пройти. Точно посмеиваясь над людской беспомощностью, нас неотступно сопровождает серьезная трясогузка. Перепархивает перед радиатором машины с ветки на ветку, трясет хвостиком. Может, это девка Азовка обернулась птичкой?

Вдруг... У-у-у-у! — завыл невдалеке гудок.

— На руднике! Вон куда ехать надо, — встрепенулся проводник. Через четверть часа мы въезжаем в Зюзельку. Совсем близехонько и плутали-то!

У маленького домика, на дверях которого значится табличка:

1-й горноспасательный отряд 2-й оперативный пункт при Зюзельском рудоуправлении

выстроилась шеренга людей в брезентовых комбинезонах. На бойцах-горноспасателях — круглые упругие маски, за спиной блестящие кислородные приборыреспираторы; гофрированная трубка респиратора подведена ко рту для дыхания, на голове — лампочка-фонарик.

Командир отряда — высокий, мужественного вида человек, по национальности татарин — внимательно проверяет исправность снаряжения каждого бойца. Проверка

перед тренировочным спуском.

Павел Петрович следит за ними долгим внимательным взглядом: этого не было на старом Зюзельском руднике.

\* \* \*

Зюзелька — самобытнейшее место, и я думаю, что читатель простит мне, если я сделаю отступление, чтобы познакомить подробнее с этим примечательным уголком Урала.

Рудник не молод, и, хотя время быстротечно и многое, очень многое уходит навсегда, воспоминания о старом живучи в народной памяти, возникая вдруг, как

дурной сон.

Еще в 1909—1910 годах здесь существовали казармы для рабочих, в казармах — нары в два яруса. Нижние для холостых, верхние — для женатых... Кому невмоготу становилась такая жизнь, селились в Полевском или Северском. Дороги между Северским заводом и Зюзелькой не было: ходили по двум жердям, брошенным по болоту.

До того как был заложен рудник, по речкам Железянке и Зюзельке разрабатывался богатейший золотой прииск. Места были глухие — тайга, кругом топи, ни дорог, ни тропинок. Отыщет старатель богатую жилу, заприметит местность, «знаки», какие надо, оставит. Назавтра пришел — ни примет, ни «знаков»,... Сколько угодно ищи, не найдешь. Будто в колодец все провалилосы Так и звали эти богатые, но «заколдованные» места — «Синюшкин колодец».

А почему «Синюшкин»?

Там, где залегают медные руды, в сырую погоду обычно появляется синеватый туман. Вязкий, тяжелый, медленно стелется он по поверхности земли. Отсюда, надо полагать, и родилось это прозвище: «синюшкин». Отсюда возник сказ Бажова «Синюшкин колодец», отсюда — еще раньше — был написан им очерк «Под знаком синего тумана», рисующий тяжелую, безрадостную долю рабочих рудной промышленности дореволюционного Урала.

Героические дела развернулись на Зюзельском руднике в 1941—1945 годы. Война застала рудник на консервации («подставили ножку другие открытые месторождения»). Ну, раз рудник не работает, почти всех горняков призвали в армию. И вдруг приказ: начать работу. А тут последние тридцать пять человек уходят в ряды защитников Родины. Директор поехал в военко-

мат: «Лучше возьмите меня!» Людей оставили.

Пуск рудника явился неожиданным даже для тех, кто давал приказ. Тяжелое положение создалось с транспортом, от него буквально зависела жизнь рудника. На строительство узкоколейной железной дороги вышли все женщины поселка, все служащие во главе с директором. На тяжелых земляных работах многие выполняли по 200 процентов нормы. Сам директор «дал» однажды 300 процентов.

Женщины спустились и под землю. Бывшие телефонистки, воспитательницы детского сада стали каталями, крепильщицами. Бывшая закладчица Султанова сдела-

лась машинистом паровоза.

Шахте нужна крепь, паровозу нужны дрова, — значит, все пошли в лес, на заготовки. Своими руками построили душкомбинат. После трудовой смены в шахте рыли котлованы, клали фундамент. Обычными стали

массовые воскресники.

Кенигсберг еще не был взят, когда пришла телеграмма: отгружать руду в Кенигсберг. Не знали, куда отправлять; адресовали на одну пограничную литовскую станцию, счета оплачивала Москва. Зюзельская руда используется химической, бумажной промышленностью. К концу войны рудник давал уже до ста тысяч тонн руды в год. Он работал успешно и дальше. Несмотря на то что к моменту нашего посещения Зюзельки работа над сказом «Синюшкин колодец» уже была закончена, Павел Петрович продолжал очень живо интересоваться Зюзелькой, прошлое которой послужило первоосновой для создания одного из лучших его произведений. Он начал расспрашивать о Зюзельке еще в машине шофера, однако подробную беседу о современном состоянии дел на руднике отложил до возвращения с Азова.

Пока мы поднимались на Азов, в Зюзельке успели приготовиться к встрече. В клубе полным-полно народа (как раз кончилась смена). Тут и старые и малые. Все

ждут Бажова.

На сцене цветы. Над сценой, на растянутом кумачовом полотнище, четкая надпись: «Привет нашему знатному земляку— писателю сказов народных, Павлу

Петровичу Бажову».

С первых же фраз, коротких отрывочных разговоров убеждаешься, что имя Бажова хорошо известно здесь, о нем говорят с гордостью и уважением. Первым подтверждением этому был разговор со стариком коновозчиком, доставившим нас со станции в Полевском.

Появление Павла Петровича было встречено продолжительными аплодисментами. Он растроган, смущен приемом. Особенно смутила его надпись на полотнище.

— Ну, право, ну, что это? .. нет, верно, зачем? — бор-

мочет он, усаживаясь в президиуме.

Девочка-татарка (на руднике много горняков-татар) поднесла дорогому гостю букет полевых цветов (успели сбегать и нарвать), сказала приветствие сначала потатарски, потом по-русски, не совсем чисто выговаривая некоторые слова. Павел Петрович слушал, поднявшись на ноги, склонив немного голову вбок и глядя куда-то перед собой, в позе, которая ясно говорила, что можно бы и без всей этой церемонии. Приняв цветы, он сказал:

— В альманахе «Уральский современник» скоро будет напечатана сказка «Синюшкин колодец». Это будет

мой ответ зюзельским пионерам.

Дальше началось то, чем обычно всегда тяготился Павел Петрович. Каждый выступающий считал своим непременным долгом сказать похвалу Бажову. Некоторые были явно неумеренными, но все шли от чистого сердца. Это не делало все торжество менее легким для того, кому оно посвящалось. Голова Павла Петровича

онускалась все ниже; он словно стыдился, что люди так хвалят его.

— Это при живом-то человеке?! — возмущался он в перерыве. — Все-таки положение идиотское: тебе говорят такое, а ты — молчи, соглашайся... Чего доброго, еще по стопочке подадут; ахнешь тут, и вовсе будет ве-

селый разговор!..

Должно заметить, что популярность Бажова на Урале вообще была исключительно велика. Его знали хорошо в лицо во многих городах и поселках края, очень часто незнакомые люди здоровались на улице. Бывало,
идешь с ним по улице в Свердловске, и чуть ли не каждый встречный спешит засвидетельствовать свое почтение: «Здравствуйте, Павел Петрович!» Приветлив он был
со всеми, знакомыми и незнакомыми. Раскланяется, потом, наклоняясь, спросит: «Кто это, ты не знаешь?»

Особенно близок он был той части уральских рабочих, которая помнила прошлое. И это понятно: он сумел показать это прошлое так, как до него не показывал никто. Позднее, вновь бывая в Полевском, мне не раз приходилось встречать старого рабочего, с гордостью сообщавшего, что он «вместе с Бажовым в президиуме

сидел».

Все, близко знавщие Павла Петровича, обычно поражались тому обилию сведений, фактов, цифр, которыми была начинена бажовская голова. Память у него была поразительная, а знания — поистине всеобъемлющие, энциклопедические, особенно же — по уральской истории. Но, пожалуй, самым редкостным качеством было то, что, когда ему приходилось общаться с аудиторией, он в каждом отдельном случае умел найти для выражения своих мыслей очень доходчивую, а подчас и неожиданную форму. Таким было и его выступление в Зюзвельке.

Сам Павел Петрович относился к таким встречам с народом в высшей степени серьезно, дорожил ими. Перед выступлением в городском саду в Полевском, помню, надел чистую рубашку, хотя и та, которую он снял, была в полном порядке. («Как делали когда-то древние римляне перед битвой!» — сострил он в свой собственный адрес.) Чтоб не ударить лицом в грязь, пытался чтото записывать на бумажке — конспект для выступления, но потом бросил. «Все равно не вижу, говорю, что на язык взбредет». «Взбрело» как раз то, что нужно, хотя сам Бажов ставил себя как оратора очень низко,

«Здесь родное, не могу спокойно говорить», признался он и потом, когда выступал перед земляками выдвинувшими его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.

Так же, экспромтом, вышла его речь в Зюзельке.

Он заговорил о... мечте. Поначалу речь казалась несколько отвлеченной, но как-то незаметно она перешла на вещи близкие, понятные каждому. Павел Петрович

говорил:

 Мечта у человека существует с древних времен. А мечта — она ведь далеко уведет, если за нее бороться! Ленин говорил: «Надо мечтать!» Но раньше каждый мечтал в одиночку, потому и толку не получалось. Вот. к примеру, я сейчас ехал и видел: занимаются горноспасатели. Хорошо. А раньше это увидел бы? Не увидел. Случилось несчастье в шахте — пропадай. Теперь совсем не то. А ведь это была тоже мечта - чтоб труд был безопасным. Мечтали о разном, а все сходились в одной точке — в вопросе о счастье народа. Отражение такой мечты есть в каждом сказе, легенде. В одной из легенд об Азов-горе говорится о том, что есть такое имечко, перед которым откроются все сокровища, скрытые до поры до времени. И не только сокровища земных недр. А и — сокровища человеческой души. А это поважнее. Теперь мы знаем такое имечко: партия, коммунист. Большевистская партия организовала народ на борьбу и привела к Великой Октябрьской социалистической революции, которая дала народу счастье. Партия научила нас и мечтать так, чтобы мечта становилась явью, сбывалась. И чтобы каждому от этого становилось лучше...

Под конец он сказал:

— Вот у меня есть мечта: написать книгу о современных уральских мастерах, показать труд рабочего человека в наши дни...

Увы, эта мечта осталась неосуществленной. То есть что-то удалось успеть сделать (например, сказ «Не та цапля» и еще кой-что), но далеко не все.

После собрания он спрашивал:

— Ну, как я говорил? Ладно, что ль?

\* \* \*

Следующий день посвящался осмотру Криолитового завода (Криолита, как все говорят здесь) и Гумёш-

кам. С нами поехал старый знакомец Павла Петровича— Дмитрий Александрович Валов, местный уроженец, потомственный рабочий, в те годы— председатель Полевского райисполкома, человек еще сравнительно молодой, беспокойный, ищущий и, как все полевчане, влючбленный в свой край.

Валовы — весьма распространенная фамилия в здешних местах. Один из Валовых, а именно Михаил Валов — родом с Сысертского завода, мастер медноплющильной фабрики Екатеринбургского монетного двора — сделал вклад в развитие уральской техники: в начале прошлого столетия избрал токарный станок «для

точения валков плащиленных».

Долгое время прокатное производство испытывало большие неудобства и несло значительные потери из-за сложности замены поломанных валков. Уменьшить эти потери и был призван станок Михаила Валова. Испытания его дали «хороший успех», «при полном и беспрерывном действии плащиленных фабрик». В заключении горного начальства отмечалась также «малосложность» станка. За это Валов был награжден «единовременной выдачей из монетного капитала ста рублей с занесением оной награды в формулярный о службе его список». Сто рублей — сумма по тем временам немалая, ей равнялась годовая зарплата или, как тогда говорили, жалованье мастера Валова.

К сожалению, личность изобретателя осталась совершенно неизвестной и дальнейшая деятельность его теряется без следа. Забылось постепенно и его изобретение, и спустя полвека русским предпринимателям уже рекомендовалось использовать для обточки валков стан-

ки, созданные бельгийскими конструкторами.

Из Полевского вышел и другой талантливый уралец — строитель «вододействующих колес», штейгер Кузьма Дмитриевич Фролов. Фролов построил также «вододействующие кольца» — предшественники современных водяных турбин, которые вдвое превосходили подобные устройства во Франции и Англии, используемые для подачи воды в жилые кварталы Лондона и в фонтаны Версальского парка. С помощью этих «колец» Фролов механизировал откачку воды из шахты и подъема руды.

О таких умельцах, известных, малоизвестных и остав-шихся совсем неизвестными, всегда с огромной любовью

отзывался Бажов.

О приезде Бажова знали (видимо, предупредили из райкома). Машина не успела остановиться у подъезда заводоуправления, как на ступенях появились представители администрации, парторг, один из членов завкома. С ожиданием и явной симпатией они смотрели на подходившего к ним невысокого, уже в больших годах, человека, с тем характерным, запоминающимся обликом, который так «шел» к Бажову: с лицом библейского мудреца, в сапогах, кепке, во всем черном, подпоясанного ремнем, с неспешной, покойной и как бы чуть натруженной походкой, и — конечно — борода. Бороду знали все, даже те, кто никогда не видал Бажова.

В коридоре заводоуправления было необычно оживленно. Служащие выходили из боковых помещений и нарочно старались попасться навстречу дорогому редкому гостю, заглядывали ему в лицо. Какой-то высокий мужчина, по наружности рабочий, решительно шагнул от

стены, протягивая руку:

— Кажется, товарищ Бажов?

— Он.

Здравствуйте.

Павел Петрович внимательно всматривается:

А я вас не узнал.

- А вы меня и не знаете. Я вас знаю.
- Тогда сказались бы...

А я и сказался.

— А я не расслышал...

Тотчас обок появился другой:

— Вы приехали к нам беседу проводить?

— А я не знаю. — Павел Петрович растерянно оглядывается на сопровождающих его лиц, как бы советуясь, что ему надлежит делать. — Хотелось бы сначала посмотреть...

Первый все не отстает, шагая рядом. Вскоре выясняется, что он хотел бы рассказать Павлу Петровичу коечто, касающееся прошлого Полевского завода, и специально ждал приезда Бажова.

— Ждали? — удивленно вскидывает на него глаза Павел Петрович. — А откуда вы узнали, что я должен приехать?

- Ну, как же! Раз книгу о полевчанах написали,

значит, должны приехать!

В кабинете директора — новое знакомство. Явился, вызванный секретарем парткома, один из местных ста-

рожилов. Без лишних околичностей спросил, зорко по-

— Чем могу служить?

Познакомься, — сказал директор. — Это товарищ Бажов.

— И я Бажов.

Оба Бажовы, и оба полевские.

— Может, родня? — поинтересовался парторг.

Сейчас же между двумя Бажовыми завязался оживленный разговор, в течение которого были вспомянуты Савельичи, Ивановичи, Васильевичи, после чего Бажовместный объявил:

Нет, я другого колена.

Беседа продолжалась с той же деловитой обстоятельностью, которой положено быть между двумя пожилыми людьми, и после этого, но теперь уже на ту основную тему, которая так влекла Бажова-писателя: прошлое Урала, жизнь и быт людей, мастерство незаметных тружеников. Секретарь парткома знал, кого пригласить.

Затем в сопровождении Валова и одного из инжене-

ров заводоуправления отправились по цехам.

От старого химического завода, построенного в 1907 году фирмой «Торговый дом братьев Злоказовых», который должен был снабжать серной кислотой Гумёшевский медеизвлекательный завод (сырьем служили руды Зюзельки), в наши дни осталось лишь одно воспоминание. В 1933 году здесь был сооружен криолитовый цех, а в 1934 году все предприятие переименовано в Полевской криолитовый завод — ПКЗ.

Что такое криолит? Тогда я еще не знал этого.

— Криолит — среда для гидролиза алюминия, — глубокомысленно изрек сопровождающий нас инженер таким тоном, точно мы вместе с ним кончали химический факультет.

— Ага, — загадочно уронил Павел Петрович и примолк. Понял ли он что-нибудь, для меня так и осталось

неясным.

Криолит (что в переводе с греческого значит «ледяной камень») — продукт, необходимый для расплавления глинозема — белой окиси алюминия, из которой получают металлический алюминий, продукт в высшей степени необходимый в наши дни.

Рождение криолита начиналось с разгрузки вагонов с плавиковым шпатом. В переброске шпата участвовал

экскаватор. Раскрытой зубастой пастью он захватывал охапки пепельно-желтоватой породы и сыпал на транспортер; транспортер — бесконечная бегущая дорожка на роликах — уносил шпат внутрь помешения.

Еще доживал свой век камерный цех, существовавший со дня открытия завода. Впоследствии этот устаревший способ целиком сменила башенная система. Впервые примененная здесь, в Полевском, она вскоре пере-

кочевала и на другие предприятия страны.

Для человека непосвященного очень любопытно наблюдать, как получается серная кислота, распространеннейший химический продукт, известный каждому еще со школьной скамьи. А то, что следствием всего было рождение серной кислоты, любой ощущал на своем лице его пощипывало, как будто слегка кололи тысячи иголочек.

Крепчайшая кислота эта шутя разъедает железо. Ей противостоят только свинец и стекло. Между тем в камерном цехе, куда ни глянь, дерево. Деревянные полы, деревянные балки и перекрытия, деревянная наружная облицовка камер...

Оказывается, дерево более пригодно было здесь, чем металл. Оно дольше выдерживало, и его удобнее было заменять новым.

В цехе тихо, чисто. Местами на полу поблескивают маленькие лужицы. Вставать на них не рекомендуется — предупреждает наш чичероне — останешься без подошв. Колоссальные круглые камеры заполняют помещение от пола до потолка. И кругом — ни души. На весь цех — два-три человека; так автоматизированы все процессы.

Павла Петровича заинтересовала плавиковая кислота, тяжелая, бесцветная, стекловидная жидкость, которую «не держит» ни свинец, ни железо, ни фаянс, только — парафин (потому ее и хранят в сосудах, покрытых слоем парафина; на заводе при нас упаковывали в парафиновые ящички). Ее можно невзначай выпить вместо воды, вымыть ею руки: она без запаха и вкуса. Но упаси боже это сделать!

При производстве плавиковой кислоты выделяется газ фтор. Концентрация его невелика, и он не представляет опасности для человеческого организма, так нам объяснили (теперь, пожалуй, с этим бы не согласились), но губит растительность. Из-за этого в поселке Криоли-

тового завода и вокруг него сохнут сосны 1. Фтор особенно прилипчив к стеклу. Еще проезжая по поселку, мы обратили внимание на то, что во всех окнах матовые стекла. Оказалось, фтор, растворенный в воздухе, делает их такими. По той же причине во всех цехах — матовые электрические лампочки. А когда их ввинчивали, были обыкновенные, прозрачные. Павлу Петровичу показалось занятным, что с течением времени лампочка пук! — и рассыпается сама собой: выдерживает не больше десяти дней.

При всех неприятностях, которые способен устраивать фтор, у него большое будущее. Это при помощи фтора получают красивые рисунки на стекле, которые мы видим на хорошей хрустальной посуде, на художественных стеклянных изделиях. Фтор участвует в изготовлении эмалированной посуды, в обработке легких сплавов, необходим как присадка в промышленности сверхтвердых сплавов, в лабораториях научно-исследовательских институтов. С помощью фторсоединений очищают нефть, получая высокооктановые бензины. Они могут применяться также в качестве медицинских препаратов — как анестезирующие, в цементах для пломбирования зубов и т. д.

— А в холодильниках! — воскликнул инженер.

— А что в холодильниках? — с какой-то подкупающей непосредственностью, как спрашивает ребенок у взрослого, поинтересовался Павел Петрович, обращая к инженеру взгляд доверчивых, всегда словно что-то

ждущих от вас, удивительно прозрачных глаз.

Выяснилось, что фтористые соединения — отличные хладореагенты, иначе говоря, носители холода, и если раньше в холодильниках применялись обычно аммиак и соляные растворы, то теперь все большее применение находит производное фтора — фреон. Он безвреден, дешев, лучший холодильник индивидуального пользования — это шкапчик, наполненный фреоном. Павел Петрович слушал все это, со вниманием наклонив голову.

На Криолитовом укороченный рабочий день. Везде — мощная вентиляция, металлические бачки с подсоленной газированной водой, прохладной, брызжущей, за-

<sup>1</sup> Гибнут не все деревья, только хвойные; лиственные — растут, особенно — тополь. Учитывая это, Свердловское управление лесофохраны и лесонасаждений создало специальный питомник тополей на площади в три гектара. В будущем предполагалось привезти на Белоруссии и канадские клены, они тоже неприхотливы.

мечательно утоляющей жажду. В киосках вы в любое время можете выпить свежего молока. Инженер предложил отведать, и Павел Петрович, не сумев отказаться,

покорно выпил стакан, похвалив: «густое».

В одних цехах мелют, в других — парят, обрабатывают кислотой, в третьих — взбалтывают, сушат... Криолит — белый мучнистый порошок — окончательная продукция Криолитового завода. В природе существует и естественный криолит, кажется, где-то на Севере, в Скандинавии или Гренландии, что ли, но нам его приходится производить промышленным путем. Этот «ледяной камень» тает при температуре в тысячу градусов. Тысяча градусов — невысокая температура: для расплавления железа, например, нужно почти в два раза больше — тысяча семьсот. Но криолит обладает ценнейшим свойством: в жидком криолите растворяется глинозем (белая окись алюминия, чрезвычайно трудно поддающаяся плавке), а из этого раствора путем электролиза получают алюминий.

Как без дрожжей не выпечешь хлеба, без воздушного дутья не выплавишь чугуна в доменной печи, так без криолита не получишь чистого металлического алюми-

ния.

Уже сам факт превращения одного вещества в другое всегда похож на чудо. К этому, главному чуду по ходу движения технологии прибавлялось много других, мелких, из которых складывалось большое; каждый этап на пути рождения нового вещества был своего рода волшебством, и Павел Петрович очень внимательно знакомился с ним, стараясь постигнуть все тонкости. Реплики, которые он время от времени подавал, свидетельствовали, что он отлично разбирается в процессе, хотя химия никогда не была его специальностью.

В одном месте он сказал Валову:

 Вот, Дмитрий Александрович, плавиковый шпат надо найти.

Тот ответил, как о деле, давно решенном:

- Найдем.

Плавиковый шпат, — по-научному, флюорит, основное сырье — привозился издалека. Название «плавиковый», как разъяснили нам, он получал оттого, что его применяли в качестве плавня («флюса», по-современному) в доменных печах.

Однако, как я понял впоследствии, разные занятные подробности возбуждали любопытство у Павла Петро-

вича постольку, поскольку были связаны с полезной деятельностью людей. Люди — люди и их труд — вот что было всегда главным для него. И он с удовольствием узнавал о тех мероприятиях, которые приняты на всех советских заводах с вредным производством, каждый раз делая энергичный кивок головой, выразительно говоривший: правильно, так, так, иначе и не должно быть.

Интересный факт сообщил нам фторщик Иванов, пожилой мужчина с нахмуренным лбом, рационализатор и изобретатель, пописывающий в научно-технические журналы. Он ездил в Германию, разговаривал там с доктором химии. И вот, к большому удивлению, обнаружил, что немец очень хорошо знает все написанное им о своем опыте. Все статьи из журналов вырезаны и аккуратно подшиты, даже те, которых не было у самого Иванова.

— Всегда, всегда было так, — с серднем комментировал это Павел Петрович. — Наши придумывали, заграница подхватывала...

Под конец он неожиданно заявил:

— А ведь это похоже на литературный процесс: механическая смесь различных компонентов должна войти в химическую реакцию и дать нечто совершенно новое, не похожее на старое. Что скажешь, не так? — И прибавил через минуту: — Все в писательском котле должно перекипеть так, чтобы получилось новое качество. Только тогда можно говорить о творчестве.

Лет через восемь или десять мне довелось опять побывать на Криолитовом заводе, и я сызнова пережил нашу поездку с Павлом Петровичем, но уже в новых, так сказать, послевоенных условиях, заново лишний раз оценив и поняв трудолюбие и упорство здешних людей.

Путешествие по заводу утомило Павла Петровича, и, когда наконец мы, распростившись с провожатым, оказались на воздухе, он облегченно вздохнул и признался:

— Ноги у меня устали. — И тотчас добавил с укором себе: — А люди работают тут по восемь часов, и — ничего.

Во всех этих суждениях постоянно слышалось глубокое уважение к людям тяжелого физического труда и некоторое, я бы сказал, даже преклонение перед ними; эта нотка вполне явственно звучит и во всем, что вышло изпод пера Бажова.

Но усталость как рукой сняло, когда мы вышли на Гумёшки, на те самые Гумёшки, опоэтизации, красочному описанию которых отдал столько сил и таланта сказочник Бажов. Завод занимает часть этого знаменитого урочища, прозванного в старину Медной горой, и поэтому Павел Петрович повторяет в сотый раз:

— Й это Гумёшки?! Неузнаваемо изменилось...

Сразу от завода местность на большом протяжении изрыта, всклокочена так, что не узнать, какой она была первоначально. Может, и впрямь была гора? Но сейчас никакой горы нет. Даже наоборот: центр урочища занимает громадная выработка, в которой свободно поместится Криолитовый завод со всеми цехами. Один край выработки зарос сорной травой, другой, противоположный, служит местом свалки огарков с Криолита. На дне образовалось глубокое озеро. Вода в нем изумруднозеленая — ну, точь-в-точь малахит! Несколько отступая от этой основной выемки, в разных местах видны буровые разведочные вышки. От ближайшей из них доносится металлическое звяканье — идет бурение.

Около озера сохранились остатки заброшенной шахты: полузасыпанный землей и мусором ствол со следами деревянного крепления (в сруб, как колодец), развалившийся тяговый барабан-ворот для подъема из шахты. Эти любопытные образцы техники прошлого (жаль, что нельзя поместить их в музей!) — живое напоминание

о минувшей жизни и славе Гумёшек.

...В 1702 году начальник Сибирского приказа думный дьяк Виниус послал «прикащиков ближних слобод капитана Василья Томилова да другого Ивана Томилова» осмотреть место по речке Полевой, называемое Гумёшками. Основанием этому послужило заявление жителей Арамильской слободы Сергея Бабина и Кузьмы Сулеева, нашедших на указанном месте следы заброшенных горных работ.

Вот что доносили Томиловы:

«Вверх по Чусова-реке, промеж речками Полевыми, на ровном боровом месте, два гуменца в мерою в длину по 55 сажен, поперек по 30 сажен; да у тех же гумёнец два озерка в длину по 30, в ширину по 10 сажен; и на тех гуменцах копаны ямы аршина по 3 и по 4, и в тех ямах каменья малое число, а в иных и нет; а в одной яме нашли каменья во все стороны по сажени да подле при-

<sup>1</sup> Гумёнцем называли плоский невысокий холм.

внаки железной руды. А около тех гуменец изгарины многое число, что выметывают кузнецы из кузниц».

Позднее, после проверки донесения Томиловых, в «регистре» 1720 года, было записано: «Руда гумешевская за Чусовой-рекой, прииск Сергея Бабина, Козьмы Сулеева в 1702 году, и оная руда пробована и по пробе явилась добрая, а промыслу никакого не бывало, а за прииск той руды дано им по приказу думного дьяка Андрея Виниуса денег 6 рублев 66 золотников».

Так был открыт один из древнейших рудников на территории нашей страны — Гумёшевский, или, по-мест-

ному, Гумёшки.

В заброшенных шахтах-копанях Гумёшек были найдены кайла, молоты, медные и костяные заступы; кости, полуобгоревшая сосновая лучина, с помощью которой, видимо, освещались под землей древние рудокопы. Деревянные крепления отличались необычной твердостью. Зажженные, они горели зеленым пламенем, выделяя смрадный запах. Здесь же нашли рукавицы и сумки, сшитые из лосины. На рукавицах сохранилась даже шерсть. Сшиты они были из кожи с головы лося, так, что «ухо» надевалось на большой палец, и рукавица могла служить как для правой, так и для левой руки.

Кто были первые рудокопы, добывавшие здесь медь?

Следы чьей работы сохранились на Гумёшках?

По народным преданиям это были «чудаки», или чудь, — народ бронзового века, исчезнувший много лет назад, иначе говоря, те самые «стары люди», о которых повествует азовская легенда. Чудским металлургам были под силу только углекислые соединения меди, как, например, малахит, содержащий от 40 до 70% чистой меди. Гумёшки же оказались редкостным месторождением малахита. Кроме того, здесь встречались самородная медь, медный колчедан, железняк, кварц. А не добывал кто-нибудь и эти полезные ископаемые?

Взгляд на Гумёшки как на рудную копань эпохи бронзового века разделяется многими учеными. Однако пытливый ум Бажова нашел и здесь свое собственное, самостоятельное суждение. В очерке «У старого рудника», говоря о прошлом Азова и Думной, Бажов пишет: «В связи с этим можно было даже подумать, что открытые в начале XVIII века «два гуменца промеж речками Полевыми»... были просто остатками работы одной из ватаг, долго отсиживавшейся здесь в удобном месте. Ведь известно, что крестьяне Арамильской слободы за-

долго до постройки в этом краю первых заводов плавили железо в «малых печах» продавали его и даже платили за это «десятую деньгу». Почему таких же «плавильщиков» и «ковачей» не предположить среди ватаги «вольных людей»? Потребность в металле у них, конечно, была большая: и для оружия, и в качестве товара...»

О первооткрывателях Гумёшек из документов, обнаруженных в самое последнее время в Свердловском

архиве, известно:

Сергей Бабин происходил из Арамильской слободы, состоял на жалованье в Уктусском заводе. Это был потомственный рудознатец. И сам он и отец его, как отмечается в старинной грамоте, «исстари имели тщание и неусыпные труды по прииску руд и каменьев разных». Степан и Петр Бабины (отец и дядя Сергея Бабина) вместе с отцом Федором Бабиным отыскали немало месторождений руды, которую плавили Полевской, Сы-

сертский и Алапаевский заводы.

Вместе с родичами — Родионом, Федором, Степаном Бабиным — Сергей Бабин трудился и на заводе «по присмотру за подмастерьями и у переплавки меди, переменяясь». Упоминания о Бабиных содержатся за 1721-й (копали руду на Шиловской горе и на Половинном истоке), за 1726-й и другие годы. Все Бабины были полукрепостными людьми, но знаниями в горном деле могли поспорить с иными «просвещенными». Как отмечается в указе 1773 года, за нерадение их ждало суровое наказание. Лишь под конец жизни, а именно в 1773 году, братья Бабины были наконец освобождены от «расположения заводских работ и от всяких мирских здельев».

Очень скудны сведения о втором гумёшевском первооткрывателе — Кузьме Сулееве (Сулее). Имеется указание, что он числился в списках крестьян Уткинской
слободы и в 1721 году ему был уже 81 год, имел жену
и сына Степана. Сохранилось описание двора, где жила
семья Кузьмы Сулея. Вот, пожалуй, и все. Но и того, что
мы знаем, достаточно, чтобы сказать: это были выдающиеся рудознатцы XVIII столетия, и, может быть, если
бы не их «тщание» да «рачение», еще долго лежало бы
втуне гумёшевское богатство.

В 1719 году началась разработка Гумёшек. Царь Петр приказал всемерно торопить добычу меди. На реке Полевой, в трех километрах от Гумёшек, вырос Полевской медеплавильный завод. Вначале главные надежды

возлагались на соседний Полевской рудник. Разработка же самих Гумёшек, несмотря на правительственные распоряжения, первое время шла вяло, — видимо, не могли наткнуться на основное рудное тело. Опасаясь истощения медных руд, на Полевском заводе построили домну и, не оставляя выплавки меди, начали выплавлять и железо.

Руду, добывающуюся здесь, известный деятель уральской промышленности де-Геннин в своих описа-

ниях называл медным илом.

Обилие железных руд повлекло постройку Северского железоделательного завода (1735—1739) на речке Северушке, в семи верстах от Полевского. Полевской, Северский и построенный около того же времени Сысертский (1732), а позднее также заводы Верх-Сысертский (1849) и Ильинский (1850—1854), и составили Сысертский горный округ, многократно поминаемый у Бажова.

Сперва заводы числились за казной. В январе 1759 года, после соответствующего прошения, их передали купцу и солепромышленнику Турчанинову, «пожалованному» по соизволению императрицы Елизаветы Петровны в чин титулярного советника в ранге «сухопутного капитана». Отданы чуть не задаром. Все три завода, называвшиеся Полевскими, — собственно Полевской, Северский и Сысертский, — были оценены в сумме 129 353 рубля 76½ копеек, с рассрочкой на пятнадцать лет.

Турчанинов был всесильный владыка. Ему принадлежали огромные земельные угодья (более четверти миллиона десятин), заводы, рудники, золотые прииски, разные вспомогательные мастерские и курени, в которых «томили» уголь, заготовляли топливо для заводских потребностей. На него трудились более 12 тысяч мастеровых людей и приписных крестьян. Это его, турчаниновский, заводовладельческий знак — цапля — торчал на шесте над старой плотиной; прежде такие знаки были натыканы там и сям. Молва утверждала, что в милость к императрице он попал благодаря поставкам медных тазов и кастрюлек царскому двору.

Осуществляя наказ, которым сопровождалась передача заводов, «распространять и умножать сильной рукой и крайнее иметь старание, чтобы выковка железа и выплавка меди, против казенного содержания, была приумножена», а прежде всего, разумеется, в погоне за обо-

гащением, Турчанинов в первый же год довел выплавку меди до десяти с лишним тысяч пудов, то есть вдвое против прежнего. В последующие годы эта цифра возросла еще больше. Рекордным был 1866 год — 48 586 пудов меди. Основным поставщиком руды служил все это время Гумёшевский рудник. Гумёшки оказались настоящим кладом для заводчиков и давали баснословные прибыли. Здесь же, в 1798 году, была сооружена первая на Урале паровая машина.

О Гумёшках узнали далеко за пределами Урала. «Загремели наши Гумёшки. По всей земле про них слава прошла». Такими словами характеризовал этот период

в сказе «Две ящерки» П. П. Бажов.

Однако всемирную известность рудник приобрел все же не медью, а своими малахитами. Здесь не редкостью было встретить глыбу чистого малахита весом до полутора тонн. Такая глыба малахита и по сей день хранится в Минералогическом музее в Ленинграде. Другая глыба «во сто пуд» находится в Свердловском музее краеведения 1. Не исключено, что встречались и еще более крупные гнезда малахита, но техника того времени не позволяла поднять наверх такую тяжесть, их приходилось раскалывать в шахте и извлекать по частям. Лучший малахит использовался как поделочный камень. Остальные дробились и переплавлялись в медь. Вот откуда родилось и название — «Малахитовая шкатулка»...

Для работы на рудниках и заводах владельцы переселяли из Соликамского уезда (сам Турчанинов тоже был соликамский) крепостных крестьян. С отменой крепостного права Гумёшки стали чахнуть. В 1871 году, «ввиду обеднения руд, непомерной дороговизны работ, вследствие сильного притока воды и больших затрат на укрепление шахт», Гумёшевский рудник был закрыт,

шахты оказались затопленными.

...И вот — новое рождение Гумёшек. В день нашего посещения на выработках встретились комиссия из инженеров, геологов, приехавших из Свердловска и Москвы, и группа приглашенных старейших жителей Полевского. Встретились, чтобы решить дальнейшую судьбу Гумёшек.

Ведь не выработано богатство Гумёшек. Разведочное бурение показало, что руда лежит здесь, дожидается,

<sup>1</sup> Самая крупная, поистине уникальная глыба малахита, извлеченная из гумёшевских недр, весила 170 пудов — без малого три тонны.

когда ее отправят в раскаленные желудки ватержакетов и отражательных печей. Взято лишь то, что было наиболее доступно, легче взять. Медная руда (колчедан) — под самым Полевским. Старое Полевское обречено на умирание. Строить вновь здесь что-либо запрещено, все новое строительство развертывается западнее, на свободных площадках. Зона обрушения, выражаясь геологически, задевает и часть территории Криолитового вавода.

У Гумёшек очень сложная гидрогеология. Шли разговоры, что выработки имеют сообщение с заводским прудом. Всего там насчитывалось до двухсот выработок

и шурфов.

Богатейшей шахтой на Гумёшках считалась старейшая— Георгиевская. Ее и искали с помощью стариков. Долго ходили от одной заброшенной шахты к другой,

судили-рядили.

— Раньше лес-то для крепления брали листвяный, лиственницу, стало быть, которая в воде долго дюжит. А как разбирать зачнут, наверх подымут — так и готово! Солнце охватит — она сразу трухнуть зачнет, потому всю

силу в землю да в воду отдала...

По уцелевшей лиственничной крепи в конце концов и опознали Георгиевскую. В квадратном бревенчатом срубе-колодце, недалеко от поверхности, стояла неподвижно черная, как деготь, отблескивающая вода. Позднее строители откачали здесь около полумиллиона кубометров воды. Старое крепление решено было сохранить, а для этого — «поставить футляр». Шахта была

заброшена около ста лет назад.

Ряд интересных находок сделали буровики. На глубине в 54 метра они встретились с вертикальной выработкой, пройденной около полутораста лет назад. Под
ней тянулась водоотливная труба все из той же лиственницы, без каких-либо металлических креплений и колец,
связанная деревянными соединениями простой и остроумной конструкции. Откачка, очевидно, делалась вручную, методом так называемого ступенчатого водоотлива.
И здесь дерево прекрасно сохранилось. В выработках
встречались жилки малахита.

Это новое оживление на Гумёшках безмерно радова ло Бажова, помню взволнованный блеск его глаз, интонации голоса. Он тоже походил со стариками, тоже подавал советы, где лучше искать, откуда начинать откачку старых шахт, и, глядя на него в те минуты, трудно было

решить: кто это — работник пера, писатель, журналист, или многоопытный, искушенный во всех тайнах земных «кладовушек», горшик, добытчик уральских недр?

Поразительны были охват наблюдений, развивающихся, так сказать, одновременно во всех направлениях, и зоркость глаза Павла Петровича. Кажется, весь погружен в рассматривание старой «листвяной» крепи; а в это время неподалеку, на отвале, взметнулся густой, жирный, черный столб сажи, дыма. Немедленно следует реплика:

- А ведь это техническое хулиганство: столько вы-

пускать в воздух! Что они - не видят?!

Потолковал с мастером буровой, высказав по пути свои соображения насчет возможных результатов бурения, о том, где, на его взгляд, лучше бурить, чтобы результаты были значимее.

— Сегодня лекция, — прощаясь, сказал мастер, уважительно глядя на Бажова, в речах которого чувствовался знаток.

— Что вы, какая лекция! Беседа хоть! — скромно отозвался Бажов и постарался сразу сделаться незаметным, не мешать работе.

Речь шла о беседе, на которую по просьбе Павла Петровича пригласили большую группу рабочих завода и

геологоразведки.

Изменения, которые Бажов обнаружил на Гумёшках, нашли свое отражение первоначально в небольшой записи «На том же месте», а затем в очерке того же названия, в образе «советского старичка» пенсионера и противопоставлении ему — «безвредного старичка» прошлого. Короткая, по существу почти хроникерская, зарисовка эта замечательна тем, что очень скупыми, лаконичными штрихами (что характерно для всей творческой манеры Бажова) убедительно изображено огромное расстояние между тем, что было когда-то и что стало теперь. И изображено, как говорим мы, литераторы, «через человека».

\* \* \*

С утра направились на Северский завод.

Когда ехали мимо Штанговой электростанции, приткнувшейся у старой плотинки, точнее, бывшей Штанговой, поскольку она уж давно перестала давать ток, Павел Петрович сказал без улыбки: — Где-то здесь моя милая жила... А сейчас бы посмотреть, поди, не поверил бы глазам, что эта холера пленяла!..— Но тут же переменил тон: — Хочется мне книгу посвятить девушкам моей юности. Очень хочется. Все они оставили какой-то след. — И больше не раскрыл

рта до самого Северского.

Ссйчас, когда пишутся эти строки, бывшая «Северка» вполне современное предприятие. В годы, последовавшие за победоносным окончанием Великой Отечественной войны, в Северске пущены цехи белой жести, оборудованные по последнему слову техники, совершенно изменившие лицо завода, насчитывающего более двухсот лет. Затем вырос трубосварочный цех-гигант. С появлением его завод изменил свой профиль — из металлургического стал трубопрокатным. А тогда, в 1939 году, очень многое все еще дышало стариной.

В низине на речке Северной (Северушке) притулился доменный цех. Домен было две. К нашим дням осталась только одна, да и та не работала. Издали она походила на приземистый кирпичный дом, накрытый сверху большим железным зонтом. В поддоменнике расположилась литейная, металл для которой выдавала

вагранка.

Стены поддоменника метровой толщины. Полукруглые арки-проезды облицованы для прочности чугунными плитами. Не домна — крепость! Земля успеет состариться, сменится не одно поколение, а из этих стен не

выпадет ни один кирпич! 1

Еще был «жив» — и даже использовался! — неуклюжий и массивный подъемный кран, напоминающий букву «Г». Поражала основательность его конструкции. Присматриваешься внимательнее и неожиданно убеждаешься, что под слоем пыли и копоти — дерево. Весь кран сделан из дерева! Здоровенные бревна обструганы на четырехгранник и соединены толстенными железными пластинами и болтами. Металлические оттяжки удерживали это нескладное сооружение посередине поддоменника. Кран приводился в действие вручную, с помощью воротка.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В послевоенные годы эта домна, отслужившая свой срок, постройки 1887 года, была превращена в домну-музей. Ветераны завода реставрировали ее, они же притащили и бережно сохраненный ими инструмент, служивший еще отцам и дедам. Привезли руду с Осиновского рудника, древесный уголь (прежде плавки делались только на древесном угле), у разливочной канавки установили фигуру рудоплава-«горнового»...

Самое занятное было то, что любопытный пережиток техники этот продолжал действовать. К нему приспосод били блоки-полиспасты. Поднимал не так уж мало — шестналцать тонн.

В угловом помещении, похожем на каземат Петропавловской крепости, сохранялось кое-что от старой воздуходувной машины. Дутье в прежние времена было холодным. Машина работала с помощью воды, которая крутила огромное ступенчатое колесо системы «Швамкруг». Это была передовая техника середины прошлого столетия.

Колесо — ярко-красное. Похоже на медь. Но это не медь, а слой ржавчины. Колесо отлито и склепано из чугуна. Видна лишь половина его; другая половина спряталась пол полом.

Полумрак. Слабый свет проникает сверху через узенькое оконце. Влажные стены толщины невероятной. Где-то внизу, под полом, однотонно журчит вода. Сыро. Холодно. И — немного жутко.

Пытаешься представить, как работали здесь люди. Шум машины, плеск воды... А если авария? Прорвало плотину, хлынула вода? Никуда и не уйдешь из этого каменного мешка.

Сохранить бы все это как живой памятник крепостного Урала! И неленый деревянный кран, и чудовищный «Швамкруг», и маховик привода сутуночного стана, весом сорок тонн, диаметром девять метров, махину, подпиравшую потолок цеха... А ведь это, повторяю, была наисовершеннейшая техника, намного обогнавшая промышленную технику Западной Европы. Тут не порицать, тут гордиться надо!

Под стать ей было и мастерство людей.

В кузнечном цехе нам показали бездействующий паровой молот (ныне он, кажется, убран — а жаль), похожий на перевернутую римскую цифру «V». На этой неуклюжей для современного глаза машине виртуозно работали крепостные мастера. В заводских анналах сохранился такой эпизод: однажды в цех пришел владелец с гостями — похвалиться предприятием. Остановились у молота. Барин потребовал, чтобы ковач показал своем уменье. Тогда тот, не долго думая, попросил у хозяина часы-луковицу — дорогую заграничную вещицу — и, прежде чем тот успел что-либо сообразить, подложил под молот да как «ахнет» по часам! Барин побледнел: пропали часы! А ковач спокойно предлагает: вынь-ка. Ока-

залось, и вынуть нельзя — зажаты, и — целехоньки. Даже крышки не помялись. Настолько точно — ведь с размаху! — опустил молот. Барин рассердился, а ковач смеется... Собирательный тип этих непревзойденных мастеров прошлого, постоянно совершенствовавших свое искусство, выведен П. П. Бажовым в образе Тимохи Малоручко в сказе «Живинка в деле», Иванки Крылатко сказа того же названия и ряда других героев. А какого качества железо делали северские мастера-умельцы, красноречиво свидетельствует следующий факт. В 1963 году, при реконструкции плотины, нашли железную полосу, завитую с одного конца «в ухо». На отливке была указана дата — «1839». Вот такое кричное железо помогло выстоять плотине 124 года.

После обхода завода в конторе, в помещении парткома, состоялась продолжительная беседа Бажова со старейшими северскими рабочими. Прошла она очень активно. Касались главным образом периода концессии, когда на заводе было засилье иностранцев, которые душили всякую свежую мысль и не давали развиваться

предприятию.

Вспомнили и про то, как в гражданскую войну, в 1918—1919 годах, на головы неугодных заводскому начальству рабочих обрушились репрессии озверелых колчаковцев. Расстреливали десятками, спускали живьем в стволы шахт. Заброшенные шахты Гумёшек, Северский пруд стали могилой для многих. После, когда пришли красные, казненных и замученных откопали, подняли со дна шахт, одних с почетом погребли на Думной горе, се-

верских перехоронили в Северском заводе.

Вспоминали и более глубокую старину (о ней были наслышаны от отцов и дедов), но именно — только вспоминали. Насколько удалось заметить, Павел Петрович наиболее охотно беседовал на те темы, интересовался теми сведениями, которые мог получить из первых рук, то есть услышать из уст очевидцев, а не в пересказе; всего же остального касался постольку, поскольку в этом возникала необходимость. Не знаю, собирался ли Павел Петрович писать что-либо в будущем специально о Северском заводе, так как в его опубликованных работах Северскому заводу уделено сравнительно немного внимания, но тогда он увез из Северска большой материал.

Для меня, начинающего краеведа-следопыта, многое явилось настоящим откровением. Павлу Петровичу все или почти все перипетии развития Северска были хо-

рошо известны, и он, слушая того или иного рассказчика, часто кивал головой, как бы говоря: «Совершенно верно.

Правильно. Правильно говорите».

Как уже говорилось, Северский завод был построен вслед за Полевским. Распоряжение о сооружении его дал де-Геннин, посланный на Урал Петром Первым «для приведения в наилучший порядок... горные и заводские дела».

Вначале на заводе действовали домна, кричная фабрика. Позднее кричное производство перевели на пудлингово-сварочное, появились мартеновские печи, механическая мастерская. Из казенного ведомства завод вскоре перешел к Турчанинову, а по смерти его достался жене и детям, которые поделили наследство на паи. С течением времени кое-кто свои паи продал. В 1832 году гусарский ротмистр П. Д. Саломирский скупил половину паев, а впоследствии заключил сделки с оставшимися держателями ценных бумаг, сделавшись таким образом полновластным хозяином Северска.

«Пучеглазик» — так прозвали рабочие Саломирского — показал себя весьма усердным выжимателем пота.
При нем условия труда на заводе стали еще тягше и
горше. Работали буквально до беспамятства. У рабочих
в цехах нередко шла кровь носом и горлом. У печей угорали так, что приходилось отливать холодной водой. Многие носили на лице «огневые» пятна — следы ожогов 1.

Жесточайший гнет вызывал протесты рабочих. Гнев эксплуатируемых обрушивался как на самих заводовладельцев, так и на их собственность. Из архивных документов известно, например, что однажды сгорела до основания молотовая фабрика. «Пожар последовал от умышленного зажжения», и дело было оставлено без особых последствий лишь «по известному здешних мастеровых и работных людей непослушанию и противности».

Бунты и выступления рабочих в Сысертском горном округе вообще не раз принимали серьезные размеры. 12 декабря 1807 года мастеровые почти поголовно все не

¹ Интересный документ обнаружен недавно в Свердловском государственном архиве, в фонде бывших владельцев Сысертских заводов — Д. П. и П. Д. Саломирских. Это — список штаб и оберофицеров лейб-гвардии гусарского полка («находящихся сего числа в строю»), которым командовал П. Д. Саломирский, к тому времени полковник. Список от 5 октября 1838 года. И в числе поименованных в нем офицеров мы находим: «М. Лермонтов». Против фамилии поэта на полях имеется карандашная пометка: «Убит Мартыновым».

вышли на работу. Остановились молотобойные, потухло пламя в печах и горнах. По приказу исправника схватили «зачинщиков и подстрекателей», приговорили к наказанию батожьем. Однако это лишь подлило масла в огонь.

Рабочие потребовали освободить арестованных, а когда это не было выполнено, сами силой вызволили их из «кутузки», разогнали охрану, представителей власти, су-

дебных исполнителей.

Дело дошло до высоких сфер, до Санкт-Петербурга. Император Александр повелел: «Привесть сих неповинующихся в надлежащий порядок», а «для сего, если нужно будет... расположить на сих заводах достаточное

число воинской команды».

И вот зацокали подковы коней, застучали штуцера. Село Кашино, недалеко от Сысерти, было отведено под постой войск. Там возник настоящий воинский лагеры. Сюда съехались личный уполномоченный губернатора (не однажды приезжал и сам генерал-губернатор, немец Модерах), представители Горного управления и уездного суда. Наводить «порядок», усмирять непокорных были присланы гренадерский батальон Екатеринбургского мушкетерского полка при двух пушках, две роты Шадринского полка, а всего более тысячи солдат.

Тем не менее волнения в округе продолжались еще долго. Один из самых драматических эпизодов разыгрался на Северском заводе. После того как рабочие отказались подчиниться приказу и не вышли добровольно на работу, против бастующих выкатили пожарные машины. Из пожарной кишки хлестали по лицам струями воды, смешанной с сажей (чтобы было больше сраму и унижения). Ряды мастеровых не дрогнули. Тогда, под грохот барабанов, двинулась военная сила. «Смутьянов» хватали, вязали руки. Немедленно началась расправа. Главарям — батоги, прочим — розги и палки. Публично. под стоны и плач матерей, жен, родственников, перепороли на площади около сотни человек. Секли даже стариков и детей, по двадцать розог каждому. Вожакам досталось по тридцать ударов палками. После одиннадцать человек были высланы на работы в Богословский округ. двенадцать увезли в Екатеринбург, в острог.

В начале нынешнего века Северским заводом владело акционерное общество Сысертских заводов. С установлением Советской власти старое горное начальство разбе-

жалось кто куда.

После гражданской войны, интервенции, разрухи Советское правительство вынуждено было сдать Северский завод в концессию. Период хозяйничанья «Лена-Голдфилдс-Лимитедт» — акционерного общества с английским капиталом — вошел в историю завода как один из самых мрачных. В Северске появилось много иностранцев, служащих компании. Среди приехавших из-за рубежа окавались и бывшие конторщики, приказчики, даже бывший управитель Чиканцев, все, разумеется, с английскими паспортами.

«Англичане» эти усиленно и с явно нездоровой целью интересовались советскими порядками, настойчиво старались пролезть в профсоюз. Удалось установить подлинное лицо многих. В их числе было... 27 офицеров царской

армии и 17 монахов и попов!

По договору, концессия обязалась реконструировать завод, построить ряд новых цехов — мартеновский, прокатный и др. Но концессионеры упорно затягивали выполнение своих обязательств, строили крайне медленно, вместо серьезного дела занимались пустяками. Так, ко дню пуска мартена было изготовлено по числу гостей пятьдесят миниатюрных ковшей и изложниц, какие применяются для разливки чугуна; из этой оригинальной посуды гости и пили вино. На эти безделки уходило много рабочего времени, тратились материалы. В очередном же отчете указывались фиктивные данные.

Концессионеры признались, что завод необходим им лишь для того, чтобы, продавая его продукцию на внутреннем советском рынке, вырученными деньгами выплачивать зарплату рабочим. Не расходовать же для этой цели золото, добытое на Ленских приисках! Их интересовало совсем другое. Вот что рассказал один из север-

ских старожилов.

Подростком он служил у концессионеров загонщиком. Иностранцы любили охоту. Часто ездили в Осиновку, в другие богатые дичью места. Без спиртного, конечно, не обходилось. Подвыпив, охотники принимались спорить. В пылу полемики, забыв про паренька, переходили с английского языка на русский (как-никак для некоторых из этих подданных иностранной державы он все еще оставался более понятным и близким!). Спорили горячо, случалось — до драки. И чаще всего поминалось золото, россыпи...

Одни убеждали, что нужно закончить завод, отвлечь на него внимание рабочих, а самим заняться золотом.

Другие доказывали: с реконструкцией не надо спешить, лучше тянуть и тянуть, а тем временем потихоньку, негласно приступить к добыче золота...

Золото! Вот что занимало их умы.

Не впервые возбуждало оно алчность иностранных хишников.

Те из полевских и северских жителей, что постарше годами, корошо помнят первую легковую автомашину, появившуюся в здешних краях, на которой важно восседал с неизменной толстой трубкой в зубах долговязый, краснолицый мистер Стайнс, один из последних управителей перед революцией, в пору существования Сысертского общества. Уже тогда, вероятно, иностранный капитал протягивал свою загребущую жадную лапу к этому «золотому дну».

Постоянное невыполнение пунктов договора и обострение взаимоотношений с рабочими ускорили конец кон-

цессии.

Сперва концессионеры, как огня, боялись профсоюза и выполняли все условия, предусмотренные советскими законами о труде. Потом, обнаглев, стали все чаще игнорировать их. Учащались случаи прижима заработанных денег, невыдачи полагающейся спецодежды. Первое время, избегая конфликта, рабочие защищались самыми невинными методами; потом, как во времена царизма, из-за систематической задержки зарплаты дошло до забастовки, продолжалась она полтора месяца. После этого концессия просуществовала уже недолго.

Всеобщее возмущение вызвала трагическая гибель рабочего Шахмина, заживо сгоревшего на доменных колошниках. Он работал на завалке. Товарищи видели, как из домны внезапно вырвался гигантский столб пламени. Раздался нечеловеческий вопль. Ударом горящих газов Шахмина сбило с ног, он весь превратился в головешку. Не обгорели только ноги, обутые в сапоги. Несчастье произошло по вине иностранных специалистов, разрешивших использовать для плавки руду и уголь повышенной влажности.

Предчувствуя близкую ликвидацию, концессионеры начали вредить, выводить из строя оборудование. Хотели разрушить Штанговую электростанцию, подававшую ток на предприятия. Пытались (помешали рабочие) завалить шлаком водопуск, чтобы весной снесло плотину. Еще долго пришлось заводу ощущать последствия их хозяйничанья.

Подлинное возрождение Северского завода произошло, когда он превратился в поставщика белой жести, столь необходимой нашей пищевой промышленности. Во много крат увеличилась мощность предприятия, на пло-

щадку подтянули железнодорожную колею.

Северцы любят вспоминать, как в дни, когда пускался комплекс цехов белой жести (это происходило в конце 1947 года), заводские ворота были распахнуты настежь, и тысячи рабочих, строителей вместе с семьями, с ребятами шли полюбоваться на свое родное омоложенное предприятие. Приходи каждый, смотри! Это был под-

линный праздник, торжество свободного труда.

Правда, настоящие заботы с выпуском новой продукции только начинались. Белая жесть капризна, как избалованная красотка; не углядел крохотную черную точку — брак. Будто булавкой ткнуто, а пропал весь лист. Масляные пятна — тоже брак. А как избавиться от «ореолов», «от «матовости», от других пороков? Каждый квадратный сантиметр должен быть пролужен до зеркального блеска, без единой царапинки, без заусениц и неровностей.

Первую белую жесть все разрезали на кусочки и разнесли по домам «на память». Была она муаровая, в подтеках олова, листы коробленые, волнистые. Так ведь лиха беда начало! И теперь на «Северушке» успешно лудили жесть (качество — не придерешься!) для многих стран Азии и Африки. Ходовой товар!

Изменился завод — изменился и поселок. Когда-то это было сборище ветхих деревянных домишек, закопченных, обросших сажей так, что и окон не видать. Кривые улочки тонули в непролазной грязи. Весь поселок лепился по косогорам, скатываясь туда, где густо дымили ржавые черные трубы и тяжело ухал паровой молот.

Теперь на Малаховой горе раскинулся красивый благоустроенный город, в котором живут северские металлурги. Есть район индивидуальной застройки, есть много-квартирные каменные дома, великолепный, по вечерам сияющий огнями, Дворец культуры, детские сады, ясли. Как отмечал бытописатель Северского молодой инженерлитератор Алексей Кожевников, представитель нового поколения следопытов-историков Урала, идущего на смену старому, «появилась необходимость в музыкальной школе — создали. Потребовался филиал Свердловского телеателье — открыли, Нет у нас институтов, но зато

ежегодно организуются подготовительные курсы для поступления в институты, в техникумы...».

Одна из улиц носит имя Кузнецова, ее покажет вся-

кий.

Павел Михайлович Кузнецов, член партии большевиков с семнадцатого года, вместе с другими шестьюдесятью добровольцами-северцами ушел оборонять молодую Республику Советов, когда на Урале заполыхало пламя гражданской войны. В тяжелом ночном бою близ Каслинского завода, в июле восемнадцатого, коммунист Кузнецов пал смертью героя.

Новый большой район, отведенный под застройку, уже успел получить в устах местных жителей любовное название Северских Черемушек. Он весь застраивается многоэтажными жилыми зданиями с полными бытовыми удобствами — водопроводом, канализацией, центральным отоплением, того же типа, что и московские Новые Черемушки. В 1960 году здесь поднялся первый квартал.

У старого завода блестящие перспективы. Год от года он набирается новых сил, молодеет. Все станы полностью автоматизированы. Скоро уйдут в прошлое многие профессии, еще вчера нужные заводу, как ушли навсегда озорные искусники-ковачи, способные с лета опустить молот на часы и не повредить их. И тогда... тогда еще выше взметнется добрая слава трудолюбов старой «Северушки», ибо чем тоньше, ювелирнее труд, тем совершеннее мастерство.

...Когда возвращались с «Северушки», шофер неожи-

данно заявил:

— Ну, теперь поедем трость искать. — И свернул с до-

роги в лес.

Оказывается, он не забыл, что Павел Петрович все хотел вырезать вересковую палку «потолще», чтобы подпираться при ходьбе по увалам, да никак не попадался подходящий вереск.

Через четверть часа наш патриарх сжимал в руках свежевырубленную «трость», которой можно было свободно оглушить человека. Подавая ее, шофер сказал:

— Вот вам, Павел Петрович, прямая и толстая, какую вы хотели. Жидка, кажется, только? Гнется?

— Спасибо, спасибо...

— Смотрите. Можно еще вырубить.

— Что вы, хватит мне! Спасибо!

Павел Петрович тронут подарком, а больше того — вниманием.

— Палка из родных лесов, — повторял он, потрясая ею с довольным видом. — А что? Вы знаете, какое это дерево? Кремень! Когда высохнет, так затвердеет — никакой нож не возьмет!

Точно так же радовался он, к тому времени депутат Верховного Совета СССР, воротясь однажды из поездки к избирателям, подарку рабочих Артинского завода — набору иголок, освоенных в производстве коллективом завода. Иголки самых разнообразных размеров и форм, — кажется, их было двести штук или что-то около того — были аккуратно наколоты на два складывающихся в виде книжечки листика толстой чертежной бумаги. Павел Петрович любил показывать этот на первый взгляд не заключающий в себе ничего особенного подарок, непременно сопровождая комментариями:

— Ведь вот знали, что подарить! И размерами не велико, а приятно. Поглядишь — и сразу представишь, чем люди занимаются... Кажется — иголка: чего в ней?

A — не простое дело!

В каждой вещи он умел находить что-то свое, особенное, делающее ее непохожей на другие, — видел ту самую точную деталь, до которой доискивался всю жизнь.

\* \* \*

Заглянули на Церковник — есть такое урочище в окрестностях Полевского. С нами — Николай Дмитри-

евич, за проводника — Валов.

Интересная личность — этот Валов. В партии он с юношеских лет, активный участник гражданской войны на Урале, партизан и сын партизана. Одна нога ломана падал в детстве в шахту; на боку стреляная рана — память белых. Его водили на расстрел колчаковцы, грозились убить кулаки в период ликвидации кулачества, а он

жив и бодр и надеется прожить еще сто лет.

Валов невысок, коренаст, что говорится, «нескладно скроен, да крепко сшит». Лицо простое, с твердыми чертами, будто высеченное из гранита и недошлифованное немного, всегда чуть озабоченное (забот у Валова действительно много!), речь по-деловому отрывистая, резкая, рабочая. Он полон планов, и когда говорит, трудно отличить, где личное, а где общественное. Поначалу кажется — вроде личное, а на поверку опять выходит общественное...

— Скоро в отпуск пойду, — говорит он с вожделением, предвиушая рыбную ловлю и охоту, и тут же до-

бавляет: — Берильевую руду найду. Один человек свести хотел. Эх, лес — душа моя! Если в лесу раза три не переночую, будто и лета не видал!

- Про плавиковый шпат не забудь, - напоминает

Павел Петрович.

Валов утвердительно кивает головой.

Невольно вспоминается легенда об Азов-горе. «Дорогое имечко», перед которым откроются все клады.

Ведь это Дмитрий Александрович — тот самый «умный человек», по выражению Павла Петровича, который не дал портить найденные на Азове мансийские вещи. Как только стало известно об азовских находках, Дмитрий Александрович не мешкая послал туда одного из работников райисполкома, тот отыскал еще четыре предмета. Валовым же были сделаны первые сообщения для печати. Он позаботился о том, чтобы ни одна из найденных вещей не была утеряна и вообще не пропала для науки, отправил их с нарочным в Свердловск. Ребята, нашедшие чудские украшения, вначале не придали им никакого значения. Зато сразу оценил их, как нечто чрезвычайно редкостное, Д. А. Валов.

Павел Петрович отлично знавал отца Валова, старого полевского золотоискателя и рабочего завода.

Справляется о старшем Валове:

— Сейчас-то где? Жив?

— Председательствует в колхозе.

Между Бажовым и председателем рика — бесконечные разговоры, масса волнующих обоих тем, общие интересы. Но сегодня Валову не повезло. Хвалится, что знает все окрестности Полевского, в том числе и дорогу на Церковник, как свои пять пальцев, а заехали поглубже в лес — сбился, потерял ориентиры и нипочем не может их найти. Он смущен, озабочен, с загорелого лица льет пот в три ручья. Валов сидит позади шофера и, рискуя ежеминутно вывалиться из машины, всем корпусом переваливается через борт, зычно, слегка хрипловатым голосом, командует, указуя рукой:

— Давай туда! Сейчас Туранова гора откроется, там

недалеко!..

Проходит полчаса. Дороги почти никакой, проехали уже не одну, а пять гор, но Церковник как сгинул. Валов не унывает:

— Как раз Туранову гору-то с другой стороны охва-

тили!

Через десять минут:

— Кажись, последняя горушка...

Еше через четверть часа:

По средней дороге угадали!...

На Церковник, однако, никак не угадаем. Николай Дмитриевич нетерпеливо ерзает на сиденье, с досадой поглядывает на Валова. Павел Петрович прячет улыбку

в усах и бороде.

Наконец машина останавливается. Впереди завал, проезд закрыт. С обеих сторон возвышается зеленая стена молодого осинника, ольха, березы: над головой шебечут птицы: блестит роса на листве. Валов выскакивает из машины:

— Дай оглядеться. Ключ должен быть... — Потом решительно бросает: — Пошел на розыски. Кричать буду,

значит, ехать нало!

Уходит, долго не возвращается. Пока его нет, я снимаю своих спутников, окрестные пейзажи. Павел Петрович фотографируется с полной готовностью, послушно принимая необходимые позы (характерное отношение его ко всему: раз надо, - значит, надо!). Я уж говорил, что на Азове мне удалось заснять его в дупле огромного пня, в Северке — за боршом в рабочей столовой. Он с нетерпеливым интересом взирает на мои манипуляции с объективом, охотно берется «шелкнуть» нас с Николаем Дмитриевичем.

— Ты наведи, а я уж сам спроворю.

— Облака на небе, погода не испортилась бы, — озабоченно замечаю я по привычке всех фотографов.

Ничего, это ландшафтные...

Павел Петрович понимает искусство фотографии и внает, что, если снять со светофильтром, облака украсят снимок.

- Сколько лет здесь не бывал, - произносит он задумчиво. — А помню, все избегано было...

 Забыл Валов, — с сердцем говорит Николай Дмитриевич.

 А я не забыл, — невинно замечает Павел Петрович.

— А именно?

- Ая и не знал.

У него отличное настроение, и он часто шутит, оставаясь серьезным в то время, как другие покатываются со смеху. Неудачи Валова и вызванная этим задержка не огорчают, а веселят его.

Издали доносится крик:

— Нашел ключ-от! Напился-а-а!

— Сходить и мне, напиться, — говорит Николай Дмитриевич, вылезая из автомобиля.

— Лягушек в живот напускать, — замечает Павел

Петрович.

- Что такое?

— Из болота напиться...

...Наконец-то Церковник. Овальное лесное озерцо, заросшее осокой и рогозом. На воде плавают кувшинки, в воздухе шуршат стрекозы, перепархивают бабочки. Неподалеку скалистое нагромождение каменных глыб, точно ощеренная пасть сказочного дракона. Цепляясь корнями за трещины в камнях, тянутся вверх стройные молодые сосны.

Озеро искусственное. Образовалось на месте выработки: мыли золото. По свидетельству старожилов, все, кто работал здесь, должны были отчислять 40% от добычи на постройку церкви. Церковь не построили, деньги, конечно, исчезли. Прииск заглох. Так и осталось, как память об этом жульничестве, сотворенном под флагом «богоугодного» дела, название «Церковник»...

\* \* \*

Всюду, куда бы ни поехал здесь, натыкаешься на следы заброшенных старательских работ, на заросшие отвалы «пустой» породы, рытвины и ямы искусственного происхождения. Есть и свежие — золото продолжают мыть то тут, то там.

Сколько труда отдано этой земле, сколько «вбухано»

силушки — кто сумеет подсчитать?

В лесу, в глухомани, старые шахты — место изуверской расправы белогвардейцев в годы гражданской войны с революционными рабочими. Осужденных заставляли самих прыгать в эти черные дыры, откуда несет могильным холодом. На опушке — скромный мраморный обелиск, установленный полевскими тружениками на месте гибели своих братьев по классу, отдавших свои жизни за торжество социалистической революции. А через километр, в низинке, приютилась промывочная фабрика. Поодаль от нее старатели крутят вороток над шурфом. У самой дороги лежит пузатый тяговый барабан (их еще применяют некоторые старательские артели там, где золото залегает на небольшой глубине) и — еще что-то такое, в чем разберешься не сразу.

В земле, обочь дороги, выкопано неглубокое, но вместительное углубление, вроде танковой аппарели, в каких на фронте укрывались танки от воздушного противника. Лежат два бревна. Концы их соединены поперечинами, а под поперечину подсунута толстая железная труба, так, что бревна образуют подобие какого-то неуклюжего коромысла. На одном конце коромысла сделан мостик, на котором свободно уместится телега, на другом конце, на жердях, навалена куча камней и несколько гирь. Уж не весы ли это?

И впрямь — весы. Старинные, сделанные по дедовским образцам, старательские весы для взвешивания

руды.

— А ну-ко, попробуем, сколько потянем! — сказал Павел Петрович, ступив на мостик. Мостик даже не дрогнул.

Встал второй человек — тот же результат. Третий обок с первыми двумя — и после этого коромысло даже

не качнулось...

— Да-а, — задумчиво протянул Павел Петрович. — Тут надо грузовик ставить, тогда, возможно, почувствуется... Хотя, пожалуй, большой точности и не требовалось!..

...К вечеру, на закате солнца, мы — в деревне Пол-

В районе Полдневой — истоки знаменитой уральской красавицы, реки Чусовой. Только не узнать ее здесь: тиха, смирна, ни скал-«бойцов», ни стремительных «переборов». Русло узкое, заиленное, невысокие берега густо

поросли кустарником.

Деревню Полдневую можно смело назвать родиной старательства. По возрасту она старше Полевского и первоначально была построена как крепость. В старину тут старательствовали все от мала до велика. Не забыт этот промысел и ныне. Полдневая за свою почти трехсотлетнюю историю дала стране немало благородного металла, драгоценных камней, других полезных ископаемых.

Старательство далеко не всегда вызывалось стремлением найти «фарт», разжиться. Чаще всего причина была куда более будничной и простой: «как есть нечего, так и пошел по огородам золото добывать» (Бажов). Такое положение сохранялось вплоть до октября семнадцатого года, да некоторое время и после него.

Недаром золотоискательские выносливые и работя-

щие бабы, не уступающие в труде мужикам, сложили «охальную» частушку:

На Урале я жила, Золото копала. Если б не было любви, С голоду пропала...

И то сказать, когда-то «фартнет», наткнешься на «богатимое» золото, а когда-то — хоть убейся, ничего нет. А никакой гарантийной зарплаты, пенсии старателям в прежнее время не предусматривалось. И живи и уми-

рай — все за свой страх и риск!

К нашему приезду в сельсовете собрались сплошь старатели: кто в прошлом, кто в настоящем. В подавляющем большинстве люди в годах, бородачи. Уселись с достоинством вокруг стола, сдвинулись поплотнее и выжидающе умолкли, поглядывая на Павла Петровича: с какого-де краю беседу начинать?

Разговор начался с хризолитов 1. Близ Полдневой находились когда-то хризолитовые прииски, едва ли не единственные на Урале. Один из старателей, возрастом

старше других, принялся рассказывать:

— Кра́дче <sup>2</sup> добывали. Запрещали хризолит-то искать. А все равно робили. Ночью робили, а днем в горах скрывались. Лесники нагонят, кричат: «Вон они!» — и давай дуть! Изобьют до крови. Телеги, снасть изрубят. Почитай, все село пересидело в тюремке за хризолит.

— О «долгой груде» расскажи, — подсказывают сидя-

щие

— Что за «долгая груда»? — настораживается Павел

Петрович.

Он сидит в центре живописной группы, — хоть пиши маслом коллективный портрет! Крепкие, здоровые, выдубленные на ветру лица; бороды с проседью, чисто черные, рыжие («черемные»); выгоревшие на солнце волосы, подстриженные по старинке в скобку; глаза хитроватые, по которым ничего не прочтешь, в глубине зрачков прячется народная сметка, практический ум; руки у всех заскорузлые, узловатые, точно корни столетних деревьев, в поры кожи въелась не смываемая ничем чернота.

<sup>1</sup> Научное название — демантоиды.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> К радче — украдкой, тайком (уральское). От слова «красть». В данном случае это укор не тем, кто так делал, а тем, кто запрещал, оставляя богатства лежать втуне, без пользы народу и государству. Впрочем, разве это единственный случай. Золото на Урале тоже открыли по сути крадче...

Павел Петрович среди них — как председатель этого необычайного собрания. Знакомая книжечка-блокнот выложена на стол и раскрыта на чистой странице. Рядом

карандаш.

— «Долгая груда», — объясняет рассказчик, — это тридцать четыре человека решили друг за друга держаться, робить вместе, открыто, никого не бояться, — артелью. А нарядчики — с ружьями. Сила! Стреляли, одного ранили. Народ разбежался. Нарядчиков много, человек восемнадцать. Ну, цельная война у нас с ними получилась. Народ тоже стал постреливать ночами в избу, где нарядчики жили... Они тут же и жили. Загораживались они железными листами. Ну, простреливали. Этим и выжили их.

Он умолкает, ожидая, когда карандаш перестанет двигаться по бумаге, глядя на записывающего строго, понимающе.

— Что за нарядчики?

— От Хомутова. Государство ему место сдавало, а он платил ничтожно, и никто ему сдавать добытое не хотел. Ну, нарядчиков и держал. Чтоб, значит, кто не сдает, на его земле не робил.

— Қому же сдавали?

 Известно, частные скупщики во много раз больше платили.

— А сколько все-таки?

— С голубиное яйцо рублей по двести шло.

— А как на сорта делились?

— Четыре сорта было. Хризолит первый сорт — крупный, чистый, зеленый. Второй сорт — мельче. Третий — зеленый, с трещинами. Четвертый — желтый.

- А сейчас, считаете, можно работать? Есть еще

хризолиты-то, не все выбрали?

 Можно, можно работать. И зиму, и лето, — зашумели, заволновались вокруг, кивая согласно головами.

Ну, зиму, правда, нельзя, — поправил основной

рассказчик. — А можно работать, можно.

Народу в сельсовете все прибывает. Около дверей столпилась молодежь. Пришли две молоденькие учительницы местной школы и, вытягиваясь через плечи других, стараются рассмотреть Бажова.

Стемнело. Посредине стола поставили лампу-молнию. Неловкость, какая обычно бывает при встрече между незнакомыми людьми, незаметно прошла. Старики поддакивали один другому, вставляя свои замечания, поправ-

ляли, если кто-нибудь говорил не так.

Павел Петрович сидел, облокотившись на стул и опустив взгляд на раскрытый блокнот, лишь время от времени — когда задавал очередной вопрос — вскидывал глаза на собеседника. Со стороны могло показаться, что он слушает плохо и не то погружен в свои мысли, не то дремлет. Но стоило замолчать очередному рассказчику, как немедленно следовал новый вопрос:

— На Иткуле теперь работают?

Или:

— А на Омутинке как?

И сейчас же вставлял сам:

Ну, это один пропой был, а не работа.

Из реплик чувствовалось, как хорошо знает Павел Петрович тему беседы, здешние места. И это еще более оживляло разговор.

— Помногу намывали?

— Всяко было. Иной раз на лапти только и заработаешь. Ну, фартнет, так сразу на сапоги с набором.

— Пили, поди?

— Не без этого. Известно, в старо-то время все богатство промеж пальцев шло. Найдет старатель золотину, полные ведра дружо́к вина принесет и поставит посередь майдану. Пей, кто хошь! Дескать, на мою жизнь хватит. Ну, и пропьет все. А потом, почитай, нагишом снова мыть идет.

— Тоскливо было подолгу в лесу жить?

— А это кому как. Есть у нас одно место, низменное такое. В лесу. Ничего место, сырое маленько только, — логотинка, словом. Сдавна Веселым логом зовут...

— Веселым? Это — почему?

Полуопущенные веки поднялись, за ними блеснул огонек любопытства и пытливости, карандаш в маленькой, по-женски округлой руке настороженно замер, го-

товый неторопливо вновь двигаться по бумаге.

Следует пространное и довольно запутанное объяснение, почему лог назвали веселым, «веселухиным», упоминаются какие-то немцы, приезжавшие в эти места и ни с чем уехавшие обратно, озорная девица, посводившая будто бы всех с ума, развлечения старателей, вроде шлепанья ковшом по голому заду, а то и еще похлеще; пожалуй, и не опишешь — бумага не выдержит (старате-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Здесь: «дружок» — в смысле пара ведер (уральское),

ли — охотники на выдумку!), и прочее и прочее; — но Павел Петрович быстро уловил суть и не спеша набрасывает ее в своей книжечке <sup>1</sup>.

Многое в этих рассказах уже утратило реальные очертания, превратилось в живую ходячую легенду; тем более это возбуждает настойчивый, упорный интерес Павла Петровича, будит в нем новые мысли, воспламеняет воображение. В голове идет напряженная творческая работа. Что видит в эту минуту мысленный взор Бажова, какие картины проносятся в его мозгу? Может быть, в глухой таежной чаще, где не ступала нога человека, пробирается, сворачивая упругие кольца, диковинный змей полоз, оставляя за собой след - жилу чистого золота; быет ногой чудесный олень Серебряное Копытце, рассыпая вокруг пригоршни ослепительных самоцветов-звезд; перекликаются в вышине летящие лебеди — друзья Ермака: бурая кошка бежит, прячась от людей в земле, а где уши покажутся, там ищи — будет «богатимое место»; а над всем этим — образ простого русского человека, уральского мастера каменных и огненных дел, неутомимого труженика, владеющего самым большим сокровищем из всех сокровищ мира, знающего самое важное — «коренную тайность», которая даст всему народу самое дорогое -счастье.

Вымысел и действительность, сказка и быль — все сплелось воедино, и все тянется к одному — к человеку. И разве не благородна после этого задача писателя — показать простой и самоотверженный в своей простоте труд людей, живших до нас, приоткрыть завесу над прошлым, донести до сознания каждого человека, что могущество и слава Отечества создавались усилиями многих поколений неизвестных трудолюбов! Этой задаче посвятил себя П. П. Бажов.

— A вот кто бы рассказал, как золото искали? — спращивает он. — По каким приметам?

Тут случилось неожиданное. Беседа на минуту прервалась, произошла короткая заминка. Видимо, у стариков где-то в глубине сознания все еще жило по старой

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Позднее написанный сказ «Веселухин ложок» связан с Златоустом. Не знаю, оказался ли там свой «веселый» лог (Павел Петрович ездил за сбором материала и туда), или какие-либо другие соображения заставили Бажова перенести место действия на Южный Урал, но что впервые о «Веселухином ложке» Павел Петрович услышал в Полдневой, тому я свидетель. Забыть или перепутать я не должен, так как очень подробно все записывал.

памяти опасение, привитое веками подневольной тяжкой доли, как бы не выдать своей тайны, своих, испытанных поколениями горщиков и известных лишь сравнительно узкому кругу людей, приемов поиска благородного металла, своих немудрых, но крайне существенных «примет».

Однако тут же вспомнили, что время теперь не то и человек, приехавший к ним, не тот, какие езживали прежде, «при старом режиме», что таиться не к чему и даже более того, нехорошо, — и беседа возобновилась с прежней готовностью и заинтересованностью.

— Приметы — всякие. Главное дело — попутный лог найти...

— Қакой, какой лог? — недослышав, переспрашивает Бажов.

— Попутный. Это — который с юга на север или с запада на восток идет, тот попутный. Если его нет, и искать нечего. А есть — копай смело. Копаешь до песочка, песочек — на вашгерд. Показалась бусинка-две, — значит, надо мыть...

Примета эта, известная исстари, не так уж наивна, как может показаться на первый взгляд. Вспомним, как образовалось россыпное золото. При разрушении твердых пород, в которых были заключены золотоносные жилы, частицы разрушенных пород уносились реками. Частицы же золота, как наиболее тяжелые, задерживались, отлагались на дне. С веками реки исчезли, остались лишь лога. В любом районе можно подметить преобладающее направление течения рек и падение сухих русел — логов. Это не могло ускользнуть от наблюдательных глаз добытчиков драгоценного металла. «Самоуком» находили они куски, нужные им «знаки», по-своему открывая законы геологического распределения горных пород. Так возник «попутный лог».

В книжечке, рядом со словами «долгая руда», «веселухин ложок», появляется новая запись: «попутный лог». Туда же заносятся отдельные выражения, неожиданные словообразования и связанные со старательским делом, незнакомые в других местах, термины, которыми обильно

уснащена речь беседующих.

Вот откуда брал Бажов яркие, самобытные словасамоцветы, нередко заменяющие собой целое понятие, фразу, вбирающие в себя не только деловое, так сказать, служебное назначение слова, но и образ. Так вошли в его литературный обиход выражения «мелкая жужелка», «золотинка», «таракан» (не насекомое таракан, а мелкий самородок золота весом на 8-10 граммов, действительно похожий формой и размерами на крупного черного таракана) — каждое, включающее целое понятие. Так слетали с его языка при разговоре яркие, образные «чемоданчики», «с полукона бить» и т. д. и т. п. Своеобразие, оригинальность изобразительных средств писателя Бажова проявлялась на каждом шагу — и в обыденной жизни, и в творчестве.

Но вообще записывал он мало. Случалось, за всю беседу или за целый день нескончаемых разговоров, встреч, передвижения в машине, пешком, на лошади отберет всего одно-два слова (бывало, и ни одного), но зато уж это действительно слова-«золотинки». Даже не руда, отмытая от пустой породы, а уж сам металл золото, драгоценность. Так он, по его собственному признанию, искал «двойной переклад» — определение особо прочной крепи в шахте.

Характерно, что любил слова сильные, «играющие». — Нам не впору смеяться над языком отцов и дедов, - сурово возразил он однажды, когда кто-то из молодых литераторов в его присутствии взял под обстрел какое-то уральское выражение.

«Главное — выбрать то, что светится», — повторял Ба-

жов и... не спешил записывать.

Помню, и мне сказал как-то, видя, что я тороплюсь зафиксировать свои впечатления: «Не записывай ты сразу, говорю тебе. Записывай завтра, что останется в памяти, значит, то и главное».

После такой напряженной, продолжительной и очень строгой в отборе черновой работы получается емкость слова необычная. Труд в высшей степени кропотливый, даже изнурительный, но... «Медленно-то писать — лучше». — не раз говаривал Павел Петрович.

Ряд понятий, слов, услышанных в тот памятный вечер в Полдневой, вошел в постоянную лексику сказов, а также в пояснения, которыми сопровождал тексты своих произведений П. П. Бажов.

— А платину не мыли? — снова спрашивает он, шаг

за шагом расширяя рамки беседы.

— Ну, как не мыли! Мыли. Сперва долго не знали, что за платина такая. Старики сказывали: из ружей вместо дроби стреляли. Тяжелая, тяжелее свинца, летит хорошо.

Чего только не «мыли» здесь! Чего не хранит богатая уральская земля! Платина, золото, драгоценные камни,

никель, кобальт, циркон, молибден, даже алмазы.

— Нам еще иноземцы мешали, — вспоминает один из старателей. — Сколь они дела попутали! Накопали кактось вагон марганцевой руды, отправили в Уфалей. А представитель концессии добился своего — спустил под откос. Земля-то ихняя была, кроме них, никто прав не имел. Так и не было пробной плавки, до самой Советской власти.

Да, было дело, было, — задумчиво качает головой

Павел Петрович.

— У Урала-то еще все богатство впереди, — неожиданно раздается из угла сиповатый, с хрипотцой, старческий голос. — Про то еще Гофман ране говорил...

Гофман? — настораживается Павел Петрович. —

Он разве у вас что-нибудь делал?

— А то как же? Медь искал. Платину на Омутнинке разыскал. Я не раз с Гофманом езживал. Поедет, а у самого вся лаборатория в кармане. И сутки едет, и полторы елет. Покаля полной сумы не наберет. Камешек увидит на дороге, соскочит, подберет, молотком почакает и в сумку! Приедет, чайку попьет и в лабораторию. И до тех пор отталя не выйдет, пока все скрозь руки не пропустит. А потом отправлял. Вроде вас такой же — ученый, все наскрозь знал. Сам управитель не ведал, что у него, у Гофмана. Управителей да приказчиков он не любил, не доверял им, а простому народу — доверял. Я у него кучером робил. Говорливый был, лошадей страсть любил. Часто говаривал: надо каждому охотнику иметь увеличительное стеклышко. Земля-то смешана туда-сюда. У каждого металла свой спутник есть. Спутника найдешь, а он к металлу приведет. В стеклышко-то посмотришь — все и видно, и плохое, и хорошее, золото там, скварец или что. Ехали раз как-то с Гофманом, а он и говорит: эти горы снимут когда-нибудь все. Большое богатство в них. У Урала еще все впереди, это — помяни мое слово...

О Гофмане — сведущем специалисте горного дела и страстном рудоискателе — нам довелось слышать в Полевском районе еще не один раз. Известно о нем вот что.

Один из последних владельцев Сысертских заводов, решив, видимо, показать себя человеком либеральным,

<sup>1</sup> Кварц.

покровителем наук, учредил в конце прошлого века в Стокгольмском университете стипендию своего имени. Стипендию эту получил студент Август Августович Гофман. По окончании курса он приехал «отрабатывать» в Россию.

Гофмана послали управителем в Полевский завод, к тому времени уже порядком обветшалый, близкий к за-

крытию.

Познакомившись с техническим состоянием предприятия, Гофман перепоручил производственные дела надзирателю, а сам с головой углубился в изучение природных

богатств края.

Для образованного и, как видно, честного шведа многое, конечно, выглядело совсем по-иному, нежели для невежественных хозяев. Гофман считал необходимым восстановить Гумёшки, открыл новые залегания руд. Он теребил владельцев, настаивая на немедленной разработке. Очевидно, не очень поладил он и с крепостникаминадсмотрщиками. Все это привело к травле и гибели Гофмана.

Около 1909—1910 года Гофмана не стало. Поговаривали, что он скоропостижно скончался при довольно туманных и подозрительных обстоятельствах. Можно только строить предположения об этой загадочной смерти. так же, как и о некоторых других, не менее непонятных фактах. К числу последних бесспорно относится получение Злоказовым — владельцем Полевского химического завода — звания... баронета Англии. Русский купчина, и вдруг — «баронет»?! За какие такие заслуги получил он аристократический титул, дававшийся не всякому, покрыто мраком. Но, надо думать, не зря. Известно ведь, что вскоре после Гофмана, в 1912 году, вся Сысертская дача перешла в ведение акционерного общества Сысертских заводов, которое финансировалось Русско-английским банком. К удивлению рабочих, при новых хозяевах осталось все прежнее заводское начальство. Не хватало только Гофмана. Не тут ли корни злоказовского баронетства?...

Известно, наконец, что при Гофмане была нанесена геологическая сетка района. Позднее она исчезла, как сгинул и сам Гофман... А может быть, он был только пешка в крупной игре между шведскими и английскими капиталистами?

Гофман был единственным шведом в здешних местах. Были шведские буровые мастера, о них старые рабочие отзывались не так дружественно, как о молодом стокгольмце. Знатоки своего дела, шведские буровики тщательно оберегали секреты своей профессии. В 1907 году начинало входить в практику короночное бурение. Иностранцы упорно скрывали способ заправки алмаза в коронку...

Да, было, много кой-чего было!

...Беседа со старателями затянулась почти до полуночи. Не хочется, а пора ехать. Устали и гости и хозяева, хотя скажи, что надо сидеть еще, стали бы сидеть хоть до утра.

— Приезжайте в другой раз, да пораньше! — приглашали полдневчане, прощаясь. Другие напутствовали: — На Березовой горе в перву голову поищите. Богато место

должно быть!

Они или не поняли, или так и не поверили, что к ним приезжали не геологи-разведчики. Сбил их с толку Бажов — и видом своим, и познаниями в горщицком деле. Совсем свой брат старатель!

\* \* \*

Косой Брод — старинное золотоискательское сельцо, родной брат деревни Полдневой. Избы крепкие, пятистенные, из столетнего леса. Все ложбинки, все русла высохших речек вокруг селения ископаны, перешарены руками старателей. Местность изрыта до такой степени,

как будто по лицу земли прошла оспа.

Выше села, у леса, видны новые большие дома городского типа. Там — пионерский лагерь, самый крупный в районе, куда на период летних каникул выезжают дети полевских рабочих и служащих, зюзельских горняков, северских металлургов. Место красивое, открытое. Быстро струится речка, разделяющая село на две неравные части. Берега ее не избежали общей участи — тоже перерыты — и, видимо, уже давно: многие ямы затянула буйная растительность. Здесь, на берегу этой речки, был найден не так давно четырнадцатикилограммовый самородок, о когором мы услышали еще в поезде и слепок с которого хранился в кабинете секретаря райкома партии.

Более четверти тысячелетия стоит Косой Брод. В 1723 году писано: «У Чусовой реки, где... имелся переезд, называемый Косой Брод, построен шанц (крепость) и определена тут быть солдат рота, дабы... рудным во-

щикам, которые руду из вышеозначенных мест для плавки на медь возили в Уктусский и Екатеринбургский заводы, не могли чинить препятствия, и оные вощики в ночшные времена могли спать и коней кормить в безопасности под охранением...» Значит, начинался Косой Брод как крепость. А в бажовских сказах прославлен как родина Никиты Жабрея.

Спустя годы заезжий корреспондент спрашивал жителей: «А правда ли, что жил Жабрей в Косом Броду?»— «И Жабрей был, и Жабреиха была. Вон их избушка стояла».— отвечали уверенно и указали в сторону...

школы.

И в наши дни есть еще потомки основателей Косого Брода, из них едва ли не старейшая Лариса Михайловна Зюзева. Когда съезжаются на побывку в родное село дети (а вырастила она их не одного, не двух — много), то обязательно извлекается на свет толстенная рукописная книга — Кособродская летопись, составленная одним из сыновей, труд большой и почтенный.

И поныне живут здесь искусники: такую резьбу вылепят топором на собственном доме — диву даешься. Мастера на все руки: и печники, и столяры, и плотники, слесари — хоть по железу, хоть по дереву. И песни петь, старинные, проголосные, и сказки сказывать, и хороводы водить — мастера. Поют, сидя на улице перед домом, ба-

бушки, поет и пляшет - молодежь.

Есть здесь и колхоз. Мы сидим в правлении артели и беседуем с колхозным бригадиром.

— Лебеди у вас тут были, — говорит Павел Петро-

вич, — на воротах. Не помните?

— Нет... что-то не припомню, — морщит лоб моложавый, молодцеватый бригадир. — Да я вам сейчас стариков представлю, они все должны знать. — И, обернувшись к присутствующему тут же мальчугану, наряженному, невзирая на теплое время года, в треух и стеганую кофту, командует: — Беги к Михайле Степанычу! Пусть в правление сейчас же идет. Скажи: человек ждет.

— Будет гаму-то! — вновь поворачиваясь к гостю, продолжает он. — Недослышит немного — кричит! А ста-

рик памятливый, все знает.

Минут через десять появляется Михайло Степаныч. Высокий, немного сутулый. Несмотря на преклонные годы, не седой. Длинноносый, усатый, с небольшой бородкой. В солдатской мятой фуражке и в калошах, надетых поверх шерстяных носков. Разговаривает громко,

почти кричит. Выглядит то ли испуганным чуть-чуть, то ли недовольным.

— Лебедей-то куда девали? — громко спрашивает,

подсев к нему, Павел Петрович.

— Каких лебедей? — Старик прикладывает руку ковшиком к уху.

— На воротах-то сидели?

— Я не по тому делу...

- Ты не разобрался еще, пытается разъяснить непонятливому или прикидывающемуся непонятливым старику бригадир. — Ты расскажи. Ты ведь должен знать. Лебеди-то на воротах налеплены были, топором вытесаны.
- Вот где-то здесь, на въезде, помогает Павел Петрович. Дом небольшой, резьба интересная.

Нет, не помнит Михайло Степаныч о лебедях.

Пришел другой старик, полная противоположность первому. Бритое лицо, бритая голова, коротко подстриженные рыжеватые усы. Крепко, по-бульдожьи, сжатые челюсти. Пригнутый книзу нос. Правое ухо надорвано. Так и хочется спросить, кто это его, когда? Уж не в лесу ли «угостили» за добытое золотишко? Всякое ведь бывало. С этими мыслями о горщицкой жизни как-то очень вяжутся и резиновые сапоги, и вообще весь его насупленный вид. Говорит медленно и деловито, скупо расходуя слова и строго глядя в лицо собеседнику. Опять начинается о лебедях.

— Не помню я, Иван Степаныч, — как бы оправды-

ваясь, говорит первый старик второму.

— А я скажу — вспомнишь. Криуля стояла в виде

гуся на воротах, на крыше... забыл?

Но — так и не вспомнили, ни тот, ни другой, за исключением того, что «была такая криуля на манер гуся», а что это за «криуля», к чему, не знали. Не помнили и про то, куда подевались деревянные лебеди.

— Жаль, — откровенно разочарованно говорит Бажов. — Хороший сказ я о них знаю. Хотел кой-какие де-

тали в памяти восстановить, без них нельзя.

Старики виновато поглядывали на него. Озабочен бри-

гадир.

— Вы его спросите, как он на богомолье ходил, — понижая голос, советует бригадир. — Он тогда сразу разговорится.

Действительно, напоминание о богомолье оживило

разговор.

- В Верхотурье я ходил, охотно принялся рассказывать глухой. Родитель на меня обет наложил. Женился я, взял, какую родителю не надо. А помириться охота, вот и ходил.
  - — Женихом, значит, ходил?
- Не-е. С бабой уж. Заробили с бабой денег и айда в Верхотурье. Вперед-от пешком все. Мимо Алапаихи. В каждой деревне часовенка на выходе, чтобы деньги клали. Как шли-то? А так и шли. В одном месте болото надо было обходить. Прямо через болото — восемнадцать верст, а округ — шестьдесят. Нам сказывают: прямо не ходите, разбойники там. А нас дивно 1 собралось, человек восемь. Пошли прямо. Верно: арема<sup>2</sup>, ели навалены. На твердом месте — избушка. В избушке, сказывали, старуха со святой девкой живет. Зашли. Верно, старуха, а на полатях девка лежит. Старуха самовар поставила. Напились чаю, спрашиваем: сколько с нас? А старуха говорит: по пятаку за стакан. При своем-то сахаре-чае?! Ну, стали платить. Старуха и говорит: у меня девка есть святая. Она все знает, с чем вы идете. (А у меня двенадцать рублев с собой было!) Подадим старухе пятак, а она его девке отдаст. Девка в руках его потрет и хлесь об пол. Эти, говорит, деньги нетрудовые. Это - у менято!!! Дадут ей другой пятак, она его опять об пол!.. А пол из жердей, весь в дырьях, пятаки-то провалива--ются... Вышли из избушки, а на горке под елками два молодца стоят. Поняли мы, чем старуха промышляла...

Пришли в монастырь на Туре. Монастырь сам по себе, а деревня сама по себе. В монастыре коридор, по нему пройдешь — могилка. Земельку брали, воду святую. Как пришли, документы у нас отобрали. Три дня жили, кормили, потом вытуряют — айда домой... Без печатки не пускали. На исповедь сходишь, священник печатку поставит, — значит, что на исповеди был! За все деньги подай. И за просфору, и за обедню. За квартеру, ясное дело, тоже. А как деньги кончатся — сразу и вытуряют, больше делать нечего...

«Вытуряют»... Не отсюда ли, не от монастыря ли на реке Туре, куда в прежнее время массами стекались на богомолье обманутые, темные, невежественные люди, беднота, — пошло это выражение?

Дивно — много (уральское).
 Арема — глушь, чаща, тайга, непроходимые места (ураль-

Привожу этот рассказ не только потому, что тут фигурирует знаменитый в прошлом Верхотурский монастырь — центр поповского мракобесия на Урале; сколько ради того, что в нем отразилось в какой-то мере умонастроение горнозаводского населения Урала того времени, в массе не очень богобоязненного, уже понимавшего обман, но еще продолжавшего повиноваться силе привычки, и отнюдь не робкого, как то неоднократно подчеркивает Бажов в своих сказах.

Павел Петрович не раз указывал на необходимость изучения церковной старины, монастырских архивов, позволяющих пролить свет на многие факты истории (не говоря о многочисленных любопытных бытовых подробностях). Тема атеизма всегда интересовала Бажова. У него часто срывались острые, бичующие своим сарказмом словечки в адрес поповщины; эта тема присутствует

и в его творчестве.

Пока продолжался разговор о богомолье, в правление пришел, опираясь на железную трость, еще один старик, самый старый из трех, — лет восьмидесяти, если не больше. Лохматый, седой, с бесцветными, словно вылинявшими глазами. Сильно увеличивающие очки надеты криво на кончик носа. Молча сел к столу, сложил обе руки на трости, поставленной между колен, и, опустив глаза на свои натруженные, морщинистые кисти, погрузился в себя.

Эта обомшелая компания напомнила мне институт заводских стариков («изробленных людей»), о котором с теплым участием отзывался П. П. Бажов. На склоне жизни они проявляли горячий интерес к политике, искусству... да, и к искусству. Не случайно, вероятно, кособродский хор стариков и старушек занял на республиканском смотре художественной самодеятельности в 1940 году второе место.

Второму и третьему старикам, в сущности, говорить почти не пришлось. Глухой бубнил теперь, уже не останавливаясь. Те двое только качали молча головами, со-

глашаясь с первым, да поддакивали.

— Расскажи, как робили, — направлял беседу бри-

гадир.

— Везде я переробил. На золоте... На железном заводе пять лет. Горновой камень добывал. И на конях робил. У Белкина коней гонял. День-то бегал за лошадью,

<sup>. . 11</sup> Тальк.

за пятнадцать копеек. А работа, известно, не в бабки играть. Пока валят бадью, успей отгрести. Валят без останову. Два года под бадьями стоял. Опосля в Кунгуре мыл, в воде золото видимо прямо! По фунту, по два добывал в день. Мелкой жужелки бессчетно. Богато золото.

— Как «видимо»? — уточняет Павел Петрович.

— Вода обмывает, золото-то и видать.

— Фартнуло, значит?

— Не-е... Припечатывали ведь.

Ну да прилипало!

— Hе-е...

— Не случалось, значит?

Глухой хитро смеется.

— Қалишко, какой-то старичонко был, ему сдавали по пять рублей. Пять рублей лучше, чем рупь восемь-десят!

— Ясно, лучше! — соглашается Павел Петрович серь-

езно, но в тоне голоса чувствуется улыбка.

— Пешку ему сдавали (какая, золото моешь, так остается), всякие камешки светленькие, разные. Десять копеек положит, ему цельну кучу отдашь, а он, может, сотню целковых потом получит! А руда-то знаешь какая была? Пузырь руды да пузырь земли. Землю на отвал, а руду в чашку. Бабы круг вертят, промывают. Я, почитай, тысячу кубов земли вынул. Земля твердая, а все идет за мягкую. Теперь уж давно не роблю; землю перегребал, так теперь болят руки-то. Век перегребал. Четырнадцать килограммов золотину недавно нашли. Баская она, видел я! Маленько до пуда-то осталось. Теперь государству золото идет, оттого и государство сильнее стало. А раньше чужестранны много у нас вывозили...

Какие чужестранны?

— Барон Бревер у нас тут был, — поясняет бритый старик, делая знак глухому замолчать. — Усатиком звали. У него усы — во! — были, — показал он, разведя руками шире плеч. — В Германию золото отправлял. У самого участок пустой был, так он орты з наделал, подкопался под соседей, у них воровал. У заводской дачи тоже воровал. На конях любил гонять. Сам в полосатых штанах, с хлыстом, на голове фуражка с долгим козырь-

<sup>1</sup> Небольшие самородки весом в несколько граммов.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Баская — красивая (уральское).
 <sup>3</sup> Орты — боковые ходы-ответвления подземной выработки (горняцкое).

ком. Раз на лошади гнал, она речку перепрыгнуть побоялась, он ее и застрелил. А потом, видно, жалко стало, что сгоряча застрелил, памятник ей поставил. Плиту на мраморе сделали.

— Тебе, поди, годов семьдесят? — неожиданно спро-

сил первый старик, всматриваясь в Бажова.

— Близко к тому.

Сколь и мме, значит.Не хватает маленько.

— Грамоте, поди, шибко обучен?

Знаю маленько.

Глухой помолчал, пожевал губами и сказал, как бы

в раздумье:

— Нынче можно учиться-то, не то что раньше... Три зимы я только учился, дроби не учил, простые задачи давали. Раньше по закону божию нас донимали. Вот про Исуса Христа. Его учили. Знаешь про Исуса-то Христа?

— Знаю, знаю.

— Его и учили, житие.

А о лебедях, которые так интересовали гостя, больше ни слова, как ни старались Павел Петрович и бригадир натолкнуть стариков на эту тему. И все же главного Павел Петрович достиг: старики подтвердили, что деревянные лебеди на одной из изб в Косом Броду были, память не обманывала его.

Лишь значительно позднее я понял, для чего нужны были Павлу Петровичу эти лебеди. «Криули» на воротах позволили ему довести до успешного конца работу над сказом «Ермаковы лебеди», посвященным выдающемуся русскому землепроходцу. Они являлись важным звеном в цепи догадок и умозаключений автора, на которых строился сказ. Эта деталь была необходима Бажову как вещественное доказательство, подтверждающее основную мысль сказа: об уральском происхождении Ермака. По свидетельству Черепановской летописи, Ермак происходил с берегов Камы. П. П. Бажов удачно развил этот тезис, подтвердив и укрепив его состоятельность, и «лебедям», как родовому знаку, отводилось здесь не последнее место. Павел Петрович помнил об этих лебедях с отроческих лет, но, не доверяя себе, хотел самолично еще раз — уже в зрелом возрасте — убедиться, что такой знак существовал. Подозреваю, что исключительно из-за лебедей он поехал в Косой Брод.

Тут уместно сказать вообще о той добросовестности, с какой Бажов собирал материал, насколько тщательно-

придирчиво выверял каждую деталь, прежде чем пустить ее в «дело», а тем более — построить на ней какую-то важную догадку. Вся поездка в Полевское — тому пример. Только достоверно изученное, проверенное не раз и не два отбиралось в книжечку-памятнушку, да и то не все потом шло в огранку, попадало в «Малахитовую шкатулку». Ничего сомнительного, легковесного не принималось ни под каким видом.

Бажов стоял всегда за строго научное освещение истории Урала, будь то труд исследователя-историка, будь повесть, роман, рассказ. Эту линию он неукоснительно проводил и в своем творчестве, не допуская никаких отклонений, поблажек себе как художнику, имеющему право на домысел и выдумку. Никогда не разрешал он себе недостаточно обоснованных догадок, тем более—типизации малоизученного, не отвечающего диалектическому методу мышления, требованиям советской литературы; не отвлекался на ложную занимательность.

Создать высокопринципиальную, партийную литературу об Урале — таково было желание Бажова, его твор-

ческая программа.

...Прощаемся со стариками. Они поднялись со своих мест, проводили нас за ворота и долго смотрели нам вслед.

\* \* \*

От Косого Брода уже рукой подать до Мраморского завода, который мы видели из окна вагона в начале нашего путешествия. По пути заехали в пионерский лагерь.

Ребята были рады чрезвычайно. Высыпали из всех помещений, облепили машину. Павел Петрович двигался в сплошной копошащейся массе, почти совсем скрывшей его.

## Возгласы:

Дедушку Бажова привезли!

— Не дедушку, а товарища Бажова!

— Не все ли равно?!

— И не привезли, а сам приехал!..

Потом образовался круг, в середине которого — Павел Петрович. С приветственным словом к гостю, подбадриваемая взглядами молодой серьезной женщины — начальника лагеря, выступила юная полевчанка с красным галстуком, в белой блузке-безрукавке и физкультурной синей юбочке-шароварах.

— Мы, юные пионеры, — начала она энергичным звонким голосом, — приветствуем Павла Петровича Бажова...

Павел Петрович стоял в знакомой позе, столь ясно говорившей всегда об его отношении к подобного рода официальностям, с видом обреченности, терпеливо ожидающий конца.

Внезапно звонкий детский голосок оборвался, наступило неловкое молчание. Почетный гость заулыбался:

— Забыла!

— Мы, пионеры, приветствуем нашего дорогого земляка Павла Петровича Бажова...

Опять пауза. Павел Петрович просиял окончательно.

— Забыла дальше. Ну и ладно, — успокоительно заметил он — Потом вспомниць

И на том «торжественная часть» закончилась. Павел Петрович опустился в поданное ему переносное сиденьице, низенькое, как вся мебель здесь; пионеры придвинулись вплотную, окружив со всех сторон, — началась непринужденная беседа.

Первый вопрос:

— А вы нам новые сказки привезли?

— Нет, не привез, — с виноватым видом развел руками спрошенный. — Не написал еще. Но напишу, — пообешал он.

Впрочем, ребята ничуть не были огорчены таким ответом. Возможность лицезреть «дедушку Бажова», о котором им не раз рассказывали взрослые, уже сама по себе достаточно занимала их.

— А откуда вы столько сказок знаете? — спросила маленькая пухлощекая толстушка с косичками, старавшаяся все время заглянуть в лицо Бажову.

— Я маленько вас старше, — ответил он. — Только

на пятьдесят лет. У меня уж зуб один.

Верхний, — уточнил пионер, стоявший напротив.

— А <mark>Катюша в стену ушла, так</mark> потом куда девалась? — полюбопытствовала загорелая блондиночка по фамилии Хмелинина.

— A вот в августе выйдет полный сборник сказов; там прочитай про две ящерки — и узнаешь. А рассказы-

вать не буду, а то читать неинтересно будет.

Ребята засмеялись. Беседа в таком духе продолжалась около получаса; затем Павел Петрович вытащил откуда-то из-за пазухи часы, сверился со временем и стал прощаться.

Ребята были явно разочарованы тем, что он побыл у них так мало, не пускали его, тянули за рукав. Так, облепленный ими со всех сторон, как мошкарой, под руку с двумя самыми маленькими пионерками, в том числе с той, которой не удалось ее выступление, он — похожий в эту минуту на бородатого сказочного гнома со свитой — дошел до машины. Человек пять мальчишек насело туда; их довезли до околицы, там высадили, и они помчались во всю прыть своих босых пяток обратно. Павел Петрович провожал их ласковым, отцовским взглядом. На лице бродила тихая улыбка.

\* \* \*

Как везли земной шар, знаете...

Его везли летом, на санях, разъятым на две половинки. Телеги подходящей для такого дела не нашлось—сани были сделаны из цельных лосин, в них были запряжены цугом сотни коней. Так и везли—летом, а на полозьях, как в тундре...

Но не будем долго испытывать любопытство чита-

Да вы, вероятно, уже и догадались, о каком шаре идет речь?

Шар — мраморный, и сделали его полевские рабочиемраморщики в подарок своим тагильским собратьям для памятника другу и учителю всех трудящихся — Ленину. Тот, кто бывал в Нижнем Тагиле, конечно, видел этот памятник: отлитая из каслинского чугуна фигура вождя стоит на голубоватом з€мном шаре, с характерно подня-

той рукой.

Мощных гусеничных тракторов или другой какой механической тяги, пригодной для переброски такого груза, в те времена у нас еще не было (дело происходило в двадцатых годах). Но полевчане не захотели ждать более удобного случая. Да и тагильцы тоже желали безотлагательно ознаменовать годовщину Великого Октября сооружением монумента. Пришлось шар распилить пополам и перевозить в два приема; целиком — не осилить бы. Это напоминает перевозку глыбы гранита для памятника Петру, описанную Радищевым. Там же, у Радищева, есть о находчивости и мужестве литейного мастера; думается, не меньшую изобретательность и смелость пришлось проявить и полевским хитродумцам, чтобы одолеть в самом буквальном смысле такую тяжелую задачу.

О мраморе и «мраморских делах» у нас с Павлом Петровичем разговор начался сразу же, едва мы высадили из машины наших голопятых проводников. К слову, вниманием ребят мы пользовались везде. Стоило остановиться газику, как сейчас же откуда-то появлялось двоетрое и прилипало к автомобилю. Начинался обмен мнений:

— Кака скорость-то маленька, тоненька...

Легковушка дак.

— Разбираются! — констатировал Павел Петрович. Вот этим, вероятно, не придется ломать голову, как перевезти зараз три «блока» мрамора. У них дела будут позаковыристей...

Мраморский завод. Он действительно тих. Стоит около леса, единственное здание рядом — контора. Рабочий же

поселок в нескольких километрах за леском.

Завод не стукнет, не брякнет. Людей почти не видно. Во дворе возвышаются горы битых плит. Они периодически пересматриваются и идут в перепиловку на плиты

меньшего размера.

В старину завод готовил изделия для императорских дворцов — плиты, вазы, столы, камины. Прославился художественностью и чистотой работы. В советскую эпоху перешел исключительно на выработку мраморных изоляционных плит и ступеней. Занятие, возможно, более прозаическое, но едва ли менее важное, если учесть огромную потребность нашей быстро электрифицирующейся страны в мраморных панелях для распределительных щитов, а также в ступенях для вновь возводимых зданий. Завод полностью механизирован.

Первый цех завода — пилорамный.

Пилорама — это прямоугольная массивная деревянная рама, в которой зажато несколько десятков узких железных пил. Огромные прямоугольные глыбы серого мрамора — блоки от одного до трех кубометров объемом — распиливаются здесь на плиты. Блок перекладывается под раму, ее приводит в движение мотор: раз-два, раз-два! Вперед-назад! Одна рама делает сразу от десяти до тридцати резов и пропиливает за смену 10—20 сантиметров в глубину.

Пилы железные; чем мягче железо, тем лучше пилится. Под пилу непрерывно сыплется мелкий кварцевый песочек-«печора» (название, вероятно, от реки), смешанный с водой. Без песка пилить невозможно; твердые частицы его, задерживаясь между зубьями пилы, и выпол-

няют основную режущую работу. Вода же для охлаждения.

Блок пилится непрерывно двое суток. По истечении этого срока он превращается в ровные аккуратные плиты.

Подумать только, что когда-то это делали вручную! Распиливать такой блок одному человеку хватало на

Распиливать такой блок одному человеку хватало на полгода... Если блок был длинный, садились двое с обеих сторон и вырезали за 10—12 часов изнурительного труда сантиметров 5—8 (один рез). Более непроизводительную, однообразную до отупения и жуткости работу невозможно представить.

Ныне разделывается разом несколько десятков блоков. И присматривает за этим всего несколько человек. И именно только присматривает: все делает машина.

В цехе тихо и сыро. Ритмично шуршат о камень неутомимые пилы. Чуть булькает в разрезах вода. Монотонно и глухо гудит мотор. Перестукивает на рельсах платформа-вагонетка, на которой везут в распиловку оче-

редной блок.

Следующий цех — фрезерный. Здесь плиты обрезают и передают в шлифовальный цех — на шлифовку. Обе операции выполняются на специальных станках, похожих на обычные металлорежущие станки. Так рождаются мраморные изоляционные плиты, начиная с маленького щитка квартирного пользования и кончая гигантским распределительным на электрической или радиостанции.

У завода есть своя лесопилка (пиломатериалы нужны для упаковки). Ручной труд остался лишь в небольшом цехе, где понемножку вырабатывались из цветного мрамора различные настольные украшения и письменные

приборы.

— А змеевика что-то у вас не видно? — спросил Павел Петрович, когда мы вышли из дверей завода.

— Не работаем его, — несколько смущенно ответил

сопровождавший нас техрук.

— А зря. У нас же целая гора его. Твердоватей, конечно, мрамора, зато расцветка хорошая, лучше, чем изрядно надоевший серый мрамор. Надо осваивать новое

сырье.

От завода до каменоломни четыре километра. На полпути между ними поселок Мраморский, бывшее Мраморское — «село на мраморе». Примечательного в нем сохранилось немного. В центре поселка наискосок от сельсовета большой деревянный дом с башенкой на крыше, бывшая земская школа и камнерезная мастерская. По бокам дома два мраморных конусообразных столба, своеобразные «пережитки» эпохи крепостничества (поставили когда-то с явной целью: знай-де наших, на мраморе живем, мрамором украшаемся! Чем не колонны!). Перед домом на лужайке вкопан еще один мраморный столб, повыше, с солнечными часами наверху. Судя по надписи, водружен в 1773 году. Он слегка покосился, и часы утратили точность.

Сразу за поселком на дороге начали попадаться большие и малые куски мрамора-сырца. Местами целые блоки лежат в стороне.

— Вишь, рассыпали, — говорит Павел Петрович. Хорошенькое «рассыпали»! Кубометр мрамора — это три тонны. А если блоки по нескольку кубометров...

К дороге подступает молодой березняк. Из-под корней выглядывают обнаженные камни. Машина виляет из стороны в сторону, подскакивает на каменистых ухабах. Еще один поворот, и впереди под старой березой возникает небольшой домик. Здесь мраморный карьер.

Метрах в двадцати от домика старая заброшенная выработка — «пазуха». Название удачно, как нельзя лучше. Глубокая щель уходит вниз, поперек положены два толстых бревна. С помощью воротка да вот этих бревен и вытаскивали со дна «пазухи» двухсотпудовые блоки.

Стенки «пазухи» из чистого мрамора. Оголившийся камень потемнел от времени, пересечен наискось трещинами. Сверху массив его едва прикрыт тонким слоем дерна. В свое время еще Паллас писал: «В трех верстах от Кособрода находится мраморная ломальня... Мрамор лежит почти совсем на ровном месте... Находится он здесь ужасно великими валунами...»

Близ выработки все еще стоит вертикально вкопанный в землю столб. Вокруг него когда-то ходила лошадь, запряженная в вагу, вращавшую барабан на столбе. На барабан накручивалась веревка, другим концом «зачаленная» за глыбу мрамора, которую тянули вверх. Случалось, веревка, не выдержав тяжести, лопалась, и вагу со страшной силой отбрасывало назад. Лошадь и погонщика убивало на месте.

Вот здесь, прямо на карьере, и были вытесаны два земных полушария, отсюда упряжка в полсотни тяжеловозов тащила их до станции. Несколько лошадей покалечили.

А вот — современная выработка. Огромная выемка с почти отвесно падающими стенами; сверху донизу — сплошной серо-голубой мрамор-монолит, зернистый, прекрасно поддающийся обработке. Мрамора-сырца лежит здесь (и в окрестностях) миллионы кубометров. На наших глазах трактор, зацепив тросом, легко тащит блок на поверхность с двадцатиметровой глубины. Трехтонная глыба медленно, но податливо ползет вверх по склону. Отжил свой век дедовский вороток!

Теперь не стало проблемы с транспортировкой. Трактор без особого напряжения везет три кубометра. А мощный «С-80» на прицепах с гусеничным ходом ухитряется тащить даже по десяти кубометров, то есть тридцать

тонн мрамора за один рейс.

Мраморы залегают по всему Полевскому району: белые, серые, черные, красные, желтые, с рисунками и без рисунка. А сколько их всего по Уралу? И при таком обилии мрамора применяем мы его в нашей уральской строительной практике, надо признать, все еще непозволительно мало 1.

Не больше, пожалуй, используется он у нас и в художественных ремеслах. Давно идет разговор о том, что надо не только возродить старое камнерезное искусство мраморщиков, но дать ему дальнейшее развитие, обогатив новым содержанием и широко распахнув двери перед молодыми дарованиями из народа. В Мраморском открыли сначала профтехшколу с камнерезным уклоном в преподавании, затем на базе ее возникло специализированное ремесленное училище. Вскоре после войны в Полевском была устроена выставка работ молодых художников-камнерезов. Многие из них проявили незаурядные способности и уменье обращаться с камнем. Бесспорно, немалая заслуга в этом принадлежала старейшему камнерезу, художнику-самородку Карпу Сергеевичу Аверкиеву, уроженцу села Мраморского. Его ученики представили лучшие работы. Выставка посвящалась П. П. Бажову. Многие произведения были выполнены на мотивы сказов Бажова.

Несколько позднее возникла необходимость в новой реконструкции самого Мраморского завода. В его производственной программе в будущем, наряду с прежними видами продукции — плитами, ступенями, мраморной

<sup>1</sup> Даже на памятник П. П. Бажову, установленный на плотине городского пруда в Свердловске, ухитрились привезти красный гранит с Украины... Вот уж истинно: сапожник — без сапот!

крошкой для отделки фасадов — видное место должно занять промышленно-художественное творчество: статуэтки, вазы, шкатулки и другие художественные изделия из уральских поделочных камней. В проекте — комбинированные изделия из металла и хрусталя. Сильно увеличится производственная мощность завода.

Мраморщики и мраморный завод нашли свое место в очерке Бажова «У старого рудника», упоминаются в ряде сказов. Мраморное дело неоднократно привлекало

пристальное внимание писателя.

Вот и сейчас: Павел Петрович долго стоял на краю выработки, сосредоточенно наблюдая, как глыба, влекомая тросом, упрямо выползала наверх, потом оглянулся, ища, кому выразить свое одобрение, и сказал назидательно, как бы продолжая начатый разговор:

Буро́вит сколько... красота! А было — страшно

вспомнить.

\* \* \*

— Протрясло, парень, бронхит-то, — говорил Павел Петрович вечером на квартире у Бессоновых. — Жена в тревоге была, а, выходит, на пользу пошла поездка!

Действительно, несмотря на ежедневную тряску по дорогам, утомительную, пожалуй, и для молодого, он ничуть не чувствует себя разбитым. Только когда возврашались домой, сказал:

— Целый день все сидел, а ноги устали. Почему бы

это, не знаешь? Теперь два часа курить буду!

— Стоя у стола?— Обязательно.

И вот теперь попив чайку, запалил папиросу (трубку он тогда, кажется, еще не курил) и благодушествует в своей излюбленной позе — стоя у стола, в полусогнутом, неудобном, казалось бы, положении, опираясь локтями на угол столешницы. На предложение сесть, чтобы дать роздых ногам, категорично отвечает:

— Ни-ни. Так лучше — привык. У меня для этого дома подущечка есть. Под локти. Всегда так отдыхаю. После поездки на «Мрамор», в Косой Брод, разговор,

естественно, вертится около камней, золота и прочего.

— Аптекарские весы у тебя. Золото, видно, принимаешь! — шутит Павел Петрович, кивая на лабораторные весы, стоящие за стеклом в книжном шкафу. — А всетаки недоволен я, — вспоминает он посещение мраморного завода, — что ни одной станции метро из змеевика

нет. Не умеем мы еще, уральцы, свои богатства показывать.

Долго критически рассматривает на столе письменный прибор довольно топорной работы и наконец выносит суровый приговор:

— Мрамора не жалеют... И искусство тоже.

— Ученики делали, — вступился Николай Дмитри-

евич. — В юбилей мне подарили.

— Ну, тогда ничего. Мне раз так же вот один дед подарок преподнес. Целую плиту вырубил да письменный прибор и отгрохал. Полпуда весом. Подарок от чи-

стого сердца!

Он заразительно смеется, забрасывая голову назад и выставив бороду, смеется, как ребенок, которому очень понравилось что-то; закашлялся, на глазах выступили слезы, — бронхит все-таки напоминает о себе. Потом,

прокашлявшись, продолжает:

— Большой мастер был на выдумки старик! Баню из горнового камня задумал сделать. Гладенькая банька вышла. А как водой дадут, так стены и потекли. А он хвалится: «Ничего не заведется в таком жару!» В другой раз опять сапоги изобрел с подошвой, которая не носится. Стелька железная. Ходил только в церковь. Ясно, износу не было! А он — гордился...

Наш хозяин — отчаянный фотолюбитель. Ящики письменного стола доверху забиты фотографиями. Тут и гора Азов, и другие окрестности Полевского, сам поселок, собственные ребятишки во всех видах. Николай Дмитриевич снимает без светофильтра, без каких-либо ухищрений, как большинство любителей; черно, бело, разобрать можно — и ладно. Но снимки, в общем, хорошие.

Многие фотографии будят в Павле Петровиче воспо-

минания.

— Совершенно забыл Глубочинский пруд, — говорит он, поднеся близко к глазам и долго рассматривая изображение какого-то лесного озера. — А ведь вот какой-то

кусок жизни!

Глубочинский пруд, к сожалению, остался вне нашего маршрута. А все, кто видал его, вспоминают о нем «с воздыханием»: красиво, очень красиво! Когда-то там была дача Турчаниновых, а господа, как известно, умели облюбовывать местечки. С прудом связано немало легенд.

Глубочинский пруд служил запасным водохранилищем и соединялся с Полевским прудом подземным штреком; еще и поныне кой-где сохранились смотровые колодцы. Прежде на месте пруда были шахты для добычи золота; потом, когда запрудили речку Глубокую, все ушло под воду. У плотины глубина образовалась больше двадцати метров. То прячется, то появляется на поверхности протекающая здесь же речка Светлая, еще одна из «пропащих».

Вообще в XVIII веке здесь существовала система прудов, запасы воды в которых полностью обеспечивали потребность заводов. На территории района много речек — Ревда, Гремиха и др. Гремиха славится черему-

хой. Весной, когда все цветет, она вся белая.

Еще снимок: два старателя перемывают старые отвалы гальки. Запрудили речку, вода падает прямо на бутару; на гальке — хариусы, выпрыгнули вместе с водой. Рядом пасется стреноженная лошадь.

— Это где? Давно снимал? — заинтересовался Павел

Петрович.

- На Омутнинке. Давненько уж... Да за хариусами-то сейчас можно съездить, порыбачить. Не перевелись.
- Неплохо бы. Уха из них хороша! Да не получится. В другой раз. А это? не унимается наш патриарх.

— За Турыгиным логом... — Изменилось, поди, и там?

— Да как не измениться... Хотя, может, и не очень...

— А было-то... Глухие таежные места, старые томилки разбросаны... Для Северского завода работали, когда была домна... С отцом, помню, езживали...

Беседа течет неторопливо, то замрет, то оживится,

журчит, как лесной ручеек.

— Можно закрутить? — спрашивает Николай Дмитриевич, показывая головой на шкаф с патефонными пластинками. Там их, по его справке, без малого семьсот штук.

Давай, — соглашается Павел Петрович.

На полчаса слово предоставляется патефону. Все молчат, слушают. Под конец разгорается спор: кто лучше поет арию из «Продавца птиц» — Брайнин или Демьянов? В коллекции Николая Дмитриевича есть оба. Чтобы разрешить спор, ставят сначала одного, потом другого. Патефон выпевает: «Мой любимый старый дед прожил сто семнадцать лет...» Павел Петрович шутливо восклицает:

— Эге, значит, мне еще пятьдесят семь осталось. Пре-

красно!

Поет Демьянов ту же арию: «...прожил семьдесят пять лет...» Павел Петрович недовольно хмурится:

— Что это? Надувают!.. Хуже этот поет!

Время далеко за полночь. Николай Дмитриевич включает радиоприемник. Репродуктор трещит, грохочет, порой один сплошной гул. «Как пятитонка», — замечает

Павел Петрович.

Несмотря на эти помехи, два друга долго вечеруют около приемника. Выслушав последние известия московские, настроились на какую-то далекую станцию, передающую музыку, покуривают и неторопливо перебрасываются словами, вспоминая о тех временах, когда оба были в одной школе — один учителем, другой — учеником. Павел Петрович охотно вспоминал о своей прошлой работе в качестве народного учителя и вообще все, что было связано с этим.

— Встречаю как-то на плотинке в Свердловске двух женщин. Одна — дама, располневшая, другая — моложе. Пожилая идет, на меня заглядывает, молодая ей говорит: «Что ты, мама!» А та подходит и спрашивает: «Павел Петрович?» — «Я», — говорю. «Вы меня не узнаете?» — «Нет». — «Я — Перова». — «А, узнал!» Сделал вид, что узнал... Раз «Павел Петрович», — значит, бывший ученик или ученица...

Голова его — неиссякаемый источник воспоминаний, наблюдений всякого рода, совершенно неожиданных подчас высказываний и выводов. Он все время размышляет над литературными проблемами и тут же, словно бы невзначай, роняет критическое замечание в адрес инженеров от радиотехники, которые никак не придумают, как избавиться от помех: «Пора бы». А через минуту: «Ну да, когда не знаешь, всегда кажется легко». И спустя еще какое-то время, в той манере, которая была так характерна для него (не поймешь сразу: порицает или соглашается, шутит или говорит серьезно.): «Вот про нас говорят тоже: плохо пишем... А попробуй-ко, напиши!»

Любит музыку; джаз, на который было настроился Николай Дмитриевич, нравится ему меньше, даже совсем не нравится, зато симфоническую, особенно опер-

ную, музыку и пение слушает охотно...

Искусство было близко Павлу Петровичу во всех формах. Он аккуратно смотрел все новые постановки в театрах Свердловска, часто бывал в опере. Нередко придешь на какой-нибудь спектакль, идущий на сцене уже давно и, казалось бы, не представляющий особого инте-

реса, и вдруг видишь в первом ряду знакомую бороду, слышишь привычное покашливание. Павел Петрович любил театр и с неизменным спутником своим, женой

Валентиной Александровной, часто посещал его.

В беседах с литературной молодежью Павел Петрович всегда подчеркивал важность, необходимость для писателя много ездить, смотреть, впитывать в себя, вдумываться в увиденное, советовал больше, как можно больше читать. Сам он читал необыкновенно много (несмотря на скверное зрение, ухудшавшееся год от года), и нередко то, о чем другому в голову не могло прийти. Как-то встретились на улице: в руках у Павла Петровича томик — только что из магазина. На вопрос — что, или, вернее, кто это? — ответил: «Чосер. Стихи. — И добавил, как бы оправдываясь: — Надо». Это «надо» прозвучало как «Писатель обязан все знать».

Ночь, а он и не помышляет о сне... голова ясна, мысли глубоки и оригинальны. Интересно следить за ходом рассуждений. Еще Пушкин говорил: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная...» Готов сидеть с таким собеседником хоть до бесконечности. Каждая минута общения с ним обогащает тебя новыми знаниями, раздвигает рамки чувствования жизни, учит правильно понимать многие явления!

Беседовать с таким человеком — наслаждение.

\* \* \*

Наша последняя поездка — на Марков камень.

Долго думали, на чем ехать: на лошади или на автомобиле? На лошади — долго, на машине, говорят, не проехать. Набрались храбрости и решили не изменять своей «антилопе-гну».

С каждым километром верный газик уносит нас все дальше в глубь леса. Глушь невообразимая. Вот уже полчаса, как расстались с лесобазой и не повстречали ни одной живой души. Дорога идет, как в коридоре, между двух стен леса. Сначала был березник. Машина свернула направо. Неожиданно пошел сосняк. Местность слегка всхолмленная. Лес как бы стремится сгладить неровности земли: в низинах он выше, тянется вверх, на вершинах холмов — принижен, не так густ.

Напрямик проехать из Полевского к Маркову камню невозможно — болота. Приходится делать объезд, что в два с лишним раза длиннее. Сегодня мы забираемся уже

за пределы Полевского района: Марков камень ближе к Сысерти, чем к Полевскому. Но все это — территория бывшего Сысертского горного округа. А наше путешествие можно было бы смело назвать путешествием в прошлое: так много старины встречаешь здесь на каждом шагу.

Дорога разветвляется. Куда ехать? Взяли наугад влево. Едем-едем, и даже спросить не у кого, правиль-

но ли едем. Шофер неожиданно заявляет:

Правильно.Почему?

— Трактор шел.

Верно, на земле видны следы гусениц. В какую глу-

хомань только не идут эти следы!

Выехали на открытое место. Над давней вырубкой подымается молодая березовая поросль. Сзади стена леса. Далеко впереди — тоже. А вправо и влево далекая перспектива — холмы, холмы и холмы... с пушистыми от нежной зелени склонами и плоскими вершинами, на которых белеют округлые камни, точно кости вымерших животных.

Стоп! Дорогу пересекла полоса воды. Неужели глубоко? К счастью, оказалось не больше дециметра. Шофер «дал газу», и машина, подняв из-под колес каскады брызг, вынеслась на пригорок. Дорога резко свернула в сторону, и... из-за поворота на третьей скорости вылетела встречная трехтонка. Мы уцепились за борта, шофер закусил губу так, что она сразу сделалась белой, резко затормозил, переключил молниеносно скорости, крутанул баранку, отчего газик резво прыгнул в сторону, чуть не задев радиатором кусты. Водитель встречной машины рванул свой автомобиль в другую сторону, и мы пронеслись мимо друг друга на расстоянии каких-нибудь десяти — пятнадцати сантиметров. И все это — в течение двух-трех секунд! В следующее мгновение встречная машина скрылась из вида, и только медленно оседавшая на дороге пыль напомнила о едва не произошедшем столкновении. Шофер облегченно вздохнул и сказал:

— A ведь этого черта оштрафовать бы следовало... Гонит, не гудит, а тормоза не в порядке. Поближе к го-

роду — живо научили бы, как ездить.

Да, автоинспектора по дороге к Маркову камню пока еще не поставили. Павел Петрович оставался невозмутим.

А вот на очередном разветвлении пути впереди возник столб с дошечкой. На дошечке надпись:

На Мар. кам.

Ага! Значит, все в порядке, едем правильно.

Заросли кустарника кончились. Опять начался сосновый бор. Дорога враз сделалась сырой, вязкой, местами настоящее болото. Как бы не засесть! Но - нет: на всех опасных участках дороги насыпан валежник, а то и настоящая слань из жердей сделана. Хоть тряско, зато проходимо. Совсем, кажется, уже не остается таких мест, где бы нельзя было проехать на машине.

Опять столб с надписью:

Заповедник

Лес в заповеднике захламлен невероятно. Когда-то тут пронесся лесной пожар. Подпаленные деревья упали. Над ними успели подняться молодые, а обгорелые стволы лежат по сию пору, черные, обезжизненные, медленно зарастающие травой. Лежат целые штабеля бревен, тысячи кубометров сухих, горячих, как спички, дров. Так, наверное, миллионы лет назад в первобытные топи падал первобытный лес, чтобы потом, под толщами осадочных пород, превратиться в каменный уголь.

Только этот упавший лес, что видим мы, проезжая, едва ли постигнет такая же судьба. Скорей всего он может превратиться в другое: в костер. Об этом не мешало бы подумать кому следует. А то не без иронии звучит

следующая надпись на очередном столбе:

Помни! Огонь — это стихия. Будь с ним осторожен!

- Столб с воззванием поставили, а вот прибрать лес не соберутся! — ворчит Павел Петрович.

Его хозяйский глаз подмечает всякий непорядок.

Проехали длинную слань через ручей. Говорят, это один из истоков Чусовой. Трудно верится, Ручей мал. тих, шириной в один метр, глубиной того меньше. Струится тихонечко в болоте, упрятавшись от солнца под низко нависшие ветви берез и каких-то мелколистных кустов.

Кажется, что мы перемещаемся не только в пространстве, но и во времени — по эпохам. Мы движемся по следам легенд, и с каждым вздохом мотора все ближе, ближе истоки тех увлекательных и таинственных «преданий старины глубокой», без понимания, вдумчивого изучения которых невозможно познать и настоящее, а тем более невозможно заглянуть в будущее. Лес то сожмет дорогу, то расступится, открывая на высоких местах горизонт. Все холмы, увалы... нет конца им! Время от времени близ дороги попадаются большие камни, как бы предвестники Маркова камня. Мы их в шутку называем «марковичами».

Дорога проваливается в глубокий обрывистый лог. Через лог переброшен мосточек, довольно ветхий на вид. Под мосточком речка. У моста пересекает дорогу широкая, прямая просека, уходящая в глубину леса. Это тракторная трасса. Зимой по ней тракторы вывозят заготов-

ленную за лето древесину.

Еще несколько километров, и газик бодро вкатывается на большую вырубку. Стоят добротные, новенькие бараки. Один, два, три, четыре... Ого, целый городок! Вот тебе и «таинственная» старина! Ехали, ехали и приехали в совершенно очевидную современность... А где же

Марков камень?

Здесь Марков камень. В сотне метров в лесу. Только не так уж глухо теперь около него, как в те времена, когда складывался устный сказ о Марке Береговике. Вырос у подножия камня поселок лесорубов, новая жизнь пришла и обосновалась накрепко, как везде. Стало понятно, почему на глухой дороге к Маркову камню стоят указатели и сама дорога по возможности поддерживается в пригодном для проезда состоянии. Здесь — лесозаготовки, и крупные.

По тропинке поднимаемся к камню. Его еще не видно из-за леса. В самом начале подъема на сосне прибита новенькая желтая дощечка с суровым внушением:

Строго ходить на вышку ход воспрещен!

Это еще почему? Столько ехать, и вдруг — «нельзя». Нет уж, как хотите, а мы поднимемся!

Когда поднялись, стало понятно и это предупрежде-

ние.

Гранитным клыком выдался над массивом Марков камень. На плоской, будто затылок кита, вершине его прикреплена стальными тросами — чтобы не снесло в сильный ветер — новенькая светло-желтая пожарная машина. На нее ведет высоченная лестница, срубленная из целых бревен. Нижним концом она упирается в два дерева.

Взбираемся по лестнице. Павел Петрович следует позади, деловитый, спокойный, как всегда. Высоко. Спи-

рает дыхание.

На верхних перилах кто-то из работников пожарной охраны очень остроумно, сколь и просто, устроил солнечные часы. Вертикально вбит гвоздь. Вокруг гвоздя обведена карандашом окружность, разбитая на деления. Каждое деление соответствует получасу. Гвоздь отбрасывает тень, которая, по мере движения солнца по небосводу, перемещается по окружности. Вот и вся механика. А — удобство. Вот он, по выражению Маркса, «первый автомат, созданный для практических целей». Не так же ли вел наблюдение за временем, вынужденный скрываться здесь, Марк Береговик?

Русская смекалка — ее встречаещь на каждом шагу. Не она ли, по сути, является основным героем бажовских

сказов?

Проверили эти самодельные «ходики» по карманным часам. Точно. Расхождение в пределах десяти — пятна-

дцати минут.

Абсолютная высота камня — 416 метров. Под ногами бескрайний океан леса, темно-зеленый, чуть волнистый, торжественный. Синеватым светлым пятнышком проглядывает вдали озеро Щучье. На много километров вокруг, если не считать бараков лесорубов, ни одного селения.

Здесь, на камне, до недавнего времени существовала надпись: «Марк Петрович Турчанинов». Не подумайте, что отсюда пошло название камня. Нет! Пошло оно от полевского рабочего Марка, по прозванию — Береговик, который укрывался здесь вместе с любимой женой от турчаниновского произвола. А уж потом, когда стали звать камень «Марковым», появилась на нем эта надпись. Даже тут жадный заводовладелец хотел обокрасть своего крепостного.

Да не вышло. В устных рабочих сказах сохранилась подлинная история вольнолюбивого Марка Береговика, в глухую пору крепостничества поднявшего свой голос протеста против рабства, смелого человека, защитившего свое человеческое достоинство. И как песня, славящая человека-бойца, стремление к счастью, неодолимую волю к свободе, будет восприниматься сказ Бажова — «Марков камень».

\* \* \*

В последний раз поднялись на гору Думную.

Посвежело. На Думной гуляет ветер, раздувает полы пальто Павла Петровича, который, не отрываясь, мед-

ленно обводит взглядом горизонт.

Да, много сокровищ хранят эти холмы. Вон, накрытый облаками, синеет Азов. Там, у подошвы его, богатый рудник Зюзелька — «Синюшкин колодец». Кто знает, может, и сам Азов где-нибудь в недоступной пока глубине своих недр хранит неисчислимые богатства. Вон, плоский, как зеркало, блестит в долине Северский пруд. Тоже, говорят, лежат на дне его медные и другие руды. Дым Криолита закрывает Гумёшки... И они не сказали еще последнего слова. Думная... В старину на ней тоже был медный рудник.

Думная... Откуда название такое?

По преданьям, в пору строительства Полевского медеплавильного завода на горе было сходбище рабочих, бунтовавших против каторжных условий труда, против господских несправедливостей, здесь они думали-гадали, как им быть дальше. Об этом пишет Паллас в своем «Путешествии по разным местам Российского государства».

По другим сказаниям, на горе сидел три дня и триночи, «думал думу», «батюшка Омельян Иваныч» — Пугачев, еще два века назад потрясший устои феодально-крепостнической, дворянской России. Оттого, слышь, и стали гору Думной звать. Правда, историки утверждают, что отряды Пугачева прошли стороной; да ужочень народу хотелось, чтоб он побывал тут... Вроде закручинился Пугачев, увидав каторжный труд здешних мастеровых и работных людей, и приказал освободить ихот тяжелых железных оков, крикнув кузнецу громовым голосом: «Раскуй их!» И осталась от той поры легендар-

ным свидетелем гора Думная и деревня Раскунха, что укрылась в лесах неподалеку от Полевского...

А если забраться еще дальше в глубь веков, то — как повествуют легенды — совещались на горе и «стары

люди»...

— Вот тут, — нарушив молчание, говорит Павел Петрович, — дедушка Слышко и рассказывал нам, ребятам, свои истории. О чем рассказывали в старину? Грамота была недоступна крепостному человеку. И мысли свои показывать было нельзя. Вот и прятали их — мысли, и мечты, и желания — в устных сказах-легендах, которые передавали один другому. В сказах же объяснялось многое, что казалось тогда непонятным. К примеру, откуда такое скопление руды и малахита в Гумёшках, кто оставил там ямы-копани? В сказах бедный человек одерживал верх над богатым. В сказах же, уж коли приходилось невмоготу, он уходил «за камень», за Урал. И было это отзвуком действительности: беглые, примкнув к вольнице, шли в Сибирь. Сказывать сказы находились особые мастера. Мне выпало счастье — слышать такого мастера: дедушку Слышко...

И Павел Петрович опять погружается в раздумье. Сегодня он прощается с родными местами— с Полевским, с Зюзелькой, с Азовом, снова и снова перебирая в памяти впечатления последней недели, шестидневные мотания на машине... Кто знает, когда увидит еще?

— Слышко говорил, — вспоминает Павел Петрович, — пещера под Думной. Завалена. Мне ее увидеть не довелось. А вот как медь на Полевском плавили — помню. Мы, ребята, медную пену собирали. Когда медь плавят, ткнут березовой жердью, брызги на крышу выбрасывало. Считалось, что таким образом медь от примеси очищается. Хорошо. Мы эти застывшие брызги собирали — разменный знак для игры в бабки. Крупная, с бекасинник — пять бабок. Редкая белая — десять бабок. А в народе эту медную пену пили как лекарство. От желудка там или еще от чего. Кажется — предел невежества? А вот теперь оказывается, что это была не медь, а сопутствующий ей висмут. Висмут же применяется в медицине как лечебное средство. И как раз при болезнях желудка. Не так уж глупо получается...

Напоминаю о цапле, которую мы рассматривали в

первый вечер своего пребывания в Полевском.

— Цапля? Это — тоже деталь. Қаждый владелец завода старался себя перед другими поинтереснее выка-

зать. Ну и — фабричный знак. Для этого у Яковлевых был «старый соболь», у Демидовых — медведь. А здешний-то, Турчанинов, вот цаплю придумал. Дескать, птица и не так чтобы слишком большая, а летает высоко... Знай-де наших, хоть мы и беднее других. Против других-то Турчанинов был пожиже маленько. Это у них в крови было — гнаться за чем-нибудь таким, чтобы хоть чем-то быть в отличку... 1

Павел Петрович стукнул палкой о камень, лежавший у ног, последил, как тот, шурша, катился вниз по склону.

— Hv, а если глубже копнуть, то можно сказать еще и другое. Всякая геральдика была в особом ходу за границей. Значит — подражали. Тянулись за всем иноземным. Отсюда и погоня за титулами, особенно — за заграничными. Один в ранге «сухопутного капитана», хотя никаким капитаном никогда не был; другой — «князь Сан-Донато»... Тоже итальянский вельможа выискался! Или — Злоказов, получил... купил, правильнее сказать, звание баронета Англии... Англии и в глаза не видал! Так и жили — гнались за всем иностранным, иностранному подражали. Отсюда и знак — цапля. Это они знали. А свое - ни во что не ставили. Взять, к примеру, Лемидовых. Первые-то Демидовы хоть крепостниками были, и крупные деятели, способствовали развитию Урала, дело знали. Последние же — даже по-русски говорить не умели, все по заграницам жили. А Россия что им? Денежный мешок, источник существования. Им одно было важно: была бы мошна потолще. Вот такто... А уж самое последнее дело — за чужим гнаться, перед каждой чужестранной дрянью благоговеть, а своев грязь топтать. Самое последнее дело.

Заключительные слова Павел Петрович произнес

тоном сурового осуждения. Помолчав, добавил:

— Теперь все это — предмет истории. И хорошо. Всех из кона вышибли. Но пример поучительный. Особенно для тех, кто свою цаплю хотел бы выше всех воткнуть. А такие охотники еще не перевелись. Думают: если я зо-

заводов, находившейся в Екатеринбурге.
Известный собиратель уральского фольклора В. П. Бирюков записал песню, которую цитировал П. П. Бажов. Начиналась она такими словами:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Указ об обязательном клеймении изделий из железа и меди был издан 8 апреля 1735 года канцелярией Главного правления заводов, находившейся в Екатеринбурге.

На Сысертском заводе Цапля — ставилось клеймо...

лотым мешком владею, могу весь мир переиначить посвоему, всех — под свой кулак... Но — переведутся. Пе-

реведут!

«Рабочие руки все могут! Кое в порошок сомнут, кое по крупинкам соберут да мяконько прогладят — вот и выйдет камень небывалой красоты. Всему миру на диво. И на поучение — тоже», — говорится в одном из бажовских сказов. Вот то, что рабочие руки все могут, глубокий смысл этого, наверное, он имел в виду, говоря — «переведут!».

Это «переведут» прозвучало тогда как пророчество. Ветер гонит по небу быстрый сонм облаков, освещенных закатным лучом, непрерывно меняющих свои очертания, ласково играет бажовской бородой. Красные полосы прорезались на горизонте. На этом фоне четко рисуется фигура невысокого коренастого человека, сидящего на остром выступе скалы, проткнувшем гору. Солнце село, но какая-то прозрачность, спокойный, тихий свет разлиты вокруг.

До свидания, Полевское, до свидания, Азов, Зюзелька, Косой Брод, Полдневая,— до свидания! Побывав здесь, увидев вас воочию, полюбишь весь Урал — богатырский край, полюбишь за щедрую его землю, за славные дела, за людей-тружеников, которых взрастила эта земля и прославлению деяний которых отдал весь свой

самобытный, яркий талант сказочник Бажов.

Пора идти...

\* \* \*

Мы закончим наше путешествие по местам бажовских сказов в Свердловске, на улице Чапаева, 11. Наш разговор о творце уральских сказов будет просто неполным, если мы не побываем в этом бревенчатом, еще крепком доме с крылечком, под железной крышей, на стене которого прибита мемориальная доска с надписью:

Здесь с 1906 года по 1950 год жил и работал писатель-большевик ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАЖОВ

Надпись не точна: Павел Петрович жил здесь с 1908 года.

На протяжении многих лет почтальон регулярно доставлял сюда толстые пачки писем, другую корреспонден-

цию, нажимал кнопку звонка— и дверь приветливо распахивалась перед ним. Он по-прежнему ежедневно является и сейчас, хотя владельца дома давно нет среди нас.

Много людей приходили сюда: после смерти Бажова дом стал музеем. Валентина Александровна, вдова пи-

сателя, передала его в дар городу.

Войдем вместе со всеми. В комнате, выходящей окпами во двор и сад, все сохраняется так, как было при жизни писателя. Это был его рабочий кабинет, его творческая лаборатория. Здесь он трудился, здесь отдыхал на узкой железной кровати. У стен стеллажи с книгами, большой письменный стол привычно завален рукописями, папками с вырезками газет, с письмами; портативная пишущая машинка, подаренная Литфондом СССР к 65летию; медная настольная лампа, которую, кажется, минуту назад пригнули ниже, чтоб ярче светила, лучше было читать; часы 2-го госзавода; стоят даже, как всегда, металлический «вечный календарь» и простая круглая пузатая чернильница, из которой были написаны все сказы....

Очки с толстенными двойными стеклами (в последние годы видел плохо, зрение совсем отказывалось служить ему). Ручка с пером... (Авторучек тогда еще не было, да Павел Петрович и не очень жаловал новинки.) Вот здесь, за этим добротным основательным столом, были написаны сказы «Круговой фонарь», «Живой огонек», и также навеянный посещением Уралмаша «Не та цапля» (тогда Урадмаш делал гиганский шагающий экскаватор; действительно, тоже «цапля», с 75-метровой шеей — вылетом стрелы, и длинным «клювом»; достаточно было Бажову раз увидать его, чтоб заиграла фантазия, и творческое воображение, связав воедино виденное в разные годы, устремилось вперед...). Сначала выстукивал на машинке, что стоит рядом, на отдельном маленьком столике, затем подсаживался опять к большому столу и правил написанное. Работа продвигалась невыразимо медленно, зачеркивал и переделывал по многу раз. Давно ли все это было? Дальнее — близкое. . .

Много статуэток, изящных безделушек, сделанных из разного материала. Характерно, что все они так или иначе связаны с творчеством Бажова (точнее — с мотивами его сказов) и все — дареные.

Все напоминает о нем. И сам смотрит он со всех сторон. Фотографии. «Бажов на Думной горе» — вышито

в бюст — каслинское литье. Тоже все дареное, исключая лишь большой портрет масляными красками, заказанный Валентиной Александровной уже после кончины Павла Петровича.

И как напоминание о большой прожитой жизни фотография: молодые Павел Петрович и Валентина

Александровна.

И как-то удивительно хорошо, по-житейски просто гармонируют со всем этим старинный, закрытый вышитой дорожкой комод, простенький гардероб, покрашенный под ореховое дерево. И маленький коврик у кровати. Взглянешь и скажешь: здесь жил простой, хороший человек, человек — как все мы, грешные.

И — книги, книги, книги. Бесконечные издания «Малахитовой шкатулки» на всех языках мира. За последние десятилетия книга была переведена на 33 языка, и ее знают во всех концах мира. «Малахитовая шкатулка» на персидском, арабском, японском, китайском, урду, хинди... Большая Советская Энциклопедия, собрания сочинений классиков, советских и зарубежных писателей.

Еще больше книг на чердаке. Там же пухлые дела: наброски, черновики, — все же, возможно, они были, хотя Павел Петрович и уверял, что не сохранял их. Лите-

ратуроведы недаром просят разобрать чердак.

И дом, и двор, и сад несут печать его, ко всему он приложил свою руку. В саду есть скамеечка, на которой любил сиживать в ясные дни, попыхивая трубочкой, обдумывая свои замыслы, - скамеечка вкопана им. В огороде целое поле шампиньонов, — их развел он. Сад — яблони, вишни, рябины — насажен его же руками; даже — хрен. Рябина против окна его кабинета засохла после его смерти...

Вот здесь, сидя на внутреннем дворовом крыльце, он ласкал большого желтого пса Ральфа. Собаки были всегда. Павел Петрович любил животных. Был Шарик, охотничьей породы, отличавшийся тем, что цыплят вытаскивал из воды в кадушке, когда они после дождя заскакивали на край утолить жажду и срывались вниз; были Слива, которой делали операцию от рака, Найда и, наконец, Ральф, помесь сеттера с лайкой. В доме жили всегда лве-три кошки.

Расскажем немного об истории дома.

Вначале, по приезде в Екатеринбург, Бажовы не имели недвижимой собственности; и вообще семья жила скромно. Накануне женитьбы Павел Петрович жил с матерью: отец умер, когда сын учился в семинарии. Отец и дел схоронены в Сысерти, на родине писателя, мать. умная, начитанная женщина, много давшая сыну. — в

Камышлове (умерла в 1916 году).

Павел Петрович женился в 1911 году, тридцати двух лет от роду. Считал, что поздновато; так было в роду все поздно женились. Первое время жил с женой в домике рядом, по Болотной улице (ныне улица Большакова). Он стоит и поныне, ветхий, покосившийся, окна касаются земли. Здесь родились две первые дочки. У старшей начался рахит, который тогда называли английской болезнью. Все окошки в домишке выходили на север, солнце не заглялывало, пол полом стояла вода. Решили строить новый лом, на пустыре.

Бажов был тогда учителем, преподавал русский язык и алгебру. Лишних средств не было, строили с трудом, себе отказывали. Павел Петрович заботился о семье. старался прирабатывать. И все же залезали в долги.

брали ссуды через банк, проценты надо платить.

В новый дом въехали в 1914 году и в том же году перебрались всей семьей в Камышлов, где жизнь была дешевле (с началом первой мировой войны она сильно вздорожала). В доме оставили квартирантов. А там — рево-

люция, гражданская война...

Павел Петрович вступил в Красную Армию. Книги «Бойцы первого призыва» и «Формирования на ходу» (история 1-го Крестьянского коммунистического полка Красных Орлов и Камышловского полка) — это лично прочувствованное, пережитое. Он выпускал газету для бойпов-красноармейцев на фронте, занимался партийной работой

Весь 1919 год Павел Петрович находился на нелегальном положении, в Сибири, на Алтае. Сдержанный, не любивший распространяться о себе, он мало рассказывал об этом периоде своей жизни, умалчивая об опасностях, которые пережил тогда. Лишь вдолге спустя, в областном архиве в Усть-Каменогорске, в центре нынешней Восточно-Казахстанской области, отысканы документы, освещающие деятельность Бажова в те годы.

Под фамилией Бахеева П. П. Бажов участвовал в революционных событиях на Алтае, по некоторым данным, был секретарем уездного комитета партии, а также организатором и первым редактором газет «Известия» и «Советская власть», заведовал уездным отделом на-

родного образования.

Образованию, грамотности Павел Петрович придавал всегда самое большое значение. Всю жизнь учился сам и учил других. А время было трудное, не хватало ни бумаги, ни учебников. Чернил, карандашей — и тех не достанешь. Павел Петрович сам разъезжал по аулам Прииртышья и Горного Алтая, подбирал учителей-казахов. организовывал казахские школы, ликвидировал неграмотность, которая в тех местах в ту пору была почти поголовной. При его участии было открыто в удаленном горном селении Катон-Карагай женское мусульманское училище — одно из первых в тогдашней Семипалатинской губернии, созданы национальная драматическая труппа, ездившая со спектаклями по глухим аулам, сеть курсов народного просвещения, детский театр в Усть-Каменогорске. Чтя память писателя-большевика, устькаменогорцы установили на зданиях, где проходила его деятельность, мемориальные доски. Его именем названа одна из лучших улиц города.

Лишь в 1923 году, после того как затих гром орудий на фронтах гражданской войны, Бажовы, наконец, вернулись в свой новый дом в Екатеринбурге. Долго пришлось ютиться в одной комнате: жильцы не пускали. С

того времени и стали жить в нем безвыездно.

Со временем привели в порядок всю усадьбу. Посадили яблони, смородину, малину. Не забыли и черемуху. По весне она — как невеста. Павлу Петровичу нравился

ее терпкий аромат...

Но однажды выдалось сухое знойное лето. Все черемуховые кусты затянуло густыми тенетами, черви объедали листья. Разводили костры, чтобы удушить вредителей дымом, опрыскивали «химией»,— ничего не помогало, зловещие тенета появились и на других растениях...

Пришлось с черемухой проститься.

Дом поштукатурили в 1944 году, после 65-летия владельца. Павел Петрович приходил в ужас: все перетаскивать?! Ремонт затянулся. «Лучшее бы уж не начинать»,— сетовал хозяин (всякая домашняя перетруска отражалась на писательских делах, мешала работе над сказами). Потом жаловался— «воздуха не хватает». Бажовы любили чистое дерево, его нетронутое естество. «Вымоешь потолок, стены,— говорила Валентина Александровна,— чисто, дышится легко!»

После, однако, признали: со штукатуркой стало теплее. А прежде, бывало, и зябли в январские морозы. Дом

был холодный.

От того ли, по дедовской ли привычке. Павел Петрович любил сиживать в зимнее время дома в валенках. В последние годы жизни к этому стало вынуждать и постоянное нездоровье — то грипп, то неотступный изну-

ряющий кашель...

Постепенно комната становилась теснее. Особенно это стало заметно после 70-летия Бажова, широко отмеченного на Урале. Уралхиммашзавод преподнес юбиляру дорогой буковый гарнитур мебели (вместительный письменный стол, кресла, тумбочки). Помню, как в юбилей мы вташили все это. Сперва повернуться было негде: потом постепенно все расставилось по своим местам. Пришлось на старости лет привыкать к новому столу, к другой «топографии» кабинета...

Вещи продолжали прибывать и позднее, хотя Павлу Петровичу было чуждо накопительство. Иногда их привозили издалека, из таких мест, где, казалось бы, едва ли о Бажове-то должны знать. Подарки слали Бажову его читатели, отдельные лица и организации. Так появились здесь фарфоровые фигурки — хозяйка Медной горы. с ящерками, горный мастер Данила, — прислали с Дулевского завода. Кусок малахита. Друза дымчатого горного хрусталя — от горшиков, чернильный прибор из змеевика — от мастеров-камнерезов. Бюст Пушкина. Барельеф Пушкина. (Пушкин был для Бажова непревзойденным, недостижимым образцом!) Радиоприемник... Ни одной веши из магазина. Все — дары народа, знаки всеобщей любви и уважения, признания благодарных читателей. Так постепенно кабинет превратился в музей творчества Бажова, приобрел тот вид, какой имеет сейчас, когда дом стал музеем.

Самой любимой была малахитовая шкатулка работы уральских мастеров. И надо же было так случиться, однажды шкатулка упала и разбилась. Павел Петрович очень горевал. Опять же не потому, что ценность, а работа, работа какая! Починить ее взялся краевед В. С. Старцев, хороший знакомый Бажовых, да не вы-

шло...

Излюбленным занятием Павла Петровича в часы досуга было копаться в саду, на огороде. Когда стали слабеть силы, пришлось отказаться от этого. Он очень переживал свою немощь. «Валёнушка, не могу тебе помочь», как бы оправдывался перед женой. Работал допоздна, обычно стоя за старенькой конторкой, в облаке табачного дыма. Спать ложился глубокой ночью, вставал в девять часов утра, никогда — позже. Вечером отдыхал часок-другой и — опять за свой кропотливый, подвижни-

ческий труд...

Образ жизни его был прост, как говорится, без затей, без ненужной роскоши. Он никогда не ездил на дачу, не стремился на модные курорты. Выйдет в сад, посидит на скамеечке, покурит — и опять идет домой, к столу, работать. Его не привлекала даже пышная природа юга (так и не собрался туда ни разу); хотя вообще ездить он любил и в последний период жизни много путешествовал.

Как-то звал меня: «Поедем, Борис, в Горную Шорию». Туда приглашал его секретарь обкома партии Е. Ф. Колышев, хорошо знакомый уральцам по работе в Сверд-

ловске и Нижнем Тагиле.

С сожалением говорил о проездном бесплатном билете

депутата: лежит...

Впрочем, билет не лежал без пользы. Павел Петрович регулярно наведывался в Москву, в Ленинград. Там имелись многочисленные друзья и почитатели, устраивались читки произведений Бажова. Валентина Александровна была верной спутницей во всех поездках. Но вернемся снова в этот старый, хотя еще и крепкий дом, посидим за круглым столиком в кабинете, поставленным специально для посетителей, где обычно каждый выпивал гостевую

чашку чая...

Бывало, придешь к Павлу Петровичу; он подсядет к раскрытому окну (любил сидеть у окна), в фуфайке, помочах, как говорится, по-свойски, щуплый без привычной толстовки или черного кителя (пиджак и галстук никогда не носил), бородатый. В окне летнее солнце. И в руках у Павла Петровича вспыхивает желтый огонек: вынул из кармана большую лупу с ручкой и прикуривает... прямо от солнца. Папироса потухнет — он опять за лупу... И так, на протяжении разговора, раз пять. Лупа служила и для того, чтобы разбирать буквы при чтении. Последнее время он не мог обходиться без нее. Окуляры не помогали.

Позднее на столе появилась коробочка с табаком, трубка. Коробку подарила Валентина Александровна, а трубку в 1944 году привез знакомый капитан с фронта, муж рассыльной Союза писателей. Курение у Павла Петровича всегда выглядело каким-то священнодействием, важным ритуалом. Но, заметим, неумеренное курение, безусловно, раньше времени и свело его в могилу (рак легкого).

Сидишь, беседуешь, а репродуктор в ящике у стола негромко работает — музыка, чаще классическая, другую Павел Петрович обычно выключал. Так же и в те часы, когда он писал.

От окна перейдет к столу, но не сядет, а привалится стоя, на локтях, так и ведет беседу. Сидеть не любил, а мебели с мягкими сиденьями вообще избегал. «Не сиди на мягком, не советую»,— говаривал он серьезно, но с

веселой лукавинкой в глазах.

Визитеры в доме были часто, без них не обходилось буквально ни одного дня. Сюда шли писатели; каждый приезжающий литератор считал своим непременным долгом навестить Бажова, если был незнаком — представиться ему. На протяжении многих лет Павел Петрович бессменный председатель правления Свердловского отделения Союза советских писателей. Писательский союз — детище беспокойное — отнимал много времени и сил; но благодаря ему же Павел Петрович был постоянно в курсе всей литературной жизни. Вне Союза, его творческой, специфической атмосферы, пожалуй, и не представишь Бажова.

Сюда, к депутату Бажову, тянулся нескончаемый поток людей. В дом был открыт доступ всем, не отказы-

вали никому.

Не трудно понять, в чем был секрет этой необыкновенной популярности: писатель Бажов был близок народу, все его творчество являлось выражением дум и чаяний народных, концентрировало в себе народную мудрость. Этому способствовало и большое личное обаяние Бажова, его приветливость, которую ощущал всякий кому хоть раз удалось встретиться и говорить с ним. Как правильно отмечает в своих мемуарах Евгений Пермяк, «будучи многогранно образованным и начитанным человеком, Бажов был очень вежлив и щадящ к ограниченности других. Он никогда не позволял себе выглядеть выше, образованнее своего собеседника» («Долговекий мастер»). Великое, прекраснейшее качество, открывавшее все сердца, все души. Оно ярко проявилось во время нашей поездки в беседах со стариками старателями. Да он и впрямь свой!

Начинала всходить его звезда, но он оставался все

таким же простым, доступным.

Как круги по воде, расходились от этого дома невидимые теплые волны человеческого участия, сердечности, привета. К нему охотно шли за помощью и советом. Шли все. — Пимокаты меня одолели, — как-то говорил он. — Все о своих делах хлопочут. Писать совсем времени нет...

— Павел Петрович, так направьте их в соответствующее учреждение, — посоветовал кто-то из молодых. Он

твердо возразил:

— А ты бы направил? Они же ко мне обращаются, а не в учреждение. В учреждении они уже были... Вот то-то и оно.

Из-за этого, пожалуй, он так и не собрался написать большую книгу об уральских мастерах, современниках социалистической эпохи, о которой когда-то обмолвился в Зюзельке; из-за этого, вероятно, остались невыполненными и кое-какие другие замыслы. Однако же без этой общественной, государственной деятельности тоже невозможно представить Бажова.

# «РАБОТА — ОНА ШТУКА ДОЛГОВЕКАЯ». Да. Да,

да, да, да!

Повторим: вот здесь, в этом доме, собирались народные уральские сказания и легенды, привозившиеся Бажовым со всех концов края, чтобы затем, отграненными, принявшими чеканную литературную форму, начать новую большую жизнь — в книгах.

Здесь, в этой светлой комнате, написаны «Малахитовая шкатулка», все сказы, от первого до последнего, повесть для детей «Зеленая кобылка» и вообще создано все

литературное наследие Бажова.

Судьба отметила его как избранника. Она доверила ему самое драгоценное — жемчужины народного устного творчества, перлы самоцветной, никогда не тускнеющей, никогда не иссякающей народной речи. И он оправдал этот выбор.

... Может быть, оправданно еще одно воспоминание— на сей раз не мое, а Константина Михайловича Симонова. Ему тоже <mark>довелось</mark> побывать в этом доме, и

спустя годы он вспоминал:

«Рассматривая фотографию И. Тюфякова<sup>1</sup>, сделанную в Свердловске без малого сорок лет назад, смотрю на задумчивое мудрое лицо Павла Петровича Бажова, сидящего между двумя тогдашними юнцами Сергеем

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Речь идет о фотографии, опубликованной в журнале «Урал», 1979, № 1,

Михалковым и мною, и силюсь вспомнить, как же все это было тогда.

По-моему, это было так. В феврале 1939 года состоялось первое в истории Союза писателей награждение писателей орденами. В числе других орденами были награждены и несколько молодых писателей. Среди них и мы с Сергеем Михалковым. Вскоре вслед за этим мы, во всяком случае я, получили от Союза писателей первое общественное поручение: поехать в Свердловск встретиться с живущими в Свердловске писателями, познакомиться с тем, как там идет работа.

Если не изменяет память, тогда существовали некоторые сложности, связанные со спорами вокруг творчества нескольких свердловских литераторов. В частности, задерживалось издание двух или трех книг. В числе их была всесветно знаменитая потом «Малахито-

вая шкатулка» Павла Петровича Бажова.

Вместе с нами, двумя молодыми поэтами, Александр Александрович Фадеев сговорил поехать в Свердловск человека намного более опытного, чем мы, очень тонкого и умного критика, автора прекрасных книг о Чехове, Александра Иосифовича Роскина (впоследствии погибшего в рядах московского ополчения). И помнится, это очень помогло делу. За те несколько дней, что мы провели в Свердловске, мы дважды или трижды встречались с Павлом Петровичем Бажовым. Если мне не изменяет память, были у него дома. Мы все трое с увлечением читали не читанные нами раньше и уже напечатанные и еще не напечатанные сказы из «Малахитовой шкатулки», у которых, как это ни странно представить себе сейчас, были тогда не только одни сторонники и почитатели.

Уезжая в Москву под обаянием и самого Павла Петровича, и его удивительных сказов, мы взяли с собой предназначавшуюся для «Советского писателя» рукопись «Малахитовой шкатулки». Рукопись эта там, в Москве, была передана нами в издательство, причем было и сказано и, по-моему, также и написано на бумаге все то доброе, что мы о ней все трое думали. О своих впечатлениях, помнится, мы, приехав, рассказали и Фадееву.

Не хочу задним числом преувеличивать весомость наших усилий, но, наверное, они тоже немножко подтолкнули выход «Малахитовой шкатулки» в Москве. Думаю, грешным делом, что именно с этой главной целью и посылал дальновидный Фадеев нас, зеленых и напористых, вместе с многоопытным Роскиным в ту командировку в Свердловск...»

Что ж, скажем и мы тоже задним числом: спасибо и вам, друзья, спасибо за «Малахитовую шкатулку», за на-

шего Бажова!

Как никто другой до него. Бажов сумел показать в своих произведениях жизнь и думы горнорабочих Урала — от простых людей минувшего века, создал запоминающиеся образы умельцев, для которых труд — радость, горение, раскрыл своеобразие их духовного мира, их одаренность, высокие моральные качества, их любовь котечеству и родному краю, и все это — в образах и манере, до него не существовавших в литературе об Урале 1. Лишь в устных преданиях проглядывали самобытные черты этих людей. В их поступках и характерах Бажов показал типическое в русском народе. Он наполнил свои книги ароматом эпохи, края. Как живые, полнокровные люди, воспринимаются герои бажовских сказов, от фантастической девки Азовки, изображенной в виде дочери старшины «старых людей», и кончая совершенно реальной фигурой бунтаря Марка Береговика, — волшебный мир, оживший под пером художника.

Силой своего творческого воображения Бажов воссоздал облик старого, или, как мы часто говорим, «демидовского» Урала, и, читая книги уральского волшебника, мы как бы совершаем путешествие в прошлое, в глубь уральской истории. Она встает перед нами в столкновениях страстей, в борьбе людей-тружеников с их угнетателямибарами. В этом проявилась сила бажовского таланта, его бесценный вклад в сокровищницу мировой лите-

ратуры.

Невольно возникает вопрос: откуда такое знание быта, бесконечного множества деталей обстановки, в которой действуют бажовские герои, поразительное чувствование характерных особенностей и своеобразия описываемого времени, такая глубина мысли, прозорливость, такое понимание задач, стоящих перед писателем,— откуда?

Частичный ответ на это дает поездка в Полевское.

Все, что было лучшего в Бажове, он получил от народа. И все полученное — в новом качестве — с лихьой вернул туда, откуда вышел сам, ибо вся его жизнь — пример

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Конечно, мы воздаем должное Д. Н. Мамину-Сибиряку; однако, думается, никто не будет оспаривать, что это — писатель совсем другой манеры.

служения народу. Писатель-большевик, выросший в эпоху всепобеждающих идей ленинизма, прошедший школу в рядах великой партии рабочего класса — Коммунистической партии. Бажов очень остро чувствовал запросы своего времени, постоянно учитывал нужды и стремления своего народа.

Уральской горнозаводской легендой интересовались и до Бажова. Отдельные легенды и предания записаны в очерках В. И. Немировича-Данченко «По Уралу и Каме», в книгах Д. Н. Мамина-Сибиряка. Однако именно Бажову суждено было первому по-настоящему «открыть» ее, осмыслить научно и философски, ввести в мир боль-

шой литературы.

Более полувека отдал он изучению, осмыслению уральской горнозаводской легенды — полусказки-полубыли. Уральская старина сделалась основой его творчества. фоном, который он расцвечивал яркими красками, ле-

генда — отправным пунктом, сюжетом.

И не только легенда питала истоки его творчества. Все, конечно, читали сказ «Иванко Крылатко». Под этим именем в сказе выведен реально существовавший человек, замечательный мастер гравировки по стали Иван Бушуев, живший в Златоусте в первой половине прошлого столетия. Он считался лучшим гравировщиком фабрики холодного оружия. Знатоки сразу узнавали его работу по точному, ясному рисунку, по уверенной, твердой «руке». Почти все сделанные им вещи теперь хранятся в музеях как редкости. Иногда они обнаруживаются и в частных коллекциях или просто у случайных владельцев.

Так, однажды, в Свердловскую картинную галерею, уже вдолге после смерти Бажова, принесли нож и предложили купить. Нож был гравирован: на одной стороне лезвия изображалась сцена охоты на медведя, на другой — на кабана. Вековая ржавчина попортила узор золотой, но не сумела уничтожить подпись: «И. Бушуев. Златоуст. 1824 года». Это была работа Иванка Крылатко! В другой раз принесли старинный клинок с тонким, изящным рисунком в античном стиле. На нем тоже оказалась надпись: «И. Бушуев, 1823 год. Златоуст». Тоже работа легендарного Иванка Крылатко.

Вероятно, за свою жизнь Павел Петрович немало перевидал, перещупал своими руками таких клинков из знаменитого златоустовского булата, с клеймами знаме-

нитых мастеров.

Очень удачно Пермяк определяет бажовские сказы как «былевую небыль», подчеркнув, что речь в них ведется «о таинственном, но не тайном, о волшебном, но рукотворном». В доме на улице Чапаева, 11, в Свердловске, переплавлялись виденное, слышанное, почерпнутое из

самых разнообразных источников.

В «Малахитовой шкатулке» встает Полевское, встает весь наш богатый и славный край — Урал, но это не простая фотография: в виденное и слышанное автор вдохнул свою душу, и, таким образом, путешествие, которое мы совершаем сегодня на улицу Чапаева, хотя оно и служит продолжением все того же волнующего путешествия по местам рождения бажовских сказов,— это уже путешествие в другую область — в область человеческого духа, который и является единственным и полновластным хозяином всего, что есть на земле. Сличите то, что вы узнали из рассказа о поездке в Полевское, с тем, что содержится в «Малахитовой шкатулке», и, может быть, это поможет вам разобраться, как природа и живая история края отражаются в художественном творчестве, откроется тайное тайных: как создаются книги.

...Он работал над сказами долго, тщательно — годами. Медленно копилось богатство «Шкатулки». Каждый сказ рождался ценой тяжких усилий, в муках, как и всякое истинное произведение искусства. Труд в высшей степени кропотливый, даже изнурительный, но...

«Медленнее-то писать — лучше», — неоднократно замечал Павел Петрович. Так говорить о работе литератора мог только человек истинно талантливый и беспощад-

ный к себе.

«Вдохновение не любит ленивых». Эти слова принадлежат Петру Ильичу Чайковскому, который сам был великим тружеником. Но кажется, что их сказал Бажов. Во всяком случае, к нему вдохновение приходило через большой, напряженный труд.

Он много думал о вопросах писательского мастерства. Его изумляло мастерство Чехова, умевшего двумя-тремя точными штрихами нарисовать всего человека так, что тот вставал как живой. Помните разговор у вокзала по

поводу портрета вашего знакомого...

Главное же — добиваться полной идейной ясности,

четкого осуществления замысла.

Примечательно, что, рисуя события далекого прошлого, Бажов не оставался в стороне требований своего времени. Постоянная работа над историческим материалом не привела его к любованию стариной, забвению вопросов современности. Наоборот! Все творчество замечательного уральского сказочника, как назвала его газета «Правда», учит смотреть на прошлое с позиций современности. И поэтому П. П. Бажов — по праву глубоко современный, советский, партийный писатель, хотя писал он сказы о явлениях и вещах, отдаленных от нас целыми столетиями. В этом проявилась политическая зрелость писателя.

Не так уж часто выпадает на писательскую долю, чтобы основная мысль, выраженная в его произведении, вошла в арсенал идей, зовущих человечество на борьбу за светлое будущее. Достигнуть этого — счастье для писателя. Бажов познал это счастье.

Его «живинка в деле» стала символом рабочей смекалки, неустанного стремления двинуть вперед свой труд, сделать его искусством, добиваться новых высот мастерства. Это выражение стало теперь крылатым, его знает

каждый советский рабочий.

Замечательно определение советского демократизма, данное им однажды. Вспоминая об огранке изумруда, которую назвали теплой, потому что обработанный камень «не только ровно излучал свет, но и казался теплым на руке», Бажов писал: «...Сила вовсе не в том, что у нас кузнец и академик, директор большого завода и оперная певица, доярка и конструктор самолетостроения могут идти в одном ряду, спокойно меняя порядок. Сила в другом. У нас в условиях советской демократии, это никого не удивляет, — как самое простое, обычное, рядовое. У нас каждый, где бы он ни стоял — вверху или внизу, справа или слева, — чувствует себя одинаково близко к основному узлу, одинаково освещен и согрет, если сам не замшел, не отсырел, не запылился.

В этом именно объяснение единства действия нашей демократии, той силы и тепла, какие излучает наша

страна».

Напоминая постоянно своим товарищам по ремеслу, что «все в писательском котле должно перекипеть так, чтобы получилось новое качество», сам он действительно создавал это качество — качество большой партийной литературы. И в этом — самая большая победа писателя.

Встречаясь со знакомыми на улице, на собрании, в театре, на традиционный вопрос: «Как живете?» — Павел Петрович частенько отвечал стереотипной фразой:

## — Живой еще.

Эти два слова стали у него в последние годы привыч-

ной формулой ответа на приветствие.

Здоровье его к этому времени значительно пошатнулось, начали одолевать старческие недуги. Он понимал, что срок жизни истекает, и, по-видимому, не раз думал об этом, принимая это с той спокойной, трезвой рассудительностью, которая была так характерна для всего образа действий Бажова, для склада его мышления.

Мучило сознание, что многое еще остается нереализованным, голова была переполнена планами, для выполнения которых требовались годы и годы... Пришло подлинное мастерство, достигаемое усилиями целой жизни, но кончались силы. Бренность тела вступила в непримиримое противоречие с ясностью духа, плодовитостью ума, достигшего полной зрелости.

Очень редко это прорывалось наружу.

Как-то показывал «вечный календарь», привезенный ему Ридой из Москвы,— никелированную, изящно сделанную вещицу, простую, но очень хитроумную. Перевертываешь, и автоматически, с легким стуком, выскакивает число на завтрашний день. Павел Петрович повертел ее, любуясь, в руках (хорошая, чистая работа, да если еще с выдумкой, всегда нравилась ему), затем сказал:

— Занятная штучка. Плохо, что она заставляет задумываться.— И, видя недоуменный взгляд, опрокидывая «штучку», подсказывал:— Щелк... непонятно?

— И — день прошел?

— Вот именно. Только тебе-то что! У тебя еще много впереди. А вот мне. . . — И не договорил.

Вспомнилось, как на Азове он оттолкнул руку, когда ему хотели помочь в восхождении. Я — сам! Я еще сам

могу!

Хотел жить. Гнал немочь. Жить. Долго. Писать книги, ездить, встречаться с людьми. В семьдесят лет пытался договориться поехать с геологами на изыскания в тайгу. Душа требовала: жить! добиваться! двигаться! быть там, где люди, вместе с ними нести все тяготы, испытывать сладость ощущения победы над трудностями! жить! Это понимаешь лишь теперь, когда сам достиг его лет.

Я был последним из свердловских писателей, видевших Павла Петровича живым. Это было в Москве, незадолго до его смерти. Я находился там по своим делам, когда стало известно, что приезжает больной Бажов. Мы встречали его на Казанском вокзале втроем: московские писатели — П. Ф. Нилин и Е. А. Пермяк — и я. Павел Петрович выглядел резко похудевшим, с изжелта-зеленым нездоровым лицом. Он как-то удивленно поднял на меня свои большие, округлившиеся глаза (вероятно, не ожидал увидеть), но ничего не сказал. Из вагона вышел сам и медленно побрел по перрону, поддерживаемый под руки Валентиной Александровной и медсестрой. У вокзала их ждал санитарный «ЗИМ» из Кремлевской больницы. Это была последняя наша встреча.

Павел Петрович Бажов умер 3 декабря 1950 года, на семьдесят втором году жизни, в Москве. 7 декабря его

тело специальным вагоном привезли в Свердловск.

Похороны П. П. Бажова вылились в своеобразную демонстрацию любви и уважения советских людей к человеку, который высоко пронес знамя «инженера челоческих душ» и обязывающее звание депутата высшего органа власти нашего государства — Верховного Совета Союза ССР, к партии, членом которой он состоял с 1918 года, к советской культуре, взрастившей такого мастера слова, — и в конечном счете явились выражением того почета, которым окружены в Советской стране избранники народа.

Гроб с телом покойного был выставлен в концертном зале филармонии, в том самом зале, куда живой Бажов приходил столько раз на фортепианные и симфонические концерты, где праздновался его 70-летний юбилей. В лютый мороз тысячи граждан стояли на улице, дожидаясь своей очереди, чтобы сказать последнее «прости» любимому писателю, в последний раз увидеть его. Непрерывное, медленное движение у гроба продолжа-

лось до глубокой ночи.

В день погребения траурная процессия растянулась на несколько кварталов. Улицы были черны от запрудивших их толп. За гробом Бажова шли люди самых различных профессий, мужчины, женщины, дети. Многие приехали из районов, из Челябинска, Перми, Нижнего Тагила, Полевского... Приехал проститься со старым другом Дмитрий Александрович Валов, наш провожатый и спутник в поездках по Полевскому району в 1939 году. В числе приехавших отдать последний долг умершему было много прежних учеников Павла Петровича, его личные друзья, партийные работники, представители мира науки и искусства. Это была не только дань популярности отдельного человека. Прежде всего это было

признание заслуг советской литературы, самой идейной,

передовой литературы мира.

10 декабря 1950 года прах П. П. Бажова был предан земле — той уральской земле, которую он так любил, по которой столько путешествовал... С высокого пригорка, где тихо шумят на ветру ветви берез и сосен, виден весь широко раскинувшийся трудовой Свердловск. Видны его новые, большие, залитые светом дома, встают дымы заводов, доносится трудовой напряженный ритм его жизни... И смотрит задумчиво на город с гранитной скалы тот, кого уральские пионеры и по сей день продолжают звать любовно — «дедушка Бажов», смотрит точно так же, как смотрел когда-то последним взглядом с Лумной горы.

«Живой еще»... Почему-то часто вспоминаются эти

слова.

Легенды, сказания... кристаллы мудрости, назвал кто-то. И сам Бажов ныне уже как легенда, шагаю-

щая через годы...

Без конца издается и переиздается «Малахиторая шкатулка», она стала любимой, настольной книгой миллионов. Поэты посвящают автору ее свои стихи. На сценах театров страны идут балеты, драматические спектакли, поставленные по мотивам его произведений. Снимаются кинофильмы. Во многих городах и поселках — в Свердловске, Полевском, Сысерти, Мраморском — есть улицы имени Бажова, школы имени Бажова.

Хорошо сказал об этом старый большевик-уралец Анишев в годовщину со дня смерти замечательного ска-

зочника:

— Все, что сделано нами на Урале, — дело наших, рабочих рук. И во всем этом есть доля труда Павла Петровича Бажова, который до последних дней своей жизни неутомимо и страстно боролся силой своего слова и делом как коммунист и народный депутат.

Еще лучше сказал сам Бажов:

«Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется». Эти слова можно поставить эпигра-

фом ко всей его жизни.

Павел Петрович умер. Но живут и будут жить многотрудные плоды долголетних литературных исканий — итог творческой жизни писателя. Они останутся в золотой сокровищнице человеческих знаний, тех знаний, которые верно и честно служат народу, помогают ему строить новую счастливую жизнь. Жизнь без «господ»,

без унижений, без угнетения человека человеком — жизнь в социалистическом сегодня, коммунистическом

завтра.

Тем же, кто лично знал Бажова, кто был близок к нему, постоянно встречался, работал бок о бок с ним, не забыть и его чисто человеческих черт. Всегда будут помниться его мягкий, добродушный, с хорошей народной лукавинкой юмор, его спокойная прозорливая мудрость, его простота, отзывчивость, глубокая душевная чистота... Как живой стоит он перед глазами: аккуратный, плотный, чуть согнувшийся под бременем лет, с длинной седой бородой и с ясными, как у ребенка, глазами, освещенный большой внутренней красотой, — мастер золотого русского слова, ювелирной шлифовки фразы, уральской горнозаводской легенды, пример скромности и трудолюбия, писатель из народа и для народа — Павел Петрович Бажов.

# посмертное — от старшего друга

Обычно мы говорим о Бажове: мудрец, сказочник, мастер. И как-то забываем, упускаем из вида, что он был

еще учителем. А учителем он был всю жизнь.

В течение длительного времени я имел возможность близко наблюдать Бажова, учиться у него. Вместе, по его предложению, мы ездили в его родные места, Полевской и Сысертский районы. После некоторое время я исполнял обязанности оргсекретаря Свердловского отделения Союза писателей СССР в ту пору, когда Бажов избирался председателем правления СП; затем ряд лет был ответственным секретарем альманаха «Уральский современник» при редакторе П. П. Бажове. Несмотря на большую разницу в возрасте, нас связывала настоящая дружба. Контакты были деловые и личные. Встречались в Союзе и в доме Бажовых. Не говорю о бесчисленных творческих обсуждениях, заседаниях, конференциях, собраниях.

Всегда поражало умение Бажова увидеть главное и по-своему, точно, лаконично, с народными речениями, выразить это. Он никогда не навязывал своего мнения, говорил негромко, даже в каком-то извинительном тоне, но всякий раз умел облечь свою мысль в такую форму, что она надолго оставалась в памяти. Делал это неназойливо, без всякого апломба или ссылок на свое стар-

шинство (упаси бог, не терпел!), а как-то незаметно, деликатно, как и все, что он делал. Не помню случая, чтоб он рассердился, вышел из себя и повысил голос, хоть бывало всякое; эта его черта была поистине удивительна, как поражающе удивительна была необыкновенная широта бажовских знаний; а за всем этим скрывалась подлинная доброжелательность к людям, неизменные постоянная приветливость и готовность помочь.

Не забыть, как однажды он вступился за меня. Шло обсуждение писательской продукции — творческий отчет. Досталось, конечно, крепко: писатели любят «препарировать» друг друга. Им только дай, наговорят такого, сам, себя не узнаешь. Видимо, сочтя критику излишне строгой, а в чем-то и претенциозной, дождавшись, когда выскажутся все, Павел Петрович положил трубочку на стол (курил он много, а на заседаниях посасывал потухшую — ни минуты не мог обходиться без нее) и неторопливо молвил: «Тут про Бориса всякое говорили. А я вот так скажу: другой поедет — ничего не привезет, а Борис поедет — пятнадцать тем привезет. Это ведь тоже чего-то стоит... Вот газ на Сосьве открыли. Кто туда поехал? Конец не близкий. А Борис поехал...»

Как возмутился он, когда Хазанович в пылу споров брякнул про одного из наших общих знакомых в том смысле, что у него-де «сейчас плохо и всегда будет хо-

лодно и плохо».

 — А вот это уже никуда не годится, — заявил Бажов, и складки на его лбу сошлись, он весь посуровел.

Больше всего не терпел залихватства, оскорбительных легковесных суждений. Безусловно, основываясь на его же замечаниях, можно утверждать, что он поддерживал известный тезис: к критике надо прислушиваться, но не надо ее слушаться. Ну и, конечно: критика должна быть справедливой, объективной. Наверное, это была его самая драгоценная черта — всегда следовать истине, отстаивать справедливость.

Замечу, что эти «пятнадцать тем» я ощущаю горбом на протяжении всей жизни. Как в воду глядел учитель! Очевидно, он уже тогда подглядел то, что с возрастом стало еще заметнее, если верить суждениям друзей: трудоспособность, неуемное, жадное стремление все увидеть, объять, обо всем написать, ничего не упустить, чтобы силой пера, быть может, повлиять на те или иные общественные процессы, на развитие событий текущей жизни,

донести нечто важное до сознания читателя. Нелегкая

задача, но есть ли цель выше?

Бесспорно, Бажов ценил энергию, трудолюбие, хорошую творческую жадность и напор (последнее, как бывшему журналисту, ему было особенно понятно и близко), но это не мешало ему видеть и недостатки; а тем, в кого он верил, от кого чего-то ждал в будущем, он считал просто необходимым говорить вещи серьезные, выдвигать повышенно строгие требования.

Не случайно неодобрительно относился ко всякого рода разглагольствованиям насчет того, что писать пером теперь время отошло — медленно; надо работать на машинке — быстрее. Подобные рассуждения коробили его (хотя машинку — подарок Литфонда к юбилею писателя — принял и печатал на ней письма одним паль-

цем).

«Сделать, конечно, надо успеть многое, надо ста-

раться, а спешить нельзя...»

Помню, как в трудную для меня пору жизни, стремясь поддержать, сделал дарственную надпись на книге: «В тяжелый год на легкую память». (Смысл: надейся, мол, минуют грозы.) И как приветствовал полученное мной приглашение быть собкором журнала «Огонек»: «Площадка большая и заметная... дальше от тебя зависит. Да ты не ленивый, я знаю...» Великая вещь доброжелательность, и как часто ее не хватает нам в общении друг с другом, — а как благотворно воздействует она на человека, прибавляя силы и помогая формировать здоровую нравственность.

Это письмо я получил уже после смерти Бажова. Валентина Александровна, жена Павла Петровича, вручила его мне после того, как мы проводили нашего большого друга в последний путь, в декабре 1950 года. «Оно написано для вас и должно быть у вас. Павел Петрович так хотел», — сказала Валентина Александровна, передавая шесть листочков мелкого машинописного текста,

перепечатанного руками уральского сказочника.

Письмо — наглядное подтверждение заботы старого писателя о молодом литературном поколении, живое свидетельство того, что ему было далеко не безразлично.

«кто будет после нас».

Сейчас не припомнить, о какой рецензии идет речь в письме, в архиве своем я ее не нашел. Обычно Павел Петрович рецензий не писал, но, видимо, в данном случае отошел от своего правила, и, надо думать, все с той

же целью — сделать необходимое, помочь молодому начинающему коллеге лучше разобраться, чего тот достиг, а чем не надо обольщаться, что хорошо и правильно, а что, быть может, ошибочно и способно помешать даль-

нейшему росту.

Павел Петрович не касается очерка, публицистики, избрав для разговора строго ограниченную тему — жанр художественного рассказа, вероятно усмотрев тут наиболее уязвимое место. Поясню, что разбираемые им рассказы все были написаны в военные годы и являлись выражением общих для всего народа чувств, жгучего желания автора в меру отпущенных ему возможностей послужить общему делу победы, которому в тот момент отдавал себя каждый. Однако то, о чем говорит Бажов, никак не утеряло своего значения и сейчас. В этом непреходящая ценность письма.

Думаю, что критические суждения и советы, содержащиеся в этом дорогом для меня письме, заставят задуматься многих. Особенно они могут оказаться полезными и сослужат добрую службу тем, кто нетерпелив и самоуверен и с пеленок готов причислять себя к гениям, забывая, что до гения лежит длинный и тяжкий путь строгой самооценки и неустанного, не знающего скидок

и послаблений, труда, самоусовершенствования.

Думал ли Павел Петрович, когда писал, что скоро умрет, а так много остается невысказанным...

# «Борис Степанович!

Знаю, что ты принадлежишь к той группе людей, у которых завтрашний день заслоняет последующие, что критику ты не очень жалуешь, с поправками редко соглашаешься и к нашему брату — старикам относишься со снисходительностью своего возраста: тоже учителя. Что они понимают! За всем тем мне хотелось написать тебе в дополнение к рецензии, которую все же надо считать поддерживающей. Не поленился даже новую копирку заложить. Пусть и у меня памятка останется, что пытался поставить вопрос по-серьезному, что, подписывая рецензию, знал, где кончается журнальная литература и где начинается книжная.

Кому-кому, а тебе, пишущему на злободневные темы, последнее надо знать до тонкости, чтобы не увлекаться при отборе материалов для того или другого сборника. Апробация через печать для вещей на злобу дня очень немного значит. То, что сегодня принимается и печа-

тается в журналах, то завтра уж не годится, и соединять такое в отдельные сборники даже вредно для писателя. Если полходить к челябинскому сборнику с этой меркой. а с ней только и надо подходить, то там многое следовало бы отбросить, хотя в свое время это было приемлемым и не плохим. Для примера возьмем «Вражий след». Этот рассказ напечатан в 43-м году, а написан. может быть, в 42-м. Тогда все мы усиленно заботились о маскировке городов. Чуть не изменой считалось, если кто-нибудь закурит папироску в подъезде. Даже у нас. помнишь, были закрашены верхние стекла трамвайных вагонов. И все это тогда было нужно и оправданно. Маскировка городов, как известно, продолжалась до окончания войны с Германией, но уже в начале 43-го года на улицах Москвы горели не только синенькие лампочки. но и простые, только закрытые сверху абажуром, так как все к тому времени знали, а дети тем более, что на расстоянии десятка километров никакой спички не разглядишь, а боковой свет из окна многоэтажного дома сверху и вовсе не увидишь. Прочитав такой рассказ в 45-м году, юный читатель в лучшем случае пренебрежительно оценит: «Дядя автор не знает, что спичку с самолета не разглядишь», а в худшем же может подумать: «Какой дурак десантник, он, как маленький, окошки бьет. а для чего — неизвестно!» Это уж, как видишь, пошло по линии недооценки врага, что, безусловно, надо признать особо вредным. Не поверит читатель и тому, что в затемненном большом городе, где и днем-то не так уж светло, можно было ночью разглядеть рассыпанные на углах марки. Мало ли всяких бумажек валяется! Маловероятен и вызов с моря путем крестообразного знака, сделанного зажженной спичкой. Тут ведь надо не забывать, что в портовом городе и наша охрана где-то имеется, смотрит не только с суши, но и с моря. А у тебя это вовсе забыто. Десантники начинают тут же на берегу разговаривать по-немецки настолько громко, что мальчик даже разбирает такие слова, как постамт, бангоф и др. Читатель ведь должен удивляться: «Какие дураки! Таких поймать совсем просто!»

Все это происходит потому, что ты не любишь «терять время на мелочи», берешь нужную тебе мысль и проводишь ее, не утруждая себя остановками на деталях. Для очередного номера газеты или журнала такой порядок в какой-то степени терпим, так как первое условие — своевременность, а для книжки, рассчитанной на

более долгую жизнь, требуется другое, и в первую очередь именно та мелочь, которая заставляет поверить автору вполне и всерьез. Вот, например, у тебя в «Святохе» (не лучше ли Сватохе?) есть место, когда он, пустив воду, отходит от станка к окну. В чем тут дело, для меня, технически неграмотного, неясно, но я чувствую, что пишущий что-то знает, и я это рассматриваю, как очень положительное, начинаю с этого времени верить, что тут не голая выдумка. В этом и есть суть вопроса. Фабульная линия важна, но только взвешенные детали делают произведение живым и правдивым. С одним сюжетом выезжать в книгу нельзя.

Возьмем другой пример — «Олений камень». Сюжет там сладковатый, в стиле Кл. Лукашевич, В. Дмитриевой и др. «писателей для детей». Берет рассказ местным колоритом: Чусовая, ледоход, быт лесных деревень, Олений камень (легенда рассказана небрежно). Хороша подробность: отпустив лошадь, привязал вожжи на оглоблю. Но и здесь много недоуменных деталей, потому что автор во власти только своей мысли, а не представлений. Ты выводишь мальчика на берег по расщелине, которая идет с вершины Оленьего камня, но попробуй представить эту расщелину в пору половодья, и станет ясно, что это неправдоподобно. В эту пору по ней либо бурный поток, который неизбежно смоет человека даже без груза, либо она может представлять сплошную наледь, по которой тоже не поднимешься. Да при таком решении еще забывается другое, более важное. Парнишку направил за картиной заведующий лесопунктом. Начало ледохода, важнейшее событие для лесопункта, там не могли пропустить незамеченным, а заведующий тем более. Послал лошадь, мальчугана! И ничего, никаких встречных действий! Читатель об этом помнит, а писатель забыл, так как ведет свою линию только рассудочно, без живого представления того, о чем рассказывает.

Даже рассказ «Мертвый конус», где как будто все правильно, едва ли принадлежит к тем, которые ты потом, когда будешь подводить итоги своей литературной работы, возьмешь для перепечатки. Недостаток у него тот же, нет ни одной крупинки, которая бы заставила поверить, что автор знает все то, о чем рассказывает, хотя бы так, как токарный станок. Возникает даже недоверие, что исключительная меткость стрелка при сочетании трех движений (пули и двух самолетов) родилась

из одного только опыта при одном движении.

Ты только на это не сердись. Ведь пишу потому, что продолжаю думать о твоем будущем, которому пока что мешает твоя поспешность. Выход книжек, конечно, важен не с одной материальной стороны, но все-таки здесь надо быть очень строгим к себе, выбирая лишь то, что писано без большой спешки. Да и вообще тебе следует подумать о самой манере письма, требующего более глубокого изучения предмета, и главное, надо не только расставлять, но и представлять своих героев в тех положениях, в какие они ставятся.

Не менее важно повернуть свои мысли в сторону тех пустяков, которыми ты, как я заметил, пренебрегаешь. Знаешь вель анеклот: бюст фавна был выдеплен отлично, но когда художник выломил у этого фавна один зуб. скульптура выиграла не вдвое или втрое, а совершенно неизмеримо, так как она ожила. Этот вышибленный зуб советую помнить всегда, перефразировав применительно к своему творчеству: «где тут та полнокровная деталь, которая есть в «Моих друзьях», но которой нет в «Каменных загадках» (напоминаю тебе эту азбуку потому, что у тебя заметна склонность переоценивать свою занятость и недооценивать «литературную болтовню»). Занятость, конечно, дело почтенное, но и «болтовней» в нашем ремесле пренебрегать не следует. Правда, очень часто невод приходит с одной травой морской или с тиной, но иной раз окажется и золотая рыбка, какую у своего стола не высидишь, хоть трое подшитых кожей штанов просиди. На последнем вот четверге, с которого ты ушел, оказалось даже три таких рыбки. Правда, они могут мешать очередной работе, но они же могут и вести ее дальше. Слушая Трубина, я подумал: «Вот бы пару подобных речений в «Олений камень», совсем бы он по-другому зазвучал». Но, разумеется, речений не столовских, не у стола высиженных, а именно таких же самородных. какими богаты оказались эти никчемные по сюжету рассказы. А Соболь! Ведь надо было видеть, как оживленно реагировали при его чтений и как свирепо стали разносить, чтоб понять, на какой плоскости лежит гротеск современного быта. Все его жаждут, но все одинаково боятся впасть в пошлость. Найти правильную линию, и откроется огромная область.

В заключение чудесный парень, поразивший всех своими стихами. Приятнее всего, что он продолжает свою учебу по специальности, хотя уже теперь может «встать в ряды». Такие неожиданные явления тоже полезны, так как они мобилизуют на борьбу за качество, напоминают, что на литературном поле могут скоро появиться новые люди, которые уже брали культуру не рывками, а систематически и не в том количестве, какое досталось предыдущим поколениям. Может быть, они даже не скажут резкого слова: «слезай временные, — прошло ваше время», а просто будут один за другим выкладывать на издательский стол ту литературу, о которой давно скучает читатель. Всякому, кто в настоящее время занимается литературой, это полезно напомнить, как и то, что литературные поколения в прошлом столетии считались по десятилетиям. Отсюда для энергичных людей один вывод — налегать не на количество и переиздания, которые могут быть вредны, а на качество, которое уже само приведет переиздания.

Словом, подумай, а я на этом кончу.

Впрочем, еще два совета.

У тебя в рассказах почти вовсе нет или очень редки «играющие слова», и это, на мой взгляд, не вполне понятно. Не все же время ты вращаешься в кругу себе подобных интеллигентов, где ценное слово только в анекдоте, и то в большой части фривольном. Или ты не привык ни при чтении, ни при разговоре следить за словом. У тебя даже как-то нет «ребячьих слов», хотя встречи ведь бывают, и нередко. Конечно, тут надо не переборщить, не дойти до того самого «слабо», которое т. Перцов справедливо назвал жаргонным.

И еще. С каждой написанной страницы перед тем, как ее сдавать для перепечатки, надо выжать не меньше двух-трех строк. Все лишние слова, все «не стреляющие ружья» и «попутные рассуждения» выбрасывай самым

безжалостным образом.

Не обижайся на учительный тон письма. Делаю это, как уж говорил, только потому, что хочу в меру своих сил и разумения помочь напористому человеку выйти с боковых дорожек журнального творчества на большую дорогу литературы».

Спасибо, милый Павел Петрович!

## «ОН БЫЛ НАШ УЧИТЕЛЬ»

Наверное, самое увлекательное и волнующее, таящее наибольшие неожиданности — открывать человека. Вот так я открывал для себя Бажова, нет, не всемирно признанного сказочника, певца рабочего Урала, автора «Ма-

лахитовой шкатулки», а того Бажова, который предшествовал писателю. Конечно, кое-что о том, другом, Бажове я знал раньше, но как-то осязаемо, по-настоящему понять и прочувствовать это, понять не только умом, но и сердцем, вызвав чувство родства, помогли мне старики колхозники, жители далекого сибирского села Бергуль. А для них, наоборот, открытием явился писатель Бажов. Они знали учителя...

...Село Бергуль — одно из старых и, бесспорно, приметных поселений нынешней Новосибирской области. Я добрался до него: от Новосибирска самолетом до села Северного (около четырехсот километров), затем машиной еще сорок километров, все прямо на север; есть и другой путь — по железной дороге до Барабинска, а от-

туда автобусом или попутной легковушкой.

За столом в одном из классов Бергульской школы — почетные бергульцы старшего поколения: Елизавета Константиновна Хохлова, Устинья Андреевна Хохлова, Алимпий Федорович Егоров, Тит Галактионович Гнутов. Мужчины пришли с наградами, полученными за войну. У Егорова, бывшего заместителя председателя колхоза, полная грудь медалей. Разговор о Бажове: что они помнят о нем?

Начинает Елизавета Константиновна Хохлова. Для своих лет она еще совсем молода, в карих глазах постоянно горит огонек жизнелюбия, речь быстрая, по-народному красочная, с меткими колоритными словечками, слу-

шать — удовольствие.

Здесь же Галина Дмитриевна Багрова, учительница словесности и родной литературы из села Северного — районного центра. Вот уже более десяти лет Галина Дмитриевна руководит краеведческим школьным кружком, сама организовала его в 1969 году, заразив ребят духом поиска, углубленного изучения родного края, его истории, и так они «вышли на Бажова» — появились бажата; так стали называть ребят-кружковцев, занятых исследованием всего, что связано с пребыванием в этих местах Бажова. В школьном музее выделили специальный раздел, посвященный Бажову: книги, фотографии, вырезки из газет и журналов, письма лично знавших Бажова. В 1974 году в Северном открыли Музей боевой и трудовой славы; целый раздел посвящен П. П. Бажову.

В Бергульской восьмилетней школе бажовский уголок появился чуть раньше — в 1968 году. В Бергуле руководство этой работой взяла в свои руки Зинаида Васильевна Голубцова, преподавательница истории.

О школьных музеях в селах Бергуль и Северное, посвященных Бажову, стало известно на Урале, это навело

на след, - вот почему я здесь.

В июне 1968 года через местную районную газету «За дело Ленина» была объявлена литературно-краеведческая викторина, посвященная жизни и творчеству П. П. Бажова. Ответы на нее прислали не только школьники, подростки, но и взрослые — колхозники, представители сельской интеллигенции. Разумеется, самыми активными показали себя бажата...

В возрасте нынешних бажат были мои собеседники в то время, когда в их краях появился... Павел Петро-

вич Кирибаев. Учитель.

- В половине зимы он появился, - начинает Елизавета Константиновна Хохлова. — В папахе, роста небольшого, глаза умные, ласковые. Мне тогда восемь лет было, только в школу пошла. Да школы-то еще не было. при нем ее начинали. Зима студеная была. До Бергуля трое суток ехал, испростыл весь. Вощик-то ему тулуп свой дал. Ла он, видно, еще раньше простуженный был. А дорога долгая, трое суток от Барабинска ехал... не то что теперь. Когда? Да в девятнадцатом году, в начале. Папа привел: «Будет вучитель». Худенький, в шинели, в очках. кашляет натужно. Душа переворачивается смотреть. Невеселый был. Приехал из Каинска, нынешнего Куйбышева, значит. Сам выбрал самый отдаленный пункт. Баню истопили. Позвали брата Андрея. Самогонки дали. Парили до того, что чувства лишился. Вытащили на снег, тут очнулся, в себя пришел. Снова парили. Лечили посибирски. У нас завсегда так простуду выгоняют. Поправился. Меньше кашлять стал. Потом вроде и вовсе повеселел...

Много позднее станет известно, что до Бергуля он, когда сошел с поезда в Барабинске, остановился в деревне Мошниной, у Авдотьи Казаихи; сын у нее сидел в тюрьме, был против белогвардейцев, — они поняли друг друга. Жил там некоторое время, тоже лечился — замучил кашель!

Рассказ Елизаветы Константиновны Хохловой продолжает Алимпий Федорович Егоров:

— Обрадовал отец, пришел со схода граждан. Староста сказал: «Собрать граждан села: приехал учитель. У нас будет учитель, учить детей будет». Староста Трифон Клементьевич Подрядчиков. Он, значит, и сообщил. Все были рады. Приводили родителей. Когда записывали, батюшка был, Пимен Фокеич. Школа помещалась в доме Хохловых. Изба большая. В их дому и жил учитель. Преподавал в первом классе. На две смены. До этого была церковноприходская школа, учила старушка; да ее можно не считать. После многие перешли в школу к новому учителю. Парты были — сквозные столы, плахи, и на полу сидели. Настоящих парт не было. Все сделали сами, учитель ноказывал. Ребят тоже к делу приучал, все знал. . .

— Плохих не любил, — вставляет Устинья Андреевна Хохлова. — Корил их. «Не могет никак», — родитель скажет. Значитца, учебу осилить не могет. «Что, Павел Петрович. что ём?» А ученик: «Замолчь!» Отцу, стало быть.

Стыдились перед учителем признаваться.

— «Богородицу», «Отче наш» тогда учили, — начинает Тит Галактионович Гнутов, самый молчаливый и сдержанный из четверых, терпеливо ожидавший, когда дойдет его черед. — Ну, ему, конечно, тоже приходилось соблюдать видимость. Не садил за парту, пока батюшка не придет. А потом батюшка сам перестал приходить, уверовал, учитель свой, следить не стал. Называли «господин учитель». А ему это не нравилось. «Не обязательно называть «господин учитель». Называйте — Павел Петрович».

Ну уж действительно был учитель! С темна до темна трудился Павел Петрович! Все делал сам и других приучал. Ничего не было, ни чернил, ни бумаги. Чернила делали из клюквы. Он доставал бумагу, карандаши. Привез школе. Дал тетради: «Пишите». Мне подарил свою ручку, уезжая. Бороды еще не было, а может, сбрил...

Часто болел...

Да, наверное, сбрил, чтоб меньше походить на себя... Слушаю их и мысленно ругаю себя — почему не выспросил ЕГО САМОГО о сибирском периоде жизни, когда ездили вместе по Полевскому и Сысертскому району? Не догадался. Сообразилки не хватило. Да, пожалуй, если сказать правду, ничего такого я тогда не знал еще о нем.

Он прибыл в эти края в начале 1919 года, когда ему исполнилось сорок лет. Как раз тогда, кутаясь в чужой

тулуп, под скрип полозьев и потрескивание крепкого сибирского морозца, в пути отметил день рождения (28 января по нынешнему стилю). Приехал вполне сложившимся человеком, со своими взглядами на жизнь, политическими убежлениями.

В Каинске он объявился в конце января, в Бергуле в первых числах февраля и сразу приступил к делу. До него тут не было настоящих учителей (у него было семинарское образование), можно считать, не было школы.

Белые восстановили в школах преподавание закона божия, учения о чудесном сотворении мира и человеческого рода. Среди малышни вспыхивает спор — как различить мужчину и женщину, поскольку в ту пору, при Адаме и Еве, штанов и юбок еще не носили.

— Которая Адам, которая Ева? Я знаю, которая Ева: которые лытки толстые, - возглашает громко один из

мальчишек, победоносно оглядываясь вокруг себя.

— Толстые лытки у богатых, у тетки Катерины! вызывающе возражает другой.

Павел Петрович прячет улыбку.

— Люди бывают толстые и тонкие, — говорит он. — Главное, как они себе хлеб добывают, своим трудом или чужим.

Да что ребята. И взрослые тоже, как дети, простодушны и ищут ответа на недоуменные вопросы. На улице повстречалась женщина. Поздоровалась с учителем и заполошилась:

— Зять у меня, сестры муж, увидит красивую женщину и икону рисует...

— Пускай рисует. Святые — они должны быть кра-

сивые.

На все-то у него свой ответ, очень простой и понятный. Ох и умен этот учитель, не гляди, что такой щуплый, ох умен!

Воспоминания без конца...

В Сибири царствовал Колчак. Злое, жестокое, беспощадное было время. Все прятали — белые все отбирали.

Забирали лошадей.

Ползли слухи: там убили, запороли насмерть нагайками, там расстреляли... В Биазе были казнены красные партизаны Лосев, Михайлов. Похоронены в Бергуле, а поймали в Звереве, предали их.

От колчаковской расправы прятались в лесу. Возвращаясь, осведомлялись шепотом: «Сватья, самурай шел?»

Белых так называли.

Павел Петрович, слыша все это, хмурился, но своего отношения к происходящему почти ничем не выдавал. Разве что вздохнет, а потом скажет: «Начнем урок». Может, он знал больше других? Ох знал, потому и помалкивал.

Впрочем можно ли сказать «помалкивал», если, как вспоминали потом его ученики, нередко его урок переходил в беседу о том, какой должна быть жизнь, если все поставить как следует. «Много он нам рассказал разного, и все больше про то, какая жизнь будет у нас через пятьдесят лет. .. Помню, нас прямо-таки огорошили слова Белинского о том, что он завидует тем, кто будет жить в 1940 году. «Да как он знает об этом?» — удивлялись мы. Павел Петрович лишь улыбался: «Умный человек всегда знает, что наступит в будущем. ..» — «А вы знаете?» — «Знаю...»

Припоминается, как один белый солдат, видимо не по своей воле оказавшийся в колчаковском стане, шепнул осторожно ребятам-школярам: «Смотри, придут солдаты, ничего не говори», а учитель, услыша это, после повторил без всякого выражения, вроде как мимоходом и не глядя: «Он правильно сказал, ты запомни».

Знать бы да ведать, кем был их «вучитель»!

В середине разговора подошла Анна Максимовна Белова, полная приветливая женщина, школьный библиотекарь. Она-то и открыла первая. «Свекор был мой еще живой, — говорит Анна Максимовна, — хорошо помнил Кирибаева. Он так и ахнул...»

Лишь спустя десятилетия перед ними предстанет в своем истинном обличье их Павел Петрович. Позднее станут известны его связи с Мацуком, командиром партизанского отряда, составленного из сторонников Советов и укрытого в заповедных дебрях сибирской уремы, с дру-

гими руководителями большевистского подполья.

Анна Анисимовна Белова, человек дотошный и влюбленный в книги, получая новую литературу для своей сельской библиотеки, взяла книгу П. Бажова «За советскую правду», раскрыла ее и замерла... Привезла и стала показывать другим. Вот тут все и поняли, кто был он и что был он не только и не столько учитель, но, прежде всего, комиссар и один из руководителей партизанского движения, посланец новой жизни, той, о которой любил рассказывать. Он осуществлял тайную связь и руководство сопротивлением колчаковским властям в глубоком

колчаковском тылу, копившем силы для открытого выступления на стороне красных, и прибыл он сюда по партийному заданию. В книге «За советскую правду» очень живо описывались события, происходившие в бывшей Биазинской волости (Бергуль входил в нее). Знакомые имена, географические названия... все точно! Фамилию «Бажов» не знали, а когда сказали — Павел Петрович: «Так это же наш учитель» («вучитель», как говорят здесь. Говор — раз услышишь, не забудешь).

Сбылись мечты учителя, осуществилось, стало реальностью, живой действительностью то, о чем он говорил крестьянским детям, что пророчил. Не узнать Сибири.

...От Колчака освободились осенью девятнадцатого года, уже снег напал. А Павел Петрович уехал в конце мая 1919-го. Плакали, провожая его; все ученики ходили провожать любимого учителя. Уехал на лошадях, а куда? Не сказал. Все вышло как-то внезапно и для всех неожиданно. Думали (надеялись), будет у них долго жить, за недолгое время успел привязать к себе всех, полюбиться всем. Оставил в школе бумаги, тетради. Белые пришли (а они перед своим концом особенно злобствовали): «Что такое?» — «Да учитель оставил». После мама Хохлова, Анна Герасимовна, все сожгла. От греха подальше.

Он уехал, а вскорости на Алтае появился другой Па-

вел Петрович — Бахеев. Но это уже другой сказ...

Мы засиделись допоздна. Не хотелось расставаться: как будто сошлись близкие, давно знающие друг друга люди. На прощание они подарили мне пластинку: «Традиционный песенный фольклор Западной Сибири. Хоровая группа села Бергуль». И тут же сами затянули протяжную, с задорно-лихими-озорными вскриками, мелодию. Эти песни певали при Павле Петровиче.

— Передайте Павлу Петровичу привет, — наперебой говорили старики на прощанье. — Передайте привет на-

шему учителю!

## из бажовской копилки

Прочно запомнилось:

Всех людей он делил на узкоглазых и широкоглазых. Не по физическому признаку, разумеется, а по склонности ума, пониманию явлений жизни, кругозору. «Узкоглазый человек, — говорил он, — это как лягушка, которая, хоть и имеет в каждом глазу восемь тысяч фасеточных глазков, а видит только муху, которую собирается слопать. Больше ничего не видит. Так устроена.

А широкоглазый — этот видит далеко вперед, видит, что сзади, видит по бокам, объемлет все явления разом. Только широкоглазый может принять правильное решение, ничего не испортит, не навредит. Вот такие люди нам нужны...»

И еще — из того, о чем уже говорилось, но хочется повторить, чтобы задуматься, поразмыслить лишний раз

поглубже.

Помните, рассказывал: в Полевском, когда двигались плотиной Штанговой электростанции, шофер придержал скорость, а Павел Петрович глянул в окошко машины, весь во власти воспоминаний о безвозвратно минувшем, и сказал:

 Кажись, Штанговая, Где-то здесь моя милая жила...

Помолчал.

— Поглядеть бы теперь, наверное, такая холера стала; и не поверил бы, что когда-то пленяла...

И еще через полминуты, когда Штанговая осталась

позади:

— А ведь все они оставили след в душе...

Три фразы — золото. Золото! Не так ли скажет о себе каждый, после долгой разлуки попав в родные места.

Непостижимая, колдовская тайна простых, обычных слов, в бажовских устах приобретавших особую силу и выразительность, вероятно, будет долго занимать умы литературоведов, исследователей его творчества. Скажу про себя: мне их никогда не забыть, как не забудется весь облик патриарха уральских литераторов, с седой бородой и ясными добрыми глазами, — живой библейский мудрец, сошедший с полотен древних мастеров.

В 60-летие уральского сказочника в издательстве устроили товарищеское чаепитие. Совместно с писательским активом выпустили специальный номер стенгазеты, посвященный этому торжеству. Потом эта газета долгое время хранилась в доме Бажовых вместе с скромными дружескими приношениями, знаками признания бажов-

ских заслуг и уважения его таланта. Газета громадная — два ватманских листа, с дружескими шаржами, четверостишиями, и в их числе такое (автор Б. Рябинин):

Серебристый волос вьется, Плешь на маковке блестит, Бесконечный сказ ведется... Угадайте, кто сидит?

На рисунке изображалась круглая лысина, вид сверху, и ореолом — волосы, как нимб святого.

Угадать было легко. Бажова нельзя было спутать ни

с кем.

Павел Петрович поглядел, хмыкнул: «Доживешь до моего, может, глаже будешь». Понравилось или осуждает, не поняли.

За столом, когда кончились официальные речи и наступило время непринужденной болтовни, заметил в сво-

ей обычной манере:

— Насчет волос ладно, а плешь... кто говорит, признак ума, а кто: умные волосы покидают дурную голову... кому верить, не знаю. Сказывают еще, жены выдирают, когда мужик провинится. Ну, моя-то недеручая, не обижала, хоть, наверное, заслуживал не один

раз...

Близким, родственникам всегда кажется, что об их любимых говорят недостаточно уважительно. По этой причине Валентина Александровна потребовала удалить Штанговую, когда воспоминания «По следам легенды» печатались впервые. «Борис Степанович, как вы могли написать такое?! — разводила она руками. — Павел Петрович был такой чистый человек. . .» Спору нет. Павел Петрович, сколько мы его помним, действительно был человеком безупречной порядочности и честности, будь то общественная деятельность или личная жизнь. Таким он запомнился всем. Однако живой человек есть живой человек, надо ли делать из него деревянного идола? Образ Бажова значительно увял бы, превратился в иконописный лик (против подобной святости всегда решительно возражал и сам П. П.), — а такой, непосредственный, он даже ближе, симпатичнее.

Мы шли по улице. Разговор зашел о книге Горловского. Незадолго перед тем историк Горловский — преподаватель и научный сотрудник университета — выпу-

стил книгу-исследование о горном городе Екатеринбурге. Опыт истории, точнее, попытка взглянуть на историю глазами нашего современника. Нам, писателям, в том числе и Бажову, книга в целом понравилась: не так уж много написано о Свердловске, а автор исследования проделал громадную работу, рылся в архивах, изучал старинные источники. Конечно, ошибок и неточностей в таком издании не избежишь; и тем не менее. . . Совсем по-другому отнеслись к книге коллеги и сослуживцы Горловского — они подвергли ее сокрушительному разносу. Я недоумевал: почему так? Не настолько она плоха, чтоб выливать на автора ушаты критической желчи. Павел Петрович подумал и ответил:

— Не любят его... так же, как тебя... потому что много работает. Кто много работает — многим помеха;

так уж устроено... Только ты это не слышал.

В другой раз он сказал:

У кого талант, того не любят. — И добавил: —

Бедный всегда завидует богатому.

Как всегда, он был прав. И, как всегда, выразил посвоему. Увы, соревнование в творческой среде все еще часто подменяется завистью и недоброжелательством. Человеческая психология, вероятно, еще долго будет заставлять желать лучшего.

Еще из повседневных бесед:

— Напор — это хорошо. Человек должен быть с напором. Я давно за тобой наблюдаю: то в одну сторону ударишь, то в другую. И где ударишь, там и пробоина...

— Это хорошо или плохо?

Для хорошего дела — хорошо.

Слово не воробей, вылетит — не поймаешь, учит народная мудрость. Однако бажовские байки были таковы, что надолго отлагались в памяти. Иной раз, может, и хотел бы забыть, да не забудешь.

«Об землю-то обопрешься — выше взлетишь».

«На смелого и собаки не лают».

«Брюхо не потеха, а делу помеха» (вариант народ-

ного: толстое брюхо к работе глухо).

«Себе не лишка, другим — через край» (в смысле не жадничать, быть щедрее к другим). И т. д. и т. д. Без конца!

Бажов был чужд всякой фальши, ханжества, неискренности; не терпел этой черты в себе и в других. Иногда это могло проявиться самым неожиданным об-

разом.

Хоронили Коца (на Михайловском кладбище). Павел Петрович стоял, привалившись к сосне, в окружении группы писателей, и задумчиво курил. Гражданская панихида отошла, стали заколачивать гроб. Тук-тук... Общее молчание. Вдруг Бажов говорит:

— Вот проклятая привычка писательская, гляжу и думаю... Аркадий Яковлевич не пообидится, если скажу: по военному-то времени на два гвоздя гроб забивать стали. Нехватка гвоздей. Было восемь. Тоже экономия...

И — умолк.

Кого-то, быть может, покоробит от этого наблюдения; а ведь верно — мы не властны над своим мышлением, голова подчас работает совсем вразнобой с происходящим вокруг: ты вроде занят своим, а она — своим, независимо от тебя — таково устройство человеческой нервной системы и нашей психики.

В недрах нашего подсознания (как говорят ученые, в подкорковой области) всегда идет работа, о которой мы даже не догадываемся и подчас узнаем неожиданно для самих себя; писатель в этом отношении не исключение, а, может быть, как раз даже правило, «характерный и типичный индивид». Интересно было говорить об этом с Бажовым.

Жизнелюбивость Бажова могла служить примером. Многим следовало поучиться у него, как надо уметь ценить жизнь. И однако. . .

Как-то выслушали рассказ про одного старика, дожившего до 125 лет. Спросили, как жил.

— Рано вставал да простоквашу ел...

Бажов размышляет: «Стоит ли сидеть на простокваше сто двадцать пять лет?»

Озорник был. Кассиль спросил:

— Павел Петрович, для чего вы бороду носите? Поглядел лукаво, прежде чем ответить.

— Так ведь борода, Лев Абрамыч, она штука щекотливая...

И сказал — не щекотливая, а шшекотливая, твердо,

как говорят в народе. Шшекотливая.

Известно, что бороду Бажов отпустил еще смолоду. Почему? Говорили: не нравился сам себе в зеркале: подбородок небольшой, срезанный, пусть лучше будет борода. Ну, а при случае не прочь был и «обыграть» ее. Любил шутку.

Бажов — о сборе литературного материала для будущего произведения, которое собираешься написать. И вообще, как лучше осмыслить, запомнить, чтоб уяснить главное, суть.

— Есть восточное правило: для того чтобы чтонибудь хорошенько знать, надо сперва это выучить, потом прочно забыть, а потом вспомнить, будто невзначай... Вот это и будет нужная вещь, без всякой шелухи!

В театре, в антракте. Только что окончилось действие, в котором главная героиня пролила много слез. Бажов:

— Ревет здорово. Научилась. Натурально, а все-таки не верю. Она разливается, а я думаю: и долго ты так будешь тешить публику? И вот я уже перестал следить за развитием событий в пьесе, уже не переживаю вместе с героями на сцене. Я уже сижу и думаю: «Интересно, это она так входит в образ, что пускает слезы, или она умеет выжимать их в нужный момент?» А? ты как думаешь?

Существуют разные точки зрения на натуральные слезы на сцене. Бажов разделял мнение тех, кто считает эти слезы нарушением сценической правды.

На каком-то большом собрании или встрече с общественностью, где всячески превозносили заслуги Бажова. Каждый выступавший считал своим непременным долгом сказать что-то приятное автору «Малахитовой шкатулки». Павел Петрович слушал-слушал, хмурясь и поерзывая на стуле, наконец, не выдержав, обернулся к сидевшему сзади:

— Говорят, как о покойнике. Это же покойника можно так хвалить, ему-то все равно. А при живом?!?

В военные годы. Съехались писатели Свердловска и Челябинска. Поэт-челябинец сообщает, сколько стихов он написал, воспев труд героев-танкостроителей: 27 тысяч строк. Павел Петрович, наклонившись, осторожно шепчет:

— То, что он написал столько, — хорошо. Плохо, что он их сосчитал...

Молодой и, добавим, очень самоуверенный начинающий литератор пришел поделиться своими замыслами. Он хочет написать рассказ. И, не теряя времени, принялся делиться замыслами. Говорил долго, нудно, захлебываясь от восторга, в полной уверенности, что его понимают и одобряют. Не могут не одобрить.

Павел Петрович внимательно выслушал. Не переби-

вал.

А название рассказа есть?

— Нет, пока еще не придумал.

— Ну и рассказа нет...

— Не сиди на мягком, не советую, — эту фразу слышали от него не раз. Такой совет однажды дал и мне.

Он не стал уточнять, что имел в виду. За него могут сказать врачи: по их наблюдениям, постоянное пользование мягким сиденьем способствует появлению геморроя.

Сам Бажов, как известно, работал стоя за конторкой, реже — сидя за столом в обыкновенном «жестком»

кресле.

Мне думается, «не сиди на мягком» может иметь и двойной смысл (как всегда у Бажова). «Не сиди на мягком» — не ищи готовенького, легкого, добивайся сам, не пугаясь тяжелого труда. Так добьешься всего.

Не случайно он называл себя «пионером велосипедного движения»: смолоду всем видам транспорта пред-

почитал велосипед. Своими мыслями насчет этого он делился со многими; говаривал и мне. На двух шинах-то, как и на двух ногах, никакие тропки не заказаны, куда хочешь, туда и едешь, и где угодно остановишься. Пермяк, совершивший с Бажовым не одну поездку по Уралу, когда тот ездил к своим избирателям в период предвыборной кампании, приводит его фразы: «Быстро надо снабженцам ездить, а мы-то с вами заготовители. Нам слушать надо». И в другой раз: «Я бы лучше на своих двоих и вам бы советовал...»

Заготовители слов... так, что ли? Художник обязан быть чутким к слову, неустанно напоминал Бажов. Дровни — значит дрова, с дровами. Двойной переклад — здесь два смысла: два слоя крепи, двойная работа, зато и удвоенная прочность, надежно, выдюжит (как крепкий, выносливый человек). Непонимание «игровых» слов Ба-

жова смешило и сердило: туг на ухо человек.

Тут вспоминается, как повесть «Зеленая кобылка», автор которой зашифровался под фамилией «Колдунков», подверглась в Детгизе самой тщательной «очистке», была беспощадно выглажена, выутюжена. Никаких следов вольностей, архаизмов, устаревших народных речений! Вот тут и ищи двойной переклад, — а редактор возьмет и вычеркнет. Пропал труд. К счастью, в новом издании тексту был возвращен первоначальный вид, все слова восстановлены. Редактору пришлось краснеть за свое чрезмерное старание, отсутствие слуха к слову.

Эту мысль — о важности точной художественной, и особенно бытовой, детали — Бажов подчеркивал многократно.

— Точная, меткая деталь имеет поразительную силу впечатляемости, доходчивости, — говорил он. — Потребовалось вам в одно место... ну, куда, как говорят в народе, цари пешком ходили! Все ясно, точнее не скажешь...

Считал: «Из окна квартиры многого не увидишь». — Ездить надо, больше ездить. А еще лучше — ходить...

Горевал, когда самобытность, яркость речи подменяется грубостью: «Грубость слов выдает грубость душевную».

Об «Уральском следопыте», когда тот только начинал

завоевывать читателя после многолетнего перерыва, выразился примерно так — в смысле, что тому необходимо: устранить тот залихватский тон, некую разухабистость, которую можно рассматривать как следствие того, что еще не все устоялось и осмыслено, когда и редакция и авторы молоды и не уяснили еще для себя полной ответственности за воспитание вкуса у читателя. (В скобках заметим, что с течением времени журнал постепенно с этой «болезнью детства» справился.)

Обсуждали повесть Константина Мурзиди «У Орлиной горы», первое прозаическое произведение, которое написал поэт. Обсуждали горячо. Упрекали автора в фальши и надуманности: например, завербованные женщины-мордовки, во время войны попав на завод и впервые присутствуя при огненной разливке стали, падают в ужасе ниц и, отбивая поклоны, начинают лопотать чтото по-своему, молятся. Ну, кто этому поверит, в наше-то время! Меж тем все было правдой, мы вместе с Костей ездили на танковый завод в Нижнем Тагиле, где нам и рассказали эту историю. Мурзиди ничего не преувеличил. Но, видимо, стихи писать — одно, проза — совсем другое и требует иного подхода; сказалась неопытность автора. Потом, когда страсти начали утихать, вдруг ктото спросил:

— A почему это поэт — и написал прозу?

И в самом деле, многих заинтересовал вопрос: всю жизнь писал стихи — а тут нате, повесть? С чего бы?

Павел Петрович вынул трубочку, с которой он почти

не расставался, изо рта и сказал:

— Так ведь с возрастом люди умнеют...

Понимай как знаешь.

Вспоминается разговор о повести «Приключения

Леньки и его друзей» Олега Корякова.

— Светлая книга... Писатель из него получится, — сказал тогда Бажов. — Только вот, скажите ему: зачем у него ребята для плота дерево валят? Негоже это забавы ради. Мало ли в тайге сушняка, его и бери. А лес надо беречь...

Вот оно — его широкоглазие: когда на Гумёшках видел дым, валивший из труб, тоже не преминул напомнить о вреде, который приносит такое отношение к природе. Позднее он еще раз выскажется по этому поводу: напоминая, что природу надо беречь, горевал о загуб-

Из депутатской переписки. А переписка у него была огромная, жаль, что до сих пор не разобрана, не изучена досконально. Ни одного письма не оставалось безответа; отвечал обстоятельно, с желанием помочь, а не просто «для порядка». Молодая женщина жалуется на свою горемычную жизнь, просит своего депутата дать отцовский совет: муж ее ушел к другой, пожил с нею два месяца, вернулся назад, в семью, к жене и дочери, пожил здесь какое-то время — опять потянулся к той, второй. . . Как быть? Замучилась. Терпеть больше нет мочи. И должен он в конце-то концов решить, с какой он хочет остаться. . .

Бажов отвечает раздумчиво, сочувственно: в жизни, конечно, всякое случается, однолюбов-то не бывает, тут уж ничего не поделаешь, так природа устроила, «а вообще-то, если мужик сам не знает, к какой ему бабе прибиться, не мужик он, а кислая кошма...».

Кончилось собрание. Выходим из Союза. Вместе с другими — Бажов. Простите за неэстетическую подробность, мужская уборная находится внизу, на первом этаже, а женская — здесь, рядом с комнатой СП. Павел Петрович заворачивает туда, его останавливают слова:

— Павел Петрович, это же женская!

Павел Петрович оборачивается:

· — A я ведь теперь уже почти женщина...

Подождали его, благо ждать долго не пришлось. Разговор попал на фривольную тему и продолжается в том же духе. Кто-то (кажется, это был Хазанович) спрашивает игривым тоном; вопрос, прямо сказать, бестактный, учитывая возраст Бажова (ему тогда шел семидесятый год):

— Павел Петрович, а как у вас насчет этого... ну,

по женской части?..

Павел Петрович останавливается, оборачивается в сторону спросившего и отвечает без улыбки, серьезносерьезно:

— А без этого, ребята, жить-то неинтересно...

Глубокая, затаенная грусть послышалась в его словах,

Жизнь прекрасна, пока она одаряет нас своими радо-

стями и утехами; тогда это — жизнь. А потом? ...

Прошли выборы в Верховный Совет СССР. Бажов — депутат, член высшего органа власти в стране — получил книжечку — право на бесплатный проезд в любой конец на любом виде транспорта. Повертел он эту книжечку в руках так и сяк, покачал головой, вздохнул и сказал:

— Дали белке ореки, когда у нее зубы выпали...

... Да, коротка и быстротечна жизнь, и пролетает как

один миг, даже когда она большая...

Очевидно, мы, уральцы, да и не только уральцы, еще долго будем обращаться к образу Бажова, к его памяти, к его мудрым мыслям, к примеру его простой и содержательной жизни.

Долго!

### СОЛЕРЖАНИЕ

#### УШЕЛШЕЕ — ЖИВУШЕЕ

Под вымпелом «Следопыта»	
Флаг «Следопыта» поднят	4
Тропа его жизни	8
«Клянусь черепахами Тэсмана!»	5
Яблочный следопыт	6
Тропа его жизни	6
Зверопоклонник Ватагин	7
В Песках, у Комарова	3
В Ворзеле, у Лятошинского	5
Люди, которых мне открыли собаки	3
Только одно воскресенье (День с автором книги «Пятьдесят	
лет в строю»)	6
Корней Иванович	3
Корней Иванович	8
Отдавший сердце детям	5
2 — Терезы — 2, или Тереза-маленькая выходит на арену 27	0
Она любила все живое	6
Mario furt unana	3
Могло быть иначе	1
Teriober Hoshael Sheph	•
уроки Бажова	
	7
По следам легенды (С Бажовым по бажовским местам) 30	
Посмертное — от старшего друга	
«Он был наш учитель»	C
Из бажовской копилки	1

#### БОРИС СТЕПАНОВИЧ РЯБИНИН

## УШЕДШЕЕ — ЖИВУЩЕЕ'

М., «Советский писатель», 1985, 432 стр. План выпуска 1985 г., № 119 Редактор З. В. Одинцова Худож. редактор Е. Ф. Капустин Техн. редактор Г. В. Белькова Корректор А. В. Муравьева

#### ИБ № 4550

Сдано в набор 27.03.85. Подписано к печати 11.09.85. А 12274. Формат  $84 \times 108^{1}/_{32}$ . Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 24,24. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1035. Цена 1 р. 80 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3



